



О. Т. Райт
ОСТРОВИТЯНИЯ

«TERRA» - «TERRA»

Молодой американец Джон Ланг попадает в несуществующую ни на одной карте Островитянию... Автор с удивительным мастерством описывает жизнь героя, полную захватывающих приключений.

- [ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА](#)

- [ЧАСТЬ ПЕРВАЯ](#)

- [1](#)

-

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

- [7](#)

- [8](#)

- [9](#)

- [10](#)

- [ЧАСТЬ ВТОРАЯ](#)

- [11](#)

-

- [12](#)

- [13](#)

- [14](#)

- [15](#)

- [16](#)

- [17](#)

- [notes](#)

- [1](#)

- [2](#)

- [3](#)

- [4](#)

- [5](#)

- [6](#)

ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕВОДЧИКА

«Всякий человек — остров».

Американский писатель Остин Тэппен Райт дал свой поворот этому, уже изначально подернутому романтической дымкой афоризму и развил его в роман, стоящий особняком, загадочный, как, впрочем, и судьба самого автора.

Преподаватель права сначала в Беркли, а затем в Пенсильванском университете, блестящий молодой ученый и не менее блестящий собеседник, Остин Райт погиб при неясных обстоятельствах в расцвете сил, на взлете карьеры, когда ему было сорок с лишним лет.

Вероятно, лишь очень немногие догадывались, чему посвящает свои досуга известный правовед, а плодом их оказался роман, по объему чуть не вдвое превосходящий «Войну и мир» — так, что при подготовке рукописи к изданию вдова и дочь Райта, приспособив книгу к привычным для читательского восприятия масштабам, решили сократить текст наполовину. Итак, перед нами только часть айсберга.

Впервые Островитяния явилась Райту еще в детстве. Обычно игрушки (а выдумка — тоже игрушка) завораживают детей своим правдоподобием. В отличие от других детей Остин Райт не перерастал своих игрушек, по крайней мере одной: Островитяния выросла вместе с ним, расширяясь и детализируясь, облекаясь флорой и фауной, обретая историю и обзаводясь собственными политическими деятелями и моральными концепциями.

Создавая свою фантастическую страну, автор не прибегает к помощи бутафорских монстров или расторопных духов, чужда ему и стилизация. Он лишь слегка меняет ракурс наведенного на обыденную жизнь взгляда, и, наверное, в этом — главная и своеобразная притягательность райтовой Островитянии, которую трудно поместить в какую-либо систему пространственных, временных, да и жанровых координат, но которая вся бережно перенесена в Terra incognita из нашего же мира: и сам герой, и его похождения, влюбленности, тревоги и разочарования.

Происходит как бы двоение действительности, где роль карнавальных масок зачастую играют имена. Так, обычный лесной цветок (неузнаваемый, кстати, и для нас под своим латинским псевдонимом) остается, по сути, собою же, но островитянское имя бросает на него отсвет иной реальности. Секрет в том, что Райт ничего не придумал, кроме пригрезившейся ему Островитянии; в самой же Островитянии он не выдумал ничего.

Страна грезы открыта каждому, но не каждому дано в нее войти. Тому, кто меряет все и всех только своей меркой, она противопоказана. Соответственно и поиски Островитянии — это поиски Островитянии в себе, умение понимать то, что кажется непонятным и чуждым, и одновременно это поиски себя в той «игре между реальностью и ее тенью — фантазией», как выразился один из современников Остина Райта.



Я НАЗНАЧЕН КОНСУЛОМ В ОСТРОВИТАНИЮ

В 1901 году среди старшекурсников Гарварда было принято приглашать новичков на так называемые «пивные вечера», где к пиву, а также к имбирному элю (для тех, кто не любил пива) подавались крекеры и сыр. На один из таких вечеров вместе с достаточно разношерстной компанией соучеников был приглашен и я. Вопреки мнению старшекурсников, мы ясно ощущали разницу между собой, и, поскольку у каждого были свои претензии на положение в обществе, все мы боялись случайно быть замеченными в недостойной компании; одновременно в нас твердо укоренилось мнение, что одна из главных вещей в жизни — это дух профессиональной и товарищеской сплоченности, и чем больше знакомств удастся завести, тем дух этот будет в тебе крепче. Таким образом, каждого из нас раздирали противоречивые чувства, хотя мы не отдавали себе в этом ясного отчета, да и те, кто нас пригласил, вряд ли об этом догадывались. Не находя общих предметов для разговора, который мог бы нас сблизить, мы чувствовали себя скованно и неловко.

Словоохотливый молодой человек в очках вполне дружелюбно обратился было ко мне, но тут же обмолвился, что он — выпускник местной средней школы. Я поспешил ретироваться, но выяснилось, что гораздо хуже оказаться в полном одиночестве, чем быть замеченным в неподобающем обществе. Я начинал уже сильно жалеть, что пришел.

Тем не менее еще один из приглашенных был, как мне показалось, в подобном же незавидном положении. Это был высокий, более шести футов ростом, крепко сложенный молодой человек. Черты его лица, красноватого, обветренного, слишком резкие, чтобы их можно было назвать симпатичными, одновременно дышали силой и привлекали внимание, причем особенно выделялись круто и в то же время плавно изогнутые брови; густые каштановые волосы, разделенные пробором посередине, в темноте могли показаться черными; карие глаза блестели на фоне исключительно ярких белков; у юноши был мужественный рот и крепкий подбородок с едва заметной ямочкой. Поскольку выглядел он вполне по-спортивному, я решил, что ничем не скомпрометирую себя в глазах общества, и, набравшись храбрости, подошел и заговорил с молодым человеком.

Голос у него был глубокий и сильный, и, хотя говорил он по-английски совершенно чисто, удивляла тщательность, с какой он произносил каждый гласный и согласный звук. Я был несколько смущен необычностью его выговора.

— Добрый вечер, — обратился я к юноше. — Вы тоже новичок?

— Дорн, — ответил тот. — Мое имя Дорн. Да, я новичок.

— А меня зовут Ланг.

— Ланг, — повторил молодой человек, обнажив в широкой улыбке крепкие белые зубы. — Похоже на одно из наших имен. Зато многие ваши имена даются мне с трудом.

— Разве вы не американец? — спросил я и, желая сделать ему приятное, добавил: — Вы очень похожи.

— Нет. Я из Островитянии.

Голос его, хотя и не громкий, прозвучал на всю комнату. Среди присутствующих пробежал шумок, и многие лица обернулись в нашу сторону. Никто из нас никогда не видел представителей этого народа. Мы знали только, что Островитяния расположена на южной оконечности Карейнского континента, лежащей напротив Антарктиды, что населена она малоизученной народностью, предположительно кавказского происхождения, возможно, с примесью еще какой-то неизвестной крови, что островитяне — язычники, враждебны по

отношению к иностранцам и что они изгнали из своей страны пытавшихся обосноваться в ней еще в сороковые годы миссионеров; в наших школьных учебниках по географии Островитянии тоже уделялось всего несколько строк: управляется феодальной олигархией, основной род занятий — сельское хозяйство, отсталая по культуре и обычаям, торговли не ведет.

Чувствуя, что на нас устремлено множество взглядов, я понял, что частной беседы не получится, и стоял в крайнем изумлении, не зная, что предпринять дальше. Аура чего-то далекого и чуждого окружала Дорна. Неожиданная пауза, впрочем, отнюдь не привела его в такое замешательство, как меня. Он был по-прежнему невозмутим, с легкой и непринужденной улыбкой на губах.

Один из старшекурсников, услышав голос Дорна и оглядев его с ног до головы, подошел к нам. Наш курс не слишком жаловали, потому что мало кто из нас, новичков, мог считаться подходящей кандидатурой для университетской футбольной команды. Этот юноша, завзятый спортсмен, как раз и подыскивал «свежий материал». Поэтому, подходя к Дорну, он без обиняков спросил, играл ли тот когда-нибудь в футбол. На ответ Дорна, что он впервые слышит об этой игре, последовало незамедлительное возражение, что скоро его всему научат и что человек с его физическими данными просто обязан перед своими коллегами и сокурсниками помочь составить хорошую команду.

— Я не хочу играть в футбол в этом году, — сказал Дорн.

— Но это не причина, — заявил старшекурсник. — Если у вас есть какая-то другая, более серьезная, я хотел бы ее узнать.

— Других причин у меня нет, — прозвучал чистый, сильный голос Дорна. Поскольку недостатка в аудитории не было, старшекурсник, начав издали, принялся поучать нас относительно наших обязанностей перед коллегами и сокурсниками, и, надо сказать, у него это неплохо получалось. Дорн между тем подошел к хозяину комнаты, где проходил вечер, попрощался и ушел как ни в чем не бывало.

Ни на минуту не сомневаясь в правильности всего, что говорил старшекурсник, я все же чувствовал, что он был слишком резок по отношению к иностранцу, и с тех пор всякий раз, как мне приходилось видеть Дорна, я не упускал случая раскланяться с ним, сдержанно и без тени улыбки, как то принято у студентов-новичков Гарварда, но ни разу не заговаривал с ним.

Тем не менее после Рождества, когда футбольные страсти уже отошли в прошлое, я предпринял волнующую и невообразимую для себя вещь — решил прогуляться один, и у Френч-понда встретил Дорна, в одиночестве шедшего по берегу широкими шагами.

Он улыбнулся мне. Я же колебался: с одной стороны, он был моим сокурсником, с другой — с ним невежливо обошлись, и, наконец, он был просто человеческим существом, то есть моим ближним. Назад, к колледжу, мы шли уже вместе, так и началось наше знакомство.

Мы немного поговорили об учебных делах, потом о случае, который дал нам возможность познакомиться, и вдруг я, неожиданно для себя самого, сказал, что очень сожалею, что в тот вечер старшекурсник разговаривал с Дорном в таком тоне. Дорн выслушал меня настолько невозмутимо, что я подумал, уж не оскорбил ли я его или, может быть, затронул какую-то глубоко волнующую его тему.

— Но разве я не нарушил ваших обычаев? — спросил Дорн.

В ответ я попытался оправдать старшекурсника, который повел себя, как практически любой на его месте, но объяснил, что, хотя все, что он говорил, было правильно, однако я думаю, что всякий человек имеет право сам, в соответствии со своими желаниями, решать, заниматься ему спортом или нет.

— Значит, вы считаете, я не сделал ничего, что противоречило бы вашим, американским, обычаям? — снова спросил Дорн.

Вопрос показался мне любопытным.

— Вы не сделали ничего дурного, — сказал я.

— Разумеется, нет! — ответил Дорн почти сердито.

— Лучше, если бы вы объяснили причину отказа, — сказал я. — Тогда никто не смог бы вас упрекнуть. Но вы сказали только, что просто не хотите играть в футбол.

— Разве этого не достаточно, чтобы понять, что у меня есть причина?

— Вряд ли достаточно.

— Причины?.. Я открою их вам.

И он стал говорить о том, какой трудной оказалась его работа и как мало оставалось у него свободного времени, о том, что он приехал в Америку изучать американскую цивилизацию и обычаи и, как он полагал, лучший способ сделать это — учеба. Я заметил, что, работая в одиночку, неизбежно сужаешь круг исследования.

Наше знакомство переросло в дружбу. Мы не всегда понимали друг друга, но вскоре обнаружили, что в конце наших долгих бесед нам удавалось достичь, возможно, самого ценного — облегчающего душу чувства взаиморасположенности.

Летом Дорн уехал в Англию повидаться со своим дальним родственником, учившимся в Оксфорде. Осенью мы встретились снова, и он сказал, что последует моему совету и не станет ограничиваться работой в уединении, а, пожалуй, займется еще и спортом. На футбольном поле он показал себя ловким, прекрасно двигался, отличался незаурядной выносливостью и понимал все тонкости игры. Первую свою встречу он провел в конце октября. «Гарвард Кримэн» писала о его манере как о «жесткой, но мощной». Тренеры были в восторге. Он ни разу не получал травм и ни разу не удалялся с поля за грубость. Три года он играл в полузащите и был самым сильным игроком этой линии. Наши противники называли его «дикарем» и не могли скрыть удивления по поводу того, что он играет так чисто. Впрочем, он не воспринимал футбол слишком всерьез и не ограничивал круг своих знакомых одними спортсменами; у него по-прежнему оставалось время для прогулок и бесед со мной, человеком как никто далеким от спорта. Мало-помалу он стал рассказывать и об Островитянии, но большая часть наших разговоров все же касалась Америки и ее проблем. Он занимался историей и экономикой, я — литературой и языком, но он был настолько несведущ в самых элементарных вопросах, что подчас я оказывал ему помощь в его работе.

На предпоследнем курсе мы жили в одной комнате еще с двумя студентами, причем все были в самых приятельских отношениях. Год этот был для меня удачным: я добился кое-каких литературных успехов, завел немало новых знакомств, да и работы было не слишком много.

Ранней весной Дорн затосковал по родным краям. Ему нравилось, как можно больше набрав воздуха в легкие — так, словно он хотел, чтобы они лопнули, — барабанить себя по груди, извлекая гулкий звук и непрестанно при этом улыбаясь. Я испытывал сильное желание последовать его примеру и назвал это весенней лихорадкой. Дорну мое выражение понравилось, но он сказал, что, скорее, это сельская лихорадка, и спросил, есть ли вообще в Соединенных Штатах усадьбы, куда мы, городские жители, могли бы время от времени выбираться. Я вспомнил о маленькой ферме, принадлежащей одной из моих теток и расположенной неподалеку от Адамса, на окраине Беркшира. Тетка пригласила меня навестить ее, и мы с Дорном отправились погостить на ферме несколько дней.

Тетя Мэри была человеком прямодушным, даже грубоватым, хотя на практике ее суждения часто оказывались более резкими, чем поступки. Ее манеры постоянно приводили Дорна в недоумение. Почти сразу после приезда он предложил помочь чем-нибудь по хозяйству. Тетя восприняла это как «студенческие штучки» и, чтобы испытать Дорна, предложила ему наколоть дров. Он быстро справился с этой отнюдь не легкой работой и опять явился к тетке с просьбой

дать ему новое задание. Тогда она поняла, что он действительно хочет работать. Скоро она стала делиться с ним всеми хозяйственными заботами, он же всегда давал ей дельные советы. Когда мы уезжали, было видно, что он наконец спокоен и тихо радуется всему; единственное сильно удивило его: тетя Мэри, поцеловав его на прощанье, сказала, что если она последует всем его советам, то наверняка разорится. Дорн встревожился и переживал из-за слов тетки до тех пор, пока я не объяснил ему некоторые особенности новоанглийского юмора.

Настало лето. Дорн ездил гостить к нашим однокашникам; от приглашений не было отбоя, поскольку он считался самой выдающейся личностью на курсе. Мое будущее представлялось неясным: окончив программу за три года, я никак не мог решить, заниматься ли еще год литературой, чтобы потом стать учителем, либо перейти на правописание. Ни одна из этих перспектив меня не прельщала.

В августе мы встретились в Портленде и пустились в плавание вдоль побережья штата Мэн в специально нанятой шлюпке. Шесть недель провели мы в плавании, время от времени делая остановки то здесь, то там, причем Дорн чувствовал себя на нашем новоанглийском суденьшке как дома. Штили сменялись туманами и сильными ветрами. Солнце прокалило нас дочерна; изморось, дождь и туманы пропитали нашу кожу. Мы приставали к берегу только затем, чтобы пополнить запасы и поразмяться; в остальное время нам не давало скучать бесконечно изменчивое море. Все вместе привело меня в странное, еще не знакомое расположение духа: я постоянно чувствовал рядом какую-то живую, необъятную стихию и в то же время был скован счастливой дремотой, мешавшей понять, что же со мной происходит. Часто, словно состязаясь с воем ветра, шумом волн и скрипом рангоутов, я во весь голос распевал обрывки знакомых мелодий, а Дорн, лежа на спине у наветренного борта, между леером и комингсом, тянул свои песни, непривычные для моего слуха, но звучащие в лад глуховатому рокоту моря. Временами меня охватывала дрожь неожиданного волнения. Море то и дело сбрасывало обманчиво ласковую личину, показывая свое истинное, суровое лицо. Но это меня не смущало. Собственная жизнь казалась мне ничтожно малой. Я был доволен, и в то же время меня постоянно снедало лихорадочное беспокойство.

Иногда мы проводили целые часы в молчании, но часто вдруг вспыхивал горячий, открытый разговор, и мысли стремительно мелькали в голове, обгоняя слова. Поначалу я, думая только о себе, спешил раскрыть перед Дорном самые сокровенные глубины своего существа, чего не делал никогда раньше, и всякий раз встречал теплую симпатию и выслушивал трезвый совет. Наконец я устыдился своей откровенности и заставил себя замолчать. Настал черед Дорна, но если я исповедовался в своих личных проблемах, то все, что говорил он, носило, скорее, безличный характер; ему хотелось рассказывать не столько о себе, сколько о своей стране.

Оказалось, что его родственник, молодой Мора, учившийся сейчас в Оксфорде, был сыном одного из ведущих политиков Островитянии — лорда Мора XXV, премьер-министр, был очень влиятельной и сильной политической фигурой. Его взгляды, как и взгляды его предков, представляли прямую противоположность взглядам рода Дорнов, и оба дома неоднократно сталкивались на протяжении веков. И хотя мой спутник и не высказал своих опасений вслух, я догадался, что он обеспокоен возможностью подобного столкновения в будущем.

Начиная с древности островитяне жили под постоянной угрозой, подвергаясь набегам народов с севера: многочисленных негритянских племен, диких и кровожадных, и более цивилизованной, заселявшей узкую прибрежную полосу народности карейн, образовавшейся в результате смешения негров и арабских поселенцев, появившихся после Хегиры. До последнего времени более опасными были карейны, но за последние пятьдесят лет они подпали под

влияние Англии, Германии и Франции, что заставило наиболее пылких вождей обратить свою неуемную энергию на внутренние дела и на подавление чернокожих. Политика Островитянии носила оборонительный характер и была направлена на защиту собственных интересов. Когда-то ее границы были строго определены, но впоследствии островитяне всегда предпочитали укрываться за окружающими их страну неприступными горами. По мнению Дорна, так следовало действовать и в дальнейшем. Однако недавно Мора начал крупную военную кампанию против чернокожих и их карейнских предводителей, длившуюся уже второй год и неуклонно близившуюся к победному концу. Война в Островитянии постоянно занимала мысли Дорна — отчасти потому, что многие из его друзей подвергались опасностям военного времени, отчасти потому, что он старался предугадать, к каким политическим последствиям может привести война. Тревога его была тем больше, что за землей, по которой продвигались сейчас войска Мора, алчно следила Германия. Мне, однако, трудно было понять до конца, что же так волнует моего друга.

— Политические контакты всегда складывались для нас неудачно, — сказал Дорн.

— Но чего ты боишься? — спросил я. — По-моему, ни одна из мощных европейских держав не собирается нападать на Островитянию.

— Я боюсь не войны, — ответил он, — я боюсь того, что Мора и его сторонники могут изменить нашу жизнь, сделать нас непохожими на самих себя, а мы не сможем этому противиться из-за всех этих политических контактов.

Смутное объяснение источника его страхов показалось мне совершенно безосновательным. Ведь разве существует в мире хоть одна страна, которая бы не испытывала перемен? Разве перемены эти не были неизбежны и разве не служили они истинным признаком прогресса?

— Ты неисправимый консерватор, — сказал я.

Дорн на мгновение задумался.

— Конечно, — ответил он с некоторым удивлением в голосе и, улыбнувшись, растянулся на палубе и принялся негромко напевать, вторя морскому гулу.

Часто Дорн испытывал необходимость поговорить на родном языке и читал мне вслух нерифмованные и рифмованные стихи или рассказывал притчи, переводя их на английский по ходу рассказа. Так я познакомился с Бодвином, писавшим в четырнадцатом веке. Годы учебы в колледже обострили мое литературное восприятие. Мне нравилось все новое и непривычное, и мне страстно захотелось прочесть Бодвина в оригинале. Знание его работ, недоступное моим коллегам, могло бы стать предметом особой гордости. И я призадумался — не заняться ли мне изучением островитянского языка.

И так, пока мы плыли по заливу Мэн, огибая бесконечные острова и островки, встававшие, подобно лесистым заслонам, из глубины темных вод, Дорн начал учить меня своему родному языку, в котором не было ни склонений, ни спряжений, ни наклонений, ни времен, ни даже родовых различий, за исключением тех случаев, когда этого требовала разница полов. К концу плавания я достиг ощутимых успехов. Я даже начал сам понемногу разбираться в Бодвине и обнаружил, что чтение это гораздо более интересное и серьезное, чем просто повод покрасоваться перед будущими литературоведами. Его притчи совершенно отличались от всего, с чем мне приходилось сталкиваться раньше, — полные юмора, мудрые, овеянные стариной и тем не менее исключительно современные и содержащие тонкую мораль, свободную от каких-либо догм. Весь следующий год, взяв у Дорна дюжину томиков, изданных в Островитянии, я уделял им даже, пожалуй, больше времени, чем следовало, торя свой собственный путь сквозь хитросплетения бодвинских притч и улучшая свой навык чтения по-островитянски.

Наше плавание подошло к концу после недели сильных и коварных северо-западных ветров, заставивших нас в полной мере хлебнуть опасностей и треволнений. В конце концов я

решил перейти на правоведение, а Дорн начал свой последний учебный год, продолжая играть в футбол.

За три дня до игры с йельской командой он сказал мне, что получил письмо от своего двоюродного дедушки с просьбой немедленно вернуться в Островитянию и что он собирается отбыть вечером, сразу же после игры. Я был растерян и ошеломлен и посадил его в поезд в Нью-Хейвене, где мы и распрощались.

С отъездом Дорна у меня словно отняли какую-то важную часть моей жизни. Я не мог до конца поверить, что больше никогда не увижу его, хотя рассудок и твердил, что это именно так, поскольку Дорн был уверен, что вряд ли вернется в Америку, и казалось совершенно невероятным, что я когда-нибудь смогу разыскать его. На вокзале в Нью-Хейвене мы простились быстро и молча, и я почувствовал, что не могу вымолвить ни слова. Когда я шел обратно, слезы стояли у меня в глазах, и мне пришла в голову мысль о том, уж не превратился ли я в одного из таких наивных и слезливо-восторженных обожателей. Прошло совсем немного времени, а Дорн уже казался далеким и чуждым. Причиной его отъезда, я не сомневался, была политика. Именно она влекла его — аристократа, еще совсем юного, почти мальчика, вряд ли могущего что-либо изменить, — в края, для меня недоступные.

После отъезда Дорна в душе у меня стало пусто, и мне не удавалось заполнить эту пустоту даже работой. Сознывая, что в Школу правоведения я, как и многие другие, попал просто плывя по течению и что у меня не было настоящей склонности к какому-либо роду занятий, поскольку сегодня меня увлекало одно, а завтра — другое, я ощутил себя вполне никчемным человеком. Унылая картина, рисовавшая мне самого себя безнадежно запутавшимся в тенетах юриспруденции, сводила на нет весь мой энтузиазм и в отношении других, более соблазнительных жизненных путей. Этот год был одним из самых мрачных, и к концу его я еще более остро почувствовал, как жалко мое положение. Все усилия направить свои интересы в какое-то одно русло потерпели крах.

В довершение разброда, царившего в моих полуюношеских, полумужских ощущениях, я влюбился. В моей любви было много ребяческого, и меня не покидало смутное чувство вины, словно я позволял себе то, на что мог иметь право только вполне зрелый и уверенный в себе мужчина. Я пылко увлекся девушкой по имени Мэри Джефферсон, которая была моложе, но гораздо более зрелой, чем я, и влечение к ней было настолько сильным, что я подумал, будто в мою жизнь и впрямь пришло что-то «настоящее». Так много времени и сил уходило на мысли о ней, на ухаживание за ней, что весенние экзамены свалились на меня как снег на голову. И поэтому, когда она в довольно резкой форме, прервав на полуслове мои излияния, отвергла меня, как отгоняют назойливого ребенка, я почувствовал почти облегчение.

После пережитого я до боли почувствовал себя неоперившимся, зеленым юнцом и втайне завидовал взрослым мужчинам. Дядя Джозеф привел меня в еще большее уныние, неожиданно подвергнув критике мой «выбор» профессии и на все лады восхваляя деловых людей современной Америки. Вот они, говорил дядя, действительно делают дело. Эти люди, продолжал он, бросают вызов судьбе; дни, когда самые светлые головы обращались к юриспруденции, прошли, и тому подобное. Он сильно поколебал мою и без того шаткую позицию, но я все же еще долго сомневался, устраиваться ли мне к нему на службу. Моя гордость восставала против любой сферы деятельности, в которой начальство могло третировать подчиненных, как малых детей, только потому, что лучше знало какую-то одну, обособленную сторону жизни. Но мой красноречивый и полный неумемной энергии дядя нарисовал передо мной такую картину развития коммерции, торговли с неведомыми, экзотическими странами, которая распалила мое воображение, как ни одна из профессий до того. Он играл на моем патриотизме, скрытых амбициях и самомнении, и я видел себя ведущим свои собственные

корабли, нагруженные сверхдешевыми товарами, произведенными на моих же фабриках в Америке, по всем морям и океанам. Затем — полновластный хозяин торговли и финансов — я протягивал руку помощи бросившей меня очаровательной юной леди, спасая ее от унижительной нищеты, постигшей ее за то, что она поспешила отказаться от предложения, которого я вовсе и не собирался ей делать.

Все лето я проработал у дяди Джозефа кем-то вроде секретаря. Однажды он мимоходом заметил, что есть место, которое могло бы меня устроить, и спросил, не знаю ли я случайно островитянского.

Я ответил, что слегка знаком.

— Ты один из немногих людей в Америке, кто знает этот язык, — сказал дядя. — Если тебя хорошо рекомендуют, ты сможешь получить место консула в недавно открывшейся миссии. Это было бы неплохо для начала.

Я сильно удивился, поскольку хорошо знал от Дорна, что Островитяния не принимала у себя и сама никуда не посылала дипломатических представительств. Дядя, пожурив меня за мое невежество, объяснил, что в прошлом октябре, то есть примерно год назад, премьер-министр Мора заключил с Германией договор наподобие договора Перри с японцами. ^[1] Я тут же вспомнил о Дорне, покинувшем колледж месяц спустя. Совершенно очевидно, что причиной его отъезда и был договор, заключенный Морой. Премьер-министр, таким образом, дал поручительство в том, что его страна примет дипломатов из Англии, Германии, Австрии, Италии, России, Франции и Соединенных Штатов и разрешит въезд в страну небольшому числу коммерсантов на срок в два года и девять месяцев, то есть вплоть до июня 1907 года, и пообещал, что по истечении этого времени, если не раньше, правительство разрешит вопрос о заключении в полном объеме торговых договоров с вышеназванными странами. До тех пор, однако, старые законы, запрещающие торговые сношения и ограничивающие число иностранцев, посещающих Островитянию, должны были оставаться в силе.

— Наши бизнесмены, — сказал дядя Джозеф, — так же мало понимают, что это значит, как и ты. Там же замечательный рынок. Их методы ведения сельского хозяйства — на примитивном уровне, а теперь их фермеры, которые копаются в земле, как кроты, получают возможность использовать современную технику. Швейные машинки! Автомобили! Сейчас во всей стране нет ни одного. У них богатые месторождения золота, и они вполне смогут платить даже по самой высокой цене. К тому же у них лес, и у них руда, которую они могут поставлять в неограниченных количествах. Это хороший шанс, мой мальчик. Даже если нам придется подождать несколько годков, мы обскочим всех других, если будем знать, что там происходит. Конечно, вряд ли тебе захочется всю жизнь оставаться консулом. Когда торговые договоры будут заключены, да еще учитывая твое знание страны, всякий будет рад предложить тебе место агента. Надо будет мне об этом подумать. — Да, таков был обычный метод дяди Джозефа... — Став консулом, ты сможешь проводить почти все время, общаясь с людьми и прощупывая почву. Тогда твоим отчетам цены не будет. Ты начнешь закладывать основы! В этом деле заинтересован не только я. И за нами стоят люди из Вашингтона, которым не хотелось бы отправлять туда человека, не знающего языка и могущего не выдержать испытания. Итак, Джон, настал твой час!

Однако я, даже отчасти против своей воли, никак не мог решиться и промямлил что-то насчет того, что у меня не хватит знаний и способностей. Дядя немедленно возразил, что я зря ломаю перед ним комедию и что все равно мое назначение еще пока висит в воздухе.

Тут было над чем призадуматься. Перспектива стать консулом в Островитянии произвела на меня действие, похожее на глоток крепкого напитка, но было что-то настораживающее в том тоне, каким дядя Джозеф говорил, что я всегда должен буду помнить, кому я обязан своим

предполагаемым назначением, и что мне придется, пусть и косвенно, дать понять, что помню о своих обязательствах, прежде чем он начнет действовать. Иными словами, мне как бы предоставлялся испытательный срок и я должен был доказать свое желание и способность быть слугой двух господ. После недолгого раздумья я окончательно уверился в том, что именно здесь — причина моего инстинктивного нежелания принять предложение дяди.

В течение нескольких последующих месяцев я оставался при дяде, окончательно оставив занятия правом. Со своими обязанностями секретаря я справлялся очень и очень неплохо, но что касалось консульской будущности, то в этом направлении я не проявлял особой настойчивости и энтузиазма. Правда, пьянящая мысль не покидала меня, однако вряд ли кто-нибудь мог заметить это по моему поведению.

Дядя Джозеф тем не менее втайне от меня уже предпринял кое-какие шаги и в июне отправил меня в Вашингтон, где мне предстояло пройти испытания, к которым я был достаточно подготовлен. В июле я узнал, что зачислены все кандидаты, и это было для меня немалым сюрпризом, ведь почти никто из них не знал островитянского. Дядя Джозеф объяснил мне, что на этих экзаменах еще никто никогда не провалился, и если я думал, что назначение получают самые достойные, то сильно заблуждался.

Со дня первого нашего разговора прошло уже так много времени и я настолько приуныл, что перспектива попасть в Островитянию казалась мне несбыточной, и теперь это была единственная возможность устремиться вослед меркнувшему огоньку надежды. Канцелярия дяди наводила тоску.

В середине октября я был извещен Министерством иностранных дел о назначении на должность консула и о том, что мне предстоит приступить к своим обязанностям с первого числа будущего, 1907 года. На дорогу уходило около шести недель, так что в моем распоряжении оставалось не более месяца. Нового претендента должны были избрать сроком не более чем на два года, и, таким образом, мне предстояло провести как минимум восемнадцать месяцев в дальнем уголке земного шара. Время это казалось мне вечностью. Я уволился от дяди Джозефа и в течение месяца изучал расписания, покупал все необходимое и наносил трогательные прощальные визиты. Прощаясь с большинством из близких, я понял, что на самом деле без особой печали расстанусь со всеми, даже со своей семьей. С другой стороны, я сожалел о том, что долго не увижу ни одной своей сверстницы-американки. Говоря «прощай» каждой из тех, по ком я в последнее время вздыхал, я чувствовал, как гнетет меня сознание упущенной, причем по собственной вине, любви. Любовь или, вернее, возможность любви — вот что казалось мне в эти минуты единственной отрадой.

Была одна девушка, очень милая, еще не «выезжавшая», такая юная, что казалась слепком, только что вышедшим из рук ваятеля. Глэдис Хантер была еще почти ребенком, и ее взгляды на мир казались лишенными всяких покровов в своей откровенности и простоте. В ней не было ни капли жеманства, и характер ее представлял сплав беспристрастности и энергичности. Мне нравилось глядеть на ее стройную, изящную фигуру, еще одетую в короткие, как у девочки, платья, на ее тонкие юные руки, длинные, правильной формы ноги, ее наивные большие карие глаза и свежие решительные черты лица, и в ответ на ее искренность и простоту я тоже старался держаться открыто и непринужденно. Я познакомился с ней совсем недавно, и мне не хотелось терять ее так скоро. Через два года она уже вырастет и начнет «выезжать». Возможно, мне льстил ее жадный интерес к Островитянии и в особенности то чутье и вкус, с которыми она относилась к так пленявшим меня расписаниям. Когда настало время прощаться с ней, я почувствовал, что едва держу себя в руках.

— Вы не против, если я иногда буду писать вам? — спросил я. Она посмотрела на меня

пристально и с удивлением, в котором — я понял это и почувствовал мгновенный прилив радости — не было ничего наигранного и ложного.

— Конечно, — сказала она и добавила: — Если только мама не будет против, а я думаю, что не будет.

Дядя Джозеф не уставал поучать меня величественным тоном коронованной особы, которой немислимо прекословить, но обращался со мной как с равным. Он устроил тщательно продуманный завтрак, на который, чтобы познакомиться со мной, были приглашены многие важные особы. Он как никогда строго следил за моим поведением, хотя я и так всегда полностью находился под его влиянием. То и дело звучали намеки на то, что двери наконец должны во всю ширь распахнуться перед потоком американских товаров. Дядя Джозеф и его друзья держали руку на пульсе этого жизненно важного процесса. Передо мной, совсем еще молодым человеком, стояла вполне определенная задача — открывать новые поприща, на которых смогли бы прославиться и преуспеть мои соотечественники и вся мировая торговля, и затем, в сознании своей мощи, ожидать достойной награды за первопроходческие труды, искусно совершенные в соперничестве с двумя не менее искусными противниками — Англией, угасающей, но все еще сильнейшей, и Германией, растущим гигантом.

Надеждам моего дяди на то, что консул Соединенных Штатов в Островитянии будет предан интересам его дела, вряд ли суждено было сбыться, так как по разным причинам и без особых усилий со своей стороны я был не способен посвятить себя чьим бы то ни было частным интересам; однако, если бы ему открылось мое состояние духа накануне отъезда, он был бы в восторге. Я как никогда раньше ощущал себя американцем, я решил наконец послужить своей стране, и я искренне верил, что лучший способ сделать это — расширить ее внешнюю торговлю.

Подобные настроения и мысли причиняли мне жестокую боль. Дорн пробудил мой интерес к Островитянии, и ему же я был обязан знанием островитянского, которое, безусловно, помогло мне получить место консула. И вот теперь я не просто отправляюсь в его страну как представитель политики, противоположной всему, что, как он считал, должно было послужить ее благу; моя твердая решимость следовать по пути, который отстаивали его противники, была едва ли не предательством нашей дружбы. Я не писал ему о том, что приеду: мне не хотелось упоминать об ожидавшемся назначении, ведь, если бы оно не состоялось, пришлось бы объяснять, почему это произошло. Теперь, уже в должности консула, я медлил, потому что не знал точно, что написать. А потом было уже просто поздно. Я боялся вновь увидеть лучшего друга своей университетской поры, и это омрачало мою радость. И все же мысль о том, что я увижу его, составляла потаенную суть моего счастливого ожидания, и именно он больше всего остального влек меня в Островитянию.

Английский маршрут в Островитянию позволял посетить принадлежащую короне колонию Св. Антония. Я заказал у Кьюнардера билет до Ливерпуля, а затем поездом добрался до Лондона, где провел шесть дней в мелких хлопотах, представляя рекомендательные письма дяди и одновременно беззаботно и с удовольствием наблюдая за жизнью этой древней и пропитанной торговым духом столицы. 7 декабря 1906 года экспресс, согласованный с пароходным расписанием, умчал меня в Саутгемптон. Там, на борту парохода Восточной пароходной компании, следовавшего в Св. Антоний, я наконец очутился один, полностью предоставленный сам себе на долгое время в ожидании момента, когда я лицом к лицу встречу с будущим, в котором опыт прошлых лет вряд ли сможет послужить мне проводником.

Мне пришлось часто бывать в одиночестве во время долгого, неспешного путешествия, но перспектива провести девятнадцать дней в море восхищала меня. Пока мы двигались на юг, все времена года пронесли над нами. Короткие, пасмурные дни, длинные ночи и суровая зимняя стужа сменились тропической жарой и слепящим солнцем. Одетые во фланелевые куртки и белые брюки, мы сидели в шезлонгах на палубе, а корабль скользил по голубым волнам, и солнце по пологой траектории смещалось к северу. Иногда мне казалось, что год вращается вокруг меня, подобно карусели, и только усилием воли я заставлял себя вспомнить, что по календарю все еще декабрь.

Жизнь превратилась в летаргическое забытие, и я ему не противился. Сладкая лень пропитала каждую мышцу, каждую клетку моего тела. Ум бездействовал, и даже читать не хотелось. Часами просиживал я в своем шезлонге, следя за тем, как линия горизонта, тяжело вздымаясь, показывается над леером и снова, как бы с неохотой, скрывается из виду.

Однако Св. Антоний неотвратимо близился. По мере того как мы двигались вдоль карейнского побережья, я постоянно ощущал там, за горизонтом, его присутствие и все обязанности, которые оно на меня накладывало.

От своих попутчиков я многое узнал о прошлом колонии. Св. Антоний был захвачен англичанами, чтобы помешать какой-либо другой европейской державе овладеть им первой и устроить здесь свою базу. Английское владычество постепенно распространялось к югу, пока не был сделан последний шаг, и, объявив Мобоно своим протекторатом, англичане вплотную не приблизились к горным границам Островитянии. К северу лежал Кальдо-Бэй, где почти постоянно царил мертвый штиль; войдя в залив, мы медленно плыли вдоль бесплодных, выжженных и абсолютно пустынных берегов. Впрочем, в последнее время этот малоизученный край привлек к себе внимание; первыми на эту приманку клюнули немцы: поговаривали о том, что недра здесь богаты полезными ископаемыми.

Все это чрезвычайно интересовало меня. Я находился на краю великой империи и на деле, в жизни знакомился с проблемами, сухо изложенными на страницах исторических трудов.

На Рождество стояла влажная, удушливая жара, и поверхность моря тяжело перекачивалась, не тронутая ни малейшей рябью. У меня на родине в этот день всегда бывало морозно и снежно, и мы почти не выходили на улицу. Здесь же, лениво расслабившись, мы полулежали в расставленных на палубе складных креслах, укрывшись в тени защиты от лучей добела раскаленного светила и от слепящего блеска волн. В честь праздника был устроен тщательно продуманный ужин и концерт. Тяжелая еда, вино, навевающие грусть мелодии и неотвязные мысли о грозных заботах грядущего дня — все это вместе привело меня в

возбужденное состояние. Ложась спать, я чувствовал себя одиноким и потерянным, а собственные силы казались недостаточными, чтобы вступить в схватку с поджидающими меня трудностями. Холодный голос рассудка пытался убедить меня в том, что действительных препятствий на моем пути нет, но я никак не мог побороть внутренней робости.

Тем не менее утром, зная, что земля близко, я проснулся со жгучим желанием увидеть ее во всей новизне и непривычности, и вот после завтрака я наконец узрел, впервые узрел карейнский берег, показавшийся вдали, примерно в тридцати милях. Сквозь белесую туманную дымку смутно маячило как бы некое бескрайнее поле, окрашенное в нежно-коричневые, желтые и зеленые цвета, раскинувшееся у подножия окутанных туманом серо-стальных гор. На этом прибрежном плато есть две долины, которые переходят в узкие обрывистые ущелья, резко поворачивающие навстречу друг другу и не имеющие выхода к морю. В северной долине, в самой укромной ее части, и расположен скрытый от взоров Св. Антоний.

Когда мы приблизились к берегу, все пассажиры собрались на палубе, замороженные открывшимся зрелищем. Просеиваясь сквозь белую дымку, солнечные лучи делали воздух влажным и теплым. Скалы мерцали, обрамленные полосой жгучих, ярких красок. Вершины были сложены из крепкого изжелта-коричневого известняка, ниже шли слои более мягких пород, и, наконец, крутая осыпь спускалась почти к самому краю бледно-голубой воды.

Небольшой буксир подошел к нам, и я впервые увидел «агнца Божия» — так жители Св. Антония называют себя. Матросы и стюарды были светлыми мулатами с большими карими глазами и мягкими, изящными чертами строгих, безулыбчивых лиц. Тип этот восходит к незапамятной древности и представляет собой помесь белого человека, возможно близкого к тем, кто когда-то населял Островитянию, и чернокожих, обитавших в глубине континента. История повествует о том, что, когда в Карейн впервые прибыли христиане, белые и чернокожие жили по отдельности, но потом, буквально восприняв догму о братстве всех людей, стали вступать в смешанные браки, видя в этом высшую добродетель, и уже через несколько поколений остались лишь немногие, в чьих жилах текла чистая кровь.

Все пассажиры нашего судна, теснясь, столпились у сходней. Сойдя на берег после короткого, не очень придирчивого таможенного досмотра, мы заняли места в составе из крошечных открытых вагончиков. Прозвучал высокий протяжный гудок, и, отчаянно дернувшись, состав тронулся. Дорога сразу же круто взяла вверх. Мелькнув, скрылись из виду крыши пакгаузов, и мы оказались в ущелье, внизу которого бежал бурный поток. Первые минуты невозможно было справиться с ощущением, что ты вдруг оказался в самом сердце диких, необитаемых гор. Высоко над нами, скрывая солнце, вздымались рыжеватые отвесные скалы; воздух был холодный; вагончики раскачивались, скрипуче взвизгивали и скрежетали на крутых поворотах; и ни единого следа живых существ, помимо нас, не было видно кругом.

Ущелье стало суживаться и приобрело еще более угрюмый, почти зловещий вид. Но вот каменные стены оборвались, и за ними, как за огромным скалистым порталом, открылась широкая «У»-образная долина. По ее плавно поднимающимся склонам тянулись террасами деревья, кустарники, сады, полосы темной земли, круто уходящие вверх грунтовые дороги; здесь и там были разбросаны приземистые дома из бурого камня. Снова пекло солнце, и воздух был плотным и влажным. Через несколько минут поезд резко затормозил у платформы небольшого вокзала, расположенного между рекой и рядом приземистых лавок. По улицам двигались толпы местных жителей; на мужчинах были темно-синие мешковатые брюки и грубые куртки свободного кроя, на женщинах — темные платья из сурового полотна. Воздух был пропитан пресловутым запахом здешних мест — запахом толпы и подгнивших овощей. Сопровождаемый носильщиками, я проталкивался сквозь теснящихся на мостовой, лениво прогуливающих, безразлично-любопытных горожан. По узким крутым улочкам виктория, [2]

которую я нанял, доставила меня в гостиницу — приземистое здание весьма почтенного и осанистого вида, с большими верандами и садом.

С каким удовольствием поручил я себя расторопным слугам и, пройдя в свою комнату, опустил усталое, покрытое липкой испариной тело в глубокое кресло!

Позавтракав в одиночестве на террасе гостиницы, я вернулся в комнату, чувствуя себя по-прежнему разбитым. Визит к представителю Островитянии был тяжким испытанием, которое мне хотелось по возможности оттянуть, чтобы поваляться в постели и перевести дух. Не было особого резона идти именно сейчас, ведь был еще только четверг, а ждать мне предстояло до воскресенья, и все же лучше было бы сходить сегодня. Побаливала голова, но я встал, умылся и вышел, прихватив необходимые бумаги.

Я полагал, что меня направят вниз, в город, в одно из официальных учреждений, но вместо этого мне предложили снова нанять викторию. В солнечном мареве мы медленно поднимались вверх; дорога петляла среди известняковых скал то вверх, то вниз, то вперед, то назад. Добравшись до середины склона, там, где дорога поворачивала в западном направлении, мы остановились у ворот, перед крепкой каменной стеной, над которой поднимались кроны высоких деревьев. Здесь, на узком, не более пятидесяти футов в ширину, выступе, помещалась резиденция представителя Островитянии; он отвечал за тот малый объем дипломатических отношений, которые его страна поддерживала с Англией, и наблюдал за въездом иностранцев в Островитянию. К воротам была прибита дощечка, где на английском, островитянском и языке жителей Св. Антония значилась просьба позвонить. Я дернул ручку звонка — из глубины сада ответил звучный, торжественный удар колокола.

Ворота распахнулись — передо мной стоял островитянин, но как он был не похож на моего друга Дорна! Это был худощавый мужчина в свободных бриджах из грубой ткани и в перехваченной кушаком куртке, надетой поверх рубашки с широким открытым воротом. Пропорции его головы с темными вьющимися волосами и черты лица были почти идеально правильными. Тонкий прямой нос, просто очерченные скулы и подбородок, коротко постриженные усы показались мне располагающе дружелюбными еще до того, как я обратил внимание на изящной дугой изогнутые брови и открыто глядящие на меня серые глаза.

Не без труда заговорил я с ним на его родном языке, назвалса и сообщил о своей миссии, все время следя по выражению лица, понимает ли он меня. Но он кивнул, радушно улыбнулся и пригласил проследовать за ним. В саду налево росли деревья, сразу за которыми отвесно вставали скалы; справа тянулась невысокая каменная стена, оканчивавшаяся крутым двухсотфутовым обрывом, в глубине которого виднелась долина; посыпанная гравием и окаймленная цветами дорожка вела к небольшому каменному дому.

Пока мы шли по дорожке, мужчина сказал, что его зовут Кадред, и предложил сначала уладить дела с моим паспортом. Напрягая все свое внимание, я вслушивался в его речь и облегченно вздохнул, когда стало ясно, что все понимаю. Кадред провел меня в скромно обставленную комнату, единственным украшением которой был ковер с ярким узором. Несколько стульев стояло вокруг стола, заваленного грудой книг в жестких черных переплетах с уголками и золотыми и красными обрезами. Он предложил мне сесть и сам сел напротив, положив на стол вытянутые руки с тонкими и длинными переплетенными пальцами, — и в упор взглянул на меня. Он сидел не шевелясь. Из-за жары и необычности обстановки я, казалось, грезил, и Кадред тоже казался точеной статуэткой, живой и одновременно призрачной.

Через несколько мгновений он нарушил тишину — заговорил неторопливо и добродушно, делая паузы, чтобы я мог лучше понимать его. Из его слов следовало, что ко мне, как к консулу Соединенных Штатов, не будут применены положения, ограничивающие въезд, и паспорт я, разумеется, получу; единственного, чего никак нельзя было избежать, — это медицинского

обследования, тут Кадред был бессилён. Я подумал про себя, уж не стоит ли мне, как полномочному представителю, выразить возмущение подобной процедурой, и спросил, предъявляется ли это требование ко всем иностранным представителям. Кадред со слабой улыбкой ответил, что процедура может быть отменена только в отношении послов, но не консулов. Тогда я внутренне решился. В конце концов, моей основной задачей было так или иначе попасть в Островитянию, а не кипятиться из-за воображаемых оскорблений в адрес национального флага. Я сказал, что, пожалуй, согласен, хотя соглашаюсь лишь потому, что у Кадред по этому поводу есть строгие указания.

— Может быть, сегодня? — спросил Кадред.

Я кивнул.

— Что ж, доктор будет здесь в полдень, если вас устраивает это время.

Затем он просмотрел мои бумаги, сделал отметки в своих книгах, составил и вручил мне грамоту, жесткую, негнущуюся, как старые пергаменты, которая разрешала мне въезд в Островитянию по прохождении медицинского обследования. Вслед за этим он подробно расспросил меня о моем возрасте, образовании и семейном положении — все это очень учтиво; однако вопросы его показались мне докучными, и я подумал, что неудивительна та неприязнь, с какой многие, побывавшие в Островитянии, отзываются о ней.

Наконец все дела были улажены. Несколько минут Кадред просидел застыв, как и прежде вытянув сжатые руки и пристально глядя на меня. Все в комнате было абсолютно застывшим и безмолвным, и я почувствовал, что тоже впадаю в гипнотическое оцепенение. Вдруг до меня дошло, что Кадред встал, я встал вслед за ним, и мы вышли на веранду, где сели возле каменной стены, которой заканчивался утес. Через некоторое время ворота отворились, послышались голоса, мужской и женский, и мы увидели двух островитян, направлявшихся к нам по дорожке. Первой шла симпатичная молодая женщина лет двадцати пяти, простоволосая, в нехитро скроенной коричневой юбке и подпоясанной блузке из тонкого льняного полотна, ярко-оранжевой, с широким воротом. За ней шел высокий стройный мужчина, румяный и черноволосый.

Кадред представил нас друг другу по имени. Женщина оказалась его женой, и звали ее Ислата Сома; мужчину, доктора, звали Маннар.

Я знал, что островитяне носят только одно имя и между ними не существует официальных обращений, таких как, скажем, «мистер», но по привычке подобное представление показалось мне несколько фамильярным. Впрочем, слово «Ислата», обозначающее принадлежность к знати, смягчило чувство неловкости, и я с любопытством задержал свой взгляд на женщине. Значит, она была аристократкой, и действительно, обликом походила на леди, так просто и легко она держалась.

Разговаривая с Маннаром, хозяин дома упомянул об обследовании. Я сказал, что готов, и мы вдвоем с доктором прошли в соседнюю комнату, где располагалась приемная, одновременно служившая лабораторией. Обследование оказалось чрезвычайно скрупулезным и все же затронуло мою стыдливость гораздо меньше, чем я предполагал. Иногда, если вопрос звучал уж слишком интимно, я внутренне вздрагивал, однако при всем том не мог не восхищаться тактом доктора и даже, вопреки желанию, тем, что полностью чувствовал себя в его власти. Его методы довольно сильно отличались от тех, которые практикуют наши американские врачи. Он делал странные вещи и задавал чересчур личные вопросы, однако я чувствовал, что его нельзя обвинить, как то делали некоторые иностранцы, побывавшие в Островитянии, в шарлатанских трюках и сладострастном любопытстве невежд от медицины. Когда, спустя три четверти часа, мы вернулись на веранду, он знал о моей внутренней жизни больше, чем кто бы то ни было на свете, но у меня в кармане лежало свидетельство о том, что мне разрешен въезд в

Островитянию, и я был уверен, что заслужил его!

Ислата Сомы и Кадред ждали нас за некрашеным резным столом, на котором стояла бутылка вина и блюдо с печеньем. Так я познакомился с островитянской кухней. Вино, густо-розовое, было сладковатым и имело необычный, смолистый привкус, приятно холодивший во рту. Небольшие печенья на вкус отдавали орехами.

Какое-то время все молчали. Кругом тоже было тихо. Вниз, в долину, сбегали длинные тени, и потемневшая зелень отливала синевой. Движения сидящих за столом были скупы, лица серьезны. Молчание стало тяготить меня, и я заговорил с Ислатой Сомой, рассказав ей о дружбе с Дорном. Она описала мне ту часть Островитянии, где он жил, и сказала, что дом ее двоюродного брата, Сомса XII, лорда Лорийского, находится в той же стороне, а ее собственный — в пятнадцати милях, в лесистых горах.

— Однако, — добавила она, — мы живем в доме брата не реже, чем он в нашем. Его дом новее, семья владеет им всего лишь сто шестьдесят лет. А нашему уже почти четыреста. Когда вы поедете к вашему другу Дорну, вы обязательно должны остановиться в доме моего брата. А если вы не спешите, то можете заехать и к нам, в горы. Я передам вам письмо. Везде вы будете желанным гостем.

Искренне польщенный, я поблагодарил ее.

— Не стоит благодарности, — сказала Ислата.

Вдруг глаза ее загорелись, и, плотно сжав руки и перейдя на такую быструю речь, что я едва мог уследить за смыслом ее слов, она стала описывать свой старинный дом.

— Когда мы переехали в него, он был очень маленьким. Мы были бедными тогда. Нам пришлось уехать из Камии, где мы жили сотни лет. Мало-помалу мы расчищали землю и делали пристройки. Наше поместье — одно из немногих в лесу. Мы были счастливы там, как дети, а когда хотели увидеть новых людей, можно было просто навестить дядю.

Я растерялся и не сразу понял, что это «мы» относится ко всем предкам Ислаты, жившим на протяжении четырех столетий. Задумавшись над этим живым свидетельством постоянства островитян по отношению к родовым традициям, я не мог не заметить резкого контраста между ним и нашим современным отношением к тем же вещам, и нежелание островитян открывать свою страну для торговли представилось мне в новом свете. Я снова вспомнил о Дорне, о политике, которую проводила его семья, и о своей должности консула, — ведь одно существование таковой шло вразрез со всем, во что верил Дорн. Несколько мгновений я не мог решиться: промолчать было бы более мудро и уместно, но мне очень хотелось вслух заявить о своих сомнениях, что я и сделал, и, надо сказать, реакция на мои слова оказалась гораздо лучше, чем я думал.

Ислата Сомы взглянула на меня с улыбкой:

— Неужели вы боитесь, что он не захочет вас видеть?

— Нет, но разве я не веду себя нечестно по отношению к своему другу?

— Если у вас появилась такая мысль, значит, вы уже не можете быть нечестным, — сказала Ислата. — Думаю, вы скоро увидите.

Несколько минут спустя неожиданно вновь раздался звук колокола, Кадред отправился к воротам и вернулся в сопровождении высокого молодого человека с маленькой головой и легкими вьющимися волосами — несомненно, англичанина. Это был Филип Уиллс, брат Гордона Уиллса, британского консула, недавно окончивший Кембридж. Он направлялся в Островитянию повидаться с братом. Было ясно, что он пришел за паспортом. Его представили мне, и впредь разговор шел уже по-английски; язык этот был знаком островитянам. По губам Ислаты Сомы скользнула легкая, добродушная улыбка, и она отправилась готовить молодому Уиллсу чай.

Полтора часа спустя мы вышли вместе с Филипом; при мне был мой паспорт, удостоверение об обследовании и письмо Ислаты Сомы к ее родственникам.

В тот вечер в гостинице было жарко, и после дня, показавшегося таким долгим, к тому же проведенного с несомненной пользой, я почувствовал себя вправе отложить все прочие дела. В тот вечер я был одинок, как никогда раньше, — тем одиночеством, которое знакомо молодым людям моего типа. Я вспомнил о девушках, с которыми условился переписываться, и написал два письма — Натали Вестон и Кларе Брайен, — постоянно одолеваемый соблазном впасть с излишнюю сентиментальность: жаркое безмолвие ночи, город, лежащий в непроглядной тьме за окном, — делали их образы для меня все более живыми и манящими. Любовь по-прежнему оставалась для меня загадкой, чудом, и мне вовсе не хотелось, чтобы это чудо закончилось женитьбой, но я желал их, и желание мое было почти нестерпимо.

Когда наконец настал вечер воскресенья, я вздохнул с облегчением. В половине девятого я сел в приуроченный к судовому расписанию поезд, который, бодро постукивая на стыках рельс, промчался по извилистому скалистому ущелью и доставил меня на припортовую станцию.

На пристани я увидел Уиллса, моего единственного знакомого, — высокого, элегантного, в безупречном вечернем костюме. Он беседовал с молодой девушкой, которая была настолько меньше его ростом, что ей в буквальном смысле приходилось разговаривать с Филипом снизу вверх. Пронизанные закатным светом, ее мягкие пушистые волосы напоминали нимб, а профиль вырисовывался четко, как камей. Она была очень хорошенькая, восемнадцати — от силы девятнадцати лет.

Я невольно продолжал следить за нею и увидел, как в сопровождении средних лет англичанина она поднялась на борт парохода «Св. Антоний».

Рано утром я проснулся оттого, что корпус судна перестал вибрировать. Все кругом было недвижимо, и я вспомнил, что маршрут предусматривал остановку в Коапе — английском поселении. Остатки сна боролись с любопытством; наконец последнее взяло верх, я встал и выглянул в иллюминатор.

Иллюминатор выходил на узкую палубу. Пиллерсы чернели на фоне приглушенной голубизны, того слабого мерцания, которое, исходя ниоткуда, пропитывает воздух в преддверии жары. Близкий берег был хорошо виден. Словно тронутые бледной акварелью, высокие скалы расступались, за ними лежала скрытая сумраком долина. Желтые фонари еще светили, прячась в кронах деревьев на краю пристани, но постепенно меркли в разгорающемся свете дня. Несколько огоньков между тем приближались, и по красным и зеленым их цветам я понял, что это катер подходит к нашему судну.

На палубе раздались шаги, и я отступил от иллюминатора, желая остаться незамеченным. В иллюминаторе, как в круглой рамке, виднелся пиллерс, который заря уже окрасила в розовато-белый цвет. И тут я заметил прислонившуюся к пиллерсу головку — мягко высвеченный профиль.

Это была молодая англичанка. Между нами было всего несколько футов, но рассеянный свет утра не давал мне разглядеть ее черты. Я не видел ее глаз: полуприкрытые веками, они казались двумя маленькими сонными озерцами. Сердце мое учащенно забилося.

Все случилось буквально в несколько мгновений. По лицу девушки скользнуло нечто вроде улыбки, дремотной, радостной и в то же время капризно-недовольной оттого, что пришлось встать так рано.

— Итак, Мэри? — прозвучал громкий отеческий голос.

Девушка, опустив голову, что-то тихо, сонно и ласково пробормотала в ответ.

Через несколько минут я увидел, как катер уходит к берегу; на корме, оглядываясь на

пароход, сидела девушка, и лицо ее, удаляясь, превращалось в круглое светлое пятнышко.

Глубоко взволнованный, я снова лег и забылся крепким сном еще на несколько часов. Проснулся я в приподнятом настроении: воспоминание об увиденном словно расцветило все наше суденышко, само по себе серое и унылое.

Весь день мы плыли в виду земли. По правому борту, вдоль прибрежной полосы тянулись голые скалы, то охряные, то бледно-меловые, то розовые, смутно видимые сквозь туманную дымку. К вечеру скалы стали ниже, и за ними открылась пустынная равнина, за которой шла цепочка едва различимых гор. Здесь обитали враги Островитянии — карейны, которые — по крайней мере, это случалось хотя бы один раз в жизни каждого поколения, — объединившись с чернокожими, нападали на своих соседей, убивая, грабя и уводя в рабство.

На следующий день мы продолжали плыть вдоль карейнского берега и в среду, второго июня, прибыли в Мобоно, новый английский протекторат.

Выйдя на палубу, я встретил Филипа Уиллса и месье Перье, французского консула в Островитянии, маленького человечка с бородкой клинышком, густыми вьющимися каштановыми волосами с проседью и живыми умными глазами. Он много путешествовал по Карейнскому континенту и рассказал нам с Уиллсом кое-что о Мобоно, древнем, мрачном городе, перенаселенном и страдающем от нищеты, — бывшей резиденции карейнских императоров.

Ранним утром город, расположенный на низком берегу, возник из тумана совсем близко. За каменным парапетом набережной Мобоно лежал мешаниной плоских кровель, и только одно здание возвышалось надо всем мощными уступами зубчатых стен, сложенных из массивных каменных плит.

Месье Перье сказал, что это императорский дворец, и предложил нам вместе спуститься на берег, чтобы осмотреть его. Он нанял лодку с двумя гребцами-неграми, чьи черные, как смоль, глянцево-от пота лица резко контрастировали с белизной тюрганов, курток и шаровар.

Древняя виктория повезла нас по лабиринту узких улочек, кишевших людьми. Жизнь кипела в Мобоно, как в Неаполе, и запахи этих городов были схожи.

Месье Перье сказал мне, что до недавних пор европеец без охраны не мог чувствовать себя здесь в безопасности. Я посмотрел на лица чернокожих и мулатов, глядевших на нас с вызывающим пренебрежением. На одной из улочек навстречу нам попался карейн. Он шел в плотно облегающем платье, надменно подняв голову, и я отчетливо ощутил, как грубо и враждебно ко мне окружающее.

Доехав до дворца, мы поднялись на одну из террас, залитую солнечным светом и заполненную бродягами и нищими. Перегнувшись через балюстраду, я разглядывал мощную кладку окружавших здание стен. Беспорядочный шум и гам стоял над городом. Туманная дымка скрывала городские пределы и пристань, и город казался бесконечным.

— В четырнадцатом веке, — ровным голосом говорил месье Перье, — островитяне взяли дворец штурмом. Это одно из самых героических деяний в их истории. Сама королева, тогда еще совсем юная, вела их на приступ. После взятия дворца она оставалась здесь еще около двух лет, и при ее дворе расцвела островитянская литература. Много лет здесь жил автор знаменитых притч Бодвин. Это — та самая «высокая башня в городе зла», о которой он пишет. Если бы погода прояснилась, мы могли бы увидеть отсюда снежные вершины Островитянии. Великий народ.

— Кажется, они противники современных идей, — заметил я.

— Это дело вкуса, — коротко ответил месье Перье.

Позже, когда мы сидели в кафе на пристани, мне припомнились его слова, и меня

заинтересовало, как он сам относится к установлению отношений с Островитянией.

— Как вы думаете, месье Перье, — спросил я, — проголосуют ли островитяне за установление торговых отношений в ближайшие два года?

Перье пожал плечами.

— Если они проголосуют против, — продолжал я, — нашей консульской карьере придет конец.

— Кто знает. Какая-то страна так или иначе найдет зацепку и заведет торговлю с Островитянией.

— Думаю, Соединенным Штатам это не удастся.

— Франции тоже.

— Может быть, Англии?

Перье снова пожал плечами.

— Тогда Германии?

Он пристально и прямо посмотрел мне в глаза:

— Островитяния богата драгоценными металлами, а это именно то, что нужно сейчас немцам. К тому же Германия нуждается в рынках, территориях для поселенцев и сферах вложений. В Африке и Азии ей практически нечего делать, а вот здесь... На западном побережье немецкая речь рано или поздно будет звучать чаще, чем в Потсдаме. В Островитянии много пустующих земель. Скоро немцы собираются построить железную дорогу отсюда до Мпабы, на западном побережье. По ней добываемое здесь железо будет перевозиться на Мпабу. Сейчас — дефицит угля, а Островитяния богата углем, и в придачу нефтью. Почему бы не проложить еще одну дорогу от угольных рудников Островитянии до Мпабы, которая всего в тридцати милях от границы. А потом германские суда пойдут на Феррин — остров, принадлежащий Островитянии, — с грузом золота, серебра, железа, платины, обратите внимание — платины! — и все это будет стекаться в Мпабу, где климат умеренный, а всего в сорока милях простираются плодородные долины... Островитянии.

Рудники, нефть, железнодорожные концессии — вне всякого сомнения, это был лакомый кусок. Еще до моего отъезда из Нью-Йорка мне говорили о наблюдателях, собиравшихся посещать Островитянию до тех пор, пока не истечет срок моего консульства.

— Если и делать деньги, то лучше делать их за счет концессий, чем за счет торговли, — сказал я, ожидая услышать подтверждение своей мысли.

— Да... концессии, — раздраженно пробормотал Перье.

Мы вернулись на корабль как раз к обеду, который проходил под грохот лебедек, скрип талей и пронзительные свистки рабочих, командовавших погрузкой.

Я лег, когда за окном иллюминатора уже плескалось темное море; в голове теснились мысли, мелькали обрывки дневных воспоминаний. Но скоро усталость взяла свое, и я уснул. Мне снились улицы Мобоно и как я из последних сил преследую что-то сладостное и непонятное, все время ускользающее от меня.

Протяжный свисток разбудил меня. Он повторился, и я понял, что мы, должно быть, попали в туман. Мои часы показывали полночь, следовательно, до берегов Островитянии было еще далеко. Неизъяснимое словами чувство, что я дома, сладко овладело моим дремлющим сознанием. Ощутимо похолодало, и я впервые завернулся в одеяло. Устроившись с максимальным удобством, лелея мысль о другой, такой же долгой и безмятежной ночи в открытом море, я снова уснул, слыша сквозь сон далекий звук свистка, а когда проснулся, то с удивлением увидел, что уже давно рассвело и пароход движется с непривычной для него скоростью.

Встав с койки, я выглянул в иллюминатор, ожидая увидеть сияющее в небе солнце, но

увидел лишь млечно-белую светящуюся завесу тумана. Небо излучало яркий свет, и гонимые сильным ветром волны блистали неожиданно яркой синевой.

После завтрака, вопреки обыкновению, мы не стали рассаживаться по шезлонгам. Воздух был не холодный, но свежий, бодрящий, и дувший с континента ветер, хотя и увлажненный туманом, тем не менее временами доносил до нас характерный теплый запах земли.

Однако она так и не показывалась, поскольку, хотя в разрывах облаков и проглядывало ясное голубое небо и сквозь туман порой открывался вид на морские просторы, завеса его, слишком плотная, прятала лежащую на западе землю.

Послеполуденные часы я провел в курительной, беседуя с собравшимися там пассажирами-немцами. Трое из них, по виду путешествующие коммерсанты, ехали из Св. Антония; по пути к ним присоединились еще трое, проделавшие путь верхом из немецких колоний западного побережья. Особенно выделялся один из путешественников, Хефлер, высокий, более шести футов ростом, плотного сложения, загорелый и обветренный, с громким жизнерадостным голосом и серыми, широко расставленными глазами, налитыми кровью, но дружелюбно глядевшими из-под тяжелых век. Он рассказывал о своих путешествиях, и от него-то я впервые и услышал о степях Собо — засушливом районе, лежащем на севере и огражденном мощной грядой снежных гор, образующих северную границу Островитянии.

Я с интересом следил за его рассказом о жизни маленьких укрепленных городов, разбросанных там и сям по степи и населенных народностью, возникшей от смешения карейнов и чернокожих. Памятуя о замечаниях месье Перье относительно планов Германии, я пытался обнаружить в том, что слышал, подтверждение словам француза. Предполагаемое строительство железной дороги из Мпабы упоминалось вскользь, но в упоминаниях этих не было ничего подозрительного.

В четыре часа того же дня мы были уже у восточного побережья Сторна, юго-восточной провинции Островитянии, расположенной на полуострове, который тупым углом вдается в море, окружен им со всех трех сторон, и ничего, кроме моря, с каждой милей все более бурного и неистового, не отделяет его от Антарктиды. Ветер почти совсем стих; мы проходили рядом со скрытым в тумане высоким берегом.

Неожиданно голубое небо разверзлось, и в падающих с северо-запада косых лучах солнца волны стали иссиня-черными, и белые буруны вспыхнули на них. На траверзе кольшущаяся завеса тумана разошлась и стала медленно подниматься. Солнце померкло в мареве, вода потемнела, но в двух-трех милях впереди показалось красное, изрезанное складками основание скалы в клубах белой пены. Пелена тумана продолжала медленно подниматься. На мгновение приоткрылась густая, насыщенная зелень уходящих вдаль болот, местами — там, где на нее падал солнечный свет, — отливавшая изумрудом.

Но вот туман-исполин снова загородил ее своим могучим плечом.

Островитяния! Итак, я увидел наконец голые скалы ее берегов и волнистые просторы ее болот.

Немного погодя бешеный порыв ветра промчался над палубой, срывая наши пледы и завывая в снастях; небо помрачнело, и тугие струи дождя косо протянулись с юго-запада. Дождь барабанил по доскам палубы, клокотал в шпигатах. Корабль тяжело переваливался с боку на бок. Туман обвил нас плотным изжелта-зеленым кольцом.

Я лег поздно и долго не мог заснуть. Судно продвигалось вперед, вспарывая грузные валы, катившие с юго-запада, и я то и дело просыпался, настолько велико было нервное напряжение, и без того возраставшее весь день. Завтра, в пятницу, 4 января 1907 года, мое долгое путешествие подходило к концу.

Больше всего в этой новой стране меня, наверное, будет мучить одиночество, но ведь это

была земля Дорна. Он был там, за морскими хлябями. Я живо видел и чувствовал его: его дышащее силой доброе лицо, его неизменное дружелюбие, его властную уверенность и его тайну.

Сияющее ясной, безоблачной голубизной небо встретило меня, когда я вышел на палубу. Следуя почти прямым курсом на север и миновав мыс, образованный остроконечными коричневатými скалами, мы вошли в закрытый залив. Впереди низко навис в небе огромный белый купол. Белые персты его отрогов упирались в землю, окутанную голубоватой дымкой, отчего казалось, что купол, невесомый, парит в воздухе. Справа и слева, на одинаковом расстоянии, высились снежные остроконечные гиганты, похожие на стражей. Они были так высоки и могучи, что даже за сто миль подавляли своими чудовищными размерами, и море явно достигало их укрытых туманом колоссальных оснований. Нетрудно было догадаться, что купол был не чем иным, как главной вершиной Островитянии — Островной горой.

Я постарался поскорее управиться с завтраком, ведь так много еще предстояло увидеть, а якорь будет брошен через два часа. Поскольку мне нужен был совет, а я вполне доверял месье Перье и он был мне симпатичен, то, как только он появился на палубе, я поведал ему свои чувства, касающиеся Дорна. Француз, так же как Ислата Сомма, посоветовал мне тут же написать моему другу и не переживать из-за различия наших взглядов. Было что-то чрезвычайно располагающее в манерах месье Перье, и я почувствовал себя преисполненным благодарности, когда он предложил позаботиться обо мне на берегу, и было решено, что в тот же день я в его компании представлю свои верительные грамоты, а затем мы отправимся к нему обедать.

Вскоре берег, к которому мы направлялись, темно-зеленой полосой показался на горизонте; нос корабля точно, как стрелка компаса, указывал на бледную точку вдаль — пункт нашего назначения. Целый час, не отрываясь, я смотрел, как она приближается, растет. Поначалу она выглядела узкой белой полоской, над которой пышно вздымался розовый купол; вот слева, поднимая залитую солнцем главу, показалась гора пониже; полоска ширилась, приобретая более ясные очертания, превращаясь в размытый прямоугольник все более контрастных цветов. Наконец стало видно, что это действительно город: он стоял у самой воды, обнесенный низкими стенами из бурого камня, за которыми виднелись две расходящиеся мачты, похожие на вилочку — грудную кость птицы, и коричневато-желтые, серые и розовые фасады каменных домов теснились на трех холмах.

Но мне пришлось оторваться от этого зрелища, чтобы собрать вещи, расплатиться с прислугой, и как раз, когда я был занят всеми этими делами, винты парохода смолкли, и через несколько минут заскрежетали якорные цепи.

Вновь выйдя на палубу, я увидел, как от пристани к нам подходит широкий тяжелый баркас с низкой осадкой. На палубе лицом к нам стояли четыре гребца, отмечая ритм короткими звуками, похожими на щелчки кнута. Баркас продвигался быстро, слегка раскачиваясь, и белая пена расходилась по обе стороны его тупого носа; гребцы налегли на весла, и, неожиданно резко развернувшись, баркас так ловко причалил к нашим сходням, что этому маневру мог бы позавидовать самый бывалый моряк.

Через минуту двое стройных молодых людей в островитянской одежде, без головных уборов, уже были на палубе нашего судна и очень вежливо и расторопно просмотрели наши документы. Перье, Уиллс и я, уже прошедшие обследование в Св. Антонии, первыми спустились в баркас. Багаж опустили вслед за нами, и по сигналу с палубы баркас быстро отчалил. Все четверо гребцов и рулевой были одеты в темные облегающие фуфайки, коричневые бриджи и сандалии на босу ногу. Все они были стройные, мускулистые, с небольшими, красивой формы головами, загорелыми лицами, и тяжелый труд, казалось, служил для них

развлечением.

Старина, надежность, покой — таковы были мои первые впечатления; потом я обратил внимание на кипящую кругом деятельность. То тут, то там быстро скользили по воде баркасы, управляемые так же искусно, как наш. От восточного причала отчалило тяжелое, обтекаемой формы судно с двумя вильчатыми мачтами; два прочных рангоута служили перемышкой, большие коричневые паруса раздувались, ловя попутный ветер; полоса белой пены тянулась с подветренной стороны. Судно слегка накренилось, набирая скорость, и направилось к выходу из гавани. На пристани и в доках размеренно двигались маленькие разноцветные фигурки. Во всем ощущался какой-то почти неземной покой. До нас доносились всплески весел, но ни на пристани, ни в доках не было слышно ни единого крика, ни грохота и лязга работающих машин.

На каменной пристани нас встречали полтора-два десятка людей: человек пять официальных представителей Островитянии, Гордон Уиллс, ожидавший брата, мадам Перье с двумя дочерьми и несколько других европейцев. Меня тут же окружили и представили всем, в том числе рослому, полному мужчине — немецкому посланнику графу фон Биббербаху. Затем мой багаж и багаж месье Перье погрузили в ручную тележку, и мы пешком направились в Город: я шел рядом с мадам Перье, а ее муж — впереди, ведя под руки дочерей.

Проходя мимо узкого дока справа, мы обратили внимание на множество стоявших там двухмачтовых судов, тяжелых, отливавших лаковым гляncем, с которых выгружали открытые ящики с крупными красными апельсинами. Воздух над доком был пропитан их запахом. Потом из большого прямоугольного бассейна донесся другой запах, смолистый и сладковатый. Мадам Перье, говорившая по-французски, растягивая слова, объяснила, что у каждой провинции есть в этом порту свои доки, пирсы и склады, и что на этом острове расположены доки провинции Карран, откуда и прибыли апельсины, и гористой провинции Виндер, находящейся в юго-восточной части Островитянии, и что резкий сладкий запах издает патока, доставленная из Виндера. В этот момент из открытых ворот пакгауза, мимо которого мы проходили, пахнуло шоколадом.

Месье Перье настоял на том, чтобы проводить меня до гостиницы, и я был рад его компании, потому что от непривычной размеренности окружающей жизни, от яркого солнечного света, новизны и более всего — от этого странного, словно сонного, покоя мне было слегка не по себе.

Мне отвели большую комнату с каменными стенами, Крытыми большими коричневыми занавесями из мягкой Шерсти. На лакированном полу лежал коричневый шерстяной ковер. Обстановка была вся деревянная и состояла из невысокой кровати с довольно жестким матрасом, льняными простынями и очень мягким коричневым шерстяным одеялом; несколько стульев стояло вокруг стола, простого, без всякой вычурности; в углу располагался большой квадратный платяной шкаф, а рядом — умывальник с огромным тазом и массивным кувшином из коричневой глины. Нигде не было никаких узоров или орнамента — все было прямоугольным, массивным, добротным, окрашенным в одну гамму: глубокий, с красноватым отливом коричневый цвет дерева и мягкий светло-коричневый цвет шерстяной материи. По обе стороны окна в темно-синих глазурованных вазах стояли два пышных букета алых цветов высотой около четырех футов.

Багаж внес за мной в комнату островитянин в обычном рабочем костюме — синей вязаной фуфайке, коричневых бриджах, чулках и сандалиях. Он был породистой внешности, крепко сложен и держался со спокойным достоинством. Спросив, не хочу ли я вымыться с дороги, он прикатил большую глиняную ванну на колесиках, принес кувшин горячей воды и целую кипу мягких белых шерстяных полотенец. Потом осведомился, когда я буду завтракать. Я наугад ответил, что в час. Островитянин растерянно улыбнулся, и я вспомнил, что в этой стране нет

часов, кроме водяных, и поэтому все жители наделены необычайно развитым внутренним чувством времени, а день и ночь делятся на двенадцать часов, считая от восхода до заката или наоборот. Прикинув, что шесть часов должны соответствовать полудню, я сказал, что буду завтракать в шесть. Островитянин удовлетворенно кивнул.

Мне предстояло нанести несколько официальных визитов, поэтому, выкупавшись, я надел утренний пиджак, шерстяные брюки, лаковые ботинки и достал из саквояжа цилиндр, серые перчатки и тросточку. Тем временем слуга внес на подносе мой завтрак, накрыл на стол у окна и вышел, толкая перед собой ванну.

Завтрак состоял из куска жареной рыбы, похожей на палтуса, и маленького сочного бифштекса, гарниром к которому служил зеленый горошек и овощ, напоминавший морковь, но с привкусом ореха. В большой корзине лежали апельсины, персики, какие-то крупные плоды, с виду похожие на сливы; рядом дымилась маленькая чашка шоколада, стояла фарфоровая, пирамидальной формы бутылка с вином и серебряный кубок.

Пожалуй, только шоколад и вино отличались по вкусу от американских: шоколад больше горчил, а вино было приторным и отдавало смолой.

Я был голоден, и никогда не доводилось мне есть ничего более вкусного, чем похожие на сливы плоды — знаменитую островитянскую «сарку» с ее тающей во рту, сочной красновато-желтой мякотью, имевшей едва уловимый привкус розового масла. Что касается вина, то его приятная розовая влага, с тонким вкусом, вызвала у меня сомнения в ее крепости.

После завтрака я, словно в забытьи, долго стоял у окна. Какой мир и покой были разлиты кругом! Трудно было поверить, что я действительно в реальном городе: застывшая в солнечном свете панорама казалась живописной моделью. Внизу тесно стояли дома. У одних крыши были плоские, у других — островерхие, со слуховыми окнами, крытые красной черепицей. За ними виднелась река, через которую перекинулся деревянный разводной мост, по другой ее стороне тянулись доки, пирсы и склады; и снова — кварталы жилых домов, городские стены, излучина реки, а дальше, на много-много миль, зелень лугов, лесов, фермерских угодий и разбросанные то здесь, то там белые домики с красными крышами. Налево синела гладь залива. Повсюду — на пристани, на мосту, на пирсах — виднелись маленькие движущиеся фигурки; баркасы с четырьмя ритмично взмахивающими веслами проплывали по реке; двухмачтовое судно проходило под разведенным мостом. Впрочем, долетавшие до меня звуки были далекими и слабыми — куда отчетливее слышалось звонкое чириканье похожей на вьюрка птицы, певшей в саду, разбитом на крыше одного из домов внизу.

И в этом залитом ярким светом, похожем на тщательно выписанный пейзаж безмятежном краю жил мой друг Дорн. Трудно было представить, что для него это — привычный, родной дом. Теперь Дорн казался мне еще более чуждым. Но я слишком хорошо помнил его крепкую фигуру, обветренное доброе лицо, слишком ясно слышал его звучный голос и берущие за душу мелодии — в унисон с ревом волн, скрипом мачты и воем ветра в снастях. В глубине сердца я знал, что ему будет приятно встретить меня. Надо немедленно ему написать.

Увидев месье Перье, тоже одетого по-европейски, я внутренне приободрился; однако, хотя наши костюмы и отличались от одежды остальных прохожих, никто не обращал на нас особого внимания. Мужчины и женщины проходили мимо, едва окидывая нас беглыми взглядами. Все они были без головных уборов, двигались раскованно, неторопливо и почти бесшумно в своих сандалиях на плетеной подметке. Одежда их была необычной, и уж скорее в роли зеваки мог оказаться я. Мужчины носили короткие брюки до колена, рубашки с открытым воротом, без галстука, а поверх — куртки без лацканов и более свободного покроя, чем наши пиджаки. На женщинах были короткие одноцветные юбки, едва закрывавшие колени, и кофты из тонкой шерсти, похожие на мужские куртки. Поражали и цвета костюмов: кремовые, серые, изжелта-

коричневые, зеленые, светло- и темно-синие, а иногда красные или пестрые. На некоторых можно было увидеть манжеты, по цвету отличающиеся от всего костюма и по фактуре напоминающие тонкое сукно. Почти у половины мужчин и женщин кожа была белой.

По внешности можно было выделить два противоположных типа людей: похожие на Дорна, крупные, с тяжелыми чертами, черноволосые, чернобровые, темноглазые, загорелые и обветренные; и походившие на Кадредра, с овальными лицами, тонкими, словно точеными чертами, со светло-каштановыми, зачастую вьющимися волосами, голубоглазые или кареглазые. Тучные люди попадались редко, и мало кто из мужчин носил бороду.

Месье Перье и я поднялись на вершину центрального холма и свернули на вымощенную красноватым песчаником площадь. Прямоугольная, с грифельно-синим отливом башня примерно пятидесяти футов в высоту возвышалась в центре. Площадь окружали пять старинных двухэтажных домов с затейливыми фасадами и островерхими крышами. Резиденция островитянского правительства выглядела поразительно просто, даже аскетично. Кроме казавшейся здесь совершенно неуместной виктории, с кучером в европейской ливрее, у низкого подъезда одного из домов, на площади ничего не было. Мой собственный костюм показался мне не менее нелепым на фоне этих древних зданий с их обветшавшими стенами, маленькими окнами со свинцовым переплетом рам, и я, как во сне, проследовал за месье Перье.

Стуча каблуками, мы поднялись по каменным ступеням и вошли в темную переднюю, служившую приемной, со множеством стоявших по всем углам диванов. Дюжины полторы ожидающих сидели в приемной, среди них двое европейцев и чернобородый гигант с красным, как кирпич, лицом, сидевший, по-крестьянски сложив могучие руки на коленях, однако при этом его густые черные волосы прорезал посередине аккуратный, щегольской пробор.

Прошло несколько минут ожидания. Молодой островитянин подошел к здоровяку с черной бородой, сказал ему что-то вполголоса, и тот бросил на меня взгляд своих маленьких, едва видных из-под кустистых бровей, но горящих, как угли, глаз. Он что-то ответил островитянину, после чего молодой человек подошел к нам. Месье Перье встал. Дверь перед нами распахнулась.

Стены комнаты, согретые солнечным светом, падавшим в широко раскрытые окна, были обиты буйволовой кожей. За желтым столом, на котором стояла ваза с крупными красными розами, сидел человек, вставший, чтобы приветствовать нас.

Лорд Мора! Конечно, я знал, что рано или поздно встречу с ним, но никак не мог подумать, что он вот так, сразу, станет в моих глазах одним из величайших людей на свете. Он был не просто красив — высокий, довольно худощавый, лет пятидесяти пяти, подвижный и изящный в каждом своем движении. Его отливающие сталью волосы были коротко подстрижены, подчеркивая прекрасную форму гордо, величаво вскинутой головы с ясным, высоким лбом. Из-под тонко прочерченных, изогнутых бровей глядели внимательные, все подмечающие голубые глаза, взгляд которых при этом был скорее добрым, доверительным, чем острым и холодным. Неправильная соразмерность всех черт его волевого загорелого лица подействовала на меня гипнотически, и в тот момент мне казалось, что нет чести выше, чем пожать эту узкую, тонкую, но сильную и теплую руку.

Казалось, все это длилось одно мгновение — и вот уже месье Перье и я снова стояли на залитой солнцем площадке.

— Лорд Мора — человек неотразимого обаяния! — со смехом сказал месье Перье, и я тоже рассмеялся, по кусочкам припоминая все происшедшее.

Меня представили, и я вручил свои бумаги. Затем мы обсудили вопрос о моем месте жительства. Было решено, что с завтрашнего утра ко мне будет приставлен личный адъютант. Помимо прочего, премьер-министр сказал, что рад приветствовать меня не только как представителя государства, но и лично, и предложил отобедать у него. Слушая его, я чувствовал,

что я дома, что я — счастлив. И было совершенно не важно, что наша встреча длилась всего десять минут.

Затем настала очередь официальных визитов, и месье Перье вызвался меня сопровождать. Мы оставили наши визитки графу фон Биббербаху и графу де Крайлицци — немецкому и австрийскому посланникам, а потом поднялись на западный холм по узкой ступенчатой улочке, на которую выходили расположенные на разных уровнях двери домов. Подъем привел нас к деревянной двери в садовой стене. Как и в доме Кадрета, к двери была приделана ручка звонка. Месье Перье дернул ее, и в глубине сада звучно отозвался колокольчик. Пока мы ждали, стоя перед дверью, окруженные невозмутимой, далеко разлившейся тишиной, француз рассказал о человеке, которому мы должны были сейчас оставить наши карточки.

— Исла Фаррант — лорд западной провинции Фаррант. Он из очень древнего и знатного рода. Скоро ему будет восемьдесят, и исполняет он свои обязанности уже почти сорок лет. Рискну утверждать, что он — мой друг и друг Франции. В сороковые годы у нас чуть было не дошло до большой ссоры с Островитянией из-за торговли скотом с Биакрой. Это была контрабанда, дело для нас принципиальное. Торговле был положен конец, но островитяне, исключительно по широте душевной, подарили нам большую партию скота. Семья Фаррантов сыграла при этом не последнюю роль. С тех пор нынешний лорд не раз оказывал нам самую разнообразную помощь. Вероятно, сейчас он у себя, в родовом поместье.

Наконец дверь распахнулась, открыв видна прелестный сад, террасами поднимавшийся ко дворцу лордов провинции Фаррант. Как и предполагал мой спутник, лорда Ислы не было в Городе. Однако нам разрешили пройти через сад, и, выйдя с другого конца, мы очутились на площадке, на самой вершине холма. Снова спустившись по вырубленным в скале ступеням и пройдя по аллее, мы зашли в русскую миссию, где оставили визитные карточки князю Виттерзее. Оттуда направились в британское консульство, которое располагалось в простом островитянском доме с небольшим, обнесенным стеной садом.

Мы с месье Перье собирались было просто оставить свои карточки, но Филип Уиллс, заметив нас, попросил зайти и проводил в сад, где был накрыт чай. Там я вновь увидел и Гордона Уиллса, английского консула, внешне похожего на брата, но постарше и покрепче. Там же была и его сестра, смотревшая за хозяйством, и миссис Гилмор, женщина лет сорока, в островитянском платье, но совершеннейшая англичанка по речи, манере держаться и внешности.

Все эти люди были хорошо знакомы с моим провожатым, и в разговоре их сразу зазвучали имена и события, мне неизвестные. Тем не менее я понял, что муж миссис Гилмор — англичанин по национальности, принявший островитянское гражданство, преподавал в университете, и именно он готовил Дорна к поступлению в Гарвард. Ее отец, сэр Колин Миллер-Стюарт, был знаменитым инженером, который спроектировал и построил Субарру — промышленный город, лежавший к востоку от столицы. В Субарре располагались единственные во всей Островитянии фабрики, производившие как военное снаряжение, так и лемехи для плугов и прочий фермерский инструмент. В знак своих заслуг он был удостоен звания почетного гражданина и получил во владение поместье. Я с интересом взглянул на миссис Гилмор.

— Сегодня мы видели Дона в приемной у лорда Моры, — сказал месье Перье, и я решил, что Дон — это тоже кто-то из английской колонии.

— Дона! — воскликнула мисс Уиллс с неподдельным интересом. — Но что он там делал? Месье Перье пожал плечами, а Гордон Уиллс сделал вид, что не расслышал.

— Он гостил у Колина два месяца назад, — сказала миссис Гилмор, — и поднялся на Брондер в одиночку.

— Так же, как и на Островную, — откликнулась мисс Уиллс. — Гордон считает его ненормальным.

— Сэр Мартин Конвей говорит, что это лучший альпинист, которого он когда-либо встречал. Безусловно, сильнейший.

— И вдобавок самый умный, — добавила мисс Уиллс. — Эти танары — истинные джентльмены.

— Дон тоже, хотя и грубоват.

— Он расчесывает волосы на прямой пробор!

— Сэр Мартин рассказывал, что даже после той ужасной ночи у Дона на голове волосок лежал к волоску, а ведь он был без шляпы.

— Два сапога пара, — заметил Гордон Уиллс.

Дамы рассмеялись. Я представил себе Дона могучим бородачом с франтовато расчесанными на пробор волосами. Наверно, это и был тот багроволицый колосс с огромными ручищами и горящим взглядом, которого я видел утром в приемной лорда Моры.

— А кто такой Дон? — спросил я. Все наперебой принялись объяснять, что Дон — это знаменитый альпинист и тяжелоатлет; что четыре года назад он пытался в одиночку совершить восхождение на вершину Островной и едва не поплатился жизнью, когда, потратив последние силы, поднялся на один из самых высоких пиков, не зная наверняка, достиг ли вершины, и, будучи поражен снежной слепотой, спасся, лишь наугад скользя вниз по склонам и только по счастливой случайности избежав гибели.

Выйдя от Уиллса, мы попрощались с месье Перье, который показал мне свой дом, находившийся на другом берегу реки и выше, чем дом Уиллса, и я направился к гостинице. В запасе у меня оставалось два часа, и много над чем надо было поразмыслить.

Вернувшись к себе, я взял перо и бумагу, чтобы написать Дорну, но внезапно почувствовал, что что-то не так, и не мог понять, то ли это тоска по дому, то ли следствие нервной усталости, то ли первые признаки какой-то болезни. Я сидел за столом, думая, что же я напишу своему другу. Желания высказаться и мыслей было предостаточно, но я не мог облечь их в слова, которые бы легко легли на бумагу.

Я закончил письмо как раз тогда, когда настало время идти к месье Перье.

Единственным гостем, помимо меня, был секретарь Перье, Франсуа Барт, мужчина лет около сорока, с сухой морщинистой кожей. Мадам Перье держалась с нами обоими вполне дружелюбно, хотя и несколько рассеянно. Мари и Жанна были внимательны, но держались чинно, как то и подобает молодым барышням. Сам же месье Перье был радушен и благожелателен. Мы обедали в укромном уголке сада; подавались французские блюда, поэтому обед растянулся надолго. Беседу вели прежде всего я и девушки. Мы старались быть остроумными, но недостаточное знание языка с обеих сторон мешало нашим остроумам блистать. Впрочем, эти неловкости с лихвой искупались взаимной симпатией.

Со стороны обе барышни могли показаться невзрачными, однако их темные, блестящие, как бусины, глаза светились умом, а тонкие нервные руки дополняли речь быстрыми красноречивыми жестами. Мне и в самом деле очень хотелось обзавестись друзьями-сверстниками, и даже то, что девушки не были хорошенькими, по крайней мере на мой взгляд, не имело значения.

Здоровый сон без сновидений — замечательная вещь. Я проснулся бодрым, довольным жизнью, словом, в состоянии, самом подходящем для поисков жилья.

Присланный лордом Морой адъютант Эрн, молодой человек, отнюдь не обделенный чувством юмора, отнесся к стоящей перед нами задаче с воодушевлением и не слишком

серьезно. Он решил, что мне подходит дом из шести комнат с кухней, повар и слуга, и взял на себя обязанность подыскать и то и другое. Вооружившись списком сдаваемых внаем домов, мы с Эрном обошли их все, прошагав несколько миль по мощеным улицам Города.

Три из этих домов находились в той его части, где я еще не бывал, части весьма своеобразной. Несколько веков назад Город подвергся длительной осаде, и, чтобы его защитники могли быстрее передвигаться, а также с целью избежать скопления людей на тесных улочках, с крыши на крышу перебрасывали мосты. Многие из них остались и по сей день; на крышах разбили сады, и повисшие над улицами мосты и переходы скрещивались и пересекались причудливым лабиринтом.

Разыскивая дома из списка, мы прошли под несколькими такими мостами — изящными каменными арками на высоте второго или третьего этажа, с цветочными горшками вдоль балюстрад. Дома оказались более или менее сносными, хотя и разочаровали тем, что между ними не было столь пленивших меня «эстакад».

Следующий дом нам никак не удавалось отыскать. Эрн что-то очень забавляло, хотя я никак не мог понять, что именно. Впрочем, наконец дом отыскался; узкая, не шире пяти футов аллея вела к нему. Мы осмотрели дом и нашли его прелестным. Он состоял из семи комнат; на крыше был разбит красивый сад.

Когда мы вновь оказались на солнечной улице, Эрн, употребляя множество незнакомых мне слов, объяснил причину своего веселья. Спустя некоторое время я и сам понял, что этот район, по вполне очевидным причинам, не подходил для резиденции консула такой высоконравственной страны, как Соединенные Штаты. Мы отправились по следующему адресу.

Хотя следующий дом тоже не подходил для проживания консула и вообще имел массу недостатков, он запомнился мне своим любопытным внешним обликом. Как и прочие дома, тянувшиеся вдоль городской стены, он примыкал к ней таким образом, что бойницы, которыми была прорезана стена, одновременно служили ему окнами. Дома были построены один над другим в два яруса. Дом, куда повел меня Эрн, составлял часть верхнего яруса, и перекинувшийся через узкую улочку мост со ступенями — часть общей системы воздушных путей — соединял его с домом напротив.

Эрн позвонил в колокольчик. Прошло довольно много времени, прежде чем на ступенях перехода показалась медленно шедшая нам навстречу женщина. На вид ей можно было дать лет шестьдесят; у нее были седые волосы и спокойное, ласковое лицо. Ее звали Лона; будучи владелицей обоих домов, она жила в нижнем, а верхний отдавала внаем. Мы объяснили, зачем пришли, и хозяйка провела нас внутрь. Нижний этаж состоял из четырех комнат и кухни, опрятной и светлой. Зато комнаты, обращенные на восток, упирались в городскую стену, так что окна их находились внутри глубоких ниш. Эрн неодобрительно покачал головой. Наверху была одна огромная, во всю длину этажа, комната, окна которой выходили на восток и на запад. В углу была отгорожена маленькая спальня. Из большой комнаты лестница вела на крышу. На нее-то мы и вышли, оказавшись в саду, пронизанном безмятежными лучами солнца.

На востоке отвесная поверхность стены спускалась к протекавшей далеко внизу реке. У противоположного берега стоял паром, а дальше, за рекой, расстилались на многие мили ровные участки фермерских наделов, доходивших до холмов, узкой полоской протянувшихся миль на десять от города. На западе взгляду открывались бесчисленные плоские кровли домов, на которых здесь и там ярко зеленели сады, и все это вместе — каменные стены, извилистые переходы, мостики — казалось огромной равниной, пока вы не замечали улиц, похожих на перпендикулярно пересекающиеся расселины.

— Слишком маленький дом, — сказал Эрн. — Допустим, что прислуга и ваш кабинет займут нижний этаж. Сами вы можете разместиться в большой комнате и там же устроить

столовую. Но где тогда принимать гостей?

— Да и нижние комнаты, что выходят окнами на стену, темноваты, — добавил я.

— Слишком темные, — сказал Эрн.

— Приедем будет сложно найти это место, да и консулу удобнее жить поближе к набережной или к деловым кварталам.

— Думаю, вряд ли этот дом подойдет.

— Да.

Итак, наши мнения полностью совпали.

— Но в общем, не будь я консулом, я бы здесь поселился. Место славное, — сказал я и после минутной паузы добавил: — Что-то в нем есть.

— И мне так кажется! — согласился Эрн, просветлев.

Выбор был сделан. Я снял дом. Последовал обмен любезностями. Договорились, что Лона будет мне готовить, таким образом одна комната освободится, а моего слугу она устроит у себя.

— Когда вы переедете? — спросила хозяйка.

— Сегодня в полдень! — ответил я.

И все же не могу сказать, чтобы я был очень доволен. Чувство напряженности, скованности вернулось, и я решил поскорей занять себя чем-нибудь.

С помощью расторопного Эрна я уже к шести часам полностью перебрался к себе. Мои пожитки доставили из гостиницы на ручной тележке, слуга должен был появиться завтра вечером. По пути я зашел в своеобразное островитянское учреждение, которое по-английски, наверное, можно было бы назвать «агентством», где мне обменяли деньги, где отныне мне предстояло делать покупки и где я договорился о том, чтобы мне доставляли корреспонденцию на дом.

На моих часах было семь. Я сидел в столовой у западного окна. Внизу Лона готовила ужин. День получился деловой, со множеством беготни. Солнце заглянуло в комнату, и вместе с ним повеял приятный теплый ветерок. Город погрузился в глубокий покой. Подо мной, футах в пятнадцати, лежали сады — цветущие кустарники, обсаженные самшитом и посыпанные гравием дорожки — и зелень их была так густа, что трудно было поверить, что под нею скрываются человеческие жилища. Из увитых виноградом каменных труб, расположенных вровень с моим окном, лениво тянулись к небу тонкие струйки дыма; время от времени ветер доносил в комнату его запах, то пряный, то смолистый, то едковатый, и даль колыхалась в легком мареве.

Наступали сумерки, и над ровной зеленью садов повисла синяя дымка. Казалось, что когда-то здесь было огромное озеро, из глубин которого возникли, тесно прижавшись друг к другу, квадраты и прямоугольники рукотворных островов. Плескавшаяся между ними вода ушла, оставив темные провалы, но царство садов, кроны деревьев, кустарник, цветочные клумбы, гравий дорожек, высокие стены, мосты и переходы повисли на уровне отступивших вод.

А надо мной раскинулся мой собственный сад. Острый запах горящих дров напоминал о деревне. Я почувствовал, что голоден... Однако, судя по комплекции, островитяне не страдали чрезмерным аппетитом.

Внезапно я ощутил, что дядя Джозеф где-то совсем рядом, и услышал его голос, прозвучавший так отчетливо, что мне стало не по себе.

— Джон, это неподходящее место для американского консула. Я неплохо провел время, добираясь сюда! О чем ты думаешь? Как ты не видишь, что вести дела здесь невозможно! А правительство платит тебе за то, чтобы ты...

Я взбежал на крышу, на крышу моего дома, в мой сад. Было уже прохладно, поднялся ветер, и солнце низко нависло над горизонтом. Аромат цветущих роз мешался с запахом дыма. Я шел

вдоль обрамлявших стены розовых кустов. Здесь были вьющиеся розы, розы на подпорках, низкорослый дельфиниум с толстыми стеблями, гнувшимися под тяжестью темно-синих, со стальным отливом Цветов, и вечнозеленые кустарники, названия которых я не знал. Гравий хрустел под ногами. Кругом было так тихо, что невольно хотелось идти на цыпочках. Или все это мне снилось?

— Ланг! — коротко окликнул меня снизу голос Лоны.

Пожалуй, не следовало так уж поддаваться этому ощущению грез, ведь потом от него не так просто избавиться... Ужин подошел к концу. Столовая казалась огромной. Было совсем темно, и только ярко горела стоявшая на каминной полке маленькая свеча.

Мрак сгущался, и лежавший в тених Город казался призрачным. В садах то здесь, то там загорались желтые огоньки, и тусклый отсвет поднимался снизу от уличных фонарей, но черные плоскости крыш скрывала тьма. Воздух пах уже не дымом, а надвигающейся вечерней сыростью, пропитанной обманчивым и тонким благоуханием цветов...

Это было похоже на сон, но сон страшный, не выпускающий из своих тесных объятий. Я зажег пять больших свечей и задернул толстые тускло-коричневые шторы.

Звякнул колокольчик. Взяв свечу, я спустился по темной лестнице и отпер дверь.

— Ланг? — спросил из темноты мужской голос.

— Да.

— Вам почта.

Сразу четыре письма! Они пришли из того, реального, так легко ускользавшего от меня мира. Поставив свечу на стол, я стал распечатывать их одно за другим.

Первое письмо было от миссис Гилмор. Она советовала навестить семью Ривсов, что доставит ей и ее мужу удовольствие увидеться там со мной, и присовокупляла, что ее мужу очень нравится мой друг Дорн.

Второе — от Р. К. Гэстайна, главы одной из самых крупных в мире компаний по добыче нефти, о котором я много слышал еще от дяди Джозефа. Гэстайн писал, что говорил обо мне с дядей и сожалеет о том, что не смог встретиться со мной до моего отъезда. Не могу ли я чем-нибудь помочь одному из его инженеров, Генри Дж. Мюллеру, который собирается прибыть в феврале для изучения обстановки в Островитянии? Он (то есть великий Р. К.) будет мне за это очень признателен. В конце он желал мне счастья и успехов в моей деятельности.

Дядя Джозеф прислал короткое, деловое письмо с просьбой о коммерческой информации. Одновременно дядюшка не упустил случая проверить мою сообразительность: упомянув о Р. К. Гэстайне, он как бы вскользь назвал его очень влиятельным человеком. Что ж, намек ясен!

Оставалось еще одно письмо. Адрес был написан явно женской рукой, старательным ученическим почерком. Кто же из тех девушек, с которыми я договаривался о переписке, смог так почувствовать мое одиночество и догадался послать письмо с тем же кораблем, на котором плыл я, чтобы не заставлять меня ждать долгие месяцы? Она рассказывала обо всем понемногу: о том, что в Нью-Йорке ветрено, о пьесе, которую она смотрела, о школьных делах и о предполагаемой поездке за границу будущим летом.

В заключение автор письма писала:

«Мама взяла для меня в библиотеке книгу про Островитянию. Она называется «Путешествие в современную Утопию», и написал ее Джон Картер Карстерс. Может быть, вы ее читали. Мне она кажется немного замысловатой, но все равно очень нравится. Я все разглядываю эти чудные карты и представляю, что я там. Если у вас случатся какие-нибудь поездки, мне бы так хотелось, чтобы, вы рассказали мне, где успели побывать. А я могла бы заглянуть в карту и прочитать, что он об

этом пишет. Мама обещала купить мне эту книжку, конечно, это куда лучше, чем когда ее нужно отдавать через две недели.

Надеюсь, дела у вас там идут так, как вам бы этого хотелось. Ведь это очень далеко, а так ужасно — быть несчастным вдали от дома.

Искренне ваша

Глэдис Хантер».

Я перечитал письмо. Теперь я хорошо представлял себе автора — семнадцатилетнюю девушку, — так живо выразилась она в каждой строчке. Словно она сидела сейчас напротив, а на столе между нами были разложены расписания. Стройная и юная, несказанно свежая, ребячливая, но полная достоинства и такая простодушная...

На третий день моего пребывания в Островитянии, в воскресенье, пообедав с Уиллсами и навестив Перье, которые уговорили меня с ними поужинать, я пошел домой через город один. Улицы были слабо освещены редкими свечами на угловых домах, прикрытыми от ветра колпаками из желтой провощенной бумаги. В нескольких последних кварталах улочки стали совсем узкими и запутанными. Над головой звезды сияли в теплой тьме летней ночи. Я сворачивал то направо, то налево и уж думал было, что заблудился, но вдруг оказался прямо напротив своего дома.

Глаза еще не успели привыкнуть к свету. Я поднялся в столовую и увидел горящую свечу и мужчину, сидящего за столом перед ней. Заметив меня, он медленно поднялся, и я различил грузный силуэт, бородатое лицо и вспомнил о легендарном существе, о могучем Доне.

— Джиродж, — сказал мужчина. Как и все островитяне, представляясь иностранцу, он назвал лишь себя, не спросив моего имени. Его же имя Джиродж лишь внешне напоминало англосаксонское Джордж и было древним островитянским именем, означавшим «пшеничное поле». И все-таки я буду писать — Джордж.

Так состоялось наше знакомство. Он и оказался тем самым «слугой», которого обещал прислать мне Эрн, но уже после первых фраз, которыми мы обменялись, стало ясно, что я не смогу распоряжаться им как обычным слугой. Неожиданно я оказался в довольно затруднительном положении. Джордж принадлежал к благородному обществу. Эрн не предупредил об этом меня и ничего не объяснил Джорджу, и не потому, что был недостаточно опытен, а просто потому, что, будучи островитянином, был вполне уверен, что любой, попав в подобную ситуацию, тут же сам во всем разберется. К счастью, мне это удалось, хотя и в последнюю минуту.

Джорджу было под шестьдесят, он был холост и около тридцати лет прослужил в островитянской армии. Его старший брат владел земельными угодьями в провинции Герн, был соседом и давним знакомым Эрнов, и потому Эрн решил, что, как приятель и драгоман, Джордж подойдет мне больше, чем просто слуга. После службы в армии Джордж имел право вернуться в поместье брата, но он не хотел так сразу возвращаться к сельской жизни. Разумеется, ему был назначен пенсион, и Джордж мог жить в праздности, ноне такова была его натура.

Беседа у нас получилась весьма учтивой, но теплой и дружеской. Нашлась масса поводов повеселиться. Мы обсудили условия, и Джордж отправился за своими пожитками.

Нет нужды говорить, что в первые недели работы у Джорджа не было особых забот. Он с удовольствием, хотя и медленно, осваивал английский, ухаживал за садом на крыше и наводил справки по некоторым коммерческим вопросам. Я ожидал, что у меня будет слуга в полном

смысле этого слова, но чем больше я наблюдал за Джорджем, тем больше он мне нравился. Быть может, он не блистал умом, но был превосходно воспитан и располагал запасом всевозможных полезных для меня сведений. Хотя служба у меня его и забавляла, он всегда мог дать совет по вопросу, выходящему за пределы кругозора обычного слуги. Он был наивен и добродушен. И, несмотря на густую бороду с проседью, в душе оставался мальчишкой.

Я уже почти привык к незыблемо покойной жизни Города, однако с течением времени накапливалось множество мелких, почти неуловимых подробностей, смущавших и раздражавших меня своей необъяснимостью. Присматриваясь к местной жизни, я — то с удивлением и любопытством, то с внутренней усмешкой — старался объективно и трезво уяснить себе ее механизм. И вдруг меня охватывала дрожь беспричинного ужаса. Что же так влияло на меня? Это никогда не было чем-то отдельным, конкретным. Единичное явление почти всегда можно объяснить, но здесь во всем и везде — в облике домов и улиц, в лицах прохожих, в застывших на крышах садах, в разноцветных лоскутьях лугов и полей, видных из моего окна, в самом море и застывших вдалеке горах — чувствовалось качественное отличие от нашего мира, то более, то менее заметное, но всегда осязаемое и в общем совершенно поразительное.

Не в силах доискаться причины, я в то же время понимал, что нечто вполне реальное беспокоит мой ум и воздействует на мое тело. Не успев распусться, цветы радости увядали в душе. Внимание было постоянно напряжено. Я просыпался и сквозь дремотную пелену слышал чужие голоса. Небо за окном было ясным, ветер по-летнему ласковым и теплым, воздух свежим и благоуханным, но меня словно замкнули в глухом бронзовом саркофаге, и металлический вкус во рту не проходил.

На днях ко мне заглянули двое американцев, путешествовавших по Востоку. Один был высокий и голенастый, в грубой одежде, с грубыми чертами лица и манерами, однако старавшийся держаться, как «культурный человек». Второй, маленький и кругленький, что называется, «живчик», с носом и щеками, покрытыми узором лопнувших сосудов. Оба были чем-то средним между прирожденными бродягами и коммивояжерами — не джентльмены, но почти.

Они ворвались ко мне в комнату, и каждый поспешил с жаром тиснуть мою ладонь. Потом они уселись и закурили сигары. Беседа клеилась с трудом. Приятели то и дело переглядывались. Чувствовалось, что они видят друг друга насквозь и оттого держатся несколько смущенно.

— Можно как-нибудь выбраться отсюда до середины следующего месяца? — спросил толстячок.

— Мы с Чарли думаем, что это черт-те что, а не страна! — взорвался его спутник.

Я прекрасно понял его. Запах табачного дыма обладает способностью вызывать пронзительно острые воспоминания, и мне тут же вспомнились футбольные матчи Гарвард — Йель, дымящие автомобили и весь этот ревущий, безудержный, многоцветный мир, родной и любимый.

— Да, удивительная страна, — ответил я.

— Еще бы! Вроде и пожаловаться не на что. Все относятся к вам, как к белым людям, но... — сказал долговязый.

— Мы думаем, может, подвернется какой-нибудь грузовой пароход, — добавил Чарли прочувствованно.

— Вряд ли, они ведь, знаете, торговли не ведут.

— И Бог с ними, какое мне дело до их торговли!

— Конечно, будь мы какими-нибудь высоколобыми... — добавил Чарли. — Но мы — простые американцы.

— Что нам делать дальше, хотел бы я знать.

— Ну я-то здесь не останусь.

— Думаю, придется топтать дальше.

Я поделился с приятелями своей скудной информацией и распрощался с ними. Наверно, следовало бы пригласить их пообедать вместе, но мне было не по себе в их обществе, несмотря на ту ниточку, что протянулась между нами от неожиданно промелькнувшего общего чувства.

Подобно им, я не желал оцепенелого покоя, ведь стоило лишь утратить чувство движения, как безмолвие смыкалось вокруг меня, и я постоянно просыпался после одного и того же кошмара: мне снилось, будто я погружаюсь в мягкое, вечное небытие. Ветер трепетно вздыхал за окном, тихо плескались в реке воды, слышался чей-то негромкий спокойный голос, но помимо этого не было ничего — ни звона трамваев, ни урчания батарей, ни свистков, ни отнюдь не романтического гудка паровоза, ни бодрого стука шагов, среди которых не хватало лишь моих, ни мирного поскрипыванья и потрескиванья старого деревянного дома, — камень, одно лишь холодное каменное безмолвие.

Все было нереально, кроме моих чувств, а чувства мои совершенно не походили на прежние. Сжав зубы, я страдал, нетерпеливо ожидая встречи с Дорном.

Хотя и в нем я успел несколько разочароваться. Один день был действительно ужасен — день, когда я рассчитывал получить письмо с Запада. Накануне молодой Келвин предложил мне поехать в его поместье, провести там день, переночевать и вернуться утром.

Келвин, с которым познакомил меня месье Перье, был сыном лорда Города и правой рукой своего отца. Большую часть времени они проводили в городской резиденции, но настоящий их дом был в деревне, в десяти милях от столицы.

Вчетвером мы выехали из Города в четыре часа, когда молодой Келвин закончил свою работу. Кроме меня, были приглашены Филип Уиллс и молодой Мора, старший сын премьер-министра, выпускник Оксфорда. Разумеется, многое сближало его с Уиллсом, поскольку оба учились в Оксфорде в одно и то же время. Помимо прочего, он и молодой Келвин были двоюродными братьями — мать каждого приходилась другому теткой. Таким образом, по отношению к этой троице я оказывался почти что чужаком.

Все они держались со мной учтиво, однако учтивость эта была скорее продиктована приличиями, чем шла от сердца. Я был не из их круга, и не только по соображениям политическим, но и потому, что держался слишком скованно и неестественно, чтобы соответствовать их норме. Вежливое обращение Келвина было несколько нарочито; все понимали друг друга с полуслова, мне же приходилось объяснять азы. Уиллс был типичный хамелеон, и ему доставляло искреннее наслаждение быть таковым с «достойными» людьми. Молодой Мора напоминал отца, но был не настолько изыскан, безукоризнен и обаятелен. Правда, улыбался он обворожительно и щедро одаривал меня своими улыбками, но я подозревал, что он не слишком мне доверяет и что за умными и мужественными его чертами кроется полное безразличие к людям типа Джона Ланга, однако он был чересчур вежлив и горд, чтобы обнаружить это в критических замечаниях.

Мы выехали через самые северные из обращенных на восток ворот, проехали через мост и дальше — к плоско раскинувшимся фермерским наделам, где скоро углубились в лабиринты высоких каменных стен, изгородей, роц. Солнце припекало, и воздух был полон теплым благоуханием земли и растений. Листья деревьев и трава в полях пышно зеленели; кукурузные початки и колосья на упругих стеблях зрели и наливались соком; цветы в садах были яркие и свежие, будто только что политые. Даже дорога местами подвергалась набегу трав, и цоканье лошадиных копыт звучало приглушенно.

Мы ехали вдоль реки, следуя ее плавным излучинам. По берегам росли ивы, и маленькие

глянцеvито-черные ласточки проворно скользили над мирными водами. Грузные суда бороздили речное лоно, сырая парусина важно раздувалась от ветра, а команда беззаботно коротала время на палубе.

Тени стали длиннее, и мы пришпорили лошадей. Дорога отклонилась от реки, и впереди, слева, над вершинами густого леса, сплошь состоявшего из огромных буков, показалась освещенная солнцем вершина скалы. Крутой поворот — и мы въехали в проход, образованный высокими каменными стенами. В лесу царил сырой полумрак. Но уже через минуту мы вновь выехали на ярко освещенные солнцем поля. В стороне от дороги показались тесно сомкнувшиеся, крытые красной черепицей крыши. Это и был настоящий дом Келвина, поместье, принадлежавшее их семье вот уже два столетия.

Ясным и звонким, как колокольчик, голосом Келвин выкрикнул одно за другим наши имена: «Мора! Уиллс! Ланг! Келвин!» — и звукам последнего сообщилась дрожь его голоса — дрожь радости и сознания собственного могущества.

Появились двое слуг. Один принял у нас лошадей, другой — вещи. Старая седая дама ласково приветствовала нас, назвав свое имя, которое я не расслышал. Меня отвели в тихую комнату на первом этаже, впрочем, я оставался там недолго, только распаковал свои вещи и переложил вечернюю одежду в суму, которую Джордж купил мне перед отъездом.

Потом все мы отправились к реке, разделись в маленьком каменном эллинге и один за другим попрыгали в воду с причала. И это простое, естественное событие — купание летним вечером — пробило брешь в толстой скорлупе, отгородившей меня от реального мира. В конце концов, Мора, Келвин и Уиллс были всего лишь молодыми людьми, такими же человеческими существами, как и я. И пусть их тела отличались особой, утонченной красотой, пусть островитяне плавали лучше меня, все равно я плавал гораздо лучше Уиллса, я плавал в прохладной воде под необъятным голубым небом, и ласточки, вившиеся вокруг, задевали воду кончиками крыльев. А впереди ждал добрый ужин.

Но какая разница обнаружилась между нами, когда мы стали одеваться! Пока я, разгоряченный и мокрый, воевал чуть ли не с двумя дюжинами различных деталей туалета, составляющих обычное вечернее платье, мои товарищи, даже Уиллс, пробовавший носить островитянский костюм, легко и быстро облачились в свою простую одежду. К тому же моя рубашка и воротничок были скверно накрахмалены, поскольку в Островитянии не принято крахмалить одежду, и невероятно топорщились и казались нелепыми по сравнению со скромным нарядом молодых островитян: легким льняным нижним бельем, чулками, сандалиями, открытыми на груди рубашками, короткими, как у маленьких детей, штанами и куртками. В своих коротких мальчишеских штанах они выглядели холодно-надменными, безупречными молодыми аристократами, рядом с которыми я смотрелся, как слуга. Картина была впечатляющая. Их рубахи из белоснежного, мягчайшего льняного полотна, с широкими отложными воротниками, темно-синие куртки и штаны свободного покроя тем не менее сидели на каждом идеально, а довершали костюм чулки и сандалии. Костюм Уиллса был практически одноцветный, за исключением красной полосы по верху чулок и на обшлагах; на куртке у Мора были красные лацканы, и широкие красные полосы шли поверх узких белых полос на обшлагах и чулках, так же располагались полосы и у Келвина, но только цвета их были другие — лиловый и черный.

Когда мы подъехали к дому, я был весь в испарине, и шея, натертая воротничком, горела.

Стол для нас накрыли на веранде. За окном скоро стемнело; внесли лампу. Ясное белое пламя, издавая слабый сладковатый аромат, ярко горело под колпаком из воценой бумаги. Блюда были простые, но искусно приготовленные, и четверо юных голодных эпикурейцев вкушали их с торжественно-критическим видом. Разговор касался прежде всего политики, и

скоро стало ясно, что взгляды Мора и Келвинов на отмену чрезвычайных законов и развитие торговли с заграницей полностью совпадают. Едва коснувшись возможности того, что страна добровольно внесет необходимые изменения в свое законодательство, они согласились, что в противном случае ей навяжут эти изменения силой. Особый интерес для них, казалось, представлял вопрос: что случится, если эти перемены произойдут? Передо мной, американским консулом, открывался новый мир: недвусмысленные планы английских промышленников построить железную дорогу от столицы до Субарры, а затем и до крупного центра Мильгайн; конкуренция, которую составляла им Германия; пароходы; экспорт, импорт, банки, биржа. Уиллс с большим искусством играл роль восторженного, но ненавязчивого защитника интересов своей страны, особенно нападая при этом на Германию, в то время как молодые островитяне не хуже заправских дипломатов не позволяли склонить себя на чью-либо сторону. Они были далеко не последними людьми, эти юноши, и пользовались доверием своих могущественных отцов, выступавших в союзе. Лорд Мора контролировал восток страны, а лорд Келвин, занимая стратегически важную позицию в столице, оказывал сильное влияние на центральные области. Запад оставался вотчиной Дорна и его двоюродного деда. И если судить по Дорну, то, пожалуй, они были несколько грубее и гораздо менее проницательны, чем наш утонченный хозяин, его кузен с умным, живым взглядом и их умудренные житейским опытом, целеустремленные отцы.

Скоро я почувствовал, что Мора украдкой коснулся моей руки. Потом последовало несколько вопросов, на которые я отвечал чисто механически: о кузене Дорне, о Гарварде, о нашей дружбе. Виделся ли я уже с ним? Нет, только послал письмо. Даже несмотря на долгое политическое противостояние, с чувством сказал Мора, они остаются друзьями. Но консул — это всегда торговля...

Я понял их намек на то, что Дорн может и не ответить на мое письмо.

— Консул — это не только торговля, даже если ваш народ проголосует «за», — сказал я после небольшой паузы.

— Перри и Япония, — заметил Мора.

— Мне претит сама идея того, что наши страны могут вступить в конфликт, — сказал я, поочередно взглянув в глаза Море и Келвину.

Мора от души рассмеялся, и напряженный момент остался позади.

— Я всего лишь консул, — сказал я, — и откуда мне знать, что на уме у людей.

Как истинный дипломат, я почувствовал, что самое безопасное — прикинуться несведущим.

— Может быть, я со временем и узнаю, но Соединенные Штаты часто не принимают в расчет мнения своих консулов.

— Как вы думаете, что лучше для Островитянии? — спросил Мора.

— Боюсь, мне будет сложно ответить на этот вопрос.

— Сейчас, из-за наших традиций, мы — изгои.

— Но у вас есть замечательные друзья. — Я с улыбкой кивнул в сторону Уиллса, который важно наклонил голову.

— Единственное, почему меня назначили консулом, — продолжал я, — так это потому, что я немного знаю ваш язык. Претендентов было достаточно, но я прошел легко. Меня заинтересовали рассказы Дорна об Островитянии. И вот я здесь. Сам я пока еще не привык к этой мысли, ведь у меня совсем нет дипломатического опыта. Я полагаю, правительство давно хотело иметь здесь своего человека, но вовремя не позаботилось об этом, поскольку, будь у него более подходящая кандидатура, меня никогда не назначили бы консулом. Как видите, другие страны отнеслись к ситуации серьезнее. Здесь работают сейчас и Гордон Уиллс, и месье Перье,

и граф фон Биббербах — люди опытные, успевшие отличиться на своем поприще.

— Не сомневаюсь, что Соединенные Штаты имеют в вашем лице самого достойного представителя, — произнес Мора с легким поклоном.

После этого я помню только белое пламя лампы, черноту ночи за окном, треск сверчка. Я говорил без удержу, и с каждым мигom окружающее становилось все более нереальным. С веранды мы перебрались в библиотеку, где нам подали белый ликер, бархатистый и сладкий, как капля чистого меда. Пламя свечей отражалось в корешках сотен старинных книг в переплетах из островитянской махагони. И мы говорили, говорили и говорили до поздней ночи.

С облегчением вошел я в свою комнату, в окна которой заглядывали неподвижные ветви деревьев и усыпанное звездами летнее небо. Желтое пламя свечей горело ровно, и в складках портьер залегли глубокие тени. Единственным украшением комнаты служила тонкая резьба на дверном наличнике. Резчик изобразил мужчину в гордой позе, обращающегося с речью к трем слушателям, один из которых внимал ему с сомнением на лице, другой стоял вполоборота, словно готовый немедля перейти к действию, а третий брался за вилы. Я понятия не имел, что за сюжет изображен на рельефе, но в ораторе, лицо которого было вырезано с тонким тщанием, я узнал Келвина по его орлиному носу. Группу обрамляли деревья, и по обе стороны выглядывали зверские лица чернокожих, притаившихся за стволами.

Засыпая, я еще раз очень живо представил себе эту сцену, страшную, грозную опасность и сизифовы труды, прилагаемые к тому, чтобы ее избежать...

Позавтракав рано утром все на той же веранде, мы вернулись в Город. Сегодня был первый день, когда я мог ожидать ответа от Дорна. Зная это, я специально старался не тешить себя надеждами, чтобы избежать разочарования.

В девять я простился с Келвином и остальными на ступенях перехода, соединявшего мой дом с соседним.

Джордж занимался английским и, произнося слова, старательно топорщил свою бородищу. Услышав, что я вхожу, он поднял на меня безмятежные глаза и по-приятельски улыбнулся.

Я спросил, нет ли писем.

— Еще рано, — сказал Джордж. — Курьер с Запада прибудет в Город не раньше полудня, а письмо доставят не раньше вечера.

И, участливо взглянув на меня, добавил:

— Но я сам схожу на почту в полдень. Днем мы вместе пошли в Западную почтовую контору, расположенную рядом с агентством. По пути мы задержались на мосту над портом, глядя вниз на сложную мозаику длинных вытянутых пирсов и укромных доков. Доки были устроены для кораблей из западных провинций, и Джордж сказал, что этот небольшой участок Города — очень западный по характеру. Рядом, добавил он, находится официальная городская резиденция лорда провинции Нижний Доринг, то есть лорда Дорна; фасад ее обращен к бухте, а личный корабль лорда стоит на причале там, за молами.

Джордж охотно принялся рассказывать о Западе, где ему часто приходилось бывать во время службы.

— На Западе люди другие, — говорил он. — Они всегда как бы в стороне от того, что происходит, и даже не потому, что живут далеко, а из-за гор. Но при этом всегда про все знают, будто живут с тобой по соседству... А вообще, там сплошные болота на много-много миль, разве что кое-где попадется островок повыше. И вот стоите вы посреди этой плоской равнины, и смотрите на горы вдаль, и ветер такой, что слезы на глаза наворачиваются. Дайте человеку из Доринга пядь земли, и тогда — хоть из пушек пали, хоть разверзлись под ним земля, а над ним все хляби небесные, — не дрогнет. А потом, глядите — он уже и не один, а в кругу счастливой семьи, и землю пашет, и дела у него идут будь здоров. И против любого противника станет

биться до последнего, ручаюсь! А случись, кто-то вам угрожает, человек из Доринга тут как тут — и поможет, и жизнью своей за вас рискнет. Исла Дорн, двоюродный дед вашего друга, как раз такой, весь, до последнего волоска, до косточки. Старееет он, правда, но эти люди с годами только крепче. Говорят, он не так умен, как его отец, но это время покажет... А вот и почта.

В дальнем конце набережной, рядом с гостиницей показалась маленькая кавалькада. Впереди бежали две выючные лошади, а за ними следовал всадник. Лошадь, бежавшая первой, хорошо знала дорогу и, свернув с набережной у моста, остановилась возле двери почтовой конторы и негромко заржала. Другие, не отставая, последовали за ней. Почтальон сидел небрежно, боком на груде кожаных мешков.

Перейдя дорогу, мы подошли к почтальону, и Джордж изложил суть нашего дела.

— Нет ли письма от внучатого племянника лорда Дорна к Лангу?

Почтальон покачал головой.

— Есть от Файны к Лангу, — сказал он и, с необычайной ловкостью соскочив на землю, стал рыться в одном из мешков, пока не нашел письма. Имя Файна пробудило во мне смутные воспоминания, хотя я так и не смог вспомнить, с чем оно связано. С Запада мне могли писать только люди, так или иначе связанные с моим другом. Уж не случилось ли с ним что-нибудь? Я припомнил рассказ Дорна об ужасной трагедии, когда утонули его родители и двоюродный брат отца.

Плотный, хитро сложенный конверт был запечатан синим и белым сургучом. Когда мы перешли через мост, я вскрыл конверт и прочел:

«Лангу, другу моего внука.

За три дня до того, как пришло письмо его друга, мой внук отправился на север и вернется не раньше конца септена (примерно 15 марта). Письмо его друга будет ждать его возвращения, потому что мы не знаем точно, где наш внук сейчас находится. Однако мы послали сообщить устно в те места, где он предположительно может быть, о том, что его друг — в Островитянии. Очень маловероятно, что наше послание достигнет его. Тем не менее да не истолкует друг моего внука его молчание как знак невнимания, потому что, знай он, что Ланг прибыл на его землю, он тут же отправился бы туда, где его друг.

Мы также осмелимся утверждать, что знаем Ланга, хотя и никогда его не видели. Мы узнали о том, что он приезжает к нам как консул Соединенных Штатов, через день после того, как внучатый племянник Дорн покинул нас, и мы отправили послание, чтобы задержать нашего родственника, однако безуспешно. Мы знаем, что он относится к Лангу с линамией (это слово было мне незнакомо).

Мы не знаем, каковы обязанности Ланга, но наш дом — его дом.

Файна».

Внизу мелким, но резким, угловатым почерком черными-пречерными чернилами было приписано:

«Комната Джсона Ланга готова для него.

Дорн XXVI».

Первым моим чувством было жгучее разочарование, но почти сразу вслед за ним пришло облегчение. Стало быть, они знали, что я — консул, но им даже не пришло в голову, что это

обстоятельство могло как-то сказаться на моих отношениях с ними или с их родственником. И все же кое-что в письме требовало разъяснения. Был только один человек — месье Перье, — достаточно знавший островитянский, чтобы помочь мне. Я попрощался с Джорджем и отправился на поиски француза.

Он сидел у себя в конторе, куря трубку из верескового комля с прямо посаженным чубуком, и просматривал корректуру. Его ясные, умные светло-карие глаза с ласковым любопытством устремились на меня.

— Не иначе как кто-то из ваших соотечественников совершил убийство, — сказал месье Перье, заметив мое красное лицо и как бы напоминая о своем обещании помогать мне в дипломатических затруднениях.

— Пожалуйста, прочтите это, — я протянул ему письмо, — и растолкуйте мне кое-какие тонкости.

Месье Перье внимательно прочел послание Файны.

— Вы уже успели стать весьма почитаемой персоной, — сказал он наконец. — Вам никогда не встречалось слово *тан-ри-дуун*?

Буквально это сложное слово означало «обычай земного места», но общего его значения я не знал.

— Я понимаю только каждое слово в отдельности, — ответил я.

— А еще говорили, что читали Бодвина. Впрочем, не важно. Что, по-вашему, означает *элаинри*?

— Город, разумеется.

— А дословно?

— Место скопления людей?

— Скажите, знаете ли вы какой-нибудь другой язык, в котором слово «город» так образно передавало бы взгляд на него сельского жителя?

Я отрицательно покачал головой.

— А знаете ли вы, что даже горожане здесь не считают город своим домом?

— В общем, знаю. У Бодвина я читал, что горожане обычно имеют родственника в деревне, чей дом всегда для них открыт.

— Более того, — подхватил месье Перье. — У каждого горожанина есть такой дом, такое место. И оно одно для деда и для внука, причем вас не только всегда рады там видеть, но вы имеете право — официальное право — приехать туда и оставаться там столько, сколько захотите, с той лишь разницей, что, если вы пробудете там больше месяца, вам придется выполнять какую-либо работу. И вы можете приехать со всей семьей. В конечном счете все зависит от чувства меры и такта.

Месье Перье умолк.

— Если вы женитесь, — продолжал он после паузы, — то примерно за месяц до того, как у вас должен будет появиться ребенок, вы и ваша жена сядете на корабль, отплывающий в Доринг, и отправитесь в дом лорда Дорна, где вас будут ждать и всегда будут рады вас видеть. Ваша жена сможет оставаться там, пока не придет время отнять ребенка от груди, а может быть, и дольше, а вы — в течение любого времени, сколько захотите. А потом, если ребенок вдруг заболеет или ему будет скучно в Городе, вы снова все вместе направитесь к лорду Дорну. Вот что означает слово *тан-ри-дуун*, и это еще далеко не все.

Мадам Файна осторожна, к тому же дом — не ее. Она пишет: «Наш дом — это дом и для друга моего внука». То есть она приглашает вас как гостя, пусть и не случайного или приглашаемого к какой-то определенной дате. В таких случаях используется иная форма: «Можете считать наш дом своим, если будете проезжать через нашу провинцию» — или:

«Считайте наш дом своим с первого мая».

Полагаю, что, написав письмо, она показала его лорду Дорну. Он ее сводный брат и, само собой, глава дома. Он пишет, что ваша комната готова для вас. И это надо понимать буквально. Одна из комнат выметена, вымыта, короче, приведена в порядок и ждет гостя. На окнах — новые портьеры, и все остальное — на своем месте: кровать, кресла, стулья, стол и умывальник. Возможно, Файна вырезает сейчас на дверном косяке или на одном из камней, из которых сложен камин, какую-нибудь знакомую вам сцену — скажем, Вашингтон, проезжающий через Делавэр, — если ей неизвестны сюжеты из истории вашей семьи. Теперь у вас есть свое *танри*, свое «земное место», мой друг. Вряд ли кто-то из нас, иностранцев, живущих здесь, может этим похвастать. Думаю, лорд Дорн повел себя так, чтобы сделать приятное внучатому племяннику.

— А что значит «*линамия*»? — спросил я.

— Это вы должны бы знать. Что такое «*амия*»?

— Привязанность, симпатия, что-то вроде любви, но лишенное чувственности.

— А «*лин*»?

— Сильный.

— Вот и получается, что это сложное слово — «*линамия*» — означает те глубокие и сильные дружеские привязанности, которые даются человеку не чаще, чем раз или два в жизни. Вы — счастливчик! Оказанная вам честь тем больше, что была оказана не потому, что вы консул, а вопреки этому. Помимо вас, *танридуун* в доме лорда Дорна имеют еще только две семьи, и обе весьма знаменитые. Могу я дать вам один совет?

Я кивнул.

— Думаю, вы поступили неправильно, показав мне это письмо, но это естественно, а потому простительно. У островитян существует целый набор различных знаков внимания, которые для них яснее ясного и совершенно необъяснимы с нашей точки зрения. И вникать в них следует не спеша. Есть одна знаменитая история о человеке, который узнал о своем друге нечто, что, стань оно известно в кругу его противников, привело бы его друга к гибели. Один из врагов его друга, не скрываясь, всеми средствами старался вызнать, в чем дело. И герою истории было об этом известно. И вот как-то раз, во время беседы, этому человеку пришлось упомянуть о том, что он знал, в другой связи. Проговориться — значило предать друга, но промолчать было еще хуже, поскольку он тем самым проявил бы недоверие по отношению к противнику. Итак, он рассказал то, что ему было известно, однако его собеседник не воспользовался тем, что узнал. Кстати, мне кажется весьма странным, что молодой Дорн уехал куда-то на несколько месяцев так, что семья не может его найти. Он человек известный, да и Островитяния не так уж велика. Эта деталь может иметь огромное значение, и я не удивлюсь, если противники лорда Дорна будут рады узнать об этом. Они рассказали о ней вам, ибо это был единственный способ объяснить, почему молодой Дорн не приехал повидаться с вами. Файна — островитянка, и ей, возможно, не пришло в голову, что вы расскажете об этом кому-то еще. Полагаю, что лорд Дорн понимал, чем рискует, но он тоже вполне островитянин для того, чтобы скорее подвергнуться риску, чем оскорбить друга своего внучатого племянника. Так что, насколько я понимаю, вы никогда не приходили ко мне, а я никогда не видел письма. И вообще, лучше всего, если никто не узнает, что у вас есть *танридуун*.

Я вспыхнул. К моему удивлению, месье Перье тоже покраснел.

— Чувство чести не всегда — врожденный инстинкт. Но в глазах островитян благородный человек всегда обладает врожденным чувством чести. Впрочем, не важно. Мы оба попали в неловкое положение. И уж не нарушил ли я островитянский кодекс чести, позволив себе усомниться в том, что вы знали, что делаете?

Он рассмеялся.

— Еще один небольшой совет. Когда вернетесь домой, выметите и приберите одну из комнат и повесьте в ней новые занавеси. А когда будете отвечать мадам Файне, напишите, что испытываете *линамию* к ее внуку, — я ведь знаю, это так. Напишите, что приготовили комнату для молодого Дорна. Вряд ли лорд Дорн ожидает, что вы сделаете это для него. И все же упомяните, что ваш дом — это их дом. *Танридуун* должен быть обоюдным. И вы не можете принять его, если сами не желаете принять у себя селянина, когда он приедет в Город.

Месье Перье пригласил меня поужинать у него, а потом мы с Мари пошли прогуляться. По совету отца, хотя он и не стал объяснять ей, в чем дело, она взялась вырезать для меня барельеф с изображением сцены из истории дома Дорнов. И теперь мы шли по аллеям и улицам, изучая резьбу на домах — увлечение Мари. Где-то резьба была такой старой, что почти стерлась, в других местах — новой и еще не законченной. И все это не было делом рук специально нанятых мастеров, а просто кто-то из домочадцев, выбрав тот или иной сюжет или памятный случай из истории семьи, вырезал его на дверном косяке или наличнике окна. Мари показала мне свои любимые барельефы: сцену охоты, группу людей со страдальческими лицами, бегущих из объятаго пламенем дома и, наконец, покрывающее почти весь фасад изображение жестокой битвы с чернокожими. Мастерство резчиков было разным, но порой мощная фантазия наделяла грубо исполненную работу притягательной силой, которой были лишены изысканные, сверхтщательные образцы.

Потом к нам присоединилась Жанна, и по вьющейся, петляющей улочке мы поднялись на вершину Восточного холма — посмотреть на изваяние и резьбу собора. Когда мы вдоволь налюбовались ими, девушки упростили меня подняться на крышу, с которой открывался вид на северные горы, вздымавшие нагие снежные плечи, окутанные предсумеречной дымкой.

Прямо под нами была крытая шифером кровля королевского дворца — трехэтажного здания весьма незамысловатой архитектуры. Между сестрами разгорелся жаркий спор, коснувшийся и короля, и девушки наперебой принялись высказывать свое мнение о нем:

— Он еще такой молодой и...

— Когда правишь всего только два года...

— И настоящей власти у него...

— Маловато, хотя папа говорит, что если бы он действительно хотел власти, то пользовался бы ею чаще, но это было не в моде у них в семье...

— Последние лет сто...

— И все-таки он может назначать кого хочет, и председательствует на Государственном Совете, и...

— У него есть право голоса!

Все рассмеялись.

— Вы его видели? — спросил я.

— Он приходил к нам домой...

— Пока не был королем, Жанна.

— А тебя тогда вообще не было.

Какое-то время они препирались, а потом сказали в один голос:

— Все равно он к нам приходил.

— А как он выглядит?

Барышни пожали плечами:

— Высокий и стройный, как свеча.

— Говорят, очень сильный.

— Волосы — желтые, вьющиеся, а глаза — голубые.

— А нос...

— Такой гордый!

— Настоящий греческий профиль! — Для наглядности Мари обозначила ладонью отвесную прямую линию.

— Очень опасный...

— И все девушки...

Тут они понимающе переглянулись и, подавив смешок, обратили ко мне серьезные лица и торжественно продолжали:

— Его никогда не застать дома. Никто не знает, куда он ходит...

— Он такой загадочный...

— И обаятельный.

— Зато его сестра почти все время тут живет.

— Он примет вас в марте, когда начнет заседать Совет.

— Как жаль, что здесь нет Рампельмайеров! — воскликнула Жанна, подпрыгнув.

— Пойдемте домой — пить чай!

Возможно, что именно события того дня стали решающими. Я несколько успокоился. Поведение лорда Дорна польстило мне, а то облегчение, какое я испытал, окончательно убедившись, что моя официальная миссия не делает меня изгоем, устранило одну из причин моих тревог и сомнений. Правда, оставались другие причины, гораздо более тонкие. Возможно, я скучал по той жизни, которую вел дома, но это казалось крайне маловероятным, поскольку моя жизнь в Островитянии была куда разнообразнее. Пускай здесь не было театров, концертов, бейсбольных и футбольных матчей, теннисных кортов, клубов, пышных витрин и ярких реклам, не было приятно будоражащей возможности отправиться в путешествие, не было танцевальных вечеров и ресторанов, не было юных леди моего круга, за которыми можно было бы поухаживать по правилам, привычным для нас обоих, — все же внутренняя жизнь дипломатической колонии была несравненно более богатой и упорядоченной, чем то, что окружало меня дома, где я никогда, даже мимолетно, не соприкасался с миром власти и политических интриг. Здесь я вступил в игру, правда, без особых козырей на руках, и с захватывающим интересом наблюдал, как неотвратимо приближается кульминация — день, когда предложенный лордом Морой договор будет принят либо отвергнут.

Это не было обычным унынием. Нечто более глубокое и грозное разъедало изнутри каждый миг моего бытия, заставляло тускнеть память. Эгоцентризм, самокопание, мучительные попытки приспособить уже сложившийся характер к чуждой жизни, неуверенность, сумасбродные идеи, нервное истощение, зуд чувственности, лень, мировая скорбь — каждой из этих причин в тот или иной момент можно было объяснить мое состояние, но ни одна из них не была исчерпывающей. Я неподдельно страдал и даже не мог описать своих страданий. Гнетущее чувство, что все мое существо беспомощно влечется к некоей переломной точке, неспособность прикоснуться к реальности, стряхнуть ощущение сна, постоянно граничащего с кошмаром, мягко приближающегося к какому-то страшному, чудовищному концу, и недолгие проблески радости, отравленной неизбежным привкусом металла.

Стоял конец января, и юго-западный ветер зачастил к нам в гости, принося то ливни, то долгие, мягкие, солнечные дни. Лето достигло пика.

Пароходы ожидались в середине февраля — начале марта. Дипломатическая колония настроилась на месячные каникулы. В июне, то есть ранней зимой, должно было состояться самое важное собрание Государственного Совета, когда общественная жизнь вступает в наиболее активную пору. Мартовское собрание Совета тоже привлекало в Город множество лордов, но это было событие гораздо менее значительное. Для меня же март прежде всего

означал возвращение моего друга. А пока я работал над своим «боевым донесением», собирая материалы, навещал месье Перье и других знакомых дипломатов, иногда оставался у них на ужин и каждый день гулял по городу — то один, то в компании барышень Перье, то с Джорджем или Эрном.

Первые пароходы должны были прибыть уже совсем скоро. Отчет, деловые письма, письма к родственникам и друзьям почти полностью занимали мое время и ум, приятным образом ограждая меня от ностальгии. Процесс описания и пересказа помогал отсеивать лишнее, вносил ясность в мысли, и, осознавая неполноту и ограниченность своих знаний, я наметил для себя круг чтения. Месье Перье предоставил в мое распоряжение свою, очень неплохую, библиотеку, и я взял у него почитать капитальное творение Карстерса, слегка пристыженный тем, что Глэдис Хантер познакомилась с ним раньше, чем я. Но гораздо более интересной и, пожалуй, более ценной была для меня «История Островитянии» месье Перье, который давал мне читать ее в гранках. После проникновенного рассказа об истории страны автор делал обзор ее социальных институтов, общественной жизни, искусства и природных особенностей, используя исключительно свидетельства иностранцев. Соглашаясь с классификацией некоего островитянского автора, он подразделял их на утопистов и реформаторов и показывал, насколько и тем и другим было всегда свойственно одно качество — горячее стремление что-либо где-либо изменить. Экстравагантные утописты восхваляли Островитянию, желая изменить собственный народ по островитянскому образцу. Реформаторы, наоборот, желали изменить Островитянию по своему подобию. В глубине души я принадлежал к реформаторам, поскольку инстинктивно чувствовал, что ни одна страна не должна полностью изолировать себя от остального человечества, как это делала Островитяния. Принимая реформуляцию как неизбежный эволюционный процесс, я хотел, чтобы она произошла в той форме, которая оказалась бы благотворной для Островитянии, Соединенных Штатов и остального человечества.

Настало пятнадцатое февраля — день прибытия первого парохода. Им оказался мой давний знакомец «Св. Антоний», и, как было принято среди консулов, атташе и прочих, более мелких сотрудников дипломатических миссий, я отправился к месту прибытия уже далеко за полдень со своей пачкой писем. Предполагалось, что письма помогут нам найти наших соотечественников.

Генри Дж. Мюллера и его помощника Роя Дэвиса не узнать было трудно, настолько типичными американцами они предстали. Мюллер оказался средних лет человеком в синем саржевом костюме и котелке. Его почти седые волосы были коротко подстрижены, а черты лица — резки и определены. Из-под очков в металлической оправе на вас глядели доверчиво-вопросительные голубые глаза. Такого типа люди частенько появлялись в конторе у дяди Джозефа. Они обладали могучим интеллектом, были опытны и деятельны в том, что касалось бизнеса, и по-методистски последовательны в том, что касалось веры (впрочем, не навязывая своих взглядов окружающим), иначе говоря, представляли полную противоположность таким людям, как я, — никогда не умеющим на деле доказать свою правоту, не умеющим даже правильно сформулировать свою мысль и, как правило, остающимся вне игры.

— Не вы ли мистер Ланг, консул? — спросил он и, не дожидаясь ответа, решительно и крепко пожал мою руку.

Я подтвердил его предположение.

— Познакомьтесь с моим помощником Дэвисом, — сказал Мюллер. — Как я понимаю, здесь должна быть гостиница.

Я указал ему на здание гостиницы, видневшееся за виндеровскими доками, и сказал, что договорился о комнате.

— Благодарю, — коротко ответил он. — Где кэб?

Узнав, что кэбов здесь нет, Мюллер, казалось, был удивлен, однако легко смирился с этим обстоятельством, и мы двинулись к гостиницу в сопровождении носильщика с тележкой. Уверен, что по пути ничто не ускользнуло от взгляда мистера Мюллера, так и стрелявшего по сторонам, пока сам он говорил без умолку. Он собирался покинуть Островитянию в начале марта; таким образом, в запасе у него было только три недели, и ему нужно было как можно скорее попасть в Виндер, где велась добыча меди. Он рассчитывал на мое содействие.

— С удовольствием, — ответил я и сказал, что конкретно могу для него сделать. Тридцать шесть часов спустя в сопровождении переводчика, проводника, повара и двух верховых, с рекомендательным письмом лорда Моры, он отбыл, явно довольный оказанной ему помощью, хотя и воспринимая ее как должное.

— Уверен, что мистер Гэстайн будет вам признателен, — сказал он на прощанье, весь в хаки, бодрый и подтянутый.

Три дня спустя после приезда Мюллера немецкий пароход «Суллиаба» прибыл с восточного побережья, и в восемь утра я уже был в порту, готовясь встретить приехавших на «Суллиабе» американцев и получить первые письма из дома. Встретив соотечественников, я проводил их до гостиницы.

Первая связка писем! В саду над моим жилищем никто не мог мне помешать. Только одно письмо было от начала до конца неприятным. Его автор буквально метал громы и молнии из-за того, что Кадред на основе результатов медицинского обследования отказал ему во въезде, и особенно обращал мое внимание на следующие моменты: во-первых, от заболевания, послужившего причиной отказа, он уже вылечился; во-вторых, он считал себя белым человеком; в-третьих, если ни в одной цивилизованной стране заболевание не рассматривается как препятствие для въезда, то какое право имеют на это язычники; в-четвертых, он считал себя примерным баптистом; в-пятых, процедура обследования казалась ему оскорбительным вздором; и, наконец, в-шестых, он считал моим долгом незамедлительно отреагировать. Надо признаться, я не проникся к этому человеку особой симпатией.

Другие письма, содержавшие разного рода коммерческие запросы, предвещали много работы в будущем. Было среди них и послание от дядюшки Джозефа, который никогда не забывал дать мне какое-нибудь задание, и я подозреваю, что еще несколько писем были инспирированы им, поскольку пришли от его закадычных друзей.

Были и длинные, обстоятельные письма из дома, и письма от всех моих барышень, отвечавших на то, что я писал им из Лондона, и среди них еще одно — от Глэдис Хантер.

За три дня до отплытия Мюллер бодрым, пружинистым шагом вошел в мой кабинет.

— Я оставил Дэвиса в Виндере, — начал доверенный мистера Гэстайна. — Он пробудет там до середины марта. Нам нужна ваша помощь. Просьба держать все в строжайшем секрете!.. Мы очень хотели бы заключить опционы на кое-какую собственность. Мне кажется, она того стоит. Мое предложение: мы оставляем некую сумму — или векселя на нее, — которая должна быть выплачена владельцу, как только островитянское правительство откроет двери торговле. Если опционы придется оплачивать наличными, пусть это будут наличные. Впрочем, думаю, хватит и векселей, ведь я являюсь доверенным мистера Гэстайна. Но мне кажется, владельцы здешних рудников плохо представляют, что такое вексель. Надеюсь, что несколько соответствующих заверений с вашей стороны помогут убедить их, что вексель предпочтительнее, чем наличность.

— Какого рода заверений? — спросил я удивленно.

— Заверений относительно векселей, платежеспособности Гэстайна...

— Но разве это не будет нарушением договора? — прервал я его.

— Понимаю, понимаю, — коротко сказал Мюллер. — Вы подразумеваете, что на данный момент иностранец не имеет права заключать опционы. Я думал об этом. Заключающий опцион человек может быть и островитянином. Тогда никто не сможет придраться и...

— Но тогда он должен полностью довериться Гэстайну, а значит...

— А почему бы и нет? — Мюллер прервал меня так резко, что я почувствовал, как кровь приливает к моим щекам.

— Я дам вам адрес юриста, — ответил я, — посоветуйтесь с ним насчет того, насколько это в рамках закона.

— Отлично, — сказал Мюллер. — Теперь вы здесь консул, Ланг, и ваша придирчивость мне понятна. Однако я не понимаю, почему вы так убиваетесь из-за того, что опционы на часть рудников будут заключены от имени кого-то из здешних жителей. Все достаточно просто. Деньги могут поступать в эту страну только из кармана путешественника или через посредство посла или консула. Если же деньги придется выплачивать в рассрочку, то ни я, ни Дэвис не можем тратить время и оставаться здесь только ради этого. Так что логично, если мы передадим вам сумму, а вы будете ею распорядиться. Ведь именно для этого вы здесь и находитесь. Эту услугу мистер Гэстайн оценит очень высоко.

Я ничего не ответил.

— Нам, американцам, надо держаться друг друга, — продолжал Мюллер. — Сами знаете, конкуренция сейчас жестокая. Уверен, что это не доставит вам особых хлопот. Не будьте чересчур щепетильным, Ланг. Не сомневайтесь, в проигрыше не останетесь.

Что-то во всем этом было не так, но я не мог понять, что именно.

Наступило молчание. Мюллер буравил меня взглядом.

— Гэстайн услуг не забывает, — сказал он. — К тому же он наслышан о вас от вашего дяди. Здешние рудники он может превратить в большое дело.

Последовала долгая пауза.

— Итак? — в упор спросил Мюллер.

— Вы просите моего совета? — спросил я, и в самом деле смущенный.

— Боже правый! — воскликнул Мюллер, самой язвительностью своего тона словно побуждая меня принять решение.

— Не уверен, что имею право получить деньги таким путем. Если бы они предназначались для оплаты товаров, которые я переправлял бы кому-нибудь, тогда...

— Но вы можете принять их! — вскипел Мюллер.

— Да, могу, но должен ли?

— Как же мне доказать вам, что вы должны? — На этот раз тон был отеческим, увещевающим.

— Никак, — ответил я бесхитростно. — Это вопрос исключительно юридический, и я соглашусь не раньше, чем посоветуюсь с юристом.

— Да зачем же! — воскликнул Мюллер. — Это бизнес, а закон здесь ни при чем. Если вы не скажете сейчас же, что я могу рассчитывать на вашу помощь, то лучше прекратить этот разговор.

— Знаете что, — сказал я, — мне это дело кажется темным, и, по-моему, вы этого не понимаете.

— Понимаю, но иначе... Сделайте все, что сможете, для Дэвиса, если у него будут неприятности. — Мюллер хохотнул. — Мы по-разному смотрим на вещи, мистер Ланг, и я не вижу нужды вас больше беспокоить.

Он протянул мне руку. Я тепло пожал ее.

Мюллер ушел, а я в сильном смущении принялся не спеша обдумывать происшедший

разговор, каждую реплику, и мало-помалу в моей голове забрезжила разгадка. Мюллер отказался от предложения насчет векселей потому, что обязательство, данное иностранцем островитянину, являлось актом еще не санкционированных «международных отношений», и потому, что ему показалось, будто я подумал, что опцион не может перейти к лицу, давшему вексель. Настаивая на варианте с наличными и видя мою нерешительность, он и намекнул на «признательность» мистера Гэстайна. Меня выручил не здравый смысл, а интуиция, и уж конечно впредь я буду консультироваться с юристом и вообще вести себя крайне осторожно.

Настал март. Казалось, что-то неизбежное должно скоро случиться, но что — я не знал. Островитяния была прекрасна, однако подавляла меня; жизнь протекала интересно и одновременно пугала; я узнал много нового, но до сих пор еще ничего не совершил. Я ждал и не мог дожидаться середины месяца. Тогда соберется Совет, и мой друг вернется к себе домой, в Доринг, и я, быть может, получу от него весточку. Это событие должно было стать кульминацией моего пребывания здесь. Какие земли откроются мне с этой вершины? Или же я был обречен без конца карабкаться ввысь, никогда не достигая цели и видя одни лишь встающие впереди новые и новые горные пики?

Тяжелые струи дождя, принесенного с юго-запада, косо хлестали в окна моего кабинета, и покрытые разбегающимися кругами лужи стояли на мостовой. Кусты в саду на крыше дома напротив метались под порывами ветра; их мокрая листва сумрачно зеленела на фоне серых, набухших влагой туч. Свет ранних сумерек был болезненным, неуютным.

Дверь открылась, и в кабинет вошел Дорн.

Он был с головы до ног закутан в мокрый, лоснящийся темно-синий плащ. Когда он откинул капюшон, я заметил, что лицо его как будто осунулось, но румянец все так же просвечивал сквозь темно-коричневый загар. Медленно поднимаясь ему навстречу, я различал его так ярко и так подробно, словно глядел в увеличительное стекло. Все остальное виделось как в дымке.

— Джон! — раздался низкий, звучный голос Дорна.

Мы крепко схватили друг друга за руки и стояли так, смеясь и не в силах отвести друг от друга глаз. Только позже я заметил, что в кабинете находится Джордж. Я представил их, по островитянскому обычаю называя не только имена, но и степень родства относительно глав их семейств.

— Джордж из Герна, брат; Дорн из Нижнего Доринга, внучатый племянник.

Дорн скинул плащ. Все такой же крепкий и широкоплечий, он, казалось, похудел.

— Твоя комната готова, — сказал я по-островитянски.

Дорн рассмеялся и ответил по-английски:

— Дядя знал, чем меня порадовать. Он рассказал мне про твое письмо.

— Я очень благодарен вам обоим.

— Когда мне сообщили, что ты уже девять дней как приехал, я мигом отправился в Город.

Наступила пауза. Дорн не сказал, где застало его это известие, но, судя по тому, что дорога отняла у него столько времени, он был в каком-то из дальних уголков страны.

— Я не успел закончить несколько дел, — сказал он. — Думал, что, когда мы вместе поедем к нам, сделаю их по дороге. Но это потребует целых двух недель вместо пяти дней.

— Не важно, — сказал я.

— Когда покончу с делами, то на какое-то время освобожусь, — продолжал Дорн. — Скажи, ты сможешь поехать со мной — две недели в пути, а потом к нам — погостить у нас подольше?

Мои обязанности консула, мои общественные обязательства, планы внимательно наблюдать за работой Совета — все растаяло, как тени в полдень.

— Да! — воскликнул я.

— Если мы поедем вместе, мне удастся пробыть с тобой здесь только два дня. А значит, ты не сможешь присутствовать на открытии Совета. Если хочешь, задержись и приезжай позже...

— Нет, если можно поехать с тобой!.. Но я бы не хотел тебе мешать!

Дорн с улыбкой посмотрел на меня, и все мои сомнения исчезли.

— Я хочу переодеться, — сказал он. — Целый день пришлось ехать под дождем.

— О ваших лошадях уже позаботились? — спросил Джордж.

Дорн кивнул и повернулся ко мне.

— Я захватил одну для тебя, — сказал он слегка смущенно, — обычно я езжу на ней сам.

Сумка Дорна осталась в прихожей. Я взял ее и проводил друга в его комнату, внутренне радуясь, что позаботился ее подготовить. Пока она мылся и переодевался, я рассказывал о своей

жизни в Нью-Йорке и о том, как стал консулом. Дорн слушал внимательно, молча и, когда я наконец закончил, сказал лишь:

— Я думаю, тебе будет у нас хорошо.

Лона хорошенько постаралась насчет обеда. Когда первый голод был утолен, Дорн завел разговор о нашем предполагаемом путешествии. Обычный путь к его дому лежал на запад, через перевал Доан, и на всю дорогу уходило пять дней; мы же, сказал Дорн, поедем сначала на север, в сторону Ривса и через высокогорное ущелье, известное под названием ущелье Мора, попадем в долину в верховьях реки Доринг, спускаясь по течению которой, двинемся к его дому.

— Первые несколько дней нам придется ехать быстро, — сказал он, — потому что я дал слово, которое не могу нарушить. Жаль, мне так хотелось показать тебе Ривс и Фрайс и остановиться в доме двоюродного дедушки в Исла-Файн. Но потом мы наверстаем упущенное.

Раз уж было решено выехать из Города, я хотел повидать и узнать как можно больше. Пожалуй, в этом мог помочь и Джордж.

— Как ваши лошади? — спросил он у Дорна.

— Лошади в порядке. Хотя несколько дней отдыха им не помешают.

— Если бы я хотел дать роздых лошадям, — сказал Джордж, — я пустил бы их пастись на какой-нибудь зеленый лужок, а не запираю в конюшне в городе.

— Хочешь выехать поскорее? — отрывисто спросил меня Дорн.

— Да, очень.

— Завтра?

Это значило бы, что весь вечер придется провести в хлопотах.

— А чего хочешь ты?

— Я бы, пожалуй, поехал прямо завтра, — сказал Дорн после минутного раздумья. — Ты успеешь собраться?

— Да, — незамедлительно ответил я.

— Тогда так и сделаем, — улыбнулся Дорн. — Я готов.

— Что мне с собой взять? У меня есть седельная сумка и дождевик.

Дорн ненадолго задумался.

— А ты не прочь одеться в наш костюм?

— Нет, напротив!

— Мы подберем тебе что-нибудь в Ривсе, так что можно выехать завтра пораньше. Возьми то, что тебе нужно для туалета, немного денег и кое-что из книг; надень костюм для верховой езды и захвати дождевик. Пока тебе больше ничего не понадобится.

Сборы, таким образом, значительно упростились. Вскоре после этого Дорн оставил нас, и мы с Джорджем отправились улаживать консульские дела.

Мне нужен был совет, и я спросил Джорджа, правильно ли я поступаю, не дав моему другу и лошадям хоть несколько дней отдохнуть в Городе.

— Дорн сам сказал, что хочет отправиться поскорее, — последовал ответ.

— Но он мог сказать так ради меня!

Джордж был явно удивлен.

— Но ведь вы спросили его?

— Да, конечно...

Мы не поняли друг друга, и снова я на практике столкнулся еще с одним различием в национальной психологии. Только какое-то время спустя до меня дошло, что, раз я спросил своего друга, чего он сам хочет, я не имею права усомниться в его ответе. Когда же я наконец это понял, лицо Джорджа прояснилось, и он решил порассуждать о поведении Дорна.

— Он хочет ехать завтра не просто, чтобы сделать вам приятное. Вы все равно окажетесь у

него, поедете вы с ним или нет. Думаю, у него есть свои причины, по которым он не хочет, чтобы его здесь видели. И это не должно нас касаться.

Во всем этом было что-то загадочное, но я уже чувствовал себя в некоторой мере островитянином и не пытался искать скрытый смысл в том, что слышал.

Еще несколько часов мы с Джорджем просидели над делами, которые я на время своего месячного отсутствия передавал ему, и я отправился спать.

Когда я проснулся, было еще совсем темно и дождь тихонько стучал в стекла окон. Часы показывали четверть шестого; предстоящее пьянило, как холодное терпкое вино.

По доносящимся сверху звукам я понял, что остальные уже встали, и, выйдя из своей комнаты, нашел завтрак на столе. Дорн успел вывести лошадей из конюшни. Копченая рыба, хрустящий, как крекеры, хлеб, шоколад и фрукты; шум дождя; кожаная сумка с уложенной в нее пижамой и туалетным набором, тремя книжками, пачкой бумаги и чернилами; перекинутый через руку дождевик; я сам в дорожном платье — все это было прекрасно!

В семь часов мы с Дорном накинули плащи и, взяв сумки, вышли на улицу. Как просто! Не надо было покупать никаких билетов, гоняться за носильщиком, подолгу ожидать на вокзале. Мы вышли из дома — мы в пути.

Дождь продолжал накрапывать, но было тепло. Серо-белые облака, клубясь, скользили над нами, поднимаясь из-за неровной каймы зелени на краю крыш. На улице, внизу, под аркой моста, тихо и тесно стояли три лошади. Все они были одной масти — буланые, в рыжеватых подпалинах, с густыми, коротко подстриженными гривами. Капли дождя мягко ударяли по мостовой. Холодная струйка скользнула мне за ворот, и я позавидовал Дорнову плащу с капюшоном, хотя в нем он выглядел со спины, как девочка-переросток. Он быстро и ловко связал наши мешки, перекинул их через седло вьючной лошади и приторочил длинным ремнем к луке.

Взяв одну из лошадей за узду, он повернул ко мне ее умную, красивую голову.

— Джон, — сказал он, — это Фэк. Скачки на нем не выиграешь, но он вынослив и надежен. Он родился в горах, и я не знаю, кто бы держался лучше там, где держаться не за что. Он — твой, если, поездив на нем, ты захочешь оставить его у себя.

Он сделал какое-то неуловимое движение, и лошадь заржала.

— Если ты не против, — продолжал он, — я поеду впереди.

После чего он гортанно выкрикнул несколько слов, которыми потом нередко пользовался и я. Пока Фэк, склонив голову, звонко бил копытами о камни мостовой, вьючная лошадь сама тронула с места быстрой рысью, за ней, почти вплотную, последовал Дорн, и, наконец, Фэк тоже двинулся вперед, не отставая и почти касаясь мордой своего приятеля. Так мы проехали по пустынным улицам, с которых дождь разогнал прохожих, через весь Город, через Ривские ворота и по длинному крутому мосту пересекли западный приток реки Островной. Потом мы взяли на север и поехали мимо видневшихся то тут, то там ферм по прямой дороге, блестящей от луж и покрытой тонким слоем грязи, хотя и хорошо вымощенной, легкой для лошадей.

Небо, все в пышных серо-белых дождевых облаках, огромным куполом раскинулось над моей головой. Тяжелое хлюпанье копыт по мокрой дороге, скрип седла, шелест дождя в листве и тихий свист ветра, изредка касавшегося полей моей шляпы, были единственными звуками, нарушавшими тишину. Влажная зелень полей сменилась такими же влажно-зелеными лесами, а те — огородами, засеянными кукурузой и различными злаками. За деревьями виднелись постройки: дома, конюшни, надворные строения, со всех сторон окруженные разнообразно чередующимися полями, лугами, лесами, фруктовыми садами и огородами, где выращивались овощи на продажу. Крупная, массивная фигура Дорна впереди казалась настолько несоразмерной его лошади, что это было даже забавно. Падавшие на щеки капли дождя влажно

холодили их, но щеки все же горели — сказывалось непривычное напряжение от езды верхом. Дождь разукрасил светлую шкуру Фэка темными подтеками и полосами. Мне нравилось наблюдать за его бархатистыми ушами, все время чутко поднятыми, настороженными и любопытными, в отличие от туловища, механически мерно ходившего подо мной.

Так, в безмятежном молчании, прошел час. Границы мира стерлись, и в самом центре этого огромного дождливого пространства, одинокая и маленькая, двигалась наша кавалькада — три лошади и два человека.

Вдруг я уловил слабый, низкий, монотонный звук. Это напевал Дорн — так, как он привык это делать...

Воздух потеплел, и в просветах между темными влажными ключьями облаков показалось небо. Лужи в выбоинах дороги блестели, и листья свисавших над дорогой ветвей переливались яркой зеленью. Прошло уже два часа, а мы все ехали и ехали, и я впал в то дремотное состояние, когда мысли становятся расплывчаты и неуловимы.

Ясная синева уже сквозила на западе и на севере. Дорн снял плащ, свернул его и приторочил к задней луке седла; я последовал его примеру, но оказалось, что это отнюдь не простая операция, учитывая безостановочный быстрый бег лошади. Это был какой-то странный шаг, довольно размеренный и в то же время беспокойный, создающий впечатление, что вот-вот он перейдет на галоп, чего, впрочем, не происходило.

Временами мы встречали других путешественников, большей частью одиноких всадников, хотя порой попадались идущие пешком или же караваны наподобие нашего. При каждой такой встрече ехавший первым поднимал руку и с улыбкой кивал.

Еще час мы ехали, пригреваемые лучами то яркого, то вновь скрывавшегося в дымке солнца, по красивой, плодородной, свежей после омывшего ее дождя местности. Постоянное чередование лесистых участков, распаханых полей, лугов, садов и каменных стен стало несколько утомлять своим однообразием. Неожиданно дорога, обогнув тяжелую круглую башню, оборвалась резким спуском.

Внизу протекала река, сверкая плавными излучинами и тихими плесами. А милях в десяти, в конце долины, виднелась белая зубчатая полоса, венчавшая вершины золотисто-коричневых скал, над которыми парил в синеватой дымке белоснежный купол — Островная гора.

— Ривс, — сказал Дорн.

Чувство пространства во мне сместилось. Уже совсем рассвело, было часов одиннадцать, и мы проехали восемнадцать миль. Для пассажира поезда это было всего ничего — выкурить трубку-другую, перекинуться анекдотом, — но те восемнадцать миль, что проехали мы, были долгими, ведь глаз успевал изучить и запомнить каждый представший ему дом, каждое дерево, пока мы медленно, но верно продвигались вперед.

Мы решили дать лошадям небольшой роздых, и Дорн тем временем рассказал, что башня, которую мы только что видели, очень старая, еще тех времен, когда островитяне отвоевывали свою страну у чернокожих, и поставлена она на скалистом выступе, специально чтобы охранять долину реки. Земля же эта принадлежит семье Даннингов.

— Они опытные хозяева, — сказал Дорн, — и у них два прекрасных дома. Хорошо бы их навестить. И вообще, я бы хотел познакомить тебя со многими. Даннинги — родственники твоей знакомой Ислаты Сомы, жены Кадредра. — Он рассмеялся. — Сомсы на нашей стороне! Файны, конечно, тоже. Ты попал в компанию консерваторов, Джон.

— Можешь обратить меня в свою веру, но если тебе это удастся, мне придется покинуть страну.

— Вот как? Что ж, насколько нам известно, определенных взглядов у тебя нет. Не помнишь ли ты Карстерса? Он никак не мог смириться с тем, что его дражайший друг, лорд Файн,

язычник. Эта разница посерьезнее, чем политика.

Дорн впервые заговорил на эту тему.

— Консулы обычно в политику не ввязываются, — сказал я, — что же до того, который сейчас перед тобой, то он тем более ничем не связан.

Мы двинулись дальше. Дорога резко свернула влево, и снова по сторонам ее стали появляться фермы. Час за часом летели как в зачарованном сне. Солнце прошло зенит. Я чувствовал себя усталым, голодным, но мне было радостно.

Так же неожиданно, как утес, возвышающийся над Островной долиной, перед нами открылось ущелье реки Темплин, которая течет с северо-запада, чтобы слиться с рекой Островная у подножия скал, на которых стоит Ривс.

Дорога, ведущая вниз, к реке, казалась почти отвесной и была высечена в скале. Скалы напротив отливали охрой в лучах солнца, и протянувшиеся по верху стены были того же цвета, а за ними виднелись кровли, крытые красной черепицей и серым шифером.

Помедлив мгновение, мы стали спускаться в ущелье. Там было солнечно и ветрено. Проехав по каменному мосту, под опорами которого слышался плеск воды, мы поднялись по дороге вверх и, миновав две каменные башни, въехали в город, очень похожий на столицу, с путаницей узких, мощенных плитняком улиц и тесно стоящими домами, фасады которых были украшены резьбой. Прохожих было мало, и улицы покойно лежали, залитые полуденным летним солнцем.

Мы, не задерживаясь, проследовали через город и въехали в узкие ворота между двух мощных башен, замыкавших толстую стену. Сразу за воротами шел небольшой спуск, а за ним плавно поднимался травянистый скат холма, на вершине которого, тоже обнесенной стенами, виднелись в беспорядочном нагромождении каменные зубчатые башни и старинные, незатейливой архитектуры постройки из серого камня. Это был Университет.

Непосредственно за въездом во двор помещались конюшни; сам двор, поросший изумрудно-зеленой на солнце травой, окружали крытые тенистые галереи. Слуга взял наших лошадей. Дождавшись, пока их расседлают, накормят и напоят, мы последовали за слугой сквозь запутанную сеть галерей, под множеством арок, через маленькие, залитые солнцем дворики, в приземистое здание на противоположной стороне и вошли в просто обставленную комнату с низким окном. Теплый ветер задувал в комнату, змеился в траве луга, подступавшего к самому подножию стены, — пустынного под пустынным синим небом. Тишина звенела в ушах.

— Мы опоздали к ленчу в большом зале, — сказал Дорн, — но нам принесут перекусить сюда. Правда, приятно учиться в таком месте?

По пути к портному мы снова прошли через университетские сооружения, и Дорн рассказал кое-что о месте, где мы оказались. Ривс был заложен в 815 году от Рождества Христова и стал первым крупным городом в Островитянии. И только когда этот стратегически важный пункт укрепился окончательно, вождь островитян, первый из династии Альвинов, провозгласил себя королем и короновался. Университет основал в 1035 году Альвин Великий, который сам шел за плугом, проводя борозду, отмечающую границы университетских владений — примерно тридцать акров.

Студенты, число которых колеблется от двух до четырех сотен, почти все — из знатных родов, хотя колледж открыт для любого, кто обладает достаточным образовательным уровнем. Поступают в Университет в девятнадцать-двадцать лет, а курс обучения длится два или три года, если студент не будущий медик, юрист или военный — тогда он учится дольше, потому что Университет — это не только островитянский Йель или Гарвард, а еще и Вест-Пойнт, Медицинская академия имени Джонса Гопкинса и Аннаполис в придачу. Когда мы приехали,

шли экзамены, но размеры здания были так велики, а планировка так сложна, что студентов почти не было видно — они терялись в длинных галереях и переходах, застывших и тихих, как сновидения, расчерченных геометрическими узорами солнечных пятен, падавших на темные полы.

В лавке у портного Дорн распорядился всем сам, выбирая материю и определяя покрой, и через час тщательного отбора заказал мне костюм из тонкого темно-синего сукна для парадных случаев и пару из пестрой, похожей на твид материи для каждого дня, причем и то и другое состояло из куртки и бриджей. Помимо этого были заказаны: бриджи для верховой езды и кожаный плащ; дождевик наподобие того, что носил сам Дорн; несколько рубашек, шерстяные чулки, пара сандалий и пара гуттаперчевых сапог. Заказ оказался внушительный, так что портной даже несколько растерялся. Договорились, что весь комплект отправят на корабле в Исла-Файн, где мы должны были скоро оказаться.

Когда мы вернулись в Университет, солнце уже садилось, и в тихих, безмятежных лучах заката здание было полно безмолвной, одухотворенной прелести, казалось почти живым.

Немного погодя, умывшись и приведя себя в порядок, мы с Дорном отправились к Гилморам. Их дом выглядел вполне по-английски со своими коврами в восточном вкусе, большими и такими привычными фотографиями: Форум, соборы, портреты оксфордских коллег; с английской мебелью. Я уже настолько успел привыкнуть к островитянским домам, что вначале жилище Гилморов показалось мне излишне загроможденным, но вскоре его атмосфера всколыхнула во мне почти безотчетные воспоминания о многих подобных же домах на родине. И хотя Гилмор считался гражданином Островитянии, по сути, он оставался англичанином, особенно в своем обеденном фраке и с трубкой в зубах.

Общество за столом, помимо нас и хозяина, состояло из его жены, дочери — девушки лет семнадцати, — сына, примерно на год моложе, и университетского студента по имени Хис. Двери столовой были широко открыты, и легкий ветерок долетал из небольшого сада с высаженными в нем английскими цветами, чьих ярких красок не могли приглушить даже мягкие вечерние сумерки. Сын Гилморов носил островитянский костюм, и, хотя лицом походил на англичанина, в манерах его было больше островитянского, чем у родителей. А вот дочка была типичной английской мисс в строгой английской блузке, серьезная и чрезвычайно чопорная. Я сидел рядом с ней и невольно ощущал внутреннее тепло от близости этого юного, свежего существа с румянцем во всю щеку.

Хис был молодым человеком лет восемнадцати, с рыжеватыми волосами, соломенно-желтыми бровями, веснушчатый и очень важный, пытавшийся держаться шутливого тона в тех редких случаях, когда решался заговорить. Его тетка, ныне покойная, была женой двоюродного дедушки Дорна, и, совершенно очевидно, оба семейства многое связывало. Хис был знаком с нашими планами и сказал, что, когда мы будем гостить у его дяди — чего, честно говоря, я не подозревал, — я ни в коем случае не должен потакать его младшим братьям и сестрам. «Их семеро, — сказал Хис, — и у каждого свои причуды».

Поужинав и закулив свою первую сигару после многодневного перерыва (островитяне не курят табак), я вместе с другими поднялся наверх в просторную комнату, окна которой выходили прямо на пруд. Сидя в сгущающихся сумерках, старшие Гилморы, Хис, Дорн и я дружески болтали о несходстве национальных характеров, о географии и о прочих, самых разных предметах. Сквозь круглые окна в комнату дышала ночь, и, разморенный заботами дня, вином и обедом, я все глубже погружался в дрему и был рад наконец вернуться по тускло освещенным галереям в нашу комнату.

Наутро Дорн разбудил меня, и, накинув легкую одежду, мы спустились к реке по узкой тропинке, проходившей сквозь засаженные деревьями университетские участки. Человек с

полсотни студентов купались обнаженными; многих из них Дорн знал и представил нас друг другу. В восемь часов мы, вместе со всеми студентами, сели за завтрак в большом университетском зале, просторном, старом, сумрачном, с высоким резным потолком и темными стенами. Снопы солнечного света падали из высоко расположенных круглых окон, и пылинки плясали в них. Вилки и ножи весело стучали о фаянсовую посуду, пахло беконом и горячим хлебом. Не было еще и девяти, когда мы, уже снова верхом, подъехали к городским воротам.

— Ты не против, если мы сегодня поменяемся местами? — спросил Дорн. — Мне удобнее ехать впереди, а тебе — сзади, так, чтобы выючная лошадь шла посередине. Вчера я оказал тебе честь, хотя ты, наверное, этого и не понял. В общем, тебе ни о чем не надо заботиться.

Он рассмеялся, и мы отправились в предложенном Дорном порядке. Позже я узнал, что Дорн действительно оказал мне честь, и немалую.

Выехав из ворот, мы двинулись на север, оставив город и Университет позади, обратив свои взоры к горам на горизонте.

В тот день мы покрыли сорок пять миль. Солнце палило нещадно, и его блеск заставлял меня щуриться до боли в висках. Местность пошла холмистая, более суровая, выжженная солнцем. Жаркое марево колыхалось вокруг, и ничего было не различить в нем, кроме гор на севере и Ривса — на юге.

Спустившись в широкую долину, пересекая которую, неся пенный бурливый поток, мы сделали остановку, и здесь я впервые отведал типичное блюдо островитянских путешественников — кусок говядины, запеченный в непроницаемой оболочке из твердого крупитчатого хлеба. Перед едой его отмачивают в воде, и он хорошо утоляет голод. Кушанье это может храниться от восьми до десяти дней в жаркую погоду и около месяца — в холодную. Кроме этого, у нас была арка, а запивали мы все густым горячим шоколадом.

После полудня окружающий ландшафт изменился. Местность становилась все более холмистой, и однообразные, как клетки на шахматной доске, фермы стали перемежаться участками безлюдного, молчаливого сосняка, росшего на суглинке. Тени удлиннились и поглубели, воздух стал влажным и прохладным. Наконец мы очутились в отрогах гор. Я дышал полной грудью, счастливый, хотя и усталый, впрочем, не настолько, чтобы душа перестала откликаться на упоительное чувство, что земля под тобой медленно поднимается, вознося тебя к вершинам мира.

Наконец мы достигли узкой, вытянутой с севера на юг долины, и внезапно в самом конце ее вновь возник снежный купол Островной, розовый в лучах низкого солнца, уже скрывшегося за холмами. Дорн свернул на начинающуюся за двумя каменными столбами узкую, как игольное ушко, сырую тропку. Потом с улыбкой повернулся ко мне и сделал знак, чтобы я приготовился. И едва я успел покрепче усесться в седле, как наши лошади пустились в галоп. Прохладный воздух сумерек хлестнул меня по лицу. Огромные сосны мелькали по сторонам. Мы проскакали футов пятьсот, и вот в конце тропы показался просвет, и я увидел стоящий в окружении деревьев приземистый двухэтажный старый дом, сложенный из серого камня. Дверь под увитым лозой навесом открылась, и полоса желтого света легла на землю перед крыльцом. В долине было уже темно, хотя закат все еще освещал вершины холмов.

— *Кана!* — раздался ласковый стариковский голос, и две фигуры выступили навстречу им.
— Дорн и Ланг! — выкрикнул мой друг.

Все вокруг меня помутилось, и дар речи вернулся ко мне только после чашки пряно-горького шоколада. Впервые этот напиток действительно пришелся кстати.

Приняв горячую ванну и переодевшись в костюм из гардероба Дорна, разумеется, слишком большой для меня, я почувствовал, что силы возвращаются, но последовавший за этим плотный

ужин вновь привел меня в полусонное состояние. Хозяева дома были очаровательны. Лорд Файн, чей ласковый голос приветствовал наш приезд, был восьмидесятилетний, худощавый, даже хрупкий, но сохранивший моложавую осанку и уверенную поступь старик. Его лицо поистине поражало. Из-под кустистых седых бровей глядели черные, как уголь, горящие глаза. У него был надменный крючковатый нос, а кожа, изрезанная тонкой сетью морщин, была такой смуглой, что густые, коротко остриженные седые волосы лежали на голове снежной шапкой. В целом лицо его производило впечатление дикости и даже свирепости, за исключением губ, постоянно готовых сложиться в ласковую, обаятельную улыбку. Он-то и был двоюродным дедушкой Дорна и братом Файны, написавшей мне свое очаровательное письмо.

Вместе с ним жил его брат, внешне примерно того же типа, но более утонченный, не такой живой и подвижный, более язвительный и лишенный обаяния, присущего старому лорду. Ясные глаза его жены, Мары, которая была несколькими годами моложе, светились умом и пронизательностью.

Лорд Файн был сыном одного из крупных островитянских военачальников. Это он семьдесят три года назад сокрушил демиджийцев, и его имя упоминалось в первой книге Карстера «С островитянами — против демиджийцев». Его отца Карстерс тоже хорошо знал и любил. Понимая, что мне это любопытно, хозяин дома поделился воспоминаниями о своем родителе.

Лежа в мягкой постели, я неожиданно вспомнил о Глэдис Хантер и ее интересе к Карстерсу. Да, теперь мне было о чем ей написать!

Спал я крепко и проснулся, когда уже светило солнце. За окном высились совершенно неподвижные большие старые сосны с длинными иглами, собранными в пушистые, отливающие сталью метелки. Деревья застыли рядами по склону холма в тихом утреннем воздухе.

Ясное прохладное утро шло своим чередом. Лорд Файн и Дорн, взявший одну из лошадей деда, так как наши отдыхали, отправились по какому-то делу, явно намеченному еще с вечера. Брат лорда, положив на плечо мотыгу, куда-то ушел. Мара дала мне кусок шоколадного кекса, рассказала, где поблизости есть приятные места для прогулки, и тоже удалилась. С мыслью о Глэдис я взял письменные принадлежности и пошел по тропинке, которую указала Мара.

Начинаясь сразу же за каменной стеной, тропа вела вверх, огибая прохладные стволы. Я поднимался не спеша, понимая, как натружены мои ноги после двухдневной езды верхом. Примерно через полчаса подъема тропа достигла верхней точки в цепи холмов, протянувшейся с востока на запад. Усевшись на поваленный ствол, я оглянулся.

На юге виднелась извилисто текущая река Фрайс, долина Тиндал и вновь — плавные блестящие излучины реки, растекшейся по низменности. На севере, примерно в двадцати пяти милях, главная гора Островитянии, занимая чуть ли не полнеба, вздымалась округлым, недостигаемо высоким, незапятнанно белым куполом.

Время текло незаметно. Солнце стало припекать. Облака собирались над снежными вершинами гор. А внизу, там, откуда я пришел, крыша усадьбы Файнов свила себе гнездо меж сосновых ветвей. Лежа на устилавшей землю хвое, чувствуя на лице мягкое дуновение горного ветерка, а спиной — солнечное тепло, я начал письмо Глэдис и забыл обо всем, стараясь как можно точнее передать окружавшие меня краски и ощущения, вызванные посещением Файнов...

Не скоро оторвался я от своего послания, чувствуя, что вдохновение слабеет; впрочем, письмо было уже почти готово. Ощущения и желания, смутные и безымянные, ускользали от меня. Внезапно я осознал, что слышу звук копыт. На короткий миг лица лорда Файна и Дорна, спускавшихся по тропе, показались кукольными — на движущемся фоне ожившей театральной декорации.

День сменил утро, как один сон — другой, только более насыщенный действием. Брат лорда Файна, Дорн и я отправились осматривать поместье; первые двое выступали в роли опытных провожатых.

На принадлежавших Файнам землях, раскинувшихся вдоль западного берега реки, жили еще три семьи, состоявшие в отношении Файнов — *танар* — на положении *денерир*, что приблизительно можно перевести как «землевладельцы» и «подданные».

Мы шли медленно, не спеша, то по сочно-зеленым заливным лугам, то сквозь ряды спеющей кукурузы, то мимо садов с фруктовыми деревьями. Я словно растворился в шуме ветра, шепоте трав, в неудержимо растущей кругом зелени, покрытых лесами холмах и зеленых горах; пахло землей, листвой, злаками. Ближе к ужину, тяжело ступая в облепленных мокрой глиной сапогах, мы шли по дороге, той самой, что вела вниз, в долину, и таинственно заводила вверх, в горы.

В тот же вечер прибыла одежда от портного из Ривса. Я примерил все, одно за другим, и все оказалось мне впору. Мое ставшее ненужным американское платье уложили, чтобы отправить в посылными в Ривс, а оттуда в столицу — Джорджу. Им же я передал письмо, которое поручил отправить тому же Джорджу, и на следующее утро оно начало свой неблизкий путь.

Этим я словно решительно порывал последнюю связь с прошлым.

Когда я раздевался, готовясь ко сну, вошел Дорн.

— Завтра ты уже будешь похож на одного из нас, — сказал он, садясь. — Даже имя твое похоже на островитянское. Представь, будь ты Хиггинсон, Сэлтонстолл или О’Брайен! То ли дело — Ланг! В Доуле тоже есть Ланги... Надеюсь, тебе это не неприятно.

— Конечно нет! Мне этого очень хочется. Носить вашу одежду так интересно.

— Думаю, это не главное, но так тебе будет легче. Прошу извинения, что ввел тебя в расходу. У меня поручение, ты знаешь.

— Если я мешаю...

— Нет. Если что-нибудь тебя смутит или, скажу прямо, если я не захочу, чтобы ты о чем-то знал, то придется тебе ненадолго остаться в одиночестве. К тому же, если ты будешь одет по-островитянски, это не вызовет лишних вопросов. И еще, Джон: не старайся выдавать себя за одного из нас. Если тебе доведется общаться с кем-нибудь, не пытайся играть роль. Будь самим собой, и если при этом тебе удастся ни разу не покривить душой, тем лучше. Я имею в виду, — он вспыхнул, — прости, Джон, я не могу просить у тебя слова сохранить тайну.

— Я не стану давать его, — ответил я, внезапно поняв, что он хочет сказать. — Я вижу так много всего нового, и новые места, и то, как живут люди...

Я запнулся. Дорн понимающе кивнул. На мгновение воцарилась тишина.

— Ты готов отправиться завтра? — спросил Дорн.

— Да, а ты?

— Вполне! Стало быть, мы едем и проведем и следующую ночь под открытым небом.

— Боюсь, после этого мой костюм уже никому не покажется новым.

Мы рассмеялись, вполне довольные друг другом.

СЛУЧАЙ В УЩЕЛЬЕ ЛОР

Мы выехали на следующий день в восемь утра, и все Файны вышли нас проводить. Было славно вновь скакать по большой дороге, прямо пересекающей долину и теряющейся в ее дальнем конце, там, где поросшие соснами склоны смыкались и где река, журча и всплескивая, текла по каменистому руслу.

Фигура Дорна, несоразмерно крупная для везущей его лошадки; настороженные уши, белый круп и хвост тяжело навьюченного коня, бежавшего впереди; плавно скользящая под мной дорога; застывшие, как на смотре, перед моим испытующим взором деревья, которые, стоило проехать мимо, присоединялись к своим вольно шумящим собратьям; разгорающееся теплой синевой небо, тоже словно пропитанное смолистым запахом; искоса поглядывающее на нас солнце — наш спутник, то перекатывающийся вслед за нами по вершинам холмов, то вдруг парящий высоко в небе, — таким осталось в моей памяти утро нашего отъезда и многие последовавшие за ним. Лучшего нельзя было и пожелать: хочешь — гляди по сторонам, а кругом было на что посмотреть, да и времени — предостаточно. Будь у меня желание, я мог бы запеть, а когда мне хотелось поговорить, я окликал Дорна, и он, оборачиваясь ко мне, садился на своей лошадке боком. Судя по разговору хвостов и ушей, лошади наши были отнюдь не лишены чувства юмора. Наскучить это не могло — за каждым поворотом меня ждало неизвестное.

Лес постепенно сходил на нет, и крутые, поросшие травой склоны широкими параллельными полосами сбегали вниз, в зеленовато-голубую долину, раскинувшуюся на юго-востоке. Изгороди протянулись вдоль дороги, и рассыпанные повсюду стада пестрели по зеленому склону. Примерно через час холмистая местность вновь сменилась лесом — густой чащей сплетенных ветвей, древних, покрытых мхом и наростами стволов, сырых провалов, где росли папоротники и грибы. Когда мы проехали с полмили, я скорее почувствовал, чем увидел череду гигантских призраков, вдруг выросших слева. То были скалистые уступы гор, вздымавшихся в нескольких милях от дороги. Один лишь властный вид этих отвесно взметнувшихся на тысячи футов серых скал, казалось, заставлял нас цепенеть в благоговейном страхе. Вдоль самого хребта тянулась еле различимым зеленым пунктиром тропа.

Полдень застал нас еще в лесу. Спешившись у подножья невысокого холма, мы забрались на его вершину и, перекусив, растянулись на траве. Переменчивый свет падал на наши лица; в ветвях раздавался птичий щебет, жужжали насекомые.

Фрайс, сказал Дорн, как раз и есть тот дальний выступ, видный из-за близлежащих скал, и мы будем там еще до вечера.

Я спросил, почему лес вокруг не прореживаются.

— Своего рода сентиментальность, — ответил Дорн, пожимая плечами. — Эти леса были первой отвоеванной территорией. Теперь это что-то вроде национального заповедника.

— Может быть, расположимся здесь?

— Да, конечно. На Фрайсе обычно и делают привал.

— Знаешь, мне нравится здешняя жизнь.

— Мне тоже, Джон. Скажи, разве было бы лучше, если бы мы приехали из Города на поезде? Всего каких-нибудь девятнадцать миль, то есть примерно три часа. Железные дороги, как ты знаешь, инспектируются, и линия пройдет, огибая пастбища. Город — Ривс — ущелье Мора — незабываемое путешествие!

— Но это экономит время.

— Да, в каком-то смысле. Но мне больше нравится ездить верхом на моей лошадке.

— А если бы ты привык к другому?

— Я не привык. И зачем мне менять привычки?

— Но прогресс! — сказал я.

— А разве скорость — это прогресс? Да и вообще, к чему он? Почему просто не довольствоваться тем, что имеешь? А радостей человеку всегда хватало. — В голосе его прозвучала добродушная насмешка.

— У нас считается, что прогресс и состоит в том, чтобы дать радость тем, кто ее лишен.

— Но ведь прогресс сам и создает ситуацию, которую стремится исправить, изменяя общественную обстановку так, что кто-то постоянно оказывается ущемлен. Остановитесь на необходимом минимуме. Определите, что имеет средний человек, и, пока у каждого этого не будет, не позволяйте никому иметь больше. И не позволяйте никому иметь больше, пока они полностью не используют того, что у них есть.

— Да ты прямо социалист, Дорн.

— Вот уж нет! — Он рассмеялся. — У нас нет социалистов. Мы стали такими, потому что умели довольствоваться тем, что имеем, и никогда не желали большего. Индивидуализм — так будет точнее, ведь индивидуум вполне может довольствоваться тем, что имеет, и ничего не требовать от общества. И тут является Мора и заявляет: «Посмотрите, как поступают все вокруг. Давайте подражать им, ведь уж наверное они правы. Если мы этого не сделаем, они причинят нам зло». — Дорн снова рассмеялся и продолжал: — Социализм — это еще одна нелепая форма прогресса и тоже ни к чему не ведет. Вам нужно изменить саму природу ваших людей, только тогда все вы будете счастливы.

— Наши несчастья — признак того, что мы не стоим на месте.

— Мы тоже. «Счастье» — не то слово. Несчастий у нас не меньше, чем у вас. Мир слишком прекрасен; те, кого мы любим, умирают; старость и болезни мучительны. Прогресс бессилен против всего этого, разве что медицина поможет бороться с недугами. Мы тоже развиваем свою медицину и продвинулись не меньше, чем вы. Железные дороги и прогресс только сбивают людей с толку, а для жизни — что они есть, что нет.

— Сдаюсь, Дорн, — сказал я, чтобы успокоить его.

— Нет, Джон, я не переубедил тебя. В том, что я сказал, сотни уязвимых мест.

— И это верно.

— Я знаю. И все же не хочу, чтобы моя страна изменилась.

— Разве у вас нет людей, которые живут в нужде?

— Погоди и послушай. У нас нет слишком богатых людей. По статистике, девяносто процентов национального достояния принадлежит пяти-шести процентам населения, но на практике закон возлагает на них такие обязательства по отношению к остальным, что они не могут помешать большинству жить в достатке. Возьми *денерир*. Они вполне спокойны за свое имущество и землю.

— А если они сами захотят стать собственниками?..

— Им ничто не препятствует, если они действительно зададутся такой целью, но ведь тогда у них прибавится хлопот. Мы женимся на их девушках, наши девушки выходят за них, и пары эти счастливы. Но тут каждый должен решать сам.

Не знаю почему, но во время этого разговора мне очень захотелось, чтобы рядом оказался кто-нибудь из моего мира. И я был рад, когда разговор закончился, потому что окружающее вдруг снова стало чуждым.

Час спустя мы добрались до осыпи у подножия скал и, спешившись, стали подниматься вверх. Скоро мускулистые тела лошадей залоснились от пота. Дорн выглядел свежо и бодро; я

запыхался, лицо мое пылало, а икры ныли.

Прошел еще час, лес кончился, и мы оказались на округлом скалистом выступе. Здесь дорога раздваивалась: одна шла прямо, другая резко сворачивала влево. К востоку, милях в тридцати, вздымалась огромная островерхая гора, видная вся, от подножия до самой вершины, с осыпями, ледниками, широкой темной каймой леса и изрезанной продольными складками скалистой вершиной, увенчанной белоснежной короной. Мы свернули налево — скалы снова оказались позади, по правую руку, — и через несколько миль добрались до крутого обрыва, склон которого был усыпан могучими валунами. Отсюда дорога, петляя, поднималась вверх.

Сердцу и легким пришлось работать с полной нагрузкой, и каждый шаг давался с трудом. Воздух становился все разреженнее. Окружающее казалось зыбким. Неожиданно перед нами выросла полуразрушенная, со следами побелки стена. Мы прошли через сломанные ворота, и я с удивлением почувствовал, что у меня открылось второе дыхание.

Перед нами расстился ровный, плоский луг, примерно полмили в длину. Слева ярко-зеленая луговая трава подступала к самому краю головокружительной пропасти, глубиной более тысячи футов; справа луг упирался в подножье отвесных скал. Тропа вилась посреди луга, уходя в его дальний конец. Мы сели на лошадей и двинулись вниз. День клонился к вечеру, и воздух становился мягче и богаче оттенками. Густая, сочная зелень травы оттеняла теплую, янтарную желтизну скал. То здесь, то там виднелись развалины строений. Один из домов стоял почти не тронутый разрушением — с высокой кровлей и узкими окнами, из которых глядела тьма. Земля вокруг дома была плотно утоптана, словно множество людей останавливались здесь, чтобы взглянуть на него, но внутри этого круга росла кольцом высокая невытоптанная трава. И, будто огражденный этим магическим непреодолимым барьером, дом высился, старый, крепкий, неприступный.

За лугом шли ряды неправильных террас, уступами спускающихся по крутому, скалистому склону. Дальше тропа поворачивала и шла вдоль выступа с внешней стороны утеса. Отсюда было видно, как она теряется, сворачивая в другой луг, снова показывалась и снова терялась в протянувшихся на многие мили лугах, пока наконец не скрывалась совсем в дымке за дальним утесом.

Взгляд не осмеливался заглянуть в зияющую слева пропасть и скользил вдоль уступов скал, выискивая место, где можно было бы задержаться, не рискуя сорваться туда, в провал, на дне которого обманчиво мягким ковром раскинулся лес, видный настолько отчетливо, что можно было догадаться: вон то зеленое перышко — крона могучего дерева, а вон та крошечная белая точка — валун величиной с дом.

Дорн решительно обогнул выступ, за которым тропа сворачивала направо, Хэйл последовал за ним. Я чувствовал нервную дрожь Фэка в тот момент, когда мы проходили по самому краю обрыва, но старался не глядеть вниз и думать о чем-нибудь постороннем...

За поворотом внутренняя скальная стена образовывала выемку. Полукруглая зеленая луговина, поросшая высокими буками, лежала перед нами. Поток, прыгая с утеса на утес, сбегал вниз, окутанный облаком мельчайшей водяной пыли, и собирался в глубокое озеро под сенью деревьев; вытекая из озера, он вился между буков и, добежав до другого края луговины, беззвучно низвергался зеленовато-стеклянистым каскадом. Здесь мы спешили. Расседланные лошади разбрелись по лугу, а мы с Дорном набрали хвороста и разложили костер.

Подушками нам послужили седельные вьюки, а постель мы соорудили из широких походных плащей. Горячие языки пламени согревали нас. Видневшийся в прохладной ночной мгле край обрыва наводил ужас и все же был достаточно далек. Заухали в ветвях маленькие совы.

Мы поужинали, не вставая со своего ложа. Ночной ветер шелестел в кронах деревьев;

неспешно текла беседа, прерываемая долгими паузами.

Дорн рассказывал о том, что именно отсюда, с Фрайса, островитяне спустились в долины в 800 году, чтобы основать свое государство.

— О том, что было до этого, известно очень мало. Вероятно, островитяне были рассеяны по всему континенту, потому что не имели склонности держаться скопом, — и компании друга достаточно, чтобы странствовать с места на место. Потом появились чернокожие — племя *бантир* — и оттеснили островитян в эти горы. Здесь они обосновались на какое-то время и научились жить вместе. Постепенно их численность выросла настолько, что горы Фрайса стали им тесны, и, спустившись с гор, они изгнали бантир и в конце концов отвоевали всю территорию будущей Островитянии. Но нам об этом почти ничего не известно; потому что, спустившись в долины, они разрушили свои дома, чтобы не подвергаться соблазну вернуться в прежние жилища.

Я вспомнил, что читал нечто похожее в истории, написанной месье Перье.

— И ничего не осталось? — спросил я.

— Только дом Альвина, который мы видели по пути. Альвин оставил двери своего дома незамкнутыми, но объявил о его неприкосновенности. И мы с удовольствием соблюдаем указ, он совпадает с нашими представлениями о том, что чужую собственность надо уважать. Ты, наверное, помнишь, что здесь похоронена его жена.

— Кажется, ее звали Дорна?

— И она вполне могла быть сестрой кого-то из моих предков. Чернокожим как-то удалось закрепиться на Фрайсе. Говорят, что они поднялись по одному из отрогов. В исступлении гнева Дорна убила себя, и это ужасное событие побудило нас к действию.

— А что внутри королевского дома? Или этого никто не знает?

— Скорее всего, там ничего нет. Сам я не знаю и не знаю никого, кому бы это было известно, разве что кому-то из твоих соотечественников. Корнельский университет посылал экспедицию для изучения Островитянии; она провела на Фрайсе какое-то время. И хотя им говорили о наших чувствах, но, я полагаю, они решили, что должны действовать во имя высших интересов археологии. Конечно, вряд ли они решились бы войти в дом открыто, потому что место людное.

Я почувствовал себя пристыженным и вспомнил рассказ Марка Твена об американце, разбившем лампу, которая горела тысячу лет.

Костер угасал, и мы несколько раз подбрасывали в него хворост. Маленькие совы спускались поближе к огню, рассаживаясь на нижних ветвях, но потом разлетелись. Резкий глухой звук копыт раздавался то ближе, то дальше. Из пруда доносилось низкое металлическое кваканье лягушек, потом и оно смолкло. Наконец и мы оба незаметно уснули.

За ночь я не раз просыпался, но не от тревоги или неудобства, а, скорее, от ощущения непривычности и покоя.

Негромкое лошадиное ржанье разбудило меня — и сколько всего промелькнуло в моем сознании, восстающем из глубин сна, прежде чем я открыл глаза и понял, где нахожусь.

Утро было ясное. Мне был виден холм, на который я взбирался, когда гостил у Файнов, и фермы, окруженные пастбищами, широко раскинувшимися между складками холмов на западе. Дальше к югу виднелась неровная поверхность центральной провинции Островитянии, похожая на тонко раскрашенную рельефную карту, и даже Город — белесое пятно, плавающее в голубоватой дымке.

Мы искупались в холодной прозрачной воде пруда, съели завтрак, состоявший из того же, что и ужин накануне, оседлали лошадей и отправились обратно тем же путем. Достигнув

террас, мы пустили лошадей вверх по склону, а сами узкими тропками поднялись на вершину. Здесь, в густой чаще сплетенных ветвей, возвышаясь над ними, как сторожевая башня, располагался дом короля — единственное обитаемое строение на Фрайсе, — сложенный из грубо обтесанного бурого камня.

Когда мы проезжали мимо, я спросил, там ли сейчас король.

— Не знаю, — ответил Дорн. — У него свои привычки. Он считает, что довольно и его появления на Совете. В остальное время никто не знает, где он и что делает. И многие очень его критикуют. Он молод, наших лет, и немало людей считает, что он не подходит для своей роли. Но когда он появляется, то улаживает государственные дела так умело, что ему прощают его несовершенства.

— Ты с ним знаком?

— Да, конечно. Он бывает у нас в доме раза два-три в году, обычно со своим другом Стеллином. Король очень обаятельный, хотя и своеобразный человек. Уверен, ты с ним еще встретишься.

Я встречаюсь с королем!

К середине утра мы снова достигли башни, возле которой накануне свернули с основной дороги к Фрайсу. У западного плеча гиганта Мораклорна, высящегося на западе, собралась стая белых облаков. Буквально за несколько минут они заметно приблизились, и я подумал, уж не застигнет ли нас дождь или туман.

Клубы тумана поднимались снизу; солнце потускнело и скрылось. Звуки вокруг стали мертвенно-приглушенными, и дорога впереди и сзади таяла без следа. Было холодно, но возбуждение туманного плена согревало.

Минул час. По сторонам виднелись лишь полустертые очертания деревьев, их узловатых серых сучьев. Я почувствовал, что ветер стал свежее; горы проступали сквозь туман яркой белизной. Неожиданно показался бледный диск солнца, и синее небо сверкнуло сквозь ярко-белые пряди тумана. Ветер налетел яростным порывом, и слева открылись большие куски горных склонов. К юго-востоку, в нескольких сотнях футов под нами, поднялась над облаками похожая на огромный капюшон вершина Майклорна. К югу от него вздымалась еще одна гора, крутой западный склон которой спускался к снежному перевалу. Дальше к западу склон опять поднимался высоким и острым заснеженным гребнем, завершавшимся скалистым пиком со снежными полями и ледниками. За ним на расстоянии пятнадцати-двадцати миль виднелись изрезанные складками, покрытые снегом горы. От дальней стороны седловины начинался подъем, сначала плавный, затем становившийся все круче и наконец достигавший гигантского белоснежного округлого купола Островной.

Мы немного проехали вперед, окруженные блиставшими в небе вокруг нас снежными вершинами горных великанов, и остановились, чтобы перекусить в скалистой нише.

Перевалом на юго-западе и было то самое ущелье Мора, к которому мы направлялись. Он выводил к началу долины Доринг, протянувшейся между двумя могучими горными хребтами к морю. За долиной лежали степи Собо, сейчас находившиеся в сфере германского влияния и населенные самыми кровожадными из всех негритянских племен.

Проехав между голых скал с чрезвычайно скудной растительностью, уже к вечеру мы добрались до постоянного двора, маленьким амфитеатром расположившегося под ущельем Мора.

Дров здесь не хватало, и, вопреки обыкновению, постояльцы питались вместе. В большом доме с огромным очагом собралось человек шесть-восемь. Мы присоединились к ним, к их оживленной, приятельской беседе о дорогах и о горах, о погоде, о том, кто откуда родом, об общих знакомых, о том, у кого и как идет хозяйство.

Стемнело довольно рано, и поднялся сильный ветер. Слуга подбросил дров в очаг. Слабый запах вареного мяса донесся из столовой. Я разговорился с женщиной из Доула и его женой. Они, очевидно, принадлежали к *денерир*, однако ни по одежде, ни по манерам ничем не отличались от тех владельцев поместий, которых я встречал. Это была молодая, недавно поженившаяся пара; жена держалась несколько рассеянно, потому что их ребенок находился в соседней комнате и она все время инстинктивно прислушивалась к доносившимся оттуда звукам. Молодожены сказали, что направляются в Броум погостить у друга.

Приближалось время ужина, и я рассказывал своим новым знакомым о моей стране, когда входная дверь распахнулась и в зал вошли трое европейцев-альпинистов в полном облачении: в подбитых гвоздями ботинках, защитных очках, с ледорубами и альпенштоками в руках. Освещение в доме было довольно тусклое, но я сразу узнал братьев Уиллсов — Гордона и Филипа — и молодого Келвина.

— Что вы здесь делаете? — спросил Филип.

Не найдя сразу что ответить, я улыбнулся, а потом спросил:

— А что делаете вы?

— Мы только что пробовали взойти на Мораклорн.

Не зная, знакомы ли они с Дорном, я повернулся к тому месту, где он только что сидел, но оно было пусто. Мой друг исчез. Я напрягся, в растерянности стараясь поскорее сообразить, как вести себя дальше, решил по возможности не говорить, кто мой спутник, и поэтому тут же начал расспрашивать Уиллса о восхождении.

Филип вкратце рассказал о преодоленных трудностях. Очевидно, вершина не давалась им, и, не будучи готовы к последнему отчаянному рывку, они сдались, не дойдя до цели каких-нибудь пятисот футов. Вскоре все трое ушли переодеваться. Как только они скрылись, я направился в нашу с Дорном комнату. Дорн упаковывал свою суму и взглянул на меня с довольной и одновременно вопросительной улыбкой:

— Прости, что я сбежал.

— Мне удалось ничего не сказать им про тебя.

— Отлично! Я предпочел бы, чтобы Келвин не знал, что я здесь.

Глаза его теперь глядели спокойно. Продолжая говорить, он надевал дождевик.

— Я уезжаю, — добавил он.

— Тогда и я с тобой, — сказал я неуверенно, с тревогой думая о том, что останусь один.

— Нет. Тебе лучше остаться. Если Келвин что-то подозревает, то в случае твоего отъезда его подозрения подтвердятся. Ты можешь присоединиться ко мне завтра утром.

— Но где ты будешь ночевать?

Дорн пожал плечами:

— Найду какое-нибудь место на свежем воздухе. Я привык... Джон, мне очень жаль, что я причиняю тебе беспокойство.

— Нисколько! — воскликнул я.

— Переночуй здесь. Поговори с ними, будь естествен. Если они спросят, с кем ты путешествуешь, скажи, что с другом. Келвин слишком воспитан, чтобы любопытствовать. А завтра с утра выезжай пораньше. Я устрою так, что лошадей проведут через перевал и спустят в долину. Ты тоже можешь спуститься в долину и дожидаться меня внизу, но, если хочешь, можешь присоединиться ко мне. Я собираюсь прогуляться по горам.

Я внимательно, с сомнением взглянул на него. Я знал, что он выполняет некое поручение, и боялся случайно оказаться помехой.

— Пожалуй, я спущусь с лошадьми, — сказал я наконец.

— А может быть, ты позволишь мне решить? — мягко спросил Дорн после короткой паузы.

— Ты готов обещать, что устроишь все так, что я не помешаю тебе? — спросил я неуверенно.

— Обещаю.

— Тогда решай.

— Отправляйся за мной завтра утром, если, конечно, у тебя хватит сил на день пешего пути. Может случиться, что ты увидишь что-то, тебе непонятное; не пугайся — опасности практически никакой. Я хочу, чтобы ты был рядом. Если это причинит неудобства тебе, мне или кому-нибудь еще, ты пойдешь дальше один. Дорогу найти несложно.

— Согласен! — воскликнул я.

— Выйди пораньше и пройди через перевал. Ярдах в двухстах ниже верхней точки будет тропа, ведущая направо, на северо-восток, она идет к ущелью Лор между долиной Доринг и страной карейнов, примерно в двадцати милях оттуда. Я буду ждать тебя на тропе, мили через три-четыре. Захвати еду на постоялом дворе. Я распоряджусь, чтобы тебе приготовили.

— Как мне одеться?

Дорн посоветовал выступить налегке и напоследок сказал:

— Ситуация может сложиться так, что тебе придется сказать, что ты путешествуешь со мной. Тогда тебе решать. Если положение будет безвыходным и отрицательный ответ или излишняя уклончивость вызовут подозрения, будь свободен, как ветер, только не говори, что едешь в сторону ущелья. У меня в этих краях друзья, и то, что я здесь остановился, не должно показаться Келвину странным. А этот постоялый двор — место историческое, необычное, и всякое такое, и тебе все это очень интересно, — верно, Джон?

— Очень! — рассмеялся я. — И потом, мне необходим комфорт.

— Да, и все же будь начеку. До встречи. Завидую твоей теплой постели.

Дорн осторожно приоткрыл дверь, выглянул и с кошачьей мягкостью и быстротой, которых я раньше в нем не замечал, выскользнул и исчез.

Обедали за двумя длинными столами. Уиллсы и Келвин еще не появлялись, и, пользуясь возможностью, я юркнул на свободное место, вокруг которого все остальные были заняты, чувствуя себя покинутым и одиноким. Правда, напротив меня сидели мои знакомые из Доула. Я заговорил с ними и постепенно втянулся в беседу настолько, что даже не заметил, как вошли Келвин и Уиллсы в вечерних костюмах и заняли места далеко от меня.

В девять я наконец улегся, вполне довольный собой. Больше часа мы с этой троицей лениво болтали у очага. Действительно, я был вынужден признаться, что путешествую с другом, и пережил ужасное мгновение, когда Филип Уиллс в упор спросил, уж не знаком ли он с моим товарищем. Меня выручил Келвин, резко переменив тему. Для него, как и предполагал Дорн, мой ответ означал бы конец расследования, и, когда его друзья попробовали нажать на меня, он почувствовал себя отчасти в ответе за их поведение и поспешил вмешаться. По счастью, Филип Уиллс не был достаточно заинтересован и дальше подвергать меня перекрестному допросу, и теперь я уже не отставал от него, выведывая подробности его альпинистских походов — тема поистине спасительная. Я намекнул также на то, что есть американцы, заинтересованные в налаживании торговли с Островитянией, и пожаловался, что мне приходится собирать для них сведения подобного рода. Быть может, именно это окончательно удовлетворило их любопытство.

Проснулся я с первыми лучами зари. Завтрак подали в комнату, и, удостоверившись, что все распоряжения Дорна исполнены, я покинул постоялый двор. На перевале было холодно и сыро, стелился туман, и я чувствовал себя не очень-то уютно, медленно продвигаясь вперед и вверх по петлявшей дороге вслед за слугой с постоялого двора, ехавшим на лошади Дорна, и вьючной лошадью, шедшей посередине. Минут через двадцать мы достигли вершины перевала

— зеленой седловины. Вверху, на гребне горы, с обеих сторон высились башни, и стена соединяла их. Мы проехали через ворота, и перед нами открылась долина Доринг; голые склоны скал и зеленые горные пастбища отлого спускались в нее. Я тут же инстинктивно взглянул в дальний ее конец, где должен был находиться перевал, но он был не виден. На севере тянулись крутые отроги Мораклорна, укрытые снежным покровом; на северо-западе протянулся острый высокий кряж с голубыми ледниками и белыми участками фирна. Между ними вздымалось совершенно непроходимое нагромождение утесов и скал. И все же где-то должен быть проход. Уже сегодня предстоит его отыскать — мысль об этом пьянила, как вино.

Мгновение спустя мы оказались перед расщелиной, петляя по которой, дорога терялась из виду. Проводник показал мне уходившую вправо тропу. Я спешил. Проводник тут же пустил лошадей по дороге вниз, дружески помахав мне рукой, и я еще какое-то время следил за тем, как лошади спускаются, удаляясь.

Чувствуя себя легко и свободно, без какого-либо груза в руках или за плечами, кроме лежавшего в кармане завтрака, я пошел по тропе. Почти сразу она свернула за выступ, и я оказался совершенно один в огромном естественном амфитеатре. Долина безлюдно застыла внизу; исполинская тень гор падала на нее. Единственными звуками вокруг были шум моих шагов и шуршанье моих кожаных бриджей; и нигде ни единого следа человека, не считая тропы, тонкая ниточка которой вилась вниз по склону.

Где-то шагал сейчас Дорн, в другую сторону двигались лошади с вещами. Недвижимо застыли огромные горы; снежные поля на вершинах слабо розовели. Воздух был разреженный и холодный.

И все же мой друг оставался мне чуждым. Мы были слишком разные, и даже теплота наших чувств всегда оказывалась в каком-то смысле неожиданной и поражала. Он боролся за дело, которое я не поддерживал и которое казалось мне безнадежным. Он говорил о каких-то непонятных для меня вещах, и его слова звучали загадочно и несколько пугающе.

Я ускорил шаг; мне хотелось идти как можно быстрее, хотя впереди был еще целый день пути.

Незаметно мысли перестали складываться в слова. Идеи и образы проплывали в сознании, как тени облаков над долиной и горами, такие же зыбкие и неуловимые. Чутье, заставлявшее меня упрямо шагать по тропе, походило скорее на животный инстинкт, не связанный с памятью и самоощущением.

Дорн сказал, что встретит меня через три-четыре мили, то есть примерно через час ходьбы. Но когда ты один в незнакомых горах, час может показаться очень долгим.

Я взглянул на циферблат. Прошло уже больше полутора часов.

Тропа свернула в глубокую, с крутыми склонами долину, покрытую неровным, слоистым льдом, в котором отливали синевой ниши и выемки. От подножия ледника поток круто сбегал в расположенную ниже зеленеющую долину. Я прошел над стремительным прозрачным потоком по подвесному мосту из толстых досок, пружинивших и раскачивавшихся подо мной.

Чувствуя, что падаю духом, и не уставая ломать голову над тем, где же может быть Дорн, я пересек долину.

Прошло еще полчаса. Дорн сказал: три-четыре мили, но за два часа, что я шел, я успел пройти не менее шести и достичь этого пустынного, неприветливого места. Тропа петляла между занесенными движением древних ледников валунами и обломками скал разной величины, то лежащими отдельно, то наваленными грудой по горным склонам.

Вдруг волосы у меня встали дыбом. Я прислушался. Мне почудилось, что где-то вдалеке прозвучало мое имя.

— Джон!

И снова, на этот раз ближе. Я взглянул вверх, в щель между большими серовато-бурыми и уже успевшими нагреться на солнце валунами, и увидел Дорна, который сидел на скале футах в ста надо мной и махал мне руками. Запыхавшись, я вскарабкался к подножию скалы и остановился футах в пяти от того места, где находился Дорн. Он нагнулся, протянул мне руку. Я ухватился и через мгновение уже стоял рядом с ним.

Скала возвышалась над неглубокой выемкой, в которой широкоплечий, крепкого сложения мужчина сидел на корточках перед костром. Он был без шапки, но его густые черные волосы лежали исключительно ровно. И прежде всего в глаза бросался идеально ровный пробор, разделявший их посередине. Мужчина поднял голову, и я увидел знакомое круглое кирпично-красное лицо, наполовину скрытое пышной черной бородой, и горящие из-под кустистых бровей глаза, взгляд которых я впервые встретил в приемной лорда Моры.

— Дон, это Ланг, — сказал Дорн.

Мужчина поднялся и улыбнулся. Его глаза были похожи на ограненные алмазы, сверкающие сквозь две узкие прорези; улыбка обнажила крупные ровные белые зубы.

Что ж, похоже, «непонятное» начиналось.

Дон снова склонился над огнем.

— Садись, — сказал Дорн. — Мы как раз собирались завтракать. Я должен был встретить тебя раньше, но это оказалось невозможно.

Неожиданно Дон поднялся, в два прыжка взобрался на высокую скалу, оглянулся и точно так же невозмутимо вернулся к своим занятиям.

— Уже видно, — сказал он (разумеется, по-островитянски) безразличным тоном.

— Скоро они проедут?

— Минут через пять.

— Ты быстро ходишь? — спросил Дорн, поворачиваясь ко мне.

Дон посмотрел на меня в крайнем замешательстве и ухмыльнулся.

— Да, — ответил я.

— Я рад, — сказал Дорн, довольный.

— Вот везет! — пробурчал в бороду Дон и фыркнул.

Я сидел, застыв и пытаюсь понять, действительно ли мне хочется новых приключений.

Шли минуты.

Котелок над огнем весело забурлил.

Дон поднялся.

— Может быть, пока побудешь здесь и последишь за котелком? А то выкипит, — сказал Дорн, тоже вставая. — Мы мигом вернемся.

Оба исчезли.

Я подошел к костру и стал наблюдать за котелком. Все кругом застыло в полном безмолвии. Скалы обступили меня со всех сторон. Я видел только их и глубокое синее небо. Плащ Дорна лежал рядом, так, словно он еще спал под ним. Тут же лежал и второй плащ, по-видимому Дона, и объемистый нераспакованный пакет.

Прошло минут семь. Я следил за котелком, время от времени подбрасывая в огонь прутья из сваленной в стороне груды хвороста.

Они возникли так тихо и неожиданно, что у меня перехватило дыхание.

— Проехали, — сказал Дорн. — Теперь можно и позавтракать.

Дон вынул из свертка три бронзовые миски и ложки и разлили в миски содержимое котелка. Кушанье напоминало рагу, горячее и жгучее от перца; кусочки мяса, морковь и горох плавали в густой подливке.

Дон быстро управился со своей порцией и, набрав из ручья воды и песка, вымыл и

выскоблил котелок, миски и ложки.

Между тем Дорн обратился ко мне — не против ли я пройти к перевалу другой дорогой, более короткой, хотя и более трудной.

Сборы заняли всего несколько минут. Скатав плащи, мои спутники забросили скатки за спину. Дон, снова расплывшись в улыбке, кивнул мне, чтобы я следовал за ним. Дорн замыкал шествие.

И Дорну, и Дону было не привыкать к прогулкам по горам, и я боялся, что не смогу держаться с ними на равных. Дон шагал неторопливым, размеренным шагом. Мы двигались вверх по склону на запад, огибая скалы.

Довольно скоро ноги у меня стали подгибаться в коленях, легким не хватало воздуха. Я чувствовал слабость во всем теле, и состояние мое было полуобморочное; время словно остановилось, но все же мне удавалось держать себя в руках и находить скрытые запасы сил.

Наконец наступило облегчение. Подъем кончился. Мы шли, окруженные высокими скалами в снежных шапках. Далеко внизу затуманенный усталостью взгляд различал долину Доринг. Мы снова стали подниматься в гору, и снова, сжав зубы, я боролся с подступающей дурнотой. Склон, покрытый гравием, закрывал полнеба. Я пошатнулся, и Дорн поддержал меня.

— Ты в порядке? — спросил он. — Осталось не больше трехсот футов.

— Вверх?

— Вверх, — ответил Дорн. — Давай мы возьмем тебя под руки.

Поддерживая, они повели меня дальше.

— Теперь я понимаю, как тебе удавалось так легко доигрывать все футбольные матчи до конца, — проговорил я, задыхаясь.

— А из него вышел бы неплохой защитник. — Он кивнул на Дона.

Гравий кончился; теперь мы шли по склону, и, дойдя до круто нависавшего скального карниза у входа в сорокафутовую расселину, Дон скомандовал:

— Привал!

Я без сил растянулся на земле. Ущелье Мора было видно милях в шести по другую сторону долины Доринг. Дон сел, обхватив колени, и устремил пристальный взгляд сквозь пространство, невозмутимый и подтянутый, с идеально ровным пробором в волосах.

Не знаю, долго ли мы там пробыли, но мне наш привал долгим не показался.

Дон достал из своего мешка тонкую веревку и обвязал меня вокруг пояса. Потом, взяв свободный конец, стал подниматься вверх по расселине. Дорн шел вплотную за мной. Я ничего не понимал в скалолазании и просто делал то, что мне говорили. Мы поднимались пядь за пядью, цепляясь кончиками пальцев за каждый выступ, каждую выемку, пока не оказались, с трудом переводя дух, на широком выступе, откуда в тысяче футов внизу виднелась; ровная зеленая седловина. Над ней и за ней глаз тонул в уходящей вдаль череде светло-коричневых холмистых отрогов, сливающихся с завесившей горизонт белесой дымкой.

Это была земля карейнов, теперь фактически принадлежавшая Германии. Седловина и называлась перевалом Лор. Я мигом забыл об усталости.

Не говоря ни слова, Дон двинулся вперед и отошел уже ярдов на сто. Дорн начал спуск к седловине.

Это было нелегко. После каждого шага по крутому, усыпанному гравием склону мы скатывались вниз на пять-шесть футов; впрочем, чаще скала шла уступами, слишком крутыми для удобного спуска, с обманчиво надежными маленькими площадками у подножия.

Дорн сделал мне знак остановиться. Дон, справа от нас, тоже застыл на месте. Едва различимая, казавшаяся игрушечной кавалькада примерно из дюжины всадников медленно поднималась вверх по склону. Мы поспешно отступили влево и, когда всадники скрылись из

виду, возобновили спуск. Я совершенно не понимал, что происходит. Поразительно быстро мы достигли точки примерно в ста ярдах от того места, где начиналась трава. Дон догнал нас, и все встали под прикрытием скал.

Время шло. Мало-помалу я отдышался, но сердце по-прежнему учащенно билось.

Слева по направлению к нам шел человек. Высокий, с развевающимися желтыми волосами, он двигался упруго и мягко. На какое-то мгновение он показался неотличимым от скал, неба и облаков, но тут же мое сознание сработало. Тронув Дорна за плечо, я указал на незнакомца.

Дорн резко вздрогнул; Дон тоже. Они переглянулись. Дон приподнялся и, пригнувшись, побежал навстречу пришельцу. Потом оба направились в нашу сторону, переговариваясь на ходу, а подойдя ближе, пригнулись и, пробежав несколько футов, укрылись за скалами рядом с нами.

Дорн и молодой человек кивками приветствовали друг друга, и Дорн произнес мое имя. Я поклонился и на мгновение заглянул в ясные серые глаза. Желтые, с каштановым отливом волосы незнакомца вились, как у девушки, кожа была гладкой, румяно-розовой, а такого прекрасного лица я не видел никогда в жизни — наверное, таким был олимпиец Гермес. Это было странное, завораживающее лицо, дышавшее силой и одновременно женственное, — лицо человека, живущего в мире, совершенно отличном от моего. Как и мы, он растянулся на земле, стройный, собранный, мускулистый и, похоже, чем-то довольный.

Мы ждали, лежа в ряд: Дон, незнакомец, Дорн и я. Возбуждение мое было так сильно, что временами мне хотелось расхохотаться.

Неподалеку от седловины трое мужчин двигались по долине с островитянской стороны. Одеты они были по-европейски, но лиц на таком расстоянии было не различить. Еще немного пройдя вперед, они оглянулись и сели, ожидая. Мы замерли, не отрывая от них глаз.

Пять минут спустя снизу показалась голова лошади и всадника, потом еще одного. Обе группы соединились; верховые спешили. Трое или четверо из тех, кто поднялся снизу, были темнокожими, одеты в белые, развевающиеся одежды и тюрбаны; остальные — европейцы, одетые соответственно.

Между теми и другими сразу же завязался оживленный разговор. Беседующие пары то и дело менялись местами. При этом говорящие широко разводили руками, словно речь шла о топографических особенностях местности. Это продолжалось довольно долго, после чего действия людей внизу приняли более упорядоченный характер. Трое из них сели на нечто напоминающее низкий плоский стол. Четверо, попрощавшись с остальными, вскочили на лошадей и ускакали в юго-западном направлении. Один из них был чернокожий в тюрбане.

Мои товарищи переглянулись.

К югу долина понижалась. Седловина была самой высокой точкой окрестности, и граница должна была проходить по ней. Проникновение на территорию Островитянии на глубину до нескольких сот футов позволялось, но четверо карейнов продолжали удаляться от остальных. Было ли это просто нарушением пограничных законов или чем-то более серьезным? И почему здесь, на таком доступном, ничем не защищенном перевале, не поставили пограничную охрану, солдат?

Молодой человек вскочил; лицо его пылало. И Дон, и Дорн — оба выглядели растерянными и встревоженными.

— Их надо остановить! — отрывисто и гневно произнес молодой человек.

Дорн и Дон попытались что-то ответить, но юноша быстро зашагал прочь. Дон поднялся и последовал за ним. Дорн тоже встал и неуверенно взглянул на меня.

— Я должен быть рядом с ним, — начал он, — но ты...

— Я тоже иду, — бодро ответил я, стараясь скрыть нервную дрожь.

Мы догнали наших товарищей и все вместе быстро зашагали к седловине; молодой человек шел впереди. Мне приходилось почти бежать, чтобы не отставать от своих спутников.

Через несколько секунд люди слева, на седловине, заметили нас, вся группа пришла в волнение и обернулась в нашу сторону. Кто-то, видимо главный, громко выкрикнул несколько слов. Всадники, успевшие отъехать на несколько сот ярдов, остановились.

Мы подходили все ближе и ближе. Люди на седловине застыли, обернувшись к нам, их лица белели смутными пятнами, становясь все отчетливее по мере нашего приближения. Некоторые были в военной форме и вооружены. По спине у меня пробежала дрожь, но я с каким-то непонятным удовольствием вприпрыжку догонял моих длинноногих спутников. Юноша совершенно очевидно взял на себя главную роль, а Дон и Дорн безропотно подчинились. Кто же он был такой?

Из группы, собравшейся внизу, выделялся один человек в солдатской, точнее, офицерской форме. Лицо его, типично немецкое, показалось мне знакомым. Да, не приходилось сомневаться, что все они, кроме темнокожих, немцы.

Наш предводитель направился прямо к офицеру. Дорн и Дон шли чуть сзади, по бокам; я держался ближе к Дорну. Прозрачные, холодные глаза офицера остановились на мне, и я вспомнил, как его зовут.

— Что вы здесь делаете? — спросил наш юный предводитель по-немецки и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Прикажите этим людям вернуться. Въезд в Островитянию по этой дороге запрещен.

Офицер на мгновение задумался.

— Кто вы? — спросил он у юноши.

Молодой человек растерялся.

— Это не имеет значения, — ответил он не сразу. — Я — гражданин Островитянии. К тому же, полагаю, вам и без официальных разъяснений должно быть понятно, что эта дорога в Островитянию закрыта, и ваша страна согласилась соблюдать договор.

— Если мы и нарушили закон, — возразил офицер, — то вас это не касается. Впрочем, по сути, мы ничего не нарушаем.

— У вас есть паспорт?

— Я отказываюсь отвечать, поскольку вы не являетесь официальным лицом, — сказал офицер и снова поглядел на меня.

Ситуация, казалось, зашла в тупик. Офицер улыбнулся:

— Никто из нас не намерен вступить на землю Островитянии. Мы только остановились здесь на пару дней, а потом вернемся в лагерь.

Наш предводитель указал на всадников, видневшихся далеко внизу, на тропе:

— Вы имеете в виду и этих людей также?

— Пусть объясняются сами. Они не в моем подчинении.

— Идемте! — воскликнул юноша, обращаясь к нам.

Он двинулся вниз по тропе, и я снова, к моему стыду, вынужден был бегом догонять своих товарищей под насмешливыми взглядами стоявших на седловине.

Конечно, всадникам ничего не стоило ускакать прежде, чем мы приблизились бы настолько, чтобы их распознать, но они этого не сделали. Один, впрочем, спешил. Всадник в тюрбане отъехал в сторону, но недалеко.

Мы подошли, и я различил два знакомых лица и понял, что меня тоже узнали. По тяжелому снаряжению, навьюченному на лошадей, было понятно, что они собирались устроить здесь продолжительную стоянку.

— Вы не имеете права въезжать в Островитянию по этой дороге, — сказал наш

предводитель, подходя к верховым.

— Разве мы пересекли границу? — с неожиданной покорностью в голосе ответил тот, кого я знал лучше.

— Граница проходит по перевалу.

— Мы не думали, что, проехав несколько километров по долине, серьезно нарушаем наши соглашения. Если вам это не нравится, мы вернемся.

Среди остальных прошел неодобрительный ропот, но никто не произнес ни слова.

Наш предводитель учтиво поклонился. Немец улыбнулся, отдал честь, что-то сказал своим спутникам; те развернулись и, пустив лошадей в галоп, уехали прочь, причем говоривший дружелюбно кивнул мне на прощанье.

Дорн и молодой человек взглянули друг на друга и рассмеялись, однако Дон хранил торжественное молчание.

— Теперь у нас нет никаких доказательств, — сказал он, — и мы не можем никому предъявить никаких претензий.

— Они хотели разбить здесь лагерь, — воскликнул молодой человек, задетый укоризной, крившейся в словах Дона, — а мы их прогнали.

— Что ж, раз вы так думаете... — ответил Дон с поклоном.

— Да, я так думаю. Вы были правы. Я рад, что мы оказались здесь и увидели все своими глазами.

Я почувствовал, что они говорили бы более свободно, если б меня не было. Мгновение я колебался, сообщить ли им, что я знаю некоторых из немцев, но инстинкт подсказал, что лучше промолчать. И я пошел вниз по тропе, чтобы не мешать своим спутникам. Возбуждение прошло, но руки еще слегка дрожали. Я присел на обломок скалы, чувствуя себя разбитым, слабым и страшно голодным.

Вскоре ко мне присоединились и остальные, и, посмотрев на часы, я увидел, что уже полдень. Дон развел костер в стороне от тропы и принялся готовить. Я достал провизию, которую захватил с постоянного двора. Еды вполне хватило на всех. Никто почти не разговаривал.

Видимо, было заранее условлено, что дальше каждый идет своим путем, и, когда мы поели, Дон мрачно попрощался, взвалил поклажу на плечи и двинулся вверх по склону. Молодой человек, пребывавший в глубокой задумчивости, неожиданно резко поднялся.

— Я очень сожалею, — обратился он к Дорну.

— Мы рады, что вы поняли.

— Ничего не могу поделать. Мне еще надо о многом подумать. Я сейчас же отправляюсь в мой лагерь. Через месяц я вернусь, и мы увидимся.

Дорн поклонился.

— До свидания, Ланг, — улыбнулся молодой человек. — Думаю, мы еще встретимся.

Он протянул мне руку, и я пожал ее. Потом он стал спускаться в долину.

— Извини! Я совершенно не собирался впутывать тебя в подобные дела, — сказал Дорн по-английски.

— Прогулка получилась очень интересная, — ответил я. — Я увидел ущелье Лор. Я совершил настоящее восхождение. Именно это я и буду вспоминать.

— Когда-нибудь ты все узнаешь и поймешь, — сказал Дорн с явным облегчением. — Ты настоящий друг. А теперь пойдем на постоянный двор в Шелтере. И все же — камень с души...

Дорн замолчал и пожал плечами.

— Он слишком горяч, — добавил Дорн после паузы, кивком указывая на желтоволосого молодого человека, фигуру которого уже с трудом можно было различить внизу, в долине.

Больше он ничего не сказал, и мы не спеша тронулись в путь по тропе.

— Я думал, перевал укреплен, — сказал я.

— Здесь есть форт, — ответил Дорн после минутного колебания, — но он расположен в укрытии.

Какое-то время мы шли молча.

— И вообще, сейчас он заброшен, — вдруг воскликнул Дорн с такой горечью, что я решил промолчать. — До того, как премьером стал лорд Мора, — продолжал Дорн, — здесь всегда стоял сильный гарнизон, но Мора отвел его после заключения договора. Немцы согласились контролировать степи Собо, и Мора решил показать, что вполне им доверяет. Горные негры с тех пор ни разу не совершали набегов, хотя дело тут не только в немецких дозорах. Думаю, что в июне на открытии Совета мы узнаем много нового и интересного.

Я был заинтригован, но решил ни о чем не спрашивать.

Дорн крепко сжал мою руку:

— Как только мы выберемся из этих мест, мне больше ничего не придется от тебя скрывать! Ах, если бы ты был островитянином, и с нами! Какими загадочными мы все тебе, должно быть, кажемся.

— Да, но мне это нравится, — ответил я.

Мы добрались до постоянного двора еще засветло, но для меня день уже кончился, сил больше ни на что не осталось. Переодевшись, я улегся на одну из коек, стоявших вдоль стены в большом зале. Мне хотелось отвлечься, и я взял книгу — «Гарри Ричмонд» Мередита, но строчки ускользали, теснимые виденьями далеких гор, чувством усталости и спазмом волнения, по-прежнему сжимавшим сердце.

Пожинали мы рано, и сразу после ужина я улегся, поплотнее завернувшись в одеяла, и уснул беспокойным сном, в котором еще раз, но уже сумбурно и путано промелькнуло все случившееся.

Проснулись мы поздно и только к десяти снова собрались в дорогу. Дорн выглядел как человек, покончивший с важным делом. Теперь он был откровеннее насчет своих планов. В этот день нам предстояло спуститься к озеру Доринг, находившемуся милях в двадцати двух от Шелтера, и заночевать у Хисов на верхней ферме.

Еще через два дня пути мы должны были добраться до нижней, домашней усадьбы Хисов и пробыть там несколько дней.

— Она большая, — сказал Дорн, — и очень красивая. Все Хисы — мои хорошие друзья. Они тебе понравятся.

Часа два-три мы ехали по широкой долине, через густые леса, плетущие кружево света и тени. Временами между стволами сосен приоткрывалась и вновь исчезала глубокая синяя даль, иссеченная полосами дымчатого света. И вот сквозь деревья блеснула ярким серебром гладь Доринга. Выехав из леса, мы оказались на южном берегу озера. Западный ветер рябил холодную, отливавшую синевой воду.

На другом берегу, крутом и обрывистом, стоял приземистый беленый дом, окруженный деревьями. Тропинка спускалась от дома к элингу, стоявшему ниже по течению, а за самим зданием раскинулись на много миль холмы и поля. За исключением вершины Дорингклорна, все это очень напоминало Новую Англию.

Дорн остановил свою лошадь.

— Вот и Хисы, — сказал он. — Судя по всему, дома никого нет.

И все же навстречу нам вышел управляющий. Я не мог понять, почему Дорн хочет остановиться здесь, когда хозяев нет дома. Мне казалось странным, как это можно — садиться за стол без хозяев, без разрешения кормить лошадей их сеном и овсом, плавать в их шлюпке по озеру. Ближе к вечеру Дорн оседлал одну из Хисовых лошадей и уехал. Кто знает, может быть, у него было какое-нибудь поручение.

На следующий день мы спустились по реке к подножию Дорингклорна в постепенно расширяющуюся долину между высоких снежных пиков, а ближе к ночи свернули с дороги и въехали в лес, где и устроились на привал возле ручья. Потом развели костер и приготовили на нем взятую в доме еду. Ночь была упоительно тиха.

Назавтра погода выдалась жаркая и безветренная. Желтоватая дымка сгущалась, скрывая горные вершины. Дорога и поля пересохли, и отары овец местной породы проходили, поднимая облака пыли.

Дорн скакал впереди, погоняя лошадь, и мы даже не пообедали.

К двум часам мы приехали в Хис — основательно застроенную усадьбу, окруженную фермами, на которых разводили овец и крупный скот. Не останавливаясь, мы обогнули Хис и свернули на дорогу, ведущую на юг через горы, к перевалу Темплин. Едва мы выехали из речной долины, как жаркий порывистый ветер погнал на нас целые тучи пыли. На западе небо было изжелта-серым, и оттуда доносились раскаты грома.

Пустив лошадей в галоп, мы поскакали по плоской равнине, пересеченной деревянными изгородями с росшей вдоль них жухлой травой. Потом стали подниматься в гору; сквозь марево проступили очертания каменных ворот. Проскакав через них, мы поспешили дальше.

Совершенно неожиданно в дымке показалось несколько приземистых домов из розоватого камня и надвинувшееся прямо на нас, неестественно большое в пыльном мареве двухэтажное здание.

Дорн назвал наши имена.

Из дома навстречу нам уже спешили люди, среди которых я заметил мальчугана, средних лет женщину и четырех девушек лет около двадцати.

Прозвучали короткие приветствия, и несколько быстрых взглядов было брошено в сторону чужеземного гостя.

Старшая из девушек крикнула что-то насчет охватившей скот паники и что их послали позвать на помощь мужчин.

— Едем, Джон! — воскликнул Дорн. — Мы можем там пригодиться.

Я помахал рукой в знак согласия.

Высокая девушка с ярким, запоминающимся лицом подбежала к Дорну, что-то сказала ему и бросилась к стоящему слева низкому строению. Другая подошла ко мне, улыбнулась и, приняв мой вопросительный взгляд за согласие, оперлась о мою вдетую в стремя ногу, подняла юбку выше голых колен и, крепко ухватив меня за руку, одним движением оказалась на крупе лошади позади меня.

— Следуйте за Дорном, — сказала она сильным, звонким голосом. — Меня зовут Наттана.

Фэк сам тронулся с места. Испуганное лицо матери, смеющиеся лица остальных домочадцев быстро скрылись в дымке.

Маленькие, но сильные девичьи руки крепко держались за меня. Вслед за Дорном мы обогнули дом.

— Остановитесь, пожалуйста, и обождите минутку, — сказала девушка и на ходу соскочила с лошади. Дорн тоже остановился, широко улыбаясь. Глаза его горели.

— Поезжай с Наттаной, — сказал он. — Она лучше меня знает, что делать.

Высокая девушка скоро показалась снова, уже верхом, и они ускакали вместе с Дорном. Та, что только что сидела позади меня, выехала на своей лошадке и приблизилась ко мне.

— Поезжайте за мной, если вы не против, — сказала она, и мы — девушка впереди, я сзади — двинулись в другую сторону. Копыта гулко стучали по сухой, твердой земле, между тем как небо с каждой минутой зловеще темнело. Гром ворчал все ближе и громче.

Неожиданно девушка резко придержала свою лошадь, и Фэк тоже остановился как вкопанный, едва не выбросив меня из седла. Впереди, с ревом и грохотом, на нас катился грозовой вал. Девушка свернула вправо и крикнула, чтобы я сделал то же самое. Стадо, мотая низко опущенными головами, промчалось совсем рядом. Юноша, верхом следовавший сзади, стал о чем-то перекрикиваться с девушкой. Она сделала знак, и мы снова галопом пустились вперед.

Незаметно мы оказались в середине мычащего, бьющего копытами стада. Девушка остановилась, пытаясь докричаться до меня, но я не столько по словам, сколько по жестам понял, что мы должны сделать — окружить и погнать домой коров и быков, отбившихся от промчавшегося мимо нас полуобезумевшего стада. Чувствуя себя в безопасности на спине Фэка, я пронзительно кричал и хлестал налево и направо по тяжелым спинам и бокам животных, следя за девушкой, ободряемый ее улыбками. В конце концов стадо удалось собрать. Девушка криками подгоняла его вперед.

Через несколько минут гроза настигла нас. Дождь, хлещущий косыми струями, в мгновение ока не оставил на нас сухой нитки, однако пыль улеглась и воздух прояснился. Вокруг, насколько хватало глаз, расстилалось огромное, идущее под уклон поле. В нижней его части, едва видимой сквозь темную завесу ливня, сгрудились казавшиеся маленькими строения фермы. Стада, сопровождаемые верховыми погонщиками, стекались к усадьбе с разных сторон.

Наше стадо шло спокойней, и девушка подъехала ко мне. Икры выпукло обозначались на ее босых загорелых ногах, когда она сжимала бока лошади. Волнистые светлые волосы намокли,

потемнели и, распрямившись, прилипли к вискам и мягко очерченным скулам. Мокрое платье туго обтягивало грудь и бедра.

— Меня зовут Хиса Наттана, — сказала она негромко.

— А меня Джон Ланг.

— Вы понимаете меня? Если нет, я могу говорить медленнее.

— Понимаю.

— Дорн попросил вас... Я очень благодарна, что вы помогли нам. — Она бросила на меня быстрый, испытующий взгляд своих зеленых глаз. — Вы — первый иностранец, с которым я разговариваю...

Мы загнали стадо в большой скотный двор за домом, препоручив дальнейшую заботу о нем *денерир*, и поехали к конюшне. Поставив лошадей в стойла, мы досуха вытерли их большими лоскутами из грубого льна. Брызги летели по сторонам.

— Мы совсем промокли, — сказала девушка, когда работа была закончена. — Пойдемте в дом.

Я взял свою суму, и, пройдя через несколько помещений, где хранилось в закромах сено, была развешана упряжь и расставлены некоторые орудия сельского труда, мы вышли на окружающую дом галерею. Внутренний двор, куда мы въезжали с Дорном, превратился в море грязных луж, в которые падали со свинцово-серого неба тяжелые дождевые капли.

— Спасибо вам за все, что вы сделали, — сказала девушка, когда мы входили в дом, одаривая меня очаровательной улыбкой.

Пожилая женщина по имени Айрда ждала в зале перед очагом. Горячий шоколад дымился на столе. Айрда приходилась сестрой покойной жене лорда Дорна и была второй женой лорда Хиса.

Она предложила мне переодеться, и я отправился к себе в комнату. Раздевшись перед горевшим там очагом, я выжал мокрую одежду и развесил ее сушиться. Надев сухую чистую смену, я спустился вниз.

Один за другим прибывали погонщики. Последними приехали Дорн с высокой девушкой. Это была двадцатилетняя Некка, вторая по старшинству из сестер. Лицо ее горело и было мокро от дождя. Она назвалась и улыбнулась мне, поднося к губам чашку шоколада. Я взглянул на нее внимательно не столько потому, что девушка была хорошенькая, сколько потому, что она ездила с Дорном и в лице у нее было что-то необычное.

Я уже собрался было заговорить с ней, когда она, возможно по незаметному знаку Дорна, протянула мне изящную, узкую, все еще мокрую и неожиданно сильную руку.

— Ланг, друг Дорна, я рада, что вы приехали к нам, — сказала девушка звучным, звонким, хотя и несколько жеманным голосом.

За ужином я увидел всю остальную семью. Лорд Хис, рыжеволосый, веснушчатый, с усами и остроконечной бородкой, беседовал с Дорном о политике и сельском хозяйстве, выказывал осведомленность и интерес во всем, что касалось Соединенных Штатов, хотя его глаза с красноватыми белками рассеянно блуждали по столу, и было видно, что на самом деле его тревожат совсем иные мысли; Хис Эк, его старший сын и старший брат Наттаны, тридцатитрехлетний, невысокого роста мужчина, рыжеватый, с зелеными глазами, казался усталым и вел себя тихо и крайне сдержанно; Хис Атг, смуглее и выше своего брата, держался более непринужденно и то и дело задавал каверзные вопросы, испытующе и дружелюбно на меня поглядывая; двадцативосьмилетней Эттере, старшей из четырех сестер, достались в наследство все те же рыжеватые волосы, и хотя она была лишена женского обаяния, по-мужски угловата и крепка, с пронзительным, способным смутить любого взглядом то и дело вспыхивающих, словно от скрытого гнева, глаз, но голос у нее был мягкий, приятный и

задумчивый; младшая из сестер, Неттера, тоненькая, почти воздушная, с большими голубоватыми, как скорлупа птичьих яиц, глазами, под которыми залегли глубокие, словно от измождения, тени, — была, безусловно, самой красивой. Все это были дети лорда Хиса от первой жены, Стеллины; Айрда принесла ему Хиса Пэка, которого я видел в Ривсе, и еще одного ребенка, тоже мальчика, — Хиса Пата, ему теперь было пятнадцать.

Имена детей Хиса, в отличие от американских или европейских, означали всего лишь их номера по старшинству, причем к женским добавлялось окончание «а». Поэтому Хис Эк в переводе значило «Хис первый», или «старший мальчик»; Эттера — «третья» дочка, и так далее.

После ужина мы перешли в гостиную. Лорд Хис вскорости увел Дорна в свой кабинет; Некка дремала, сидя на краешке скамьи, но Хис Атт, взяв в союзники Эттеру, продолжал донимать меня вопросами, в то время как Наттана и Неттера сидели обнявшись и лишь изредка вступали в разговор, не сводя с нас своих серо-зеленых глаз. Отвечая Атту, я рассказал все, что только было мне известно, о разведении и торговле скотом в Америке, о скотопригонных дворах Чикаго, о том, как мясо забитых животных хранится и транспортируется, при этом ни на мгновение не переставая чувствовать присутствие перешептывающихся младших сестер.

Эттера хотела знать, как при такой сложной жизни люди не путают, что когда делать. Я сказал, что у нас время разбито на большое число отрезков. Островитяне полагаются на природное чувство времени, а у нас есть часы, настенные и карманные. Для наглядности я вытащил свои, оговорив, что не знаю, правильно ли они идут, ведь мне не с чем их сверить.

— Как же они могут идти неправильно? — спросила Эттера, беря у меня часы.

— Время, которое они показывают, может не совпадать с тем, что на самом деле.

— Красивые, — сказала Эттера. — Но какой от них прок?

Я, как сумел, объяснил.

— Только старикам надо напоминать, сколько времени, когда они начинают это забывать, — сухо ответила Эттера.

— Старикам и музыкантам, — добавил Атт, взглянув на Неттеру, которая моментально потупилась. Некка проснулась и глядела на нас застанными любопытными глазами; Наттана подалась вперед, опершись о колено и положив подбородок на ладонь, но Неттера продолжала молчать, уставясь в пол. Часы переходили из одних белых тонких рук в другие. В поведении сестер было что-то неуловимо детское. Каждая обязательно подносила часы к уху, внимательно прислушиваясь к их тиканью. И только Неттере не дали прикоснуться к диковинке. Видя, что ее обошли, я встал с намерением показать ей уже вернувшиеся ко мне часы. Но она откинулась назад и выставила перед собой руки.

— Хочешь посмотреть? — спросил я.

Она подняла на меня свои прозрачные серо-голубые глаза с ослепительно белыми белками и с непонятным мне выражением сказала:

— Не буду их трогать!

Думая, что она боится сломать часы, я протянул их ей.

Неттера отпрянула, впрочем, не сводя с часов замороженного взгляда.

— Я их слышу, — сказала она тонким голосом.

Полагая, что мне удалось ее заинтересовать, я поднес часы к ее маленькому уху.

— Не трогайте меня! — Неттера с криком вскочила на ноги. — Вы чужеземец!

Наступила тишина, потом все вдруг разом быстро и горячо заговорили.

— Ты сама не знаешь, что говоришь! — воскликнула Некка. — Он приехал с Дорном.

— Не судите ее строго, Ланг. Она всегда все не так понимает. — Голос Наттаны дрожал.

— Несносная девчонка! — сердито выпалила Эттера. — Выпороть тебя надо!

— Лучше уходи, пока еще что-нибудь не натворила, — раздался по-мужски

рассудительный голос Агта.

— Я уйду, уйду! — закричала Неттера. — Ланг, простите меня... Если вы думаете, что...

Она запнулась. В глазах стояли слезы. Она опрометью выбежала из комнаты — только мелькнули худенькие, как у ребенка, босые ноги.

— Подожди! Вернись! — крикнул я ей вслед.

Все обратились ко мне и наперебой стали объяснять поведение Неттеры.

— Наши женщины всегда заражались чем-нибудь от иноземцев, — сказал Агт. — Конечно, мы понимаем, что это всего лишь отдельные случаи, но Неттере часто не хватает здравого смысла. Вот ее и запугали все эти рассказы.

— Дурочка! — сказала Эттера.

— Нет, она не дурочка! — горячо вступилась Наттана. — Хотя не всегда думает, прежде чем сказать, это верно.

— Я ее не виню, — сказал я. — И рассказы эти тоже слышал. Вы вправе нас бояться.

— Но мы вас не боимся, поверьте! — сказала Эттера.

— И незачем про это говорить! — воскликнула Наттана. — Разве ты не видишь, что он и так понимает!

Я слегка поклонился ей в знак благодарности. От волнения меня трясло.

Все еще продолжали говорить, извиняться, но у меня отлегло от сердца, лишь когда Некка сказала:

— Давайте не будем больше об этом. Каждый знает, что думали люди когда-то.

— Пойду и поговорю с ней! — воскликнула старшая из сестер, поднимаясь. — Спокойной ночи, Ланг.

— Спокойной ночи. Только скажите ей, чтобы она не переживала...

— Нет, это просто невозможно, — прервала меня Наттана. — Мы все переживаем, и, наверное, не меньше, чем вы. Простите нас!.. Пойду-ка я тоже, а то Эттера...

Она обожгла меня взглядом и бросилась вслед за старшей сестрой. В комнате остались только я и Некка. Она взглянула на меня со своей забавной, полусонной улыбкой, и мы оба рассмеялись.

— Что вы о нас теперь думаете? — спросила она.

— Мне сложно сразу разобраться, но я очень переживаю из-за Неттеры.

— Да, жалеть-то нужно ее, а не вас... Она так сейчас раскаивается. Когда вы с ней заговорили, мысли у нее были далеко. Завтра она сама все поймет... Пожалуй, мне тоже лучше пойти — как бы Эттера и Наттана не перессорились. Доброй ночи.

Я отправился спать. Дорн и лорд Хис, запершись в кабинете, все еще беседовали о неких важных проблемах, о которых, как мы условились, я не буду пытаться ничего узнать. Сколько ни успокаивал я себя, в душе остался неприятный осадок, самолюбие мое было уязвлено, и меня мучил вопрос: действительно ли сестры осуждали Неттеру или просто были лучше воспитаны и лучше держали себя в руках?

На следующее утро облака низко нависли в небе серыми складками, дымка дождя занавесила даль, вокруг было темно и сыро.

Во второй половине дня мы отправились под дождем в Хис и вернулись на ферму то ли к ужину, то ли к обеду, не знаю, как сказать, — слишком плотной была эта трапеза для ужина и слишком незатейливой — для обеда.

Перед самым ужином Наттана отозвала меня в сторону и сказала, что Неттера очень сожалеет о том, что случилось вчера.

— Теперь она поняла, — сказала Наттана, — что вы — как бы один из нас.

Я не видел Неттеру весь день, но за ужином она улыбнулась мне такой очаровательной

робкой улыбкой, что я тоже улыбнулся в ответ и понял, что неприятный инцидент наконец позади.

Все собравшиеся за столом были одеты в цвета, соответствующие их титулам. Только Дорн и я не были удостоены такой чести, поскольку мой друг приходился лишь правнуком и внучатым племянником лордам Дорнам, я же — поскольку был американцем. Соответственно, на нас были просто темно-синие костюмы. Костюм лорда Хиса был тоже синий, но более светлого оттенка, а широкие лацканы и манжеты его куртки — белые, с темно-синей полосой. Сыновья его были одеты так же, только полосы были другие. На девушках были юбки и широкие жакеты из очень тонкой белой шерсти, белые сандалии и тонкие белые чулки, не доходившие до колена. По манжетам у них, как и у братьев, тянулась синяя полоса, и, кроме того, их белые льняные блузы с мягкими отложными воротниками украшали тонкие синие полоски. Их тщательно расчесанные волосы отливали мягким блеском, а свежие, румяные лица светились в бликах пламени свечей.

Скатерти не было, и на гладкой темно-коричневой дубовой столешнице стояли плоские, покрытые геометрическим красно-сине-зеленым узором тарелки. Свечи бросали мягкие отсветы на розовато-белый камень стен.

После ужина мы собрались в гостиной, где неярко горел камин. Дождь барабанил по окнам, но никто не сомневался, что к завтрашнему дню погода разгуляется. Послезавтра мы собирались уезжать от Хисов, и было решено устроить пикник в горах.

Достав из стенного шкафчика инструмент черного дерева с металлическими клапанами и высоким, прозрачным, как у кларнета, звуком, Неттера заиграла. Выражение ее лица стало торжественным. Взгляд, хотя и отрешенный, живо передавал смену музыкальных настроений.

Стремительные звуки наводнили комнату. За прихотливой мелодией было трудно уследить. Я догадывался, что все в доме хорошо ее знают, и Неттера то и дело расцветчивает ее маленькими музыкальными экспромтами. Ритм, хотя и четкий, варьировался — то на два, то на три такта — и оттого казался непривычным и тревожным.

Все встали и разбились на пары. Айрда предложила мне сначала понаблюдать, а затем уже присоединиться. Танцующие образовали две группы, и Неттера, ни на минуту не переставая играть и не теряя дыхания, заняла свое место среди остальных.

Последовал очередной неожиданный мелодический ход, и все рассмеялись. Темп убыстрился, и танец начался. Он напоминал старинную кадрили, правда, несколько более стремительную и плавную, причем танцоры не касались друг друга до самого конца, когда мужская и женская цепочки остановились, взявшись за руки.

В желтоватом пламени свечей то и дело вспыхивали золотые нити в рыжих волосах, ярко блестели зеленые и карие глаза. На лицах девушек застыла сонная, мечтательная улыбка. Дорн выглядел счастливым. Мелодия перепархивала с места на место, словно тоже танцует.

Завершающая нота прозвучала низко и глубоко, как фагот, и неожиданно разрешилась быстрой смешливой руладой, сорвавшейся как бы на взвизг. Все снова рассмеялись. Лицо Неттеры, раздумавшееся вначале, опять побледнело, хотя дышала она по-прежнему ровно.

Танец повторился, и теперь меня тоже пригласили. Моей партнершей была Эттера, и с ее помощью я кое-как протанцевал до конца. К третьему разу я уже двигался более свободно и ловко, но Исла Хис и Айрда устали, а продолжать без них было уже нельзя.

Тем не менее Неттера продолжала играть. Пятеро девушек сняли жакеты и принялись танцевать нечто вроде бурного негритянского танца; юбки их взвивались и мягко опадали, как длинные хвосты японских золотых рыбок. То, что при этом юбки поднимались довольно высоко, смущало танцующих не больше, чем показавшийся из-под юбки кончик туфельки смутил бы их американских сверстниц. Я невольно задумался над тем, как отнеслись бы к

подобным танцам у меня дома.

Потом три старшие сестры в паре с Эком, Аттом и Дорном станцевали более спокойный танец со сложными, замысловатыми фигурами. Неттера, полузакрыв глаза, вся уйдя в музыку, играла медленную красивую мелодию.

В этом танце я не участвовал, но непривычные ритмы, музыкальность Неттеры и трепетность ее исполнения разбудили во мне желание танцевать, и я с трудом мог усидеть на месте; поэтому, когда музыка смолкла и я оказался в окружении разгоряченных лиц и блестящих глаз, в которых читалось схожее с моим настроение, я поинтересовался, знакомы ли присутствующим так хорошо известные у меня на родине полька и вальс. И, получив отрицательный ответ, взялся показать, слегка напевая, «Голубой Дунай». Неттера ухватила ритм и, используя обрывки знакомых мелодий, сымпровизировала вальс на свой лад. Остальные девушки повторяли за мной. И в самом деле, вальсовые па встречались в их национальных танцах. Скоро уже несколько человек кружились по комнате, упражняясь поодиночке.

Я спросил, не хочет ли кто-нибудь составить мне пару. Дорн и Некка, которых, казалось, это не очень заинтересовало, отошли и присели на скамью, но Эттера и Наттана стояли наготове. После некоторого колебания Эттера вызвалась первой, и я встал с ней в позицию, как это учат делать в танцклассах. Поначалу моя партнерша держалась скованно, однако прирожденное чувство ритма не давало ей сбиваться. И все же попытку нельзя было считать успешной. Единственной, с кем мне действительно хотелось танцевать, была Наттана, но когда Эттера сказала, что с нее пока хватит, своей очереди уже ждала Неттера. Она передала инструмент Айрде, которая довольно быстро подобрала вполне правильную мелодию. Предложение Неттеры тронуло меня, и я подумал, что это отчасти была попытка загладить вчерашнее. Положив одну руку ей на талию и едва-едва касаясь ее, другой я осторожно, ласково взял ее руку. Движения Неттеры были легче перышка, и, двигаясь идеально слаженно, девушка прошла со мной с полдюжины шагов.

— Нет! — сказала она вдруг, задыхаясь и выскальзывая из моих рук. — Не могу! Попробуйте с Наттаной, а я подыграю.

Долгожданный момент настал. Я подошел к Наттане. Она не могла отважиться и сидела, чуть опустив голову. Глаза горели зеленым блеском на пунцовом от румянца лице.

— Не хотите ли попробовать? — спросил я. Между тем Неттера уже играла какую-то странно волнующую вальсовую мелодию.

Наттана серьезно кивнула. Как и у Эттеры, движения ее сначала были скованны, но на сей раз я твердо решил показать всем, что такое настоящий вальс. Я крепко обнял Наттану за талию и, отбивая ритм, сказал, с какой ноги начинать. Неожиданно тело ее стало покорным, послушным в моих руках. Первые движения вышли у нас неловко, мы едва не наступали друг другу на ноги, но под конец это был уже настоящий вальс, и я забыл обо всем, чувствуя себя счастливым.

Казалось, время слилось с пространством...

— Пожалуйста, остановимся! — шепнула Наттана, и я неохотно отпустил ее. Неттера продолжала играть. Сейчас я готов был танцевать ночь напролет. Кто-то открыл окно, и в комнату ворвался свежий влажный воздух. И еще зеленее стали глаза девушек, ярче — синева их платьев, огненный блеск их волос.

Айрда взяла инструмент у Неттеры, которая сидела, глядя вверх широко раскрытыми глазами, и сказала, что раз мы завтра собрались на пикник, то надо еще подготовиться...

Все девушки сразу притихли, и вид у них стал сонный, как у детей перед тем, как ложиться спать. Пожелав доброй ночи, они вышли.

Оказавшись в своей комнате, я почувствовал, что спать вовсе не хочется, и был рад, когда

вошел Дорн.

Разговор зашел о завтрашнем пикнике, о нашем дальнейшем путешествии. Потом Дорн спросил, хорошо ли мне у Хисов.

— Пока лучшего и желать нельзя.

— Несмотря на Неттеру?

— Дело прошлое. Наттана за нее извинилась.

— Тебе нравится Наттана?

— Да, нравится.

— Я не слишком хорошо ее знаю. — В голосе Дорна послышались предостерегающие нотки.

— Она держится вполне свободно.

— Ты можешь гордиться. — Дорн рассмеялся.

— Чем же?

— Тем, что уговорил их танцевать вальс.

— И что в этом такого?

— Не волнуйся, все в порядке. Они сами разобрались. Только они не привыкли, что во время танцев нужно обниматься.

Я почувствовал некоторую неловкость.

— Для них это значит — обниматься, — продолжал Дорн. — Конечно, они тоже люди, и кроме того, женщины. Возможно, им это даже понравилось. Думаю, они поняли, что ты не воспринимал танец как объятия.

— Я вел себя неприлично?

Меня бросило в жар.

— Ты был на высоте, какое же тут может быть неприличие? Все в порядке.

— Это намек?

— В некотором роде. Мне кажется, что чувственное в нас развито больше, чем у американцев и европейцев. Наверное, мы проще и ближе к животным и никогда не останавливаемся на полпути.

Слова Дорна заставили меня всерьез задуматься. Теперь я с еще большим удовольствием вспоминал о том, как танцевал с Наттаной, погружался в смутные, полувлюбленные мечты и в то же время поневоле испытывал острое внутреннее беспокойство.

Хисы были знатоками погодных примет. Ослепительные лучи солнца разбудили меня. Вчерашний «конфуз» в такое утро казался просто смешным.

В обращенное на запад окно моей комнаты было видно небо, по которому тянулись пышные облака с белыми верхушками, плоские и темные снизу, а под ними на многие мили расстилались бурые и зеленые поля и пастбища в ярких пятнах солнечного света.

Почти сразу под окном начинался огород, свежо зеленевший после дождя, с блестящими между грядок лужами. Залетевший со двора ветер был теплым и влажно пах землей. Снизу, где, возможно, находилась кухня, донесся негромкий стук и молодые женские голоса.

Перегнувшись через подоконник, я глянул вниз.

— Сходите кто-нибудь, разбудите Ланга, — произнес чей-то голос.

— Пусть еще поспит, — отозвался другой.

Раздался смех.

Когда в мою дверь постучали, я был уже почти одет.

К десяти часам все собрались. У коновязи за дверью ждали семь лошадей. Девушки упаковывали притороченные сзади к седлам мешки. Головы у всех были непокрыты, волосы собраны кверху и перевязаны зелеными и черными лентами.

Всего ехало семеро: четверо старших сестер, Хис Пат, Дорн и я. Больше полумили дорожка шла пастбищами. Доехав до каменных ворот, мы свернули направо, на дорогу, ведущую к перевалу Темплин, от которого был примерно день езды до центральных провинций. Внизу, в долине, Хис, скрытый тенью облаков, напоминал средневековую крепость в миниатюре. Повсюду вокруг лежали бескрайние пастбища, и только изредка виднелись кое-где небольшие рощицы и смутно различимые вдали дома.

Через какое-то время мы повернули на уводившую влево от дороги и вверх тропу. Она была слишком узкой, чтобы ехать в ряд, и мы растянулись в цепочку один за другим. Немного позже, однако, тропа стала шире, и Наттана подъехала ко мне. Мы были высоко над долиной. Слева по голубому простору плыли белые облака.

— Мы едем последними, — сказала Наттана. — Значит, нам ставить коновязь.

После этого несколько раз приходилось спешиваться. В первый раз Наттана подождала, пока я сойду с лошади, и провела ее через ворота, но в следующий раз она меня опередила. Очевидно, здесь было принято соблюдать очередность.

Мы проехали через трое ворот, и, когда снова настала моя очередь, я поднял глаза и взглянул на свою спутницу, ярким живым пятном выделяющуюся на фоне деревьев и влажной зелени поросшего травой склона.

— Сто лет назад отряды демиджи пришли из-за этих гор, — рассказывала Наттана. — Женщины и дети бежали в глухие леса. Услышав сигнал тревоги, они бросали все, уходили сюда и подолгу скрывались здесь. Дедушка помнит, как однажды ему тоже довелось прятаться в лесу; он был тогда совсем маленький. Всадники появились, как раз когда они собирались поджечь дом. Убитых демиджи хоронили на краю огорода. Иногда мы еще натываемся на кости.

— Вы до сих пор их боитесь?

— Нет, после того как лорд Файн победил их.

— Теперь, когда границу охраняют немцы, вы в безопасности.

— Знаю, — сказала Наттана. — Горные негры все еще живут там, и, хотя они не такие дерзкие, как демиджи, в каком-то смысле они еще хуже. Всего пять лет назад их отряд появился здесь. Мы уже собирались бежать, когда узнали, что их остановили на спуске в долину. Однажды, когда я была маленькая, я сама видела, как наши всадники гнались за пятью разбойниками... Эттера говорит, они никогда не подъезжали так близко в то время.

— Немцы — люди добросовестные, — сказал я. — Они умеют хорошо охранять.

— Я о них ничего не знаю.

— Они цивилизованные, Наттана.

— Что это значит? Они — солдаты. И они — там. Конечно, я не мужчина... но это еще одни вооруженные люди по ту сторону гор, а ведь все они всегда хотели напасть на Островитянию. С самого начала нам пришлось бороться против людей с севера.

Теперь я иначе взглянул на отвод войск с перевала Лор. Для обитателей здешних краев это была не политика, а сама жизнь.

Неожиданно мы оказались на горном отроге, спускавшемся в долину Доринг, лежавшую в двух тысячах футов внизу. Облака поднялись, и снежные вершины на севере стали хорошо видны. Из-за этих гор и обрушивались на долину вражеские отряды.

Наш путь подошел к концу. Остальные участники пикника уже спешили. Стреноженных лошадей оставили пастись на лугу, а мы двинулись дальше, неся на себе седельные сумы.

Теперь рядом со мной шла Некка. Выше меня ростом, длинноногая, она двигалась легко и мягко, как пантера.

Тропинка, по которой мы шли, едва виднелась в траве, круто поднимаясь вверх, вела сквозь влажный тенистый лес над залитыми солнцем карнизами скал. Взгляд скользил по сторонам,

привлеченный то всполохом птичьих крыльев, то жуком, ползущим по стволу, то молодой пробивающейся порослью, то блестящими крапинами смолы на камне. Идти с Неккой было легко. Наше движение было пронизано ритмом, как танец: я раздвигал кусты, пропуская ее вперед; она делала шаг в сторону, и я следовал за ней; я протягивал ей руку, и она, пружинисто оттолкнувшись, поднималась на выступ, и снова я следовал за ней — слитно и согласно.

Окруженный застывшим сиянием и тишиной леса, я словно перенесся в иное измерение. Он был прекрасен, этот неведомый мир, и Некка была его лучшим украшением. Говорить было не о чем, да и не было нужды в словах. Потоки света отвесно обрушивались на нас; тела разогрелись от движения. Приятно было чувствовать выступившую на лбу испарину и легкую усталость в мышцах ног, но неизрасходованные силы сами двигали меня вперед и вверх... Луг, где мы оставили лошадей, казалось, уже где-то далеко-далеко внизу, и время свелось к воспоминанию о разнообразии леса, скалах, солнечном свете и податливых ветвях кустарника.

— Подниматься в горы — это как сон, — сказал я.

— А может быть, вы просто открываете в себе другого человека? — мгновенно откликнулась Некка. — Ведь когда вы спите, в вас просыпается другой человек.

— Да, да, именно.

— У каждого много разных «я», — мягко сказала Некка.

Я хотел было сказать, что то «я», которое стоит передо мной, кажется мне прекрасным, но мне не хватило смелости.

Мы подошли к ложбине, куда все остальные уже успели спуститься по уступистому склону, поросшему кружевом мха и кривыми, цепляющимися за камень деревьями. Дно ложбины было круглое, и полноводный ручей стекал вниз по бурым камням, образуя песчаные запруды. Наверху высились величественные сосны, казалось, достававшие до неба. Солнечный свет падал в ложбину, пронизывая синеватые тени снопами бледно светящихся лучей.

Рассевшись на траве, мы наскоро перекусили. Снова все были вместе; почти никто не разговаривал. Взгляды блуждали по освещенным вершинам крутых скалистых утесов на юго-востоке.

— Кто хочет прогуляться? — спросила Эттера, поворачиваясь ко мне.

— Я хочу, — откликнулся я. Больше нас никто не поддержал.

Мы шли не спеша, но и не останавливаясь, вверх по течению ручья, русло которого пролегалo посередине склона. Склон был очень крутой, но весь в больших валунах, оплетенных корнями, так что путь всегда можно было отыскать, хотя и не без помощи друг друга. Примерно через час мы, задыхаясь, добрались наконец вершины гряды, в пятистах-шестистах футах над поляной, которая отсюда, сверху, казалась темно-зеленым пятном в обрамлении древесных крон.

Обратный путь занял гораздо меньше времени, хотя при подъеме склон казался не таких крутым, как при спуске. Когда мы проходили мимо глубокого озера, Эттера остановилась и заявила, что намерена искупаться. Я спустился пониже. Раздевшись донага среди нагромождения огромных теплых валунов, я погрузился в ледяную прозрачную воду и, наконец умиротворенный, весь в блестящих каплях, выбрался на берег, тем не менее не отважившись вдоволь погреться на солнышке из-за опасения, что Эттера может меня увидеть.

Чувство расслабленности и покоя окончательно овладело мной, когда мы вернулись на поляну. Прислонившись к стволу дерева, я следил, как плавно кольшутся ветви сосен, тонул взглядом в глубокой и чистой синеве небосвода, куда устремлялись вершины скал, — и все это отражалось во мне, не претворяясь в слова. Неподалеку от меня неутомимая Эттера, которой помогали Некка и Пат, заканчивала приготовления к ужину. Мою помощь вежливо отклонили.

Дорн отправился прогуляться вниз по течению ручья. Наттана и Неттера взобрались на склон, противоположный тому, по которому мы спускались в ложбину, и скрылись из виду, только их голоса время от времени доносились до нас; наконец послышались и звуки дудочки, похожие на птичье пенье, — высокие пронзительные трели, то резко умолкающие, то вновь, так же неожиданно, нарушающие тишину.

«Вот, — подумалось мне. — Вот он, Золотой век». Там, у меня дома, никто из собравшихся на пикник никогда не обращал внимания на красоту окружающего, все были сосредоточены на себе, на своих делах либо хохотали и болтали без умолку, и уж конечно больше всего в таких случаях ценились «компанейские ребята», заводилы и спорщики...

Но птичка-дудочка была такой человеческой. Я не мог устоять перед соблазном взглянуть на сестер, и, когда уже почти поднялся до того места, где они сидели, мелодия резко оборвалась. Притихшие Неттера и Наттана молча глядели на меня. Как птицы на ветке, они сидели рядышком на упавшем стволе, и длинная зеленеющая ветвь изогнулась над их рыжекудрыми головами. Я подошел, и сестры подвинулись, освободив мне место посередине, но, как только я сел, Неттера встала.

— Я, пожалуй, пойду помогу, — сказала она и побежала вниз.

Наттана подавила смешок, а когда я взглянул на нее, вдруг отвела глаза.

Смущенный тем, что помешал Неттере играть, я не мог вымолвить ни слова. Наттана сидела, зажав руки между колен, и ее повернутое в профиль лицо светилось мягким алебастровым, словно изнутри идущим светом на фоне окутанного синеватой дымкой леса.

Дудочка Неттеры запела снова — внизу. Наттана вздрогнула и неодобрительно то ли вздохнула, то ли фыркнула.

— Перестань, Неттера! — приказала она, и трель резко оборвалась.

Потом, обратившись ко мне, сухо спросила:

— Как прогулялись?

— Прекрасно. А на обратном пути еще и искупались — просто замечательно.

— А Неттера тоже купалась?

— Да, в верхнем пруду.

— Я думала пойти.

— Мне хотелось, чтобы вы пошли.

— И сейчас думаю. — Она коротко рассмеялась. — Лучше я пойду.

— Почему, Наттана?

Она едва заметно передернула плечами и сквозь зубы ответила:

— Да так... Ходьба — это полезно!

Несколько мгновений мы молчали.

Наттана пристально глядела на меня. Казалось, воздух дрожит. Я почувствовал себя на грани чего-то очень болезненного, то ли очень сладостного, и мне захотелось найти защиту в словах.

— Позавчера, — сказала Наттана, — казалось, что два дня — это так много. Как быстро они пролетели!

— Да, это правда.

— И все же вы успели хотя бы немного узнать нас, а мы — вас.

— Я рад этому. Теперь я чувствую себя в Островитянии почти как дома.

— Почему?

— Потому что я встретил всех вас.

— Мы похожи на тех, кого вы знали дома?

— Да, Наттана, очень. Разницы почти нет.

— Может быть, вы увидите, что разница есть, когда больше узнаете островитян.

— А я похож на мужчин, которых вы знаете?

— Да, похожи. — Голос ее звучал глухо и дрожал.

— В чем?

— Вы вправду хотите, чтобы я сказала?

— Скажите, а то я начинаю бояться, что это что-то нехорошее.

— Ах нет!

— Так вы скажете?

— Просто дело в том, что вы ощущаете вещи скорее розовыми, чем красными.

Я в удивлении откинул голову. Наттана поглядела на меня встревоженно, широко раскрытыми глазами.

— И не только вы так, — поспешно сказала она. — Наверное, это все иностранцы. Они живут так, как будто...

— Почему вы так решили?

— Мне кажется.

— Вы чего-то не договариваете. Скажите, прошу вас.

— Простите, Ланг! Я сделала вам больно.

— Вовсе нет! Но вы заставили меня задуматься.

Снизу донесся призывный голос дудочки.

— У них все готово, — сказала Наттана, вставая.

— Пойдите, назовите хотя бы одну причину! — воскликнул я, протягивая руку, чтобы удержать девушку, но в последний момент подавив это желание.

Наттана обернулась и взглянула мне в лицо.

— Да, я сделала вам больно, — произнесла она.

— Но назовите же хотя бы одну причину!

— Вчера вечером, когда вы танцевали вальс... Наши мужчины на вашем месте чувствовали бы себя совсем иначе.

Она отвернулась.

— Наттана! — воскликнул я. — У нас все к этому привыкли. Теперь я понял, что здесь так не принято. Дорн сказал...

Ее лицо вспыхнуло.

— Теперь я очень жалею, что уговорил вас танцевать со мной, — продолжал я.

— Мне было приятно, — сказала Наттана. — Но мне кажется, это странная привычка, когда мужчина и женщина обнимаются и ничего не чувствуют.

С этими словами она побежала вниз. Я бросился следом.

Мы ужинали, сидя кружком на траве под высокими деревьями. Полосы солнечного света падали почти отвесно; воздух посвежел, цвета стали ярче. Тонкая струйка дыма, извиваясь, поднялась над костром, от которого веяло сладковатым смолистым духом.

На ужин был салат, овощи, индейка, тонко нарезанный поджаренный хлеб с легким привкусом ореха, мясной рулет, легкое прозрачное красное вино, печенье с изюмом, виноград и ранние яблоки.

И снова все это, как никогда, напомнило мне Золотой век, хотя слова Наттаны не давали мне права считать себя частью этой картины. Словно угадав мои мысли, Эттера завела речь о том, как ей жаль, что мы уезжаем.

— Всегда так, — сказала она. — Не успели мы хорошенько узнать Ланга, и вот он нас покидает.

— Надеюсь, он еще вернется, — сказала Некка.

— И я надеюсь! — воскликнула Неттера, а Пат взглянул на меня с дружелюбной улыбкой. Наттана промолчала.

— Я с радостью приеду снова, если смогу, — сказал я.

— Конечно сможете! А почему нет? — рассудительно произнесла Эттера.

— Вполне возможно, тебе снова придется проезжать здесь, — предположил Дорн.

— Мы надеемся, что вы специально навестите нас, — ласково сказала Некка, — а не станете дожидаться, когда это будет по пути.

— Да, вы должны приехать! — сказала Неттера, склонив голову набок и внимательно на меня глядя. — Приехать и побыть подольше.

На душе у меня стало легче, хотя я и не верил, что вернусь.

Ужинали не торопясь. Беседа прерывалась долгими паузами. О политике говорили мало, да я и не следил за разговором, думая о том, почему же все-таки мои чувства скорее розовые, чем красные, что это значит... И так ли это?

Когда ужин закончился, все остались на своих местах, молча вслушиваясь в зачарованную тишину.

Наттана встала и подошла ко мне.

— Не хотите пройтись? — спросила она, отводя взгляд.

— Только помни, что нам нужно выехать до темноты, — сказала Эттера.

Мы стали спускаться по ложбине, между высоких деревьев, в лучах волшебного света. Сзади раздались звуки дудочки, похожие на нежный голос флейты, и Наттана глубоко вздохнула.

Я не знал, что сказать. Вечер шел на смену дню, и кругом становилось все красивее. Глубокие тени легли под деревьями, а вода в заводях ручья была настолько прозрачна, что скорее просто угадывалась, чистая, прохладная. Мы перешли ручей, ступая по плоским камням, и стали подниматься по склону.

Наттана нагнулась над синим цветком, похожим на горечавку, и коснулась его лепестков тонкими белыми пальцами.

— Милый цветок, правда? — спросила она, поднимая на меня глаза. В этот момент она была так красива, что казалась не живой девушкой, а прекрасной куколкой.

— Да, — ответил я, жалея, что у меня не хватает смелости сказать Наттане, что прекрасен не цветок, а она сама.

Мы пошли дальше.

— Наш дом — ваш дом, — сказала Наттана низким голосом. — Вы меня понимаете?

— Да, Наттана. Я приеду опять.

— Мне хотелось сказать вам это наедине, чтобы никто не слышал.

— Спасибо, Наттана.

Мы медленно поднимались среди обступивших нас высоких деревьев.

— Я отведу вас в одно место, которое знаю только я, — сказала Наттана.

— Я очень хочу его увидеть.

— Жаль, что вы уезжаете завтра.

— Мне не хочется уезжать.

— Как мне называть вас? Дорн зовет вас Джоном, а не Лангом.

— Я бы хотел, чтобы вы тоже называли меня Джоном.

— А что это? Какое-то особое имя?

— Просто имя. Мое имя.

— Значит, у вас два имени?

— Да, Наттана. Первым именем тебя называют родственники и те, с кем ты хорошо знаком.

А остальные люди называют вторым.

— Значит, у вас в стране я могла бы называть вас Джон?

— Полагаю, мы достаточно хорошо знакомы.

Внизу, в ложбине, уже начинало понемногу темнеть, тянуло свежестью, но мы по-прежнему шли не спеша. Наттана впереди, я — сзади. Трава здесь была высокая, и я почувствовал, что мои ботинки начинают промокать.

— Вы замочите ноги, — сказал я.

— Конечно, в такой траве, — откликнулась Наттана. — Но ничего, высохнут.

Шагая, она высоко поднимала колени, обтянутые юбкой, и очень прямо держала спину.

Оглянувшись через плечо, она улыбнулась, и в янтарно-желтом свете лицо ее просияло.

Дойдя до нижнего конца луга, мы увидели скалистый выступ, ведущий вниз и исчезающий среди деревьев. Пройдя сквозь полосу солнечного света, Наттана вошла в тень, и казалось, что свет вошел вместе с нею.

Отвесная каменная стена преградила нам путь. Вверху, в десяти футах от земли, был выступ, о который опирался ствол поваленного дерева со сломанными, торчащими в разные стороны ветвями.

Наттана мгновенно начала карабкаться вверх по стволу, иногда даже вставая на четвереньки. Я последовал за ее мелькающей, развевающейся юбкой, и скоро мы оказались на выступе. Он представлял собой карниз шириной не больше пяти, а длиной — десяти футов. Кряжистая сосна росла на краю, впившись в камень мощными корнями, один из которых был наполовину скрыт мягким травяным ковром. Наттана села на корень, откинулась назад.

— Здесь хватит места на двоих, — сказала она.

Я присел рядом.

Тень от дерева падала на нас; одна из ветвей росла так низко, что скрывала вершины северных гор.

— Посмотрите, — сказала Наттана, — посмотрите, как качается ветка.

Я повиновался. Тонкие веточки, опушенные длинными иглами, медленно скользя, чертили в небе непонятный узор, и блистающие снежной белизной горы, казалось, то вздымаются, то опадают в такт этому движению. Ветка была близко; горы парили в неизмеримой дали.

Шло время. Мы сидели молча. Скоро мы пойдем обратно, и нужно будет поблагодарить Наттану, показавшую мне всю эту красоту. Вот ветка плавно качнулась, замерла и, словно ожив, качнулась вновь. Ветерок ласково коснулся моей щеки. Было так тихо, что я мог слышать дыхание Наттаны. Неужели оно всегда было таким прерывистым и неровным?

— Надеюсь, вы не пожалеете, что заехали в Хис?

Голос ее звучал глухо и очень близко, и я догадался, что она говорит, повернувшись ко мне.

— Я был очень счастлив.

— Я тоже. И все же мне жаль.

— Чего, Наттана?

— Что я сказала вам насчет ваших чувств.

— Не стоит переживать из-за этого.

— Это было жестоко.

— Не говорите так, Наттана. Может быть, вы и правы.

— Я не хочу быть жестокой к вам.

Голос ее звучал глухо и дрожал. Я повернулся к ней. Она глядела вверх, руки были сложены за головой, и пряди волос выбились вперед, пушились у висков, у щек.

Наши глаза встретились, и ее взгляд раскрылся навстречу моему.

— И еще я жалею, — сказала она, — что Неттера так обошлась с вами.

— Ничего страшного. Потом она постаралась исправиться.

Зрачки Наттаны расширились, как от боли.

— Она поступила жестоко. Ей следовало загладить свою вину.

Взгляд ее смягчился. Грудь вздымалась. Голова чуть запрокинулась.

— Мало ли что ей не нравится, не все же такие...

Я скорее догадался, чем понял, что она имеет в виду, и сердце мое бешено забилося.

— Я не то что Неттера, — продолжала Наттана, как в забытьи, — с вами я другая...

Веки ее медленно опустились. Лицо с мягкими полуоткрытыми губами и горящими щеками приблизилось...

Что-то нарушилось, сместилось...

— Хиса Наттана, — услышал я как бы со стороны свой голос. — Вина заглажена. Поверь мне!

Глаза девушки широко раскрылись.

— Я рада, что ты так думаешь, Джонланг. Я рада, что ты простил нас.

Она резко села.

— Но при чем же здесь ты? Мы говорили о Неттере.

— У нас тоже своя гордость. И я гордячка не меньше, чем ты.

Она откинула волосы назад. Взгляд ее избегал меня.

— Пора возвращаться.

Обратно мы шли молча, и я чувствовал себя почти жалким, но перед тем, как выйти на поляну, Наттана остановилась и быстро прошептала:

— Ты приедешь снова, правда? Я хочу, чтобы ты был моим другом.

— Конечно, Наттана, конечно, я еще приеду. А ты будешь моим другом?

— Если захочешь.

— Хочу. Мне было так одиноко здесь... И только сейчас, там, у дерева, я...

— Пожалуйста, не надо! — воскликнула она и быстро ушла вперед.

Утро следующего дня выдалось холодным и пасмурным. Тяжелые низкие облака застилали долину в востока. Мой друг разбудил меня, и, не до конца стряхнув холодный сон, с путаницей мыслей в голове, я поднялся и неловкими, холодными руками стал натягивать одежду.

Потом мы с Дорном позавтракали. Кроме нас, в сумрачной столовой была только прислуживавшая нам Некка. Как и мы, она была молчалива; сонное выражение еще не сошло с круглого, гладкого лица.

Солнце просвечивало сквозь верхушки облачных нагромождений, но долина лежала по-прежнему безжизненная и темная. Во дворе перед домом все было неподвижно и тихо. Наши буланые лошадки, казавшиеся особенно маленькими по сравнению с лошадьми Хисов, хорошо отдохнули за два дня и приветствовали нас тихим радостным ржанием.

Мы двинулись вниз по долине.

К полудню мы выехали к реке и перед тем, как перекусить, выкупались. Обсохнув на солнце, мы не спеша поели, глядя на скользящих над водой ласточек, на переходящие реку вброд стада, слушая, как шуршат камыши.

Долина шла под уклон и расширялась; горы, отдаляясь, виднелись позади смутными горами, а река, по берегу которой мы ехали, стала шире и глубже, вполне пригодной для судоходства. Уже в сумерках мы подъехали в Мэнсону, неприметному городку, даже не обнесенному стеной. Мы остановились в тихой, увитой диким виноградом гостинице и поужинали в саду. Янтарный отсвет заката еще недолго лежал на всем вокруг; затем быстро стемнело.

— У меня к тебе небольшой разговор. Не возражаешь? — сказал Дорн. Лица его уже не было видно в темноте. — Кажется, ты понравился Хисам. Я боялся, что они отнесутся к тебе, как к чужаку, но вышло наоборот...

Он помедлил, словно подбирая слова.

— Это может повториться и с другими женщинами... Словом, извини, но советую не увлекаться островитянками. И постарайся, чтобы и они не увлекались тобой.

Я хотел было тут же возразить, но Дорн не дал мне этого сделать.

— И вот одна из причин, далеко не последняя: островитянка никогда не будет счастлива с тобой в Америке, как бы ты ее ни любил. Вряд ли и ты сможешь остаться здесь.

Дорн снова умолк.

— Как тебе понравилась Некка? — спросил он вдруг, словно желая сменить тему, но я даже не успел ответить. — Я знаю ее давно, — продолжал Дорн. — Еще до поездки в Америку я хотел жениться на ней. Но пока я был там, мои родители и двоюродный дедушка, сын лорда Дорна, утонули. Мой отец вслед за двоюродным дедушкой должен был унаследовать титул лорда провинции Дорн и наши земли, а после него все это должно было перейти ко мне; но теперь, по праву наследования, и земли, и титул перейдут к внуку лорда Дорна, моему кузену. Если это произойдет, мне придется уступить ему право на землю, а за мной останется лишь право жить на ней. Некка знает, как изменилось мое положение. Мы говорили с ней... Суть дела ясна, — сказал Дорн, невесело улыбнувшись. — Некка не виновата. И я ее не виню. У нее достаточно поклонников. Король не раз приезжал повидаться с нею. Да, он человек видный. А Хисы горды, самолюбивы. Некка...

Голос его пресекся.

— Он опасный человек... с таким женщины должны быть осторожны. В каждый его приезд

ее просто не узнать. И вообще, после смерти моего отца она изменилась. Я мечтал жениться на ней с восемнадцати лет. Тогда ни одна женщина не могла сравниться для меня с нею. Но когда я вернулся из Америки, на меня обрушилось столько дел, и будущее оказалось неясным... Нет, я ни в чем ее не виню! Она не сделала ничего дурного.

Речи Дорна заставили меня о многом задуматься. Значит, он считал, что островитянка не может быть счастлива в Америке. Одной любви, похоже, было недостаточно, и я заподозрил, что непреклонность Некки свойственна не ей одной.

На следующее утро вместо того, чтобы следовать к Баннару — столице Верхнего Доринга, — мы пересекли реку и двинулись в сторону гор; Дорны владели пастбищами на склонах главного хребта, и мой друг хотел посмотреть, как обстоят здесь дела.

Все утро мы ехали вдоль подножия гор и около трех часов, добравшись до реки Хейл, свернули к югу по дороге, которая вела через перевал в центральные провинции.

Вторую половину дня дорога шла через дубовый лес, неприметно поднимаясь в гору. И только к ночи мы достигли фермы. Месяц висел в небе, и бежавшая по каменистому руслу река сверкала и переливалась. Когда ферма была уже близко, наши лошади вдруг понеслись вперед. Дорн громко крикнул что-то, чего я не разобрал. С трудом держался я в седле Фэка, возбужденно спешившего навстречу позабытому дому — ведь он вырос в здешних горах. Рысь сменилась галопом. Лошади во весь опор мчали нас сквозь лесную тьму. Через равные промежутки времени раздавалось негромкое, словно передаваемое по цепочке ржанье. Лунный свет лился с высоты; черные горы вздымали свои вершины к звездам. Но вот пахнущие душистыми травами луга расстелились перед нами широкой серебристой гладью, и за невысоким холмом возникли темные очертания дома. Перед ним стоял еще один; его окна светились.

— Дорн! Ланг! — раздался крик.

— Придержи его, не пускай сразу в конюшню!

Я натянул поводья и придержал Фэка.

Скоро, щуря уже привыкшие к темноте глаза, мы сидели перед ярким огнем очага в доме Донала, старшего из двоих *денерип*, которые вместе с семьями управлялись на ферме.

Назавтра, выехав пораньше, мы направились обратно к дороге через луга, мимо скотных загонов и садов с фруктовыми деревьями. Утро выдалось тихое, ясное.

Я думал о предостережении Дорна, о его словах насчет того, что я вряд ли смогу остаться в Островитянии, и мне казалось, будто и постройки, и самые холмы провожают меня, чужака, холодным взглядом.

Как сложится моя жизнь, когда закончится срок консульских полномочий? Мне представлялась Америка: предместья Бостона, лето и душное, безжизненное марево над перенаселенными кварталами; мужчины в рубашках с коротким рукавом, поливающие газоны; скрежет и звон трамваев; скомканные воскресные газеты на мостовой... Когда я вспоминал родину, то теперь уже Дорн, с его загорелой шеей, неспешно покачивающийся впереди на своей крепкой, помахивающей хвостом лошадке, казался мне чужим...

Мы снова подъехали к развилке, где накануне свернули влево, и снова оказались на дороге, ведущей к городу Дорингу вдоль горных отрогов. Часа примерно в четыре мы углубились в горы и еще через час добрались до фермы Ноттерсов, друзей Дорнов.

Вечер был тихий и ясный; на ферме все тоже дышало покоем. Сегодня был последний день нашего пути, странствие по новым местам заканчивалось; завтра мы уже будем на острове, где стоит дом Дорна.

Мы поднялись рано и снова пустились вниз той же дорогой. Скоро на западе открылся

новый вид; за пестрой темно-зеленой равниной, у окутанного дымкой горизонта, показались белесые пятна воды и острова дельты. Указав на небольшую темную возвышенность, отделенную полосой воды, Дорн сказал, что это Доринг. Усадьба располагалась пятнадцатью милями ниже, там, где река разделялась на многочисленные рукава.

Миля за милей ехали мы по плоской равнине. Повсюду, то здесь, то там, виднелись фермы, каменные изгороди, сады, деревья которых сгибались под тяжестью плодов, скошенные луга, рощи, окружающие дома фермеров. Вскоре после полудня мы пересекли реку Доан и сделали небольшой привал, затем углубились в тянувшийся на шесть миль лес, где росли могучие старые дубы и буки, и наконец выехали на залитые бледным солнцем берега реки Доринг. В миле от нас, подымаясь прямо из зеленой ряби воды, открылся город. Это и был Доринг.

Думаю, любой согласился бы, что место это — единственное в своем роде. Неожиданно возникшее видение не могло не поражать своей почти театральной эффектностью.

Город казался кораблем в милю длиной, плывущим вверх по течению. Островок, отвесно вздымавшийся из воды на сто футов, был как бы форштевнем этого удивительного судна. Отвесная скала играла роль волнореза. Над нею протянулась розовая гранитная стена, а еще выше — неправильными концентрическими ярусами тянулись массивные, почти полностью скрытые деревьями дома. Над ними возвышалось прямоугольное, тяжелое серое строение с крутой двускатной кровлей, крытой синеватым шифером, и центральной башней. С одной стороны островка была небольшая бухта; от нее, крутыми террасами, сад поднимался к самым стенам большого Дворца.

Вниз по течению тянулись зубчатые стены с квадратными башнями, за которыми виднелись все те же неправильные концентрические ярусы домов, сады, деревья. Все в целом, освещенное бледными лучами солнца, являло такую красочную картину, которая не могла не вызвать радостного чувства. Темная от ряби вода служила темно-зеленым фоном, и еще ярче казались на нем стены домов самых разных оттенков: от бледно-розового до оранжевого, от светло-серого до синего; кровли, крытые черепицей и шифером, были красные и голубые, а над ними, под ними и вокруг них листва пестрела всеми оттенками зеленого: от бледно-изумрудного до влажного темного цвета морских водорослей.

Мы задержались в городе ненадолго, только затем, чтобы выяснить, что двоюродный дед Дорна все еще в усадьбе, а затем направились к городу Эрну, двигаясь в том же направлении, откуда приехали, и пересекли Главную дорогу, спускавшуюся от перевала Доан к юго-востоку.

Хорошенько пришпорив лошадей, мы скоро оставили леса позади. По левую руку тянулись фермы; справа река иногда подступала совсем близко; ветер рябил воду. Иногда появлялись заболоченные участки, в более низких местах поросшие камышом, а там, где местность повышалась, — покрытые скошенным сеном с белым налетом соли. Оттуда дул сильный западный ветер, свежий и влажный, пахнувший солью и болотными травами. Бескрайние болота расстилались до самого горизонта. От противоположного берега ответвлялось множество протоков; змеясь, они терялись в равнинах. Это была продутая ветром, пропитанная морской солью земля, в это время года водоносная за счет морской воды извилистых каналов и воды дождевой.

Милю за милей скакали мы, переходя с рыси на галоп; я был забрызган грязью с ног до головы. Наши лошади, крепкие и привыкшие к нагрузкам, старались на совесть, не сбавляя шага и не выказывая признаков усталости. Для них путешествие близилось к концу.

Городок Эрн притулился в месте пересечения двух рек: одной, вдоль которой мы ехали, и другой, полноводной и носящей то же название реки, сбегавшей с гор. Застроенный приземистыми домами и обнесенный невысокой стеной, насквозь продуваемый ветрами, он был центром снабжения для самой плотно населенной части болотистых земель Доринга. Мы

проехали вдоль причалов, где стояло великое множество парусных шлюпок, некоторые из которых были приспособлены к плаванию по реке и по морю, однако большинство было меньшего размера, широкие, с плоскими днищами, перекрытые палубой от носа до кормы, с люками вдоль борта и единственной мачтой.

Дорна здесь хорошо знали, и повсюду нас встречали улыбками. Лошадей увели; сумки погрузили на одну из небольших шлюпок, и сильные руки оттолкнули нас от пристани.

Оснастка суденышка оказалась для меня совершенно необычной, но для начинающего я неплохо управлялся с румпелем, в то время как Дорн ставил наш единственный треугольный парус. Резкий ветер налетел со стороны пристани. Парус мгновенно раздулся, снасти напряглись, шлюпка накренилась, и пеннистая струя вырвалась из-под кормового подзора. Дорн встал к рулю. Ответственный и напряженный момент был позади.

Душа трепетала от воспоминаний, впрочем лишенных конкретности. Ветер свистел, нос шлюпки со всплеском зарывался в воду, воздух пах солью. Необычным было и то, что покрытая желтым лаком мачта не указывала в небо своим заостренным концом. Развилка в том месте, где должны были бы крепиться ванты, никак не могла заменить привычного ориентира, а в изогнутом, с острыми кромками брусом, подвешенном к развилке, было нечто от дамоклова меча. Бурая ткань паруса казалась мягче знакомой мне парусины, и некрашенная широкая палуба с комингсами футовой высоты была необычных размеров. Но линь был такой же, так же слегка пахло смолой, блоки и крепительные планки ничем не отличались от известных мне, и, подгоняемое свежим ветром, судно наше точно так же стремительно скользило вперед, переваливаясь с борта на борт и зарываясь носом в волны.

Тем же галсом мы вышли из Эрна на простор дельты. Дорн ослабил задний шкот, и мы отвернули от ветра. Будь мы в Америке, мы взяли бы рифы. Белые буруны вскипали на темно-зеленых волнах, и легкие брызги веером летели через борт.

К западу, там, откуда дул ветер, примерно в четверти мили, начинались плоские просторы болот, простираясь вдаль, в таинственно скрытые густеющим белым туманом пространства. Где-то там была усадьба Дорна.

Держа курс на север, мы плыли по дельте еще около мили. Совершенно неожиданно нам открылся текущий к югу или, скорее, к юго-западу бурный, широкий проток, прямой, по крайней мере, на протяжении мили. Поймав ветер, большой парус издал хлопок, похожий на ружейный выстрел. Мы туго натянули главный шкот — втрое сплетенный канат, идущий от задней шкаторины до блоков и планок на корме. Левый галс был отпущен, правый — оттянут наискось и немного назад. Скорость наша была не так велика, но мы шли почти прямо по ветру и отклонялись от курса гораздо меньше, чем можно было ожидать от нашей широкой плоскодонки.

Дорн стоял у руля, держась за планки; я сидел у борта с подветренной стороны. Мы говорили о шлюпке, сравнивая ее с американскими. По форме корпуса и оснастке, сказал Дорн, это самое распространенное судно на болотах; с ней легко управится любой, и грузы на ней можно перевозить немалые.

Меняющийся галс, свежий ветер, морская зыбь — как все это было знакомо и в то же время как ново и странно! Позади длинные складчатые полосы тумана почти скрыли материк. Мы плыли, окруженные кольцом тумана примерно с милей в диаметре, которое двигалось вместе с нами. Дымка неба, дымка тумана, темная, сине-зеленая поверхность болот, испещренная белыми мазками зелень моря, глинистая каемка берега — все остальное было скрыто от глаз. Ветер пел в снастях, и по временам к нему примешивался низкий, глухой звук — Дорн заводил свою песню. Лицо мое было мокро от брызг.

Спустились сумерки, и туман подступил ближе, кольцо его сжалось. Ветер заметно слабел,

и брызги больше не перелетали через борт. Волны уже не так сильно бились о корму; лодка скользила почти бесшумно и плавно.

— Подплываем, — сказал Дорн.

Повсюду виднелись уходящие в болота протоки, но вот слева показался еще один — прямой, явно проложенный человеком. У входа в него стояла белая треугольная вежа, и мы круто взяли правый галс. Впереди туман скрывал землю; справа виднелись тесно растущие пихты и подножие невысокого холма.

— Усадьба Ронанов, наших соседей. А наша — вон там! — Дорн махнул рукой вперед по ходу шлюпки.

Канал упирался в узкую полосу болотистого берега. Смутно проступили очертания береговой насыпи, ветряной мельницы, похожей на голландскую, и ряд подстриженных ив. Это был дом Дорна, место, к которому я так долго шел и которое было наконец так близко.

Вправо и влево косо отходили каналы; снова задул свежий ветер. Мы проплыли мимо отлогой отмели почти вплотную; я вполне мог дотянуться рукой до топкого берега, а затем легли на другой галс и свернули в канал, извилисто уходивший в туман. Он был немногим больше ста ярдов шириной, и нам приходилось петлять то вправо, то влево, ловя ветер и приближаясь то к ронановскому берегу, с его вечнозеленой рощей, то к насыпи вдоль болотистого берега Дорнов.

Мельница осталась позади; ивы углом подступили почти к самой воде. Наконец берег стал чуть выше, по самому краю его протянулась серая каменная стена около шести футов в высоту, с круглыми башнями, каждая из которых была чуть выше предыдущей. Стена все ближе и ближе подступала к берегу и вдруг оборвалась, завершившись каменным пирсом, сужавшим канал едва ли не вполовину.

Как волнующе всегда причаливать к новому берегу! Шлюпка сделала плавный разворот, пройдя впритирку к насыпи противоположного берега. Парус захлопал, и, обогнув пирс, наше суденышко скользнуло в прямоугольную гавань. Медленно и осторожно мы приблизились к стене пирса и встали между двумя другими шлюпками. Вскарabкавшись на стену, возвышающуюся над нами на три фута, я поспешил к швартовочному столбу. Кругом не было ни души. Дорн бросил мне концевой канат. Мы пришвартовались.

Я вернулся на борт, чтобы помочь убрать паруса. Само действие было привычным, чего не скажешь о мягкой на ощупь, как бы шерстяной ткани паруса. Дорн вынес наши сумки; мгновением позже мы оба стояли на верху стены.

Никто не вышел нас встречать, никто не спешил помочь нам. Пакгауз с запертыми воротами маячил впереди, и ветер завывал под скатами крыши. Туман белесо светился в лучах заходящего солнца, скрадывая тени. Перед нами был дом древнейшего из знатных родов Островитянии. Ввалив нашу поклажу на спину, мы пошли к зданию.

Около четверти мили мы шли по занесенной туманом дороге, пока она резко не свернула вправо, и я увидел обсаженную буками, прямую, как стрела, аллею. Сквозь сумерки и туман в дальнем ее конце виднелся каменный фасад.

Ветер шелестел листвой; ветви раскачивались над нашими головами. Солнце опустилось ниже верхней границы тумана; стало быстро темнеть. Когда мы достигли конца буковой аллеи, дом стоял уже совсем темный.

Здание было низкое, несимметричное. Средняя часть была двухэтажной, с крутой, крытой шифером кровлей, левое крыло напоминало центральную часть, только пониже, с маленькими окнами и обветшавшей от непогоды облицовкой из тесаного камня. На углу с этой стороны возвышалась трехэтажная, похожая на перечницу башенка. По правую руку уходили в сторону от дороги стоящие одно за другим приземистые строения.

Мы вошли в сумрачную, пустынную залу, стены и потолок которой были обшиты темным деревом. В глубине напротив двери тлел очаг. Дом был пустынен и тих. Две свечи горели над очагом.

— Подожди, я сейчас, — сказал Дорн и ушел наверх. Тихий и безлюдный, дом казался призраком, и свет не проникал в низкие проемы серых окон. Я подошел к очагу, не в силах оторваться от красного мигающего язычка пламени на одном из поленьев. Темный камень был весь покрыт резьбой.

И снова мертвенный покой воздвиг вокруг меня незримые стены! Я ощутимо представил себе раскинувшиеся вокруг болота, ветер и тьму со всех сторон, мне казалось, я слышу беспокойный рокот моря, его слабый, солоновато-влажный запах.

На лестнице послышались быстрые шаги, и, выхваченное из темноты светом свечи, показалось женское лицо с тонкими, но волевыми чертами. Большие светло-серые глаза взглянули на меня строго, но ласково. Мой друг шел сзади.

— Меня зовут Дорна, — сказала женщина. — Комната Джона Ланга готова для него.

Она протянула мне руку, и я пожал ее.

— Спасибо, — сказал я, не найдясь, что еще ответить.

Женщина слегка улыбнулась.

— Не хотите ли переодеться? Пойдемте, мы покажем вам вашу комнату.

Я последовал за ней и Дорном наверх. Мы шли по коридорам, освещенным редкими свечами, укрепленными на стенах, голых, без каких-либо украшений, и только кое-где увешанных грубыми коврами, скрадывавшими холод камня. Наконец мы подошли к широкому дверному проему. Дорна, сняв со стены свечу, отступила в сторону. Комната была большая, с низким потолком; блестело отполированное временем дерево балок. На противоположной стене располагались два глубоко врезанных в стену окна с голубовато-серыми стеклами и темно-красными занавесями. Справа от двери располагался камин с покрытым резьбой каменным наличником, а по левую руку стояла кровать, застеленная шерстяным покрывалом. Между окнами сто ял стол; в одном из углов — высокий платяной шкаф и несколько стульев — все из темного, покрытого лаком дерева. Рядом с камином виднелась неплотно прикрытая дверь. Дорн, появившийся в дверях с моей сумой, рассмеялся:

— Гарвардские цвета, Джон!

— Спасибо тебе за все, — сказал я, поворачиваясь к нему.

— Мы все ждали вас. Мы рады, что вы приехали, — промолвила Дорна и вышла.

— Я — в соседней комнате, через стену, — продолжал Дорн. — Сейчас принесу вещи. Затопим камин и переоденемся. Я так рад, что ты наконец с нами. Это моя давняя мечта — видеть тебя здесь.

Он ненадолго оставил меня, и я принялся распаковывать свою суму. Зажженный Дорном огонь озарил комнату, и, освещенная пляшущим пламенем, она сразу словно потеплела, оттаяла, раскрылась навстречу мне. Сначала, из-за отсутствия украшений и картин, она показалась пустой, голой, но мало-помалу я стал обнаруживать удивительные вещи. Собираясь повесить одежду в шкаф, я открыл дверцу и по тому, что увидел внутри, понял, насколько это действительно была *моя комната*: в шкафу висел широкий плащ; в углу стояли высокие, похожие на охотничьи, сапоги; здесь же висели дробовик и винтовка — каждое ружье было помечено моим именем. Не позабыли и о войлочных сандалиях и халате. Приоткрытая дверь вела в гардеробную, где я обнаружил все, что нужно человеку, собирающемуся совершить туалет: бритвы, щетки, мыло, полотенца — все в островитянском стиле, несколько непривычное, но вполне годное к употреблению. На столе с выдвинутой доской лежала пачка писчей бумаги и перо, рядом — чернильница, плитка шоколада, бутылка вина и стаканы, а

также две книги: «Жизнь королевы Альвины» Бодвина и «Открытие Феррина» Дорна XVI. Благодарность, одиночество (а может быть, сама Островитяния?) с усмешкой испытывали мое самообладание...

Спустившись по ближайшей лестнице, мы оказались в слабо освещенном коридоре, в конце которого свет падал из распахнутой двери. Полыхание очага, гораздо более яркое, чем пламя свечей на покрытом тяжелой скатертью столе, заставило меня слегка зажмуриться. Тени плясали в дальних углах залы. Это большое, лишенное каких-либо украшений помещение, где встречались домочадцы, однако вовсе не казалось угрюмым, мрачным. По обе стороны очага стояли две огромные, грубо сколоченные дубовые скамьи с высокими спинками. На каждой с краю сидели две женщины.

Меня представили Файне, бабушке моего друга и сестре лорда Файна, миниатюрной и седовласой, с черными блестящими глазами. Второй была Дорна, его двоюродная сестра. Файна и Дорна знаками предложили мне сесть. У Файны был нежный голос, звучавший приветливо и ласково.

Марта, невестка лорда Дорна, вошла и села рядом с Дорной, напротив нас. Это была розовощекая, пышущая здоровьем молодая женщина лет тридцати, симпатичная, хотя и довольно заурядной внешности.

За несколько минут мы с Дорном успели вкратце рассказать о нашей встрече и путешествии, и я, растрогавшись, не смог умолчать и о том, какой радостью было для меня получить письмо от Ислаты Файны и оказаться наконец среди Дорнов. Потом мой друг предложил мне зайти к своему двоюродному деду и провел меня в дверь за одной из скамей.

Уложенные на высокой плите поленья весело горели, охваченные румяным пламенем. Несколько мгновений глаза мои различали только его и четыре тяжелые невысокие опоры, поддерживающие стрельчатые арки и мощную круглую, наподобие колонны, дымовую трубу. Очаг казался единственным источником света. Темная стена за ним полукругом охватывала большой центральный очаг; балки высокого потолка прятались во тьме.

Вглядываясь в полутьму, я последовал за моим другом. Громкое цоканье моих каблучков по каменному полу неожиданно стихло, приглушенное толстым, мягким ковром. Молодая женщина, скрестив ноги, устроилась на полу перед огнем, а за ней сидел на скамье сухощавый, но широкоплечий мужчина. Эта молчаливая пара, как бы отгороженная от остальных невидимой стеной, казалась жизненно важным средоточием семьи Дорнов.

Прозвучало мое имя. Девушка поднялась, довольно неуклюже; ее длинная темная коса перекинулась через плечо и на мгновение прильнула к щеке, согретой отсветом пламени.

Однако я не успел описать лорда Дорна, его тонкое, смуглое и морщинистое, как пергамент, лицо с выдающимися скулами; его слегка выющиеся, жесткие, отливающие сталью, коротко подстриженные волосы, подчеркивающие прекрасные пропорции головы; длинные усы; мощный волевой подбородок; круто изогнутые мохнатые брови и светло-карие, ясные глаза, горевшие загадочным блеском в свете очага.

— Дорн, — произнес он неожиданно низким, густым голосом. — Приветствую тебя, Джон Ланг.

Он не протянул мне руки, но еле заметно наклонил голову, и все лицо его озарилось улыбкой.

— Мы приготовили вашу комнату.

Я повернулся к девушке, сестре моего друга, назвавшейся Дорной. По голосу ей можно было дать больше лет, чем на вид. Ее ясные карие глаза без смущения глядели на меня, отражая пляшущее в очаге пламя.

Лорд Дорн мягко опустил руку на мое плечо.

— Я доволен, что ты приехал, Джонланг, — сказал он, словно чему-то про себя радуясь.

— Его зовут не Джонланг, — сказала Дорна. — Брат говорит, что теперь, когда он приехал и стал одним из нас, мы должны называть его просто Джоном.

Голос ее прозвучал неожиданно чисто и сильно. На губах показалась приветливая улыбка, но затем выражение лица моментально изменилось: губы сжались, подбородок упрямо выпятился. Она стала похожа на пойманного в силки эльфа, глядящего затравленно и дико.

Это длилось не больше мгновения, но поразило меня до глубины души. И снова лицо девушки приняло вполне человеческое, милое и уютное выражение. Черты ее изобличали силу, но были вылеплены изящно и тонко. Унаследованные от лорда Дорна брови гордо прогнулись двумя крутыми темными дугами, и только судя по нежной гладкой коже можно было дать ей чуть больше двадцати лет.

Лорд Дорн пригласил меня сесть, и я сел рядом с ним. Мой друг расположился сзади, а Дорна вновь опустилась на ковер и, обхватив колени, устремила к огню пугающе бесстрастное лицо.

— Расскажите нам, Джон, как мой племянник разыскал вас и как вы добрались, — попросил лорд Дорн, и я рассказал о нашей встрече и поездке. Попутно лорд Дорн вставлял замечания и задавал вопросы.

Когда я добрался до случая на перевале, то запнулся и вопросительно взглянул на Дорна. Тот мгновенно пришел мне на помощь и в двух словах описал наш путь через Лор. Его дядя серьезно и одобрительно кивнул.

— Расскажите, что вы с Дорном видели на дороге, — сказал он, и меня вновь охватило волнение, пережитое в те далекие уже минуты и, казалось, уже позабытое и вытесненное недавними впечатлениями.

Дорн тут же принялся за подробный рассказ. Имя незнакомца не было названо, и лорд не спросил о нем. «С нами был еще четвертый», — только и сказал Дорн.

Однако, как только он стал описывать поведение незнакомца, Дорна неожиданно встрепенулась и удивленно поглядела на брата. Потом она вновь повернулась к огню и, как мне показалось, слегка передернула плечами.

Когда Дорн дошел до того момента, как Дон и незнакомец расстались с нами, дядя прервал его:

— Ты не сказал Джону, кто был этот четвертый?

— Нет, — ответил мой друг.

— И он не назвался сам?

— Да. Именно поэтому.

— Придет день, и вы узнаете, — обратился ко мне лорд Дорн. — Простите, что нам приходится держать это в тайне.

— Я человек любопытный, — ответил я, — но иногда незнание вполне меня устраивает.

— Если не хотите, можете не отвечать. Так что подумайте прежде, — сказал лорд Дорн. — Знаком ли вам кто-нибудь из тех немцев?

Трудно назвать связным рассуждением мысли, промелькнувшие в моей голове, однако, не найдя причин утаивать что-либо, я кивнул, готовый назвать имена.

— Не говорите, кто они, — продолжал лорд Дорн. — Мне бы этого не хотелось.

Он отвернулся к огню. Я молчал. Через минуту лорд попросил меня продолжать.

Рассказывая, я оглядывал комнату. Очевидно, она располагалась в нижнем этаже круглой башенки в северо-восточном углу здания. Стены ее были толщиной не меньше пяти футов, сводчатые окна шли по верху конусообразных ниш в трех футах над полом. У одной из стен стоял огромный полукруглый стол, а вокруг него — скамьи с прогнутыми спинками. Другой

мебели, кроме них, скамьи, на которой мы сидели, да полудюжины стульев, в зале не было, но в простенках между окнами, на высоте десяти-пятнадцати футов, тянулись полки, уставленные книгами в темных кожаных переплетах.

Разговор наш был прерван появившимся в дверях *денерир*, и мы направились в гостиную, по пути пройдя через комнату, где сидели Файна, Марта и Дорна-старшая, а потом, вместе с ними, вновь по тому же коридору, по которому я шел в комнату лорда.

Тем для разговоров за столом было предостаточно, поскольку лорд Дорн только накануне вернулся из Города, где был на собрании Совета. Он рассказывал о своей поездке, о погоде, о семьях, у которых останавливался, а домашние расспрашивали его о том, как поживают бесчисленные общие знакомые, их родственники и друзья, никого из которых я не знал.

Сестра Дорна сидела молча, словно не замечая ни меня, ни вообще кого-либо кругом. Она была погружена в свои мысли и, казалось, грезит наяву. Красота ее действовала на меня все сильнее, хотя в лице девушки не было ничего особо примечательного. Темно-каштановые, гладкие, как шелк, волосы были безыскусно зачесаны назад и заплетены в косу. Лоб, пожалуй, был чересчур высоким, но прекрасные темные брови скрадывали это впечатление. В профиль ее нос с ярко выраженной горбинкой мог показаться недостаточно изящным для женщины, не будь он так тонко очерчен. Строгие линии рта и упрямый подбородок тем не менее не лишали это лицо чисто женского обаяния, особенно усиливавшегося благодаря прекрасной коже цвета чайной розы, сквозь который просвечивал нежный смуглый румянец. У нее были тонкие, но сильные руки, и вся фигура казалась немного тяжеловесной. Мне хотелось внимательнее разглядеть ее лицо, и, разговаривая с лордом Дорном, я следил за ней краешком глаза, но этот взгляд украдкой не позволял проследить все перемены его выражений, явные, но совершенно мне непонятные. В этой гладко причесанной головке с ослепительно чистым лбом постоянно совершалась какая-то внутренняя работа, проникнуть в смысл которой было мне не под силу.

Ужин закончился, и лорд Дорн с внучатым племянником удалились в круглую залу. Марта взялась опекать меня и предложила перейти вместе с ней в соседнюю комнату. Сначала Файна, ласково улыбнувшись, покинула нас, а затем и Дорна-старшая, и я остался с Мартой и Дорной-младшей, как и прежде сидевшей на полу, устремив взгляд на огонь.

Марта была немногословна, но ее круглое, краснощекое лицо лучилось доброжелательностью. Короткий ответ следовал за вопросом, наступала тишина, уголек вспыхивал в очаге; и снова — вопрос, ответ и пауза, только ветер завывал в трубе, раздувая снопы белых искр.

Да, мне было о чем подумать.

В соседней комнате с ее необычным очагом сидел мой друг Дорн, выпускник Гарварда 1905 года, наконец оказавшийся дома. И этот дом был для него таким же родным, как для меня — сборный коттедж с его несуразной обстановкой, за тысячи миль отсюда. Сквозняк в коридоре, запахи, выщербленные ступени — все это было для него родное.

Сидевшую на полу девушку, свою сестру, он тоже знал лучше, чем меня. В соседней комнате с ним разговаривал один из величайших людей нынешней Островитянии, премьер-министр, второй человек после лорда Мора. Быть может, стоявшая перед лордом Дорном задача была ему не по силам; быть может, ему не хватало мощи, таланта и ума его великого отца, который в сороковые годы сумел сломить защитников установления торговых связей с заграницей и вновь вернулся к политике обособленности. Лорд Дорн, признаться, произвел на меня меньшее впечатление, чем Мора. Да, в свои почти семьдесят лет он был еще моложав, полон сил, непохож на других людей, но в конце концов он был всего лишь человеком, таким же, как я, как мой друг.

Тем временем Марта рассказывала о своем сыне, который, по ее словам, ни в чем не

походил ни на одного из ее родственников, за исключением яркого румянца на щеках. Чтобы поддержать разговор, я спросил, где они живут, и Марта сделала неопределенный жест рукой, указав куда-то на запад — туда, где были только болота и море.

— Мы — одни из них, — загадочно сказала она.

Так я впервые услышал выражение, каким обитатели болот называли себя и себе подобных.

Дорна впервые взглянула на меня, глаза в глаза; голова ее слегка запрокинулась, озаренная мягкими, переливчатыми отсветами огня. Однако она ничего не сказала и через мгновение отвела взгляд. Мне стало интересно, что могло привлечь ее внимание, и я уже собирался ее об этом спросить, но так и не смог найти нужных слов.

Марта извинилась и вышла — потеплее одеть сына; на улице было сыро. Оставшись наедине с сестрой моего друга, я почувствовал, как часто забилось в груди сердце, хотя особых причин, кроме необыкновенного поведения девушки, не было. Вновь заняв свое место, я не без некоторого удовольствия подумал, что у меня теперь есть преимущество: она должна будет заговорить первой, к тому же я смогу наблюдать за ней сверху.

Тишина была настолько глубокой, что я невольно стал прислушиваться к ней, как делал это в минуты отчаяния в начале моего пребывания здесь. На мгновение все вернулось: натянутые, как струна, нервы и тягостное напряжение — источник беспричинной, но такой острой боли. Я передернул плечами. Дорна сидела все так же неподвижно — неземная, бесстрастная и вечная, как Будда.

Ветер завыл в трубе, взметнув сноп белых искр.

Чем пристальнее я вглядывался, тем сильнее веяло на меня жутью. Лицо девушки казалось отталкивающим. Потом снова обаятельным — в неуследимой смене личин.

Прошло минут десять. Смутные образы и ощущения проплывали в моей душе, изменчивые, зыбкие, как отражения облаков в озерной глади. Среди них — призрак любви, смущенный присутствием девушки и в то же время успокоенный ее спокойствием, — но любви не к ней... Влекущий смущенный призрак уступал место впечатлениям дня, и я то видел сужающееся кольцо тумана, то вспоминал наше плавание на лодке, белесый свет над пустынным причалом, неожиданный хруст ракушек под ногами, в свою очередь пробудивший давние воспоминания. Я вслушивался в тишину и чувствовал осязаемое присутствие скрытых туманом болотистых равнин, простирающихся в бесконечные дали вокруг нас; я слушал тишину, но нервы уже не были напряжены, мне было покойно и радостно.

Мягкий, глубокий голос девушки прозвучал словно издалека, но отчетливо и ясно:

— Мы будем нравиться друг другу. Мы будем очень, очень нравиться друг другу, Джон.

— И я хочу этого, Дорна, — сказал я.

Она поднялась. Я тоже.

— Доброй ночи, — вновь раздался ее голос. — Пора мне ложиться. Завтра я рано встаю, надо ехать.

— Доброй ночи, — сказал я.

Дорна слегка улыбнулась и, вздернув подбородок, торжественно удалилась.

Пожалуй, именно этого я и хотел. Мои желания исполнялись, и я чувствовал себя счастливым, сидя на краю скамьи и с нетерпением думая о завтрашнем дне и о солнце, которое поднимется над болотами.

Пробудившись от крепкого сна, я увидел сидящего рядом с моей кроватью Дорна и пятно солнечного света на стене. Я встал и подошел к окну. Оно выходило на запад. Воздух был прозрачным и свежим, пронизанным живительными лучами солнца. Под окном расстился пышный зеленый выгул, блистающий бесчисленными каплями росы — следами ночного

тумана; в дальнем конце тянулся густой ряд деревьев, скорее всего буков, уже тронутых осенними красками. Еще дальше, примерно в полтора милях, несколько ниже, были видны древние, подстриженные ивы, росшие вокруг пастбища, а за ними — ровная поверхность болот с блестящими то тут, то там протоками, расстилавшаяся до самого горизонта, укрытого плотным, приникшим к земле розовым туманом. Вверху раскинулось синее небо; на одном из протоков виднелся белый парус, а вдали, поверх тумана, протянулась темная зубчатая полоса гор, среди которых возвышался укрытый белоснежной мантией исполин.

Я брился и одевался, пока Дорн рассказывал мне о домашних делах. Через два дня лорд Дорн должен будет наконец отправиться в Доринг, и моему другу придется сопровождать его, поскольку обоим предстоит участвовать в провинциальной ассамблее под председательством лорда. После недели в Доринге Дорн собирался поехать на север, примерно на неделю. Разумеется, я без слов понял, что взять меня с собой он не может.

Мы обсудили наши планы. На календаре значилось двадцать пятое марта. Чтобы добраться до Города к прибытию парохода, то есть к пятнадцатому апреля, мне надо было выехать никак не позже десятого числа. Дорн собирался отсутствовать с двадцать восьмого марта по шестое апреля, и таким образом получалось, что нам удастся провести вместе лишь ближайшие два дня и три — в апреле. Дорн предложил мне поехать вместе с ним и дядей в Доринг, после чего я смогу вернуться на Остров; либо я мог поехать на север, где, в трех днях езды, находилась усадьба лорда Фарранта, к которому у меня было письмо от месье Перье, а потом вернуться обратно примерно в то же время, что и Дорн. Из предложений Дорна следовало, что мне придется путешествовать в одиночку, но зато у меня будет возможность познакомиться еще с двумя провинциями.

К тому моменту, когда было решено, что я отправлюсь к Фарранту, я уже успел закончить свой туалет; однако мой друг, казалось, все еще пребывал в нерешительности, сомневался и вдруг разом высказал мне все, что мучило его.

— Дядя считает, — сказал он, — что тогда, на перевале, я обошелся с тобой неучтиво. Ему кажется, что я проявил беспечность, дав немцам возможность увидеть тебя вместе со мной и Доном. Дело вот в чем. Лорд Мора отвел гарнизон с перевала, чтобы подтвердить в глазах немецкого правительства свои благие намерения и то, что он действительно признает немецкий протекторат над степями в Собо. Может быть, это кажется ему чем-то вроде открытой границы между Америкой и Канадой. Мы считаем, что Мора ошибается, поскольку не верим, будто немецкие дозоры в степях обеспечат нашу безопасность. Любому жителю долины ясно, что...

Новый смысл открылся для меня во внезапно вспомнившихся словах Наттаны.

— Кроме того, мы не собираемся верить на слово ни немцам, ни кому бы то ни было еще. Ты ведь знаешь, что договор лорда Мора не упраздняет полностью наши старые законы, по которым число иностранцев в Островитянии должно быть ограничено, и никто не может получить разрешение на въезд без медицинского освидетельствования. Мы опасаемся, что, если перевал будет открыт, в страну будут проникать без всякого на то основания немецкие подданные и даже просто грабители. Именно это и собирались выяснить мы с Доном, хотя тот, четвертый, подпортил дело.

Я начал кое о чем догадываться.

— Немцы, — продолжал Дорн, — должны быть, разгадали наши намерения. Так вот, дядя беспокоится, не повредит ли тебе то, что теперь немцам известно: ты с нами заодно. Некоторым из них ты знаком. И о том, что случилось, узнает вся дипломатическая колония, узнает правительство. Дядя интересуется, как можно будет объяснить твое присутствие... Мора изо всех сил старается отменить чрезвычайные законы. Если бы только нам с Доном удалось поймать этих людей с поличным! Тот, четвертый, все испортил — дал им возможность

вывернуться. Теперь нам сложнее. Если бы могли доказать Совету, как пагубна политика Моры, из-за которой немцы могут тайком проникать на нашу землю, — это помогло бы нам в нашей борьбе.

Он продолжал говорить, уже забыв о моем присутствии. Я и сам давно, правда довольно смутно, представлял себе последствия того, что меня видели в компании Дорна, да еще в таком месте, однако слишком многое успело случиться с Джоном Лангом — человеком, чтобы он успел подумать о Джоне Ланге — консуле. Теперь я ясно видел — и сознавать это было приятно и тревожно одновременно, — что оказался в роли человека, замешанного в политику.

— Мы много говорили о тебе вчера вечером, — продолжал Дорн. — Я поступил плохо, ведь ты...

— Нет! — вырвалось у меня.

— Я был слишком взволнован! Пойми, если бы мы с Доном сделали все, как задумали, тебе вообще не пришлось бы вмешиваться. Мы проследили бы за немцами и арестовали бы их, а ты тем временем поехал бы в Шелтер...

— Не беспокойтесь обо мне...

— Но я не могу не беспокоиться. И дядя тоже. Словом, мы решили написать Море, рассказать ему все, и то, как ты оказался с нами. Мы доверяем ему, и, возможно, он поймет это правильно, но, возможно, и просто посмеется над нами. Письмо уже отправлено.

Объезд приусадебных владений — давний обычай. Так было у Файнов. И вот, ясным и ветреным мартовским днем, что соответствовало американскому концу сентября, Дорн, его кузина Дорна и я верхом отправились осматривать остров.

Он раскинулся примерно на милю с востока на запад и на милю — с севера на юг. Сначала мы двинулись на север по буковой аллее, по которой мы ехали вчера с Дорном, а затем, повернув на восток, выехали на большой луг; нижний конец его упирался в насыпь, обсаженную ивами. Их-то я и видел вчера в дымке тумана. Двигаясь по-прежнему в восточном направлении, мы оказались на другом, большем лугу, где пасся скот. За лугом на берегу протока была устроена небольшая пристань с каменным пирсом, доком и эллингом, возле которого стоял дом *денерир*. В доке была шлюпка; слабо пахло рыбой моллюсками.

Отсюда мощенная ракушечником дорога вела на запад через лес, где росли низкорослые сосны и пихты. Через четверть мили мы подъехали к развилке и повернули на юг — мимо скошенного луга, пастбища с табуном коней и домиком конюха, а потом на запад; снова ехали лесом и, описав круг, очутились у другого протока, где тоже были пристань и домик смотрителя. Противоположный берег порос лесом; плоскодонка была причалена ниже по течению. На обратном пути мы миновали пристань, где высадились накануне.

Объехав границы островного хозяйства, мы возвращались к дому мимо выгулов, скошенных лугов, полей, засеянных злаками, мимо фруктовых садов, разделенных низкими каменными изгородями — камень доставлялся с материка, — или рядами ив и буков, мимо большой риги, мимо огородов и разбросанных по склонам холмов виноградников.

Мы ехали не спеша, часто останавливаясь, беседовали. Хотя я знал, что на острове Дорнов обитает около полусотни человек — число их увеличивалось, когда прибывали суда, — все же я был поражен размерами и разнообразием хозяйства. Здесь занимались рыболовством и мореплаванием, здесь жили пастухи, лесники, скотоводы, агрономы, лошадиники и, разумеется, домашняя прислуга. Судя по книге месье Перье, я не ожидал увидеть в Островитянии подобные, на феодальный лад устроенные поместья и спросил, что думают об этом Дорн и Дорна. Они сказали, что такие же и даже бóльшие поместья есть еще на болотах и несколько — в других частях страны, но что это скорее исключение и у каждого из них своя, особая судьба и история.

Их поместье возникло и стало таким потому, что еще во времена первых нападений карейнских пиратов остров был могучим укрепленным пунктом, дававшим прибежище многим людям. Владельцы ферм переселялись сюда, оставляя насиженные места. Эти люди не попадали в полную зависимость, поскольку по условиям договора между ними и Дорнами они получали во владение долю собственности и пользовались определенными привилегиями. Всего две семьи являлись в полном смысле *денерип*. Остальные считались полноправными собственниками по существовавшему уже сотни лет укладу.

— Мы все отлично уживаемся друг с другом, — сказал Дорн, — потому что за сотни лет успели уладить все конфликты и споры и никто ни в чем не стеснен. Партнерство в том смысле, в каком вы понимаете это слово, развито у нас как нигде.

Вскоре после нашего возвращения подали завтрак. Сестра моего друга так и не вернулась из своей загадочной отлучки, все же остальные были в сборе, включая и внука лорда Дорна — мальчика лет семи, правопреемника своего деда. У него, как и у всей семьи, тоже были четко и тонко очерченные брови; вообще же он показался мне обычным для своего возраста ребенком.

В моей комнате в этот день царили удивительный покой и тишина. Окна смотрели на восток, и, хотя дул легкий западный бриз, ни один листок не шелохнулся на росших под ними деревьях. А вдалеке ветер раскачивал ветви ив и буков, уже наполовину облетевших, наполовину еще покрытых золотыми и багряными листьями. Воздух был тихий, совершенно осенний. За пастбищами виднелся извилистый проток, потом шла темно-зеленая полоса болота, и снова, извиваясь и блестя, терялся вдали еще один проток.

Я почувствовал, что хотел бы остаться здесь подольше.

Мне казалось, что я заехал очень далеко, гораздо дальше, чем те триста или четыреста миль, которые действительно пришлось преодолеть. Доринг и вообще западный край — да, это и в самом деле было сердце страны. Дымчатый воздух и падающие листья напомнили мне время каникул. Отзвуки былых чувств, окрашенные легкой печалью, пробудились во мне, и я подумал о Наттане и о моем друге, предупреждавшем, чтобы я не увлекался всерьез островитянскими девушками и не давал им увлекаться собою; и опять — словно невидимая дверь захлопнулась передо мной.

Вдали, на болотах, показалась группа маленьких, точно игрушечных, всадников. Яркие белые в солнечных лучах паруса виднелись рядом с Эрном, и одинокий, отбившийся от стаи белый лоскуток плавно двигался по широкому протоку на северо-запад.

И все же, в конце концов, моей родиной была Америка, а ее народ был моим народом. Я отвернулся от окна и принялся сочинять письмо домой.

Неожиданно в коридоре послышался быстрый шум шагов, и дверь резко распахнулась. На пороге стоял Дорн.

— Я думал, — сказал он, — что мы сможем прогуляться вместе или покататься на лодке, но дядя просит меня задержаться. Почему бы тебе не отправиться с сестрой? Она скоро подплывет к Рыбацкой пристани — я вижу ее лодку. Мне кажется, она будет рада твоей компании.

Он указал на север: маленький белый парус шлюпки, державшейся круто к ветру, двигался по протоку на юг. Времени терять было нельзя. Дорн проводил меня в южное крыло дома и указал ведущую к пристани тропинку. Ветер был бодрящий, свежий.

Тропа вела меня сквозь буковую рощу. Сухие листья шуршали над головой и под ногами.

Шуршащие листья, их горьковатый запах, смешанный с запахом соли и влажной земли, будили трепетные, прекрасные и смутные воспоминания. Мог ли я надеяться, что когда-нибудь и у меня будет в моей Новой Англии несколько акров собственной земли и я буду идти в медленно сгущающихся сумерках среди буков, сосен и кленов, вдыхая запах только что

вспаханной земли?

Дорожка свернула влево, и, выйдя из леса, я оказался перед полукруглой аркой с воротами. Передо мной широко раскинулись пастбища, немереные мили плоских болот; на горизонте, в дымке, горы вздымали свои снеговые вершины. Нет, для Новой Англии все это выглядело слишком необъятным, отчужденно-бесстрастным и пустынным, и когда я сошел с тропы в луговую траву, то как бы увидел себя со стороны — медленно движущейся, маленькой, одинокой точкой.

Лодка Дорны плавно скользила по протоку в полумиле слева от меня. Я ускорил шаг; щеки горели от свежего морского воздуха.

Шлюпка двигалась медленнее, чем я, — слишком слабый был ветер. Солнце опускалось, и белая парусина румянилась в закатных лучах. Я подумал, видит ли меня Дорна; мне не удавалось ее разглядеть, настолько низкими были берега протока. Когда луг кончился и я вышел на усыпанный ракушками пирс, шлюпка Дорны была примерно в двухстах ярдах.

Здесь проток образовывал небольшую бухту шириной около двухсот футов. Прямо напротив входа в нее находился причал, обнесенный с трех сторон каменной стеной. Каменный пирс, на который я спустился, вдавался в бухту почти на половину ее длины.

Поскольку медленно двигавшаяся шлюпка еще не успела войти в бухту, я подошел к внешнему краю пирса, сел, свесив ноги, и стал ждать.

Был отлив, и вдоль северного и южного берега обнажились полосы тины. На них повсюду виднелись кучки земли, из которой выкапывали моллюсков; от одной кучки до другой тянулась цепочка следов. Внизу, футах в десяти, вода, маслянисто-опаловая, слабо плескалась о массивные камни.

Я проклинал судьбу, определившую мне столь недолгое пребывание на Острове, глубоко вдыхая солоноватый воздух, в котором смешались запахи смолистого дерева, моллюсков, болотных трав. Суденьшко медленно развернулось и вошло в бухту. Теперь мне был хорошо виден его плоский темно-коричневый корпус и застывшая у руля фигурка.

Ветер заставил лодку отвернуть к северному берегу; она двигалась медленно, но уверенно. Я решил, что пора мне помочь девушке причалить, и встал. Дорна — теперь нас разделяло футов сто — приветливо, как старому другу, помахала мне. Я крикнул — не нужна ли помощь. Девушка покачала головой.

Когда шлюпка подошла к отмели, я увидел, как Дорна налегла на румпель, и, принимая в расчет почти полное безветрие, лодка плавно легла на другой галс; но и здесь она не причалила. Проплывая мимо меня в направлении южного берега бухты, девушка снова помахала мне и вновь невозмутимо сосредоточилась на управлении своим суденьшком. После третьего захода, однако, нос лодки повернул в сторону того места, где я стоял; теперь, будучи совсем близко к берегу, лодка двигалась очень медленно.

Могло показаться, что Дорна ведет себя так нарочно, поддразнивая меня, и я направился к концу пирса, готовый исполнить любое распоряжение девушки, поскольку было похоже, что ей не удастся зайти в гавань под парусом. Тем не менее у Дорны были свои приемы, и, войдя в бухту, она подождала, пока ветер наполнит парус и лодка наберет ход, а затем круто развернула ее против ветра.

И снова она проплыла мимо меня, футах в двадцати. Парус слабо хлопал, и мне ничего не оставалось, кроме как обежать вокруг внутренней стены — к тому месту, куда подходила лодка.

Запыхавшись, я остановился на краю причала. Лодка неподвижно стояла посреди гавани; по гладкой, стеклянистой поверхности воды расходились голубые и розовые круги, и перевернутое отражение лодки колыхалось, постоянно меняя очертания.

На этот раз я уже не задавал вопросов, а спустившись по веревочной лестнице в

ожидавший внизу ялик, подгреб к шлюпке. Дорна между тем убрала единственный парус, которым была оснащена лодка, и взглянула на меня с улыбкой.

— Спасибо, что пришли меня встретить, — сказала она, и вновь голос ее прозвучал неожиданно низко.

Потом она бросила мне линь; я не без труда притянул лодку вдоль стены и по команде Дорны пришвартовал ее кормовым и носовым линиями. Проворно вскарабкавшись по лестнице, девушка оказалась рядом со мной. Платье ее вымокло, кожу на висках стянула засохшая соль. Она тяжело дышала, волосы растрепались.

Зябко передернув плечами, она снова взглянула на меня.

— Я рада, что вы пришли, Джон, — сказала она. — Давайте прогуляемся немного.

— Конечно. Но вы, наверное, устали. Вас так долго не было.

— Вовсе не устала.

Она поджала губы, но тут же не выдержала и улыбнулась.

Мы пошли рядом. Дорна шла быстрой, покачивающейся походкой, раскованно и легко, несмотря на утомительное плавание.

Это было удивительно и странно — видеть ее шагающей рядом. И что в самом деле было лестного в такой заурядной вещи? Ее красота внушала мне легкий трепет. Солнце стояло низко, и казалось, лицо Дорны, ее кожа светятся теплым золотисто-розоватым светом. Она выглядела уверенной в себе, спокойной, благосклонной, счастливой, — и все же ее губы были плотно сжаты, словно она твердо решила молчать и хотела, чтобы я это понял.

Дорога стелилась белой лентой, и скоро мы оказались под сенью деревьев. Стрелы янтарного света зажигали пушистую хвою сосен переливчатым зеленым блеском. Прошло несколько минут.

Неожиданно Дорна свернула с дороги, и мы очутились в мрачноватой чаще беспорядочно переплетенных ветвей; темно-рыжий ковер опавших игл лежал под ногами; над головой сквозь пышную темную зелень просвечивала небесная лазурь. Дорна шла впереди. Она явно вела меня в какое-то определенное место — скорее всего, это была башня на холме, — но почему Дорна молчала?

Лес плотно обступил нас. Казалось, Дорна вполне способна на какую-нибудь озорную выходку. Однако ее темно-синяя юбка в потеках проступившей соли вполне прозаично и очень уверенно мелькала впереди.

Нечто темное показалось под деревьями, и путь нам преградила сложенная из серого камня, поросшая мхом стена высотой около восьми футов. Дорна резко остановилась. Крутая узкая лестница вела наверх, где почти у самого края стены виднелась открытая дверь, а за ней — ветви деревьев и небо.

Дорна, не произнося ни слова, указала мне на лестницу, и я решил, что она хочет, чтобы я пошел первым и помог ей. Я поднялся на несколько ступенек и, обернувшись, протянул девушке руку.

— Помогать не нужно, — сказала Дорна, и звук ее голоса после долгого молчания поразил меня. Ее обращенные ко мне глаза глядели сосредоточенно и недоуменно. Потом она протянула руку. Я взял ее. Дорна шла, не опираясь на мою руку, но и не отнимая свою. Я, само собою, тоже не мог ее отпустить, и так мы и поднимались — рука в руке.

Сердце у меня сильно билось, в мыслях царил хаос. Деревья стали реже; на земле сквозь хвою пробивалась трава, а через сотню футов вздымался узкий каменный цилиндр башни с узкими прорезями бойниц и зубчатой вершиной.

Но если Дорна без обиняков сказала, что помощь ей не нужна, то зачем было давать мне свою руку, если ей этого не хотелось? Может быть, это был молчаливый знак, подкрепляющий

данную накануне клятву дружить? Не были ли великие Дорны проще своих друзей Хисов, с которыми, как и у меня дома, все ограничилось бы обычным заигрыванием?

Голова у меня кружилась, кровь стучала в висках. Нежная рука Дорны, казалось, жгла мою ладонь, и все вокруг полыхало яркими красками.

Не разнимая рук, мы подошли к подножию башни, по-прежнему молча и не глядя друг на друга, и остановились перед низкой запертой деревянной дверью. Я взглянул наверх, на упирающиеся в небо острые зубцы. Дорна тоже поглядела вверх.

— Может быть, поднимемся на башню? — спросила она, ясно, четко выговаривая каждый звук.

— Да, Дорна, — ответил я дрожащим голосом.

— Вам придется отпустить мою руку. Одной рукой эту дверь не открыть.

Я уже не мог понять — насмешка это или просто привычка к четкой артикуляции.

Освободившись, Дорна шагнула вперед и, одной рукой прижав дверь, другой подняла щеколду. Дверь со скрипом отворилась, за ней, в темноте, круто уходила наверх узкая винтовая лестница. Дорна посторонилась, пропуская меня вперед, но, когда я уже собрался войти, вдруг спросила:

— А вы не хотите снова взять меня за руку?

Разумеется, я с замиранием сердца подал ей руку, и мы очень неловко начали подниматься, то и дело оступаясь в темноте. Дорна шла чуть сзади; когда мы наконец достигли верха башни, я совершенно задыхался, а костюм мой был весь в грязи, собранной со стен.

Отсюда, сверху, перед нами открылся вид на весь остров, на уходящие вдаль болота, ряд песчаных дюн в десяти милях к западу, а за ними — темно-синее море, куда опускалось, плавясь, раскаленное солнце; границы поместья к востоку и юго-востоку и Доринг, словно ярко расцвеченный корабль, плывущий по реке.

Моя рука сжимала руку девушки и ощущала ответное легкое и теплое пожатие. Мы медленно обходили башню, как вдруг словно что-то тяжело поднялось в моем сердце и в глазах у меня потемнело. Красота морских и земных просторов была недостижимо далекой и чуждой. Она была слишком необъятна для меня, и неожиданно я положил руку девушки на парапет и отпустил ее.

Дорна быстро сложила ладони вместе. На лесистом склоне особняк казался тщательно выполненным макетом, отчетливым до мельчайших подробностей в розовато-янтарном сиянии сумерек.

Конечно, мне не следовало слишком увлекаться островитянками, но что было делать, если они сами протягивали мне руки? Будь это одно мгновение, но мгновение чересчур затянулось. Все они были жестокими, бессердечными существами, я же чувствовал себя несчастным и озлобленным; нет, я злился не на Дорну, а на весь ход событий, сделавший меня чужим и нежеланным гостем, злился на прекрасные дали этой замкнувшейся в самой себе земли.

— Дорна, — начал я, — ваш брат предупреждал, чтобы я не слишком увлекался островитянскими девушками и не позволял им слишком увлекаться собою. Лучше я не буду держать вас за руку.

— Но разве вам этого не хотелось? А раз хотелось, то что было делать мне? Я не знаю ваших обычаев, Джон. Я только старалась угадать ваши желания. — Голос ее звучал очень ровно.

— Я дал вам руку, чтобы помочь взобраться на стену. Так принято у меня на родине.

— Только поэтому?

— Только.

— Ах, — вздохнула она, подавив смешок. — А я-то думала, вам и вправду хочется взять

меня за руку. Хотя я не была уверена, так ли это на самом деле или это просто принято.

— Я тоже не был уверен, — сказал я и взглянул на девушку. Однако ее лицо в закатном свете так зарделось, что я снова почувствовал себя неловким и дерзким. Я отвернулся. На востоке темные громады гор громоздились в холодном свете.

— Вот что получается, когда человек старается поступать в согласии с чужими обычаями вместо того, чтобы полагаться на собственные.

— Да, — ответила Дорна, — но это не совсем так, ведь если ваши обычаи похожи на наши, то вам, а может быть, и мне все это могло... — Последние слова прозвучали совсем тихо.

— Но мы оба теперь понимаем, что произошла ошибка.

— Да, понимаем... умом. И никто не виноват...

Она снова посуровела, замкнулась.

— Не заботьтесь вы так обо мне! — воскликнул я.

— Быть может, завтра мы оба посмеемся над всем этим. Но сейчас мне не смешно.

— Мне тоже.

— Не будем никому ничего говорить.

— Мне так жаль, Дорна!

— Но о чем жалеть... сейчас?

Мы замолчали, по-прежнему стоя рядом, но глядя в разные стороны. Пылавший в моем сердце огонь окрасил золотыми отсветами дали, еще мгновение назад казавшиеся сумрачным видением и вдруг вспыхнувшие жизнью: болота, море, песчаные отмели, разбросанные по острову белые домики, далекий, но отчетливо видный Доринг, плывущий по бледным речным водам, мили и мили материковой земли, испещренной зелеными, бледно-лиловыми и желтыми пятнами, и, наконец, темная зубчатая цепь на горизонте.

— Как красиво, — сказал я.

— Очень, — взволнованно шепнула девушка.

Дым поднимался из труб над усадьбой, над крышами фермерских домов в долине. Едкий, сладковатый запах горящего дерева слегка пощипывал ноздри.

— Я готова стоять здесь часами, — сказала Дорна. — И я не могу не приходить сюда, ведь, только глядя отсюда, я чувствую наше поместье единым целым. Вы понимаете?

— Не уверен, — ответил я.

— Островитянин бы понял, — сказала Дорна, больше обращаясь к себе самой. — Интересно, какие мы похожие и в то же время разные. Я знала всего нескольких иностранцев, больше всего мне понравились дочери Перье.

Она не сказала «месье Перье», отметил я про себя.

— Наверное, нас может понять только человек, сотни лет живущий на одном и том же месте. Я ощущаю наше поместье как единое целое — какое оно есть, каким оно было и каким будет, — нашим, нашей землей; и я ощущаю всех нас, бывших и будущих, тоже как нечто цельное, — это не я, не мы, а что-то неделимое... Пойдемте домой, — вдруг резко оборвала она сама себя. — Я плавала весь день и хочу есть.

И мы пошли к дому — вниз по склону холма, через лес и деревянные ворота, ведущие в сад. Почти всю дорогу мы молчали. Солнце село, и вокруг залегли синие тени. Запах дыма стал резче, воздух прохладнее, и я невольно подумал об ужине, о тепле домашнего очага. Лицо Дорны светилось в сумерках золотистым светом. Она была так прекрасна, что я едва мог глядеть на нее.

Девушка остановилась возле свежевскопанной грядки; земля была темная, влажная, жирная.

— Скоро я посажу здесь луковицы цветов, — сказала Дорна. — Если б вы остались

подольше, то могли бы помочь мне и рассказали, какие цветы растут у вас дома. Наверное, какие-нибудь из них могли бы прижиться и здесь.

— Я постараюсь достать вам семена и луковицы.

Девушка задумалась.

— Они придут слишком поздно, чтобы их можно было посадить в саду... Но когда-нибудь — расскажите мне о них, ладно?

Когда я наконец оказался в своей комнате, то почувствовал, что весь дрожу.

А позже, вечером, мы обдумывали планы на следующий день — мой последний день на Острове, — собираясь отправиться на лодке к отмелям западного побережья, притягивавшего меня, как магнит.

Свежий, крепкий ветер трепал кроны буков, росших под моим окном, и стаи листьев кружились в воздухе, уносимые на восток. Стало быть, ветер дул с запада, и можно было снаряжаться в плавание! Воздух был теплее, чем вчера, и более влажный. Значит, будет туман? Но небо на востоке было ясным. Отчетливо виднелся город Эрн, участки фермеров на скатах пологих холмов, видимые до мельчайших деталей, очистились от туманной дымки и тонули в ослепительном сиянии солнца. Неужели оно вернулось, это детское ощущение первозданно чистой грезы?

Я позавтракал вместе с Дорной-старшей и Файной — все остальные встали раньше. Лорд Дорн отправился по делам, а мой друг был на пристани. Его сестра готовила нам завтрак в дорогу. Я еще сидел за столом, когда она вошла и на мой вопрос о тумане только пожала плечами:

— Да, похоже, будет.

Мы вышли из дома вместе и пошли по аллее. Ветки раскачивались, шелестя сухими листьями. Дорна взглянула на небо, и я подумал, уж не кажется ли ей ветер слишком сильным. И вправду ли ей хочется ехать с нами? Любая барышня на ее месте уж наверняка сказала бы хоть что-нибудь, но я так и не дождался ни слова, ни улыбки. И все же она была рядом, осязаемая, телесная, полная жизни и красок на фоне полуоблетевших деревьев, болот и усыпанной белым ракушечником дороги.

Лодка наша уже стояла наготове — не та, на которой мы приплыли два дня назад; эта была поменьше, поудобнее, более похожая на яхту. У нее была такая же ровная палуба и низкие комингсы, но все деревянные части были покрыты темным лаком, а сами борта выкрашены белой краской. И большой белый, без единого пятнышка парус был поднят и хлопал на ветру. На судне можно было перевозить грузы, но сейчас оно было готово для приема пассажиров, которые могли разместиться не только на палубе, но и внизу, в просторной каюте с лавками вдоль бортов, рундуками, зашторенными иллюминаторами и обеденным столом.

Мы отчалили, парус поймал ветер. «Антара» накренилась, вспенивая воду, но через несколько минут парус вновь беспомощно захлопал на ветру. Мы приблизились к каменному причалу на ронановском берегу. Стоявший там молодой человек приветствовал нас. Описав дугу, лодка подошла к причалу. Юноша спросил, куда мы направляемся; Дорн пригласил его поехать с нами, на что он тотчас же и согласился. Это был стройный молодой человек лет двадцати с небольшим, смуглолицый, со светло-кариими глазами, застенчивый и скромный. Он назвался Ронаном, и в самом деле это был второй сын дорновских соседей.

Я сел на палубу, прислонившись к комингсу с наветренной стороны; Дорна устроилась рядом, но Ронан сидел позади нее. Все трое молчали, глядя в разные стороны.

Дорн, стоя у руля, повернул «Антару» на восток и, войдя в искусственный канал, развернулся к северу. Ветер тем не менее изменился и теперь дул с траверза. За бортом катились тяжелые тускло-зеленые волны, даже здесь, в узком протоке, пенясь и бурля. На американском судне при таком ветре пришлось бы брать рифы, но наша лодка могла идти и не сворачивая паруса. Так мы и шли: круто к ветру, обдаваемые летевшими через борт брызгами. Волны всей тяжестью бились о нос лодки, нацеленный на запад вдоль главного канала, уходившего в болота, к Эрну.

Мы трое, бездельничающие на палубе, ездили от борта к борту при каждой перемене галса, и скоро совершенно вымокли, потому что, хотя волны и не перехлестывали через борт, но то и

дело окатывали нас дождем мельчайших брызг. К тому же, сидя, мы замерзли, и находиться на мокрой палубе стало вконец неудобно. Но мы не жаловались; всякий раз, как лодка кренилась, меня курс, на губах Дорны проступала улыбка, словно ей доставляло удовольствие сравнивать, кто из нас троих ловчей. Мы по-прежнему молчали и лишь украдкой, оказываясь при смене позиций рядом с девушкой, поглядывали на нее; она же, казалось, не замечала нас. Ее брат, уверенный и прямо стоящий у руля, представлял достаточно величественное зрелище. Все это вдруг показалось мне занятным. Уж слишком мы с Ронаном были похожи на двух ухаживающих за одной девушкой и одинаково робких мальчишек.

«Антара» уже давно углубилась в безмолвные просторы болот. Острова Дорнов и Ронанов остались далеко позади. К северу и к югу простирались неоглядные болота.

Кругом был только ветер, темно-зеленая вода протоков, влажный запах соли и маленькая, но крепкая лодка, упрямо прокладывая себе путь к открытому морю. Что могла значить капля ревности для картины такого масштаба? Скоро Дорна и я уже болтали о чем-то, а Ронан, все так же держась немного сзади, слушал, и его смуглое мужественное лицо казалось заинтересованным.

Часа через полтора проток расширился, образовав озеро, по которому гуляли волны, все в белых барашках. Дальше проток сворачивал на северо-запад; ширина его за озером была не больше ста ярдов. Течение помогало нам, и лодка, рассекая пенящуюся водоворотами воду, двигалась против ветра. Но вот проток снова раздался, и, отпустив шкоты, мы продолжили движение на северо-запад.

Упругий, бьющий в лицо ветер, скрип рангоута, волны, хлюпающие о кормовой подзор, блеск солнца и воды — все это привело меня в дремотное, полуголушенное состояние. Лицо сидящей рядом Дорны, различимое до мельчайших черточек и оттенков, казалось, снится мне. Снова и снова мы меняли курс; мной овладела истома, даже шевелиться не хотелось.

Вскоре волны совсем разбушевались. Ветер усилился, снасти напряглись до звона. Облако водяной пыли нависло над палубой; вода стекала по лицам, на губах был привкус соли. Чувствуя себя ошеломленным, подавленным бурной природой, я попытался отвлечься мыслями о том, хватит ли у Дорны умения сладить с судном. Его сестра сидела, крепко ухватившись за верхний комингс, глаза у нее горели. Нет, она не была сверхъестественным существом.

Наконец между двумя песчаными мысами показалось открытое море — оно дыбилося могучими валами, обрушивавшимися на далекую отмель.

«Антара» резко развернулась, тяжело перевалившись с борта на борт, зачерпнула воды, и парус раздулся, звонко хлопнув. У меня перехватило дыхание. Мы двигались прямо в направлении северного мыса, и уже можно было различить белые буруны прибоя. Но волны его разбивались о песчаную косу, защищавшую вход в скрытую за дюнами небольшую бухту. И скоро мы уже скользили по ее синей глади, вдоль деревянного причала с западной стороны дюн. Ронан проворно соскочил на берег, держа в руках конец каната. «Антара» быстро пришвартовалась, и парус был спущен. Дорна знаком показала мне, чтобы я спустился в каюту.

Там она вручила мне корзину, продолговатую, глубокую и очень плотного плетения, тоже, как и прочие предметы островитянского обихода, отличающуюся от того, к чему я привык. Больше вещей не было. Мы снова поднялись на палубу и сошли на берег. На много миль вокруг не было видно никакого жилья. Впереди, футах в ста или чуть больше, тянулись плавно очерченные ряды дюн. Нас отделял от них ровный песчаный участок, на котором кое-где пучками росла жухлая, почти до белизны выгоревшая трава. Ронан нес вторую корзину. Дорн вышагивал впереди. Дорна пристроилась помогать мне, но из-за разницы в росте нести корзину стало только тяжелее. Пока что все было похоже на знакомые мне пикники. Идти было утомительно — при каждом шаге нога по щиколотку вязла в песке. За дюнами ветра почти не

было слышно, но сверху он сдувал песок тонкими струйками. Совершенно неожиданно мы вышли к болотистой низинке, посреди которой был неглубокий, обнесенный камнем колодец; черпак и шест валялись рядом на песке. Наполнив извлеченный из корзины бурдюк водой, мы стали подниматься к гребню дюн, оставляя за собой на песке огромные рыхлые следы.

По впадинам с их плотным, слежавшимся песком идти было легко; по склонам же мы, тоже легко, но неуклюже, скользя и оступаясь, быстро съезжали вниз. Корзины весили немало; Дорн, хотя лицо его лоснилось от пота, казался неустоимым, но Ронан, Дорна и я запыхались и шагали с трудом.

Наконец за идеально гладкой выемкой, похожей на седловину в горах, мы увидели берег. Он тянулся полукругом мили на три, обрывистыми уступами спускаясь к морю. Огромные валы с грохотом разбивались о песчаную полосу суши. Было единодушно решено остановиться в каком-нибудь укромном месте под прикрытием дюн. Место это скоро было найдено, и Дорна стала доставать из корзины их содержимое.

Пикники! Как мало обычно значит хотя бы и тщательно выбранное место, где они устраиваются. Мгновенно начинаются разговоры, болтовня, вновь переносящая человека в тот мир, откуда он на время бежал. Но место, где остановились мы, невольно заставляло с собой считаться. Мы почти не разговаривали, мы были голодны и счастливы, и глаза наши жадно вбирали величественную картину Дюн, а в ушах одновременно звучали рокочущий грохот прибоя и тихий свист ветра в траве над нами.

Перекусив, Ронан, Дорн и я снова отправились к морю. Оно было пустынно, как и берег. Ветер был таким сильным, что даже переговариваться удавалось, лишь с трудом разлепляя губы. Ближе к воде песок был слежавшийся, плотный, но из-за крутизны берега верхушки волн достигали человеческого роста, и ветер, срывая пену бурунов, развеивал ее в мелкую пыль, оседавшую на наших лицах. Мы прошли берегом к северу примерно милю и, оглянувшись, заметили догонявшую нас Дорну — маленькую, постепенно приближавшуюся фигурку на грани земли и моря. Ронан крикнул ей что-то, чего я не мог расслышать, и оба скрылись в дюнах. Сердце у меня защемило.

Изгибаясь к западу, берег становился менее крутым, и наконец мы с Дорном обогнули далеко и округло вклинившийся в море мыс. С его наружной стороны прибоя неистовствовал, и от рева его, казалось, можно было оглохнуть. За мысом мне наконец открылось то, ради чего Дорн привел меня сюда. Перед нами миль на семнадцать простирался еще один пляж — огромный полукруг плотного, ровного, нетронутого песка, безусловно, один из величайших пляжей мира, первозданно нетронутый и пустынный, если не считать маяка на дальнем его конце.

Мы вернулись той же дорогой, и, поскольку исчезнувшая пара так и не появилась, нам пришлось вдвоем нести обе корзины и бурдюк к «Антаре». Тени стали длиннее, ветер утих. Дорны и Ронана все еще не было. Наконец они вернулись. У Дорны горели глаза, а Ронан выглядел подозрительно спокойным и самоуверенным. Мы отплыли; ветер стихал, солнце плавно склонялось к горизонту. По небу протянулись бледно-розовые облака. Смуглый парус то просвечивал оранжевым в лучах солнца, то густо-лиловым в тени. В воздухе повеяло свежестью и прохладой; моя обожженная солнцем кожа горела, и я чувствовал, что счастлив.

В протоках ветра почти не чувствовалось, но течение прилива и предзакатный бриз быстро пригнали нас к каналу между островами Дорнов и Ронанов. Когда Ронан сошел на своей пристани, я перевел дыхание; теперь, не опасаясь соперника, можно было безмятежно отдаться движению лодки, скользкой в глубь уже знакомых болот. Мы с Дорной шли к дому вместе. Небо потускнело, последние закатные отсветы волнами расходились по нему. Появилась бледная луна; теперь, когда ветер совсем стих, воздух снова казался по-летнему мягким и

теплым.

Когда после ужина мы сидели у очага в столовой, снова будто потянуло осенней стылостью. И тем более благодатно было тепло очага. Дорн с дядей удалились в башню; Дорна, по-турецки скрестив ноги, сидела на полу, глядя в огонь и безвольно уронив руки на колени. Файна и я вели неспешную беседу.

Словно очнувшись, Дорна взглянула на меня и предложила пойти прогуляться. Я с радостью согласился, но прежде обернулся к Файне — спросить ее согласия, ведь час был уже поздний. Файна улыбнулась.

Мы вышли немедля, в чем были. На дворе оказалось неожиданно тепло и тихо. Легкий туман повис над болотами, рассеивая лунный свет и смягчая тени, но сама луна ярко и высоко блистала в небе.

— Давайте немного помолчим, — сказала Дорна, — даже если вам и хочется говорить.

— Мне нет, а вам?

Она не ответила.

Мы шли по длинной буковой аллее. Черные тени ниспадали с ветвей. Дорна мягко, молча шла рядом упругой походкой, слегка покачивая бедрами. Мы подошли к стене, ворота которой вели на луг, и Дорна, не говоря ни слова, вышла; я последовал за ней. Под открытым звездным небом было светлее, туман, слишком редкий, чтобы скрывать очертания предметов, шафраново светился. Дорна беззвучно шла по мягкой луговой траве. Она смотрела прямо перед собой — подбородок вздернут, глаза чуть прищурены — и глубоко дышала, с жадностью впитывая нежный ночной воздух.

Вдруг все, меня окружавшее — и сама Дорна, и лунный свет, незнакомое место, и, главное, необъятно раскинувшаяся кругом Островитания, — показалось обманчивым видением. Я не имел права забывать, что я — американец, что рано или поздно вернусь в Соединенные Штаты, и все эти странные, одинокие и неприкаянные дни — лишь эпизод в моей жизни. В такую погоду у нас дома уже начинается футбольный сезон. Мне зримо представилась знакомая многоцветная толпа на матче Гарвард — Йель; я вновь почувствовал запах табака, увидел, как пышная струя дыма из трубы паровоза тянется над крышами салон-вагонов, вспомнил, что ощущаешь, когда приходишь выбрать новую шляпу у Коллинза и Фэрбенкса, вспомнил вкус индейки за обедом в День благодарения, танцы, лица друзей, знакомые вальсы...

Дорна ступала абсолютно бесшумно, как призрак. Там, дома, сейчас весна; здесь — осень. Времена года перепутались. Вдруг перед нами темными пятном возникло стадо. Коровы мотали низко опущенными головами.

На фоне неба вырисовывалось нечто диковинное. Это была ветряная мельница. Ее длинные крылья застыли неподвижно; чернела приземистая башня. Впереди блестела вода запруды, через нее был переброшен узкий дощатый мостик. Вслед за Дорной я поднялся на плотину.

Девушка открыла дверь, но медлила входить. Вместо этого она опустилась на низкий порог, прислонилась к косяку двери и знаком пригласила меня сесть напротив. Я послушно занял указанное место и взглянул в залитое лунным светом лицо Дорны. Но она глядела мимо меня, на восток, молчала, а я напряженно, но безуспешно пытался найти хоть какой-нибудь, самый пустячный повод для разговора.

Ее лицо, теплое, несмотря на лунную бледность, было прекрасно и просто. Черты расслабились. Чуть запрокинутая голова покойно прислонена к косяку. Я не мог отвести глаз от Дорны; сердце мое сильно билось — такой красивой и призрачной она мне казалось. Я чувствовал, что не могу настроить ее на простую дружескую болтовню, вызвать столь знакомое приятельское расположение. Однако рука ее лежала на колене, ладонью кверху, пальцы были чуть согнуты. Мне захотелось взять эту руку, как вчера, и уже не выпускать ее, но у меня не

хватило смелости. Девушка была неподвижна, но глаза горели. Она медленно и пристально взглянула на меня, не позволяя мне отвести взгляд. Это длилось несколько минут. Глаза Дорны, блестящие, немигающие, внимательно изучали меня. Словно сама луна глядела на меня ее глазами, и я не мог противиться, ничего не мог утаить от этого взгляда. Я видел одни только глаза Дорны и болезненно чувствовал, как все глубже и глубже проникают они в мою душу, извлекая его потаенную суть, оставляя меня опустошенным, дрожащим и слабым.

Вдруг, довольная, словно наконец добившись своего, она снова устремила взгляд на луга. Глаза ее сузились, мои же — нерешительно скользили по ее лицу. Не поворачиваясь ко мне, Дорна улыбнулась той странной, нечеловеческой улыбкой эльфа, бесстрастной и лишенной малейшего участия ко мне.

— Джон, — произнесла она, обращаясь больше к себе, причем получилось у нее скорее «Дзон», словно она немного шепелявила. — Джон Ланг. Ланг.

— Да, — отозвался я, — меня и вправду так зовут... А вы... Дорна.

— Да, я Дорна — для всех, — сказала девушка низким, грудным голосом. — А вы только для немногих Джон, а для остальных — Ланг.

— Джоном меня зовут друзья и домашние. Вы сказали, что мы тоже можем подружиться.

— Да, конечно, но так непривычно называть вас Джон. У вас и правда такой обычай? Ведь я всего лишь сестра вашего друга.

— Да, у нас такой обычай.

— А я чувствую по-другому и боюсь следовать вашим обычаям, которых не знаю, после... после вчерашнего.

— Этому обычаю можно следовать смело... Мне бы этого хотелось. Спросите у брата, спросите.

Она слегка пожала плечами.

— И не думайте, что я выйду за вас замуж! — вдруг воскликнула она, прямо взглянув мне в лицо, и, когда смысл ее слов дошел до меня, я почувствовал, что едва могу говорить.

— Может быть, но я... не бойтесь!

Мне хотелось успокоить ее, но слова девушки причинили мне боль, уже очень знакомую, хотя и намного более глубокую, чем бывало.

Она опустила глаза.

— Может, вы и не хотите на мне жениться, — сказала она. — Ах, мне ли не знать, какая я!.. Но может быть, вам этого хочется, вот чего я боюсь! И уж если об этом говорить, то лучше начать с самого начала.

Но почему она боялась?

— Вы предупредили меня, — сказал я с расстановкой. — Сделать это было нелегко. И вы ничего мне не объяснили. И все же я благодарен вам, Дорна. Ваш брат говорил мне примерно то же самое. Я не смогу остаться здесь навсегда, а островитянка никогда не будет счастлива в Америке.

— Ах, — воскликнула Дорна, — все гораздо серьезнее!

И я снова подумал: неужто я так глуп, что ничего не понимаю?

— Я хотела сказать — для меня, — добавила девушка.

Я взглянул на нее; она отвела глаза, и я несколько успокоился.

— Что бы я ни делал, вам нет нужды бояться и переживать, Дорна.

— Джон! Если бы речь шла только о моем страхе, я не стала бы заводить этот разговор.

Я почувствовал себя уязвленным.

— Ничего не понимаю! — воскликнул я. — Я еще раз повторяю, что благодарен, но...

— Я думала о вас.

— Дорна, — сказал я, — неужели я не достоин того, чтобы меня полюбила островитянка?

— Не знаю, — поспешно ответила девушка.

— Так вот, значит, в чем причина!

— Никаких причин я вам не называла и не назову. Ах, поверьте мне, Джон!..

— Дорна, вы совсем не похожи на девушек, которых я знал. Тех, мне казалось, я понимаю. Возможно, вы думали обо мне. Я благодарен вам, но вспоминать о ваших словах мне будет не очень приятно.

Моя краткая речь показалась мне достаточно справедливой и в то же время лестной; по крайней мере, она давала девушке возможность смолчать, чего она явно хотела. Но мне не терпелось выслушать ее объяснения, и я ждал, в надежде, что она смирится и изложит свои причины.

— Мне жаль, — начала Дорна, и теплые нотки в ее голосе успокоили меня; но девушка вдруг умолкла. Лунный свет струился на ее бесстрастное, красивое юное лицо. И я понял, что мне не узнать — сейчас, а может быть, и вообще никогда, — в чем же она видит мои недостатки. Да и настаивать, как я настаивал в разговоре с Наттаной, я не мог.

После паузы Дорна спросила, как мне нравится мельница, и я заставил себя мысленно переключиться и заговорил о том, что эта мельница, должно быть, очень старая, одно из тех мест, куда хорошо приходиться, чтобы побыть одному. Мельница действительно оказалась старой, ей было четыреста двадцать семь лет, и построили ее, когда род Дорны переживал тяжелые времена. Она полностью сохранила свой внешний вид, хотя многие деревянные части заменялись почти каждый год и оседавший фундамент тоже приходилось подновлять.

— Так что судите сами, та же это мельница или уже другая? — спросила Дорна с улыбкой, и что-то подсказало мне, что вопрос с подвохом и не следует воспринимать его слишком буквально.

Я сказал, что, по-моему, мельница та же, потому что самое важное не то, из чего она сделана, а польза, которую она приносила своим хозяевам, и то, как они сами ее воспринимали. Дорна подтвердила, что мельница работала постоянно: вода, просачивавшаяся через плотину или собиравшаяся в дренажных канавках пастбищ, перекачивалась в протоки на болотах, так что и зимой, и летом, в ветреную и безветренную погоду ей почти не приходилось простаивать.

Сюда приходила она, когда была еще ребенком, да нередко и сейчас, потому что место и вправду было уединенное, тихое и отсюда можно было наблюдать за судами, причаливавшими к острову или следовавшими далее по Эрну. Долгое время она хранила в одном из укромных уголков мельницы, подальше от подвижных частей ее механизма, ящичек с безделушками.

Пока Дорна говорила, налетевший порыв ветра заставил длинные крылья мельницы шевельнуться, и они начали вращаться, постепенно набирая ход. Через несколько минут послышался равномерный плеск воды. Дорна закрыла глаза, и лицо у нее стало отрешенным и беспомощным, как у слепой. Что-то дрогнуло у меня в глубине души.

Бежали минуты. Журчанье воды убаюкивало. Дорна сидела, по-прежнему не открывая глаз, прислонившись к дверному косяку и безвольно уронив на колени руки ладонями вверх. «Что же было не так? — невольно задумался я. — В чем моя ошибка? Почему эти люди постоянно ото всего меня предостерегают?» И вдруг я подумал: а не флиртует ли со мной Дорна, пусть и наполовину того не сознавая, как это делала раньше Наттана? Я чувствовал, что еще немного, и я рассержусь на эту девчонку, которая сидела передо мной с закрытыми глазами, столь вызывающе беззащитная.

С досады я встал и обошел мельницу кругом. Вода, журча и всплескивая, бежала по каменному желобку в темный проток вниз. Я присел. Сейчас мне было хорошо одному. Передо мной острым углом лежали темные леса на восточной оконечности острова Ронанов, который в

лунном свете был похож на черное спящее чудище. Впереди светился белый треугольник вежи. Я прислонился к каменной стене мельницы и закрыл глаза, решив, что пусть уж сама Дорна позовет меня.

Не знаю, сколько прошло времени, но, должно быть, немало, прежде чем я услышал тихое «Джон» и понял, что это окликают меня, причем уже не в первый раз. Я вскочил и обогнул башню. Дорна поднялась мне навстречу.

— Сыро, — сказала она. — Пойдемте домой.

Я улыбнулся, и она внимательно посмотрела на меня.

— Я не могу взять свои слова обратно, — торжественно заявила девушка, — но мне жаль, Джон.

Глядя на нее, я чувствовал себя растерянным.

— Ничего страшного, — сказал я. — Вполне возможно, вы и правы.

— Я хочу, чтобы вы были счастливы в Островитянии.

— И я буду, — сказал я ласково.

— Я не хочу, чтобы вам совсем не пришлось страдать, — добавила Дорна, — но и не хочу, чтобы вы страдали слишком. Главное, мне хотелось бы стать вашим настоящим другом. Помните об этом, Джон.

— Это очень-очень важно для меня, — ответил я, — и я хочу, чтобы вы тоже поверили в мою дружбу.

— Я верю вам, — сказала Дорна после минутного раздумья. — А теперь пойдемте. Я совсем закоченела.

Обратно мы шли лугом. Глядя на молчаливо шагавшую рядом Дорну, я без конца задавался вопросом, смогу ли я ее полюбить или, может быть, уже люблю, — и не находил в своем сердце, в биении крови ясного ответа, настолько все в ней — ее безыскусная прямота и суровость, ее красота — было непохоже на то, с чем я сталкивался раньше.

Мы подошли к двери дома и, стоя в темноте, помедлили, прежде чем войти.

— Как замечательно, что вы пригласили меня на эту прогулку, — сказал я.

— Это было проявление любви (*амия*). То, что я чувствую там, на мельнице, так важно для меня, что я могу пойти туда не с каждым.

Она резко умолкла и, уже переступив порог ярко освещенной комнаты, обернулась и добавила:

— Я подойду чуть попозже. Думаю, дядя и брат захотят потолковать с вами.

Она слабо улыбнулась и ушла наверх. Я же повернул налево, в сторону «круглой» залы.

В центре ее горел очаг, но вместо двоих мужчин, которых я ожидал увидеть, в комнате находились трое. Третьим был высокий худощавый человек лет пятидесяти пяти, с мягким овалом лица; крупный рот обрамляли густые, щетинистые усы, спускавшиеся к скошенному подбородку. Светло-карие, как и у лорда Дорна, глаза глядели из-под мохнатых бровей. Его внешность казалась почти гротескной, карикатурно повторяющей черты хозяина дома, и тем не менее лицо незнакомца светилось умом и добротой, глаза глядели пронизательно и не без лукавства.

— Дорн из бухты Грейз, — представился незнакомец с улыбкой, пленившей меня, но и едва не заставившей рассмеяться. Я тоже назвался и занял свое место у очага.

Не успело пройти и нескольких минут, а я уже знал, что передо мной родственник моих хозяев по боковой ветви, что он тоже принадлежит к знати, третий сын в семье и служит судьей. Он направлялся в Доринг на судебное разбирательство, проездом из Виндера — города на фьорде, столицы одной из южных провинций — и остановился у Дорнов на ночь.

Назавтра все мы вчетвером должны были отплыть в Доринг, а мое возвращение намечалось

на шестое апреля. Договорились, что Дорна встретит меня в Доринге на своей лодке и отвезет на Остров, и это сразу представилось мне венцом ожидающего меня путешествия.

Мы продолжали обсуждать кое-какие мелкие подробности, когда вошла Дорна с бумагой в руках. Сначала она передала ее своему двоюродному деду, а когда тот прочитал ее — мне. На толстом, негнущемся, как пергамент, листе черными-пречерными чернилами была изображена схема дороги, по которой мне предстояло добраться до дома лорда Фарранта, и указаны особо сложные участки, а также места ночевки. Дорна живым, забавным языком объяснила, как пользоваться схемой. Я поблагодарил ее от всего сердца, а она глядела на меня растроганным, умоляющим взглядом. Потом, резко повернувшись, вышла.

На следующее утро мы выехали в Доринг, и, проведя там ночь, я отравился, уже в одиночку, к Фарранту. Путешествие мое было небогато событиями, и я выполнил все в точности так, как мы и рассчитывали с Дорнами.

Посещение лорда Фарранта — конечная точка моего путешествия — в его древнем, стоящем на скалистом берегу океана замке произвело на меня в некотором роде удручающее впечатление. Лорд Фаррант был уже очень стар и слаб, но его черные глаза горели, и для человека, стоящего на краю могилы, он казался вполне довольным жизнью. С торжественной учтивостью — хоть сам он и поддерживал Дорнов — лорд выслушал мои рассуждения на политические темы, в частности, о том, что такая высокоцивилизованная страна, как Островитяния, в нашем, все более тесном мире не сможет избежать торговых контактов. Потом он поведал мне историю своего рода, девять веков прожившего на одном и том же месте, блюдя *танридуун* между Фаррантами и Дорнами. За этими неприкрашенными фактами, однако, стояло нечто столь древнее и могущественное, что ошеломило меня. Трудно выразить это словами, но старый лорд Фаррант дал мне ясно почувствовать, что и сам он — реальная часть великого наследия, понять и оценить которое в полной мере я не мог.

Все две недели, проведенные в пути, меня снедало лихорадочное нетерпение, а последние дни и вовсе казались бесконечными.

Было уже темно, когда я подъехал к переправе Доринга. Желтые огни города дрожали в воде, как отражения догорающего фейерверка. Паром подошел не сразу. Фэк стоял, понуриив голову. Чувствовал себя вконец уставшим.

Часом позже я препоручил Фэка конюшему, взвалил на плечи суму и по крутой улице поднялся ко Дворцу — официальной резиденции Дорнов в Доринге. Никем не замеченный, я прошел в свою комнату, переоделся, выкупался и отправился разыскивать хозяев дома. Когда я вошел в гостиную, у меня перехватило дыхание: перед очагом сидела Дорна, просто одетая, с гладко зачесанными назад волосами, именно такая, какой я ожидал ее увидеть.

Дорн был в отсутствии; судья уехал в Верхний Доринг, и, кроме Дорны и старого лорда, в доме никого не было. Оба неподвижно сидели перед очагом и молчали. Лорд Дорн ласково приветствовал меня и отправил Дорну распорядиться насчет моего ужина. Проходя мимо меня, она взглянула мне в глаза с уже знакомым выражением.

После ужина в одиночестве я вновь присоединился к тихо сидящей перед пылающим очагом паре. Оба словно скрывали от меня какую-то тайну, и невозможность открыть ее мне заставляла всех нас держаться скованно и неловко. Сверхъестественный покой большой темной залы действовал на мои и без того напряженные нервы. Я чувствовал, как неведомые силы, обступив со всех сторон, безмянные и незримые, давят на меня, а собственный голос казался мне чужим. Я подробно рассказал лорду Дорну и его внучке о своих путевых впечатлениях.

В первую нашу встречу с лордом Дорном я, сравнивая его с лордом Морой, усомнился в его величии и способностях. Теперь мое представление об этом человеке пополнилось новым качеством из тех, которые обычно не принято учитывать при оценке двух государственных мужей, но тем более неотвязно мысль о нем вращалась в моем мозгу.

Дорна, по обыкновению резко и молча, вышла, оставив нас наедине. Перед этим лорд Дорн успел сказать, что наш отъезд намечен после завтрака, поэтому нет нужды подниматься слишком рано.

Вернувшись к себе, я лег в кровать, стараясь сосредоточиться на своих смятенных чувствах. Единственное, что я мог бы о них сказать, — это то, что я действительно испытывал их и что они определяли мое отношение к Дорне, непохожее на то, что мне доводилось раньше переживать. И само это отношение также было совершенно реально — простое и ясное, без ореола загадочности; не принося с собой ни счастья, ни несчастья, оно давало ощущение напряженной полноты бытия. И, даже погружаясь в сон, я не переставал явственно чувствовать в себе его отчетливое присутствие.

Когда я проснулся, в комнате было светло, но не потому, что солнце взошло уже высоко, — легкие белые облачка светились в небе, рассеивая лучи еще невидимого светила. Свежий теплый воздух лился в окно. Вода в далекой реке слабо блестела. Я умылся и оделся с величайшей тщательностью: день, которого я так ждал, наступил. Ветер был несильный, и в этом я тоже увидел добрый знак: стало быть, мы не так быстро доберемся до Острова.

Все уже позавтракали. Слуга сказал, что лорд Дорн хотел бы попрощаться со мной перед отъездом и что Дорна уже ждет меня в лодке, готовой отчалить, как только я появлюсь. Наскоро проглотив завтрак, я отправился на поиски хозяина дома, которого и нашел в его кабинете, в юго-западном крыле дома. Старый лорд разговаривал с полудюжиной незнакомых мне мужчин, но, увидев меня через приоткрытую дверь, вышел ко мне. Я сказал, что отбываю, и выразил признательность за добрый и радушный прием.

Лорд сдержанно, но приветливо улыбнулся.

— Мы все любим вас, Джон, чувствуем к вам то, что у нас называется *амия*. Мы рады, что теперь вы — один из нас. Помните, что вы всегда можете приехать к нам и остаться в нашем доме сколько пожелаете. И не ждите специальных приглашений. Вы ведь знаете, что значит для островитянина *танридуун*.

Он сделал небольшую паузу и продолжал:

— Я совершенно уверен, что лорд Мора воспрепятствует тому, чтобы ваша поездка на перевал Лор с моим племянником была превратно истолкована. Советую вам нанести лорду Море визит как можно скорее. И поездите по другим провинциям.

Я неловко пробормотал слова прощания и вышел на залитый мягким светом двор.

Наконец-то!

Мою поклажу уже успели отнести в лодку. Я сбежал вниз через сад — он был прекрасен; сердце мое билось. За открытыми воротами виднелась зеркальная гладь воды. Выйдя на причал, я увидел лодку Дорны; парус на ней был уже поставлен. Девушка сидела на палубе, совершенно неподвижно, невозмутимо и спокойно ожидая. Завидев меня, она медленно поднялась мне навстречу.

— Поднимайтесь на борт, — сказала она сонно.

Я повиновался. Мы отчалили, и по просьбе девушки я стал на носу лодки.

— Не знаю, куда и плыть, — продолжала Дорна. — Ветра нет и не будет. Впрочем, все равно! А вы как думаете?

— И мне все равно.

— Скучно было бы весь день кружить вокруг Доринга, но, может быть, отлив отнесет нас назад. А потом...

Она подошла к румпелю, налегла на него, и лодка медленно развернулась.

— Мне нравятся болота. Может, и вы их полюбите.

Мы сели рядом. Дорна откинулась назад, прислонившись к комингсу и кончиками пальцев касаясь шара на рукоятке румпеля. Медленно, очень медленно отплывали мы от причала; парус провис, и только редкий всплеск доносился из-за носа шлюпки.

Так начался день.

Надводная часть лодки составляла в длину порядка двадцати одного фута, а всего — около двадцати семи. Корпус был в несколько слоев покрыт темно-коричневым лаком. Доски палубы были, однако, некрашенные. Комингс, как и два изогнутых рангоута, выступающих посередине над бортами — там, где была установлена мачта с развилкой, — был окрашен в белый цвет. Мачта была покрыта лаком, а большой светло-желтый парус выкроен из очень тонкой и мягкой ткани, не парусины, а скорее всего льна или шерсти. Как и всем островитянским судам, такие изысканные паруса придавали нашей шлюпке нарядный вид. Посреди палубы был люк, и лестница вела вниз. Спереди и сзади от люка висели два фонаря. Все это, а также якоря на носу, кошки и свернутый кольцами канат составляли весь такелаж. Надводный борт в своей центральной части поднимался по меньшей мере фута на два, но к корме и носу был выше. В переводе на английский суденышко называлось «Болотная Утка», и поскольку Дорне нравилось, как звучат эти иноземные слова, нравилось произносить их, то и я привык называть его так.

Волосы Дорны были зачесаны назад так туго, что, казалось, оттягивали веки. На ней была светло-оранжевая полотняная, открытая на груди блуза с широким воротником, а юбка — цвета паруса, но из более тонкой материи. Юбка была широкого кроя, но довольно короткая. Поверх блузы была надета длинная безрукавка из белого полотна. На босых ногах — кожаные сандалии. Мы сидели, вытянув ноги, и я мог хорошо разглядеть ее узкие, тонко выточенные, словно отполированные, лодыжки. Золотистый загар окрасил кожу, и тонкий голубой рисунок вен слабо просвечивал сквозь него.

Картина яркого неба постоянно менялась. Облака смешивали оттенки и формы, ни на минуту не оставаясь без движения, и весь этот блеск и сияние отражались в бледной воде, заставляя нас щуриться. Дувший с Острова легкий бриз — если его можно было назвать бризом — понемногу относил нас к выходу из маленькой гавани, но не дальше. Парус безвольно повис. А за нами парило в прохладной воде ступенчатое перевернутое отражение Доринга, каждой раскаленной солнцем стены, каждой цветочной клумбы, каждого дерева. Нельзя было сказать, вперед или назад мы движемся: медленно текли безмолвные минуты, мы описали круг, течение или прилив подхватывали нас и несли, то носом, то кормой вперед, так медленно, что, казалось, мы подолгу застаиваемся против каждого кусочка берега.

— У «Болотной Утки» есть такие длинные весла, — сказала Дорна, — и надо бы их взять, но я все время цепляюсь за них и падаю. Хоть бы отлив не начался, пока мы здесь.

Потом, в озорном порыве, она принялась бурно пенить воду рулем.

Мимо проплыл паром, управляемый двумя крепко сложенными перевозчиками, и наша лодка мягко закачалась на поднятой им волне. Пройдя мимо двух красивых арок, соединявших остров с остальной частью города, мы потихоньку подплыли к дамбе.

— Хорошо бы подойти поближе, — сказала Дорна, — и вы смогли бы притянуть нашу «Болотную Утку» на канате.

Произнося название лодки, она снова улыбнулась, в глазах промелькнула плутовская усмешка, и, спустившись вниз, вернулась, волоча из каюты доску, слегка изогнутую, футов трех в длину и дюймов шести в ширину. Дорна попробовала воспользоваться доской как импровизированным веслом, но ее слабых девичьих сил на это явно не хватало, и я взял доску у нее из рук.

Минуту спустя она подошла, наклонилась надо мной так близко, что я ощутил ее дыхание, и ласково и осторожно взяла у меня доску. Мы оба оказались на коленях, стоя друг напротив друга. Ни слова не говоря, Дорна продела кусок бечевы в отверстие доски.

— Дайте руку.

Я с любопытством протянул ей руку. Дорна привязала бечеву к моему запястью. У нее были очень красивые руки. Потом она взглянула на меня, широко открыв глаза.

— Если бы вы ее упустили, — сказала она торжественно, — мы бы уже никогда не смогли ее поймать.

Она ушла, и я перевел дыхание.

Работа была нелегкая, и я изрядно вспотел, но в конце концов «Болотная Утка», ведомая Дорной, подошла к дамбе вплотную. Мы медленно плыли мимо; Дорна держала веревку наготове. Я взобрался на комингс, и, когда мне удалось, держась за мачту, вспрыгнуть в одну из прорезей зубчатой стены, Дорна бросила мне конец веревки.

Прорези были неширокие, и я легко перепрыгивал с зубца на зубец. Так я тянул лодку за собой, а Дорна ее направляла. Всякий раз, как я оглядывался, она улыбалась мне. Она от души веселилась, да и я тоже — хотя и в поте лица.

Единственный по-настоящему сложный момент наступил, когда мы добрались до последних четырех башен. Дорна потянула за линь и свернула его в бухту, и пока я обегал вокруг башни, она уже была наготове и вновь бросала мне конец — по-девчоночьи, но сильно и ловко.

Сидевшие на стене рыбаки и праздно слонявшиеся без дела зеваки внимательно следили за нами с очень серьезным видом. Возможно, многим из них самим приходилось делать то же, а может быть, это была врожденная вежливость. Некоторых Дорна знала и приветствовала по имени, на что они отвечали ей, называя ее «Дорна».

Вскоре после того, как четвертая башня осталась позади, веревка натянулась. «Болотная Утка» двигалась теперь самостоятельно. Когда мы поравнялись, я спрыгнул на палубу, совершенно мокрый, но очень довольный. Здесь, снизу, у воды, тянуло легким восточным ветерком, и крепнущее течение отлива влекло нас вперед; вода тихо журчала у бортов.

Когда мы так же не спеша проплывали мимо нижней, юго-восточной оконечности Доринга, Дорна спросила, что мы будем делать дальше. Если пойти внутренним протоком, по которому обычно добираются до Острова, то нам предстоит путь всего в двадцать три мили, и прилив не будет особенно мешать нам, хотя вряд ли удастся поймать сильный ветер; если же выбрать южный проток, ведущий в болота, то ветер нам обеспечен, но и течение прилива скоро погонит нас вспять, причем путь до цели составит не меньше тридцати миль.

— Вам решать, — сказала Дорна.

Но что я мог решить?

— Я не знаю здешних вод, — ответил я.

— Так что же вы намерены делать?

— А вы, Дорна?

Она бросила на меня быстрый взгляд:

— Пойдем южным протоком. Вы его еще не видели.

Она повернула румпель, и нос лодки обратился к западу.

Болота начинались в трех четвертях мили отсюда; это была ближайшая земля. Мы медленно вышли на открытую воду — довольно большое пространство, несколько миль в длину и ширину. Северный берег порос лесом, на западе лес отступал в глубь земли, обнажая болотистый выступ.

— Тут хорошо плыть, — сказала девушка. — Ветра всегда достаточно, и волнение не сильное; вот если бы не прилив!

Пароход лежал на якорях — картина, настолько для меня привычная, что я почти не обратил на нее внимания. На глаз судно было водоизмещением около двух тонн, потрепанное непогодой, с не слишком большой посадкой, но явно с грузом. Что-то здесь было нечисто... ведь торговое судно не имело права...

Я спросил у Дорны, что это за корабль.

— Немецкий, — ответила она. — Он стоит здесь из-за поломки. Дедушка не верит, что у них и вправду что-то случилось, но лорд Мора разрешил им подняться по реке и встать здесь, пока не доставят необходимые части моторов. Они тут уже почти месяц. Команда спускает шлюпки и ловит рыбу. Вот все, что я знаю... конечно, дело не только в этом, но разве дедушка скажет!

Ее глаза сверкнули.

Мы приблизились на сотню футов. Перегнувшийся через леер мужчина в белом бушлате помахал нам рукой и крикнул что-то на ломаном островитянском.

— Вы поняли? — спросил я у Дорны.

— Он просит нас подняться на борт, — ответила она и крикнула, обращаясь к немецкому моряку: — Только не сегодня!

— Приплывайте еще, — крикнул он в ответ. — Непременно!

— Непременно нет! — выкрикнула Дорна.

Немец прошелся по палубе, восклицая что-то неразборчивое. Возможно, это были комплименты.

— Я хочу знать, что они здесь делают, — сказала девушка, когда мы отплыли достаточно далеко.

Ее разговор с мужчиной, явно заигрывающим с ней, совсем не походил на то, как вела бы себя в подобном случае американка. Странные они, эти островитянские девушки...

Солнце пригревало, и легкий ветер доносил со стороны ферм на востоке теплые запахи земли, покрывая блестящей рябью гладкую, как зеркало, водную поверхность. Шкоты напряглись, но парус по-прежнему вяло висел на мачте, и наша лодка двигалась медленно, хотя и уверенно. Дорна рулила, едва касаясь румпеля кончиками пальцев, полузакрыв глаза...

Я занялся расчетами. Из тридцати миль пути мы прошли две или три и двигались со скоростью трех миль в час. Была половина одиннадцатого... Значит, оставалось еще девять часов... До Острова мы доберемся к половине восьмого... Но скоро начнется прилив, а поскольку Дорна сказала, что ветра ждать нечего, то, скорее всего, мы будем на Острове даже позже.

Солнце и блеск воды утомляли глаза и притупляли мысли, и все же навязчиво яркая картина была неотступно передо мной: Дорна, вытянувшая голые скрещенные ноги в сандалиях, ее тонкие, полупрозрачные пальцы на румпеле, очертания ее фигуры на фоне голубой переливчатой воды и темной болотной зелени, то обращенное ко мне, то повернутое в профиль лицо, светящееся изнутри приглушенным оранжевым светом, и кожа, не дающая ни малейших бликов даже при ярком полуденном свете. Ее круто изогнутые темно-коричневые брови были прочерчены размашисто и легко, от гладко зачесанных, почти черных волос исходило золотистое сияние, а ресницы бросали тень на матово-смуглую кожу.

Бездумная, незамысловатая простота, с которой она зачесывала волосы назад, оставляя лоб открытым, была в ней единственным недостатком, но и это в конечном счете не имело значения. Чем дольше я смотрел, тем прекраснее она становилась, и я передвинулся и отвел взгляд.

Река сузилась; болотистый берег подступил вплотную к правому борту. Ветер усилился, и мы действительно наконец «шли под парусом». Теперь, пожалуй, мы вполне могли вернуться вовремя.

Но когда я вновь посмотрел на берег, то увидел, что мы опять стоим.

— Прилив, — раздался в пугающей тишине голос Дорны.

Время шло.

При взгляде на воду возникало впечатление, что мы движемся, но это радостное чувство сменялось унынием при виде неподвижной земли. И все же мы хоть и еле-еле, но продвигались вперед, и наконец вдалеке показалась каменная стена — единственный след человека на многие мили вокруг. Проток здесь был не больше четверти мили в ширину. Мы плыли, держась правого берега. Течение понемногу становилось быстрее, и, когда река вновь расширилась, наше движение ускорилось.

Через две-три мили ветер резко стих; брус, на котором крепился парус, со скрипом наклонился, и наше суденышко обернулось носом к берегу, а потом, развернувшись, стало против течения.

Дорна вскочила, бросилась вперед, всплеск — и не успел я опомниться, как якорь был брошен.

Потом, окинув быстрым взглядом берег, она стала выбирать лить, не разрешая мне помогать ей.

Хотя ветер снова поднялся, похоже было, что нам придется провести здесь часа четыре. Когда же мы все-таки доберемся до Острова? Возможно ли плыть по болотистым протокам ночью?

— Давайте поедим, — сказала Дорна и, с привычной ловкостью спустившись по лесенке в люк, скрылась из виду. Я последовал за ней.

Внутренность лодки была поделена переборками на отсеки, наподобие кают, и Дорна провела меня в крайний, кормовой. Он был не больше шести-семи квадратных футов размером и около пяти футов в высоту; по обе стороны тянулись скамьи, оставляя проход в три фута шириной. В дальнем углу был посудный шкаф, под скамьями стояли рундуки. Свет проникал сквозь круглые оконца и через открытый люк. Блики отраженного водой солнца плясали на потолке.

Встав на колени перед шкафом, Дорна вытащила три большие бутылки вина, с дюжину колбас (хотя и двух хватило бы, чтобы наесться до отвала), две большие, плотно закрытые банки с салатом, корзину фруктов, буханку хлеба и коробку печенья. Сидя на корточках, она разложила все это перед собой.

— Думаю, нам хватит, — сказала она.

— Пожалуй, даже чересчур.

— Ну, на три раза сегодня, но ведь еще и завтра надо будет чем-то подкрепиться.

У меня перехватило дыхание.

Дорна между тем отложила часть продуктов, убрала остальное, достала тарелки, вилки, ножи и стаканы и расставила все это передо мной. Мы ели, сидя на скамьях друг напротив друга.

— Как вы думаете, когда мы доберемся до Острова? — спросил я как можно более непринужденным тоном.

— Завтра к полудню, не раньше.

Наступила пауза.

— Почему у вас такой испуганный вид? — воскликнула Дорна. — Вам это неприятно?

— Нет, нет! Я рад, но я не знаю. Просто я удивился.

Я чувствовал, что Дорна пристально глядит на меня, но не решался поднять глаз.

— Что, неужели я опять чем-то вам навредила? — В голосе девушки прозвучала затаенная досада.

— Разумеется, нет, Дорна.

— Да, наверное, я думаю только о себе. Пожалуйста, скажите, если что-то не так! Мне

кажется, что иногда мы совсем не понимаем друг друга! Но брат вернется домой не раньше завтрашнего вечера. Конечно, мы могли бы добраться верхом до Эрна, там есть паром, но я специально поехала с вами на своей лодке и хочу вернуться на ней.

— Я тоже, Дорна! У меня и в мыслях не было ехать в Эрн.

— Это правда?

— Чистая правда!

— Но ведь вы не думали, что наша поездка так затянется?

— Не думал.

— А я думала. Но если бы вы знали — вы бы поехали?

— Конечно, Дорна.

— И все же что-то не так?

— Вовсе, нет!

Дорна вздохнула.

— Не думаю, чтобы дедушка и в самом деле был против, — задумчиво сказала она. — Он спросил, не кажется ли мне, что лучше поехать верхом. Я ответила — нет, ведь он не объяснил, что значит «лучше». Если бы он спросил, думаю ли я, что мы успеем вернуться сегодня же, мне пришлось бы сказать ему правду. Но он ничего не спросил, а потом сказал, что еды и питья на борту хватит. — Она подавила нервный смешок. — Интересно, что бы он сказал, если бы я напрямик заявила, что сегодня мы не вернемся.

— Я рад, что вы этого не сделали, — отважился сказать я.

— Правда? — воскликнула Дорна, подавшись вперед.

— Конечно!

— Я подумала — может быть, вам понравится.

— О да!

Я решил не говорить Дорне, что у меня дома такое поведение сочли бы неподобающим или даже неприличным. Но здесь, в Островитянии?.. Впрочем, может быть, мы проведем ночь на какой-нибудь из ферм на болотах? Я чувствовал, что совершенно не способен решить для себя, правильно ли то, что мы делаем.

Передо мной была совсем другая Дорна, и ее поведение смущало меня. Ведь она намеренно обманула деда. Мало того: вероятно, она уже давно привыкла потакать своим желаниям и привычка к подобного рода уловкам успела отравить ее душу? А то, что лорд Дорн не решился возражать внучке, еще раз подтверждало, что приличиям в Островитянии не придают такого уж значения.

Зыбь прилива покачивала «Болотную Утку», и вода всплескивала вдоль бортов. Почти весь день мы просидели в каюте, подложив под спины подушки, вытянув ноги.

Разговор шел о днях, проведенных братом Дорны в Гарварде, и я рассказал ей о том, чего она не знала: о трудностях, с которыми Дорн столкнулся на первом году, и об огромной славе, ожидавшей его впоследствии. В свою очередь, Дорна поведала о бурной деятельности брата после возвращения, связанной с поражением сторонников их семьи в борьбе против Договора, и сказала, что и брат, и дедушка оказались в тот нелегкий момент на высоте, действуя не менее решительно, чем их предок, Дорн XXV, в сороковые годы. Дорна говорила с чувством, и голос ее то и дело срывался, особенно когда она рассказывала, как не раз предлагала свою помощь, которую чаще всего отвергали. Откровенность девушки не могла не польстить мне. Я поинтересовался прошлым Острова. В ярких красках Дорна описала счастливую жизнь его обитателей в те времена, когда ее родители были еще живы, и какую мрачную тень набросила их гибель на весь дом. Дорн никогда не говорил со мной так свободно и непринужденно.

Потом Дорна захотела услышать о том, как я оказался в Островитянии; она села, скрестив ноги и откинув голову назад, — так что теперь мне было видно не столько ее лицо, сколько шея и вздернутый подбородок. Начав с самого начала, я стал рассказывать о том, как заинтересовался островитянским языком, о работе в конторе у дядюшки Джозефа. Дорна часто прерывала меня вопросами, и я, с удовольствием удовлетворяя ее любопытство, подробно рассказал о жизни Нью-Йорка. Но когда речь зашла о моем назначении и о предшествовавших ему испытаниях, я смутился, поскольку во всей этой истории мне выпала роль человека нерешительного и чуть ли не предателя по отношению к Дорну.

Девушка села прямо и внимательно следила за выражением моего лица, пока я рассказывал о своих переживаниях. Потом, приняв прежнюю позу, сказала, что, когда стало известно о возможном прибытии американского посла или консула, ее брат выразил желание, чтобы этим человеком оказался именно я, хотя и считал, что это маловероятно.

— Честное слово, вам нечего волноваться, — добавила она. — Неужели вы подумали, что он не хотел вашего приезда?

— Нет, — ответил я. — Он успел меня переубедить.

— Тогда из-за чего же беспокоиться?

— Вы считаете, я имел право приехать?

— Я?! — воскликнула Дорна, залившись румянцем. — Ну, а вы-то сами как считаете?

— Я не вполне уверен.

— Так будьте уверенней!

Это уже походило на упрек. Я тоже покраснел. Дорна закусила губу.

— Мы не понимаем друг друга, — сказала она, откидываясь на подушку. Впрочем, через минуту она улыбнулась так, что у меня сразу отлегло от сердца.

— Скажите, а что изменится, если мы начнем торговать с заграницей?

— Многое, — ответил я. — Боюсь, этого не объяснить в двух словах.

— Ну, расскажите хоть немного.

— Прибудут иностранные суда с товарами, — осторожно начал я.

— С какими?

Я упомянул сельскохозяйственные орудия, поскольку, работая у дядюшки, успел узнать кое-что об их назначении и стоимости, и обратил особое внимание на то, что ими можно пользоваться сообща, экономя при этом время.

— Труд фермеров станет продуктивнее, — сказал я.

— Почему он станет продуктивнее?

— Они смогут больше зарабатывать.

— Но какая от этого польза?

— Появится больше возможностей наслаждаться жизнью.

— Вы и вправду так думаете? Таких возможностей и сейчас хватает, Джонланг. Только не считайте, что это мои предрассудки. Вы говорите, эти машины сэкономят время. Отлично. Если ваши соотечественники хотят продавать нам машины, пусть продают именно те, которые сэкономят время. Тогда все будут рады!

— Что ж, я учту, — сказал я, вспоминая о планах дядюшки сделать меня представителем американских фирм в Островитянии.

— Нет, не надо! — сказала Дорна.

Мы еще долго обсуждали эту тему; потом девушка спросила, что я думаю о людях, добывающих концессии на разработку природных ресурсов, и каков механизм этих концессий.

— Предположим, что заключена концессия на разработку месторождения меди, — сказал

я, вспомнив о Генри Дж. Мюллере. — На рудниках будет добываться медь.

— И куда она потом пойдет?

— В основном за границу.

— Прощай тогда наша медь.

— Но за это будут платить, Дорна. И если рудник принадлежит какой-либо провинции, то деньги можно использовать на ее развитие. Откроются новые школы, библиотеки, новые красивые общественные сооружения, повсюду вспыхнет электричество, протянутся железные дороги, появится множество вещей...

Дорна попросила меня рассказать об этих вещах, и я покраснел до ушей.

— Но, может быть, люди и не захотят всего этого, — сказала девушка. — Конечно, проще нажать на кнопку, чтобы зажегся свет, но везде тогда будут эти провода...

Она вздохнула.

— Все имеет свои плюсы и минусы, — сказал я. — А к проводам вы быстро привыкнете.

— Никогда! — рассмеялась Дорна. — Это же настоящая паутина, того и гляди, запутаешься!

— На практике все это не так уж страшно, Дорна.

— Но нам не подходит. И я не вижу, из-за чего стараться. Допустим, мы делаем свечи. А тогда придется делать и провода, и эти штуки, которые горят, и строить специальные фабрики. Сколько работы!

— Но каждый сможет уделять больше времени чему-то одному.

Дорна пожала плечами:

— Ну и что?

— Работая над чем-то одним, достигаешь большего совершенства, становишься искуснее.

— Но меньше соприкасаешься с жизнью.

— Зато досуг увеличивается, и можно чаще соприкасаться с жизнью помимо работы.

— Досуга нам тоже хватает.

Ну что я мог на это ответить? Впрочем, Дорна и не дала мне времени придумать ответ.

— Значит, вы считаете, это хорошо, если человек, на земле которого случайно нашлась руда, разбогатеет?

— Конечно, здесь есть и отрицательная сторона, — согласился я, — но не надо забывать, что чем больше богатеют отдельные лица, тем богаче общество. Полученные деньги можно вкладывать...

— Во что? — перебила Дорна.

— В рудники, фабрики, производящие электротехническое оборудование, в железные дороги...

— Которые будут принадлежать иностранцам?

— Но и островитянам тоже.

— И эти люди будут становиться все богаче?

— Может быть. А могут и потерять свои капиталы. Часть предприятий будет разоряться.

— А зачем нужны предприятия, которые разоряются?

— Тут уж ничего не поделаешь, Дорна.

— У нас никто не разоряется, даже если случается оползень, ураган или недород. И все потому, что мы не беремся делать то, чего люди не хотят или к чему не готовы.

— Большинство предприятий, конечно, и не разорится. И работающие на них люди будут становиться богаче. И обязательно начнут основывать новые предприятия, и не только в Островитянии — повсюду... Но есть и другая сторона дела. Во многих странах, Дорна, тоже необходимы перемены. В мире так много нищеты. Капиталы, заработанные на тех же рудниках,

помогут бедствующим народам.

— Когда-нибудь рудники истощатся.

— Тогда можно будет начать новое дело.

— И так — пока из земли не выжмут все соки? И все новые сотни и тысячи людей будут жить, истощая земные богатства, сами обреченные на гибель, когда в мире ничего-ничего не останется.

— Нет, — сказал я. — Развиваясь, наука откроет новые источники.

— Мне кажется, это долгий и рискованный путь, — возразила Дорна. — Но в одном вы правы. Мы здесь должны учитывать, чего хотят люди в других странах. Если они хотят, чтобы мы играли с ними в их игры, то, пожалуй, нам придется им уступить, иначе у нас все отнимут силой. Но между нами и иностранцами слишком большая разница. Они никогда не станут заботиться о своих семьях, как мы. Мы, островитяне, заботимся не только о своих родителях, о своих бабушках и дедушках, о своих детях и детях своих детей, но и о тех, кто давно ушел, и тех, кто придет вслед за нами, о маленьких Дорнах и Лангах, которые будут жить через многие сотни лет после нас. Иностранцы не думают о том, как устроить мир так, чтобы их потомки были в нем по крайней мере не менее счастливы, чем они. Им не терпится затеять что-то новое, хочется каких-то ужасных перемен, и они совсем не думают, к чему могут привести их затеи, или слепо полагаются на удачу. Вот чем мы — некоторые из нас — отличаемся от них. Если тут все останется как было и нас не будут трогать, то жизнь здесь и через сотни лет будет такой же, как сегодня: а сегодня, когда вокруг все растет, когда каждый день новая погода, и столько прекрасных мест, красивых, как и прежде, и рождаются и растут новые люди, — нам и так всего достаточно, иногда даже слишком. Богатства нашей земли не исчерпаны и наполовину, и практически неисчерпаемы, — пока растут и сменяются поколения, и молодые люди учатся новому, и у них появляются новые идеи. Вот в чем для нас суть жизни, Джон, а новшества, которые предлагают иностранцы, — железные дороги, механические плуги, электричество — все это чепуха, за которую не стоит платить столь дорогой ценой, меняя всю нашу жизнь и ставя наших детей под угрозу разорения и гибели!

Голос Дорны то и дело прерывался, иногда она улыбалась, но вообще была очень серьезна. Мне даже подумалось, уж не специально ли это подготовленная и затверженная речь. Было волнующе видеть ее такой воодушевленной и сияющей.

— Вы полагаете, что Островитяния будет счастливей такой, какая она есть, — сказал я. — Но где же доказательства?

— Для нас это совершенно ясно; для нас, но не для Моры. И все равно — мы докажем свою правоту! Я уверена. Так что если хотите переубедить нас, Джонланг, то напирайте больше на то, как сэкономить время, а не на то, как делать деньги.

Уверенность Дорны в конечной победе их дела встревожила, даже испугала меня. Представив, что меня высылают из Островитянии, я почувствовал легкую дурноту.

— Что же произойдет, как вы думаете? — спросил я.

— Не знаю. Знаю только, чего мы хотим и что делаем, чтобы это произошло, — ответила Дорна, словно прочитав мои мысли. — Странно выходит, — продолжала она, — но мы боремся за то, что может стоить вам должности. Мы много об этом думали. Теперь вы понимаете, почему брат и я не хотим, чтобы вы слишком полюбили Островитянию или островитянку, что одно и то же.

— Одно и то же? — переспросил я.

Казалось, что вокруг неожиданно потемнело.

— Одно и то же, если она настоящая островитянка.

Слова Дорны больно задели меня.

— Предположим, я лишусь своего поста, — сказал я. — Может быть, тогда вы и ваш брат приедете в Америку.

— Маловероятно. Даже из-за вас мне не хочется туда ехать, хотя вы и заставляете меня думать об этом. Но вы можете еще раз навестить нас. По Сотому Закону вы имеете право приезжать к нам на год каждые десять лет. И мы не хотим менять этот закон. Вы всегда можете пользоваться своим правом в нашем доме, даже если оставаться в Островитянии дольше считалось бы противозаконным.

— Теперь мне многое ясно, — сказал я. — Вы с братом совершенно правы. Надеюсь, что, как бы мне ни хотелось остаться, я никогда не позволю себе преступить пределы дозволенного.

— Конечно, это невозможно! — воскликнула Дорна, словно удивленная, хотя в удивлении этом я почувствовал укор и понял, что был слишком жесток с ней.

— Вы должны исполнять свой долг консула, — добавила она. — Мы ничего не имеем против. Конечно, мы понимаем... Не хотите ли взглянуть, как там ветер?

Солнечный диск на западе просвечивал сквозь пухлые серо-белые облака. Стало действительно темнее. Болота по обе стороны были пустынные, и только милях в пяти к юго-востоку их ровная, плоская поверхность нарушалась низким рядом деревьев. Да на юго-западе виднелся вдаль поселок; но в северном направлении ничего не было, кроме вечной темной голубовато-зеленой плоской равнины, простертой под облачным сводом небес.

Исполняя просьбу Дорны, я прислушался к ветру. Ряби на воде не было, но легкое дуновение коснулось моей щеки. Пройдя на нос лодки, я потрогал якорный канат — он напрягся. Очевидно, начинался отлив. Дорна рассчитала время его начала с точностью до минуты; пока я стоял на палубе, «Болотная Утка» стала покачиваться, и, взглянув на северо-восток, я увидел, что по одному из каналов, милях в двух от нас, медленно, но не сбавляя хода, навстречу нам движется под раздутыми парусами судно, и вода за ним потемнела.

Подождав немного, я подошел к люку и сообщил результаты своих наблюдений Дорне.

Она вышла на палубу. Я поднял якорь, и мы двинулись на юго-запад, вниз по протоку. Было около пяти часов, солнце должно было сесть до шести. В своей борьбе с облаками оно мало-помалу одерживало верх, и длинные снопы ярких лучей пробивались в разрывы серой пелены; косо падая на болота, они заставляли траву вспыхивать темной зеленью. Воздух и вода просветлели. Ветер уже достиг нас, и теперь «Болотная Утка» двигалась быстрее. Учтывая, что скорость ветра была около трех, а течения — двух миль в час, я начал опасаться, что мы доберемся до Острова еще сегодня.

— Неплохо идем, — сказал я.

— К закату ветер стихнет, — откликнулась Дорна, и глаза ее вспыхнули. Сердце у меня забилося.

— Будь мы в Соединенных Штатах, Дорна, или если бы Островитяния не отказалась от иностранных новшеств, за нами послали бы моторную лодку и притащили домой на буксире.

— Я очень рада, что мы не в Соединенных Штатах.

— И все же — как насчет моторной лодки?

Дорна рассмеялась, но ничего не ответила.

Мы плавно скользили вперед, удаляясь от шедшего сзади более тяжелого судна. Пока светило солнце, было тепло, но стоило ему скрыться, как в воздухе повеяло влажной прохладой. Оставив меня у руля, Дорна спустилась вниз. Я слышал, как она ходила по каюте, но звуки долетали слабо, и я чувствовал себя одиноким — маленьким и одиноким под огромным куполом небосвода, посреди удручающе плоской бескрайней равнины. Темнота накатывалась словно волнами — так обычно гаснет свет в театре. Ветер стал крепче, и парус упруго раздулся. Мгновение было волнующее, ведь я правил судном сам, а сильный ветер, дувший сзади, мог

перебросить парус.

Неожиданно из люка высунулась голова Дорны.

— Джон, — сказала девушка, — ночью будет очень сыро. Огня на лодке разводить нельзя. Может быть, остановимся в поселке? Скоро будет ферма Аманов.

— А как вы думаете?

— Я спрашиваю вас.

— Нет, — ответил я.

— Хорошо.

Голова скрылась.

Чуть позже солнце, торжествуя окончательную победу, вырвалось из облачного плена и красным шаром повисло, касаясь горизонта. Отбрасываемый им оранжевый свет просвечивал сквозь парусину. Чешуйки ряби ловили отсветы заката, и по всей поверхности болот протянулись разноцветные стрелчатые блики. Я следил за тем, как сияние меркло; и, когда пылающий край светила скрылся за горизонтом, парус медленно окрасился в темно-голубой цвет.

Как и предсказывала Дорна, ветер стал стихать, рябь улеглась, вода уже не журчала так резко за бортом, и, несомые отливом, мы проплыли мимо двух темных, без единого огонька поселков, стоявших примерно в миле от протока. Тьма сгущалась. Берега неясно виднелись в сумерках; каждый поворот таил опасность, но вода продолжала слабо мерцать, и я вел лодку, стараясь держаться, насколько возможно, середины протока. Странный желтый отсвет, колыхаясь, протянулся от борта лодки; однако недоумение мое длилось недолго: это был свет, падавший из оконца каюты. И вправду потянуло сыростью.

Наконец появилась Дорна, едва различимая в темноте, и принялась осматривать берег; потом она встала к рулю, а я, по ее команде, отпустил шкоты. Мы подрулили к берегу, медленно свернули в смутно различимый канал, бросили якорь и не спеша убрали парус — две тени, движущиеся в темноте.

И когда мы привязывали снасти, мои озябшие пальцы коснулись ее руки, теплой, живой. Я продолжал работу, Дорна тоже. Но я почувствовал, что, если наши пальцы соприкоснутся снова, я уже не выпущу ее руки.

Наконец все снасти были принаитовлены, и Дорна, нырнув в люк, позвала меня за собой. Каюта была озарена слепяще ярким светом четырех свечей. Койка с моей стороны застелена мягкими одеялами. Я взглянул на Дорну, которая в этот момент закрывала люк; она распустила волосы, мягкими прядями стекавшие по скулам и щекам. На мгновение наши взгляды встретились, но девушка тут же, покраснев, опустила глаза. Она была поразительно хороша.

Мы поужинали почти в полном молчании. В каюте было тепло, горели свечи, а снаружи — под темным небом расстилались бескрайние мрачные болота. Вода изредка всплескивала у борта — единственный звук, нарушавший глубокую тишину. Мир застыл недвижимо. Лицо Дорны при свечах стало умиротворенным и милым, взгляд темных глаз — дремотно-отрешенным, черные ресницы полуприкрытых век резко выделялись на фоне гладкой матовой кожи. Покой, исходивший от Дорны, мирная тишина каюты и ночи подчиняли меня себе, и я едва решался нарушить их словом и соизмерял каждое свое движение, боясь произвести шум.

На душе было покойно, и все же радостный и плавный поток моих чувств то и дело разбивался о сознание странности нашего положения — так ровно текущий ручей разбивается о выступ скалы. То, что мы оказались наедине, ночью, на этом суденьшке, в Островитянии могло и не восприниматься как нечто неприличное, однако я помнил, как смущена была Дорна, передавая мне свой разговор с дедом. Но одеяла были расстелены на двух койках, словно Дорна намеренно давала этим понять, что мы будем спать отдельно! Значило ли это, что от меня

требовалось проявить твердость и заявить, что я лягу в другой каюте и даже, если это потребуется, прямо на жестком полу? Или Дорна сама собиралась это сделать? Тогда — обязан ли я буду ей помешать? Как просто все это было бы там, дома...

В какой-то момент у меня даже закружилась голова, настолько я был сбит с толку и почти перестал понимать, где я все-таки нахожусь. Дорна сидела застыв, с полуприкрытыми глазами и казалась похожей на раскрашенную куклу. Нет, все здесь было не так, как дома, в Америке. Темные, болотистые равнины обступили меня со всех сторон...

— Знаете, Дорна... — сказал я.

— Что? — спросила она низким голосом.

Теперь разговора было не избежать.

— Я все думаю... Похоже, вы совершенно уверены, что ваша партия победит.

Дорна посмотрела на меня, взгляд ее оживился. Она кивнула.

— Но ведь за лорда Мору в Совете — большинство, — сказал я.

Дорна окончательно проснулась. Широкая улыбка обнажила ровные белые зубы.

— Сейчас я вам все расскажу! — с воодушевлением сказала она, заявив, впрочем, что прежде надо убрать на столе, и отклонив мое предложение ей помочь. Она быстро и легко двигалась по каюте, на лице появилось выражение затаенного веселья, щеки разругнулись. Я сидел в тревожном ожидании, терзаемый сомнениями.

— Раз уж предстоит разговор, надо устроиться поудобнее, — сказала Дорна, закончив уборку, и уселась на койке, скрестив ноги и подложив под спину подушку.

Первое голосование, в результате которого Мора был уполномочен заключить договор с Германией, совсем не удивило лорда Дорна. Война шла успешно; многие считали, что лорд Мора — самый подходящий человек, чтобы довести ее до победы и подписать мир. Двоюродный дед Дорны, лорд Дорн XXVI из Нижнего Доринга, Марринер XV из Виндера, Фаррант XII из Фарранта (тот самый, у которого я гостил), Сомс XI из Лории и Файн II из Островной провинции (все — непоколебимые сторонники политики Дорнов), а также Хис IV из Верхнего Доринга, Дазель III из Вантри и Дрелин IV из Дина — всего девять человек — проголосовали против того, чтобы доверить лорду Море право подписывать мирное соглашение. Лорда Мору поддерживали Келвин IV из Города, Роббин II из Альбана, Бейл XI из Инеррии, Борденей V из Броума — самые верные союзники Моря, а кроме них — Бенн из Каррана, Тоул из Нивена, Фарнт из Герна, Дакс из Доула и, к великому разочарованию лорда Дорна, Стеллин V из Камии и Бодвин VI из Бостии, то есть всего на два человека больше. Так что, если считать лордов провинций, перевес лорда Моря был минимальным. Но, разумеется, сторонников Моря поддерживало большинство военачальников: лорд Дазель II, маршал; генералы — Бодвин VI, Эрн II, Бранли; а также большинство лордов-судей: Белтон XVII, верховный судья, и судьи — Гранери V, Торн V и Чессинг. Таким образом, считая и проголосовавшего за Мору короля Тора XVII, число его сторонников достигало двадцати.

Впрочем, как сказала Дорна, из всех них только Эрн II был бесповоротно предан лорду Море. С другой стороны, девять голосов, отданных в пользу предложения лорда Дорна, могли превратиться в четырнадцать, если прибавить к ним голоса командующих флотом: адмирала-командора Дорна IV, командора Марринера II, а также судьи Дорна III, генерала Сомса. Все они были решительно настроены против планов Моря, и только, пожалуй, судья Дорн продолжал колебаться в выборе.

За время между тем и последующим голосованием, утвердившим дополнительные пункты Договора об открытии в Островитянии иностранных представительств, Дазель II умер, Бодвин VI стал маршалом, а Мора, брат премьер-министра, произведен в генералы, на место покойного Дазеля II; Сомс XI умер, и вместо него лордом провинции избрали Сомса XII. В результате ряды

сторонников Моря пополнились всего одним, хотя и ревностным адептом.

Трое из поддержавших лорда Дорна склонились на сторону Моря при последнем голосовании; и не столько потому, что верили в правильность предложенного договора, а потому, что чувствовали: раз уж лорд Мора добивается заключения соглашений, стало быть, их нужно поддержать и одобрить. Эти трое были — судья Дорн III, а также Дрелин IV и Дазель III.

С тех пор партия лорда Дорна продолжала нести все новые потери. Генерал Сомс ушел в отставку, и его место занял Броум XIII, скорее, склонявшийся на сторону Моря.

Дорна все больше оживлялась. Казалось бы, никакого просвета? Нет, погодите! Дрелин, Дазель III, судья Дорн, Стеллин и Бодвин из Бостии — все были, скорее, против внешней торговли. Одно это могло принести лорду Море перевес в три голоса. Нет, нет, погодите! Под вопросом оставались позиции генерала Бодвина, Гранери и Белтона. Примкни двое из них к Дорнам — и победа! Если к Дорнам примкнет только один, тогда уравнивать голоса может король, а чтобы проект Моря прошел, нужно большинство!

— В общем, не так уж все беспросветно, — заключила Дорна.

Однако я продолжал настаивать: но ведь и кто-то из сторонников Дорна может примкнуть к партии Моря, или король — проголосовать за Договор.

— Кого больше поддерживает король? — спросил я.

Дорна бросила на меня быстрый взгляд и рассмеялась:

— Не знаю, но он никогда не поступит, как его отец, и не будет голосовать по указке Моря. Он не такой!

Неожиданно король перестал быть лишь фигурой в политической игре. Реакция Дорны заставила меня вспомнить все, что говорили барышни Перье и Дорн. Горящие глаза девушки глядели на меня в упор.

— Ваш брат говорил мне, что король хорош собой и опасен для женщин.

— Да, да! — воскликнула Дорна, всплеснув руками. — Второго такого нет. Мы все чувствуем *апиату* к Тору.

Слово «*апия*» означает чувственное влечение. Так мне казалось. И, безусловно, Дорна употребила его в уменьшительной форме. Меня бросило в жар.

— Он к нам — тоже, — быстро добавила Дорна, словно пытаясь загладить впечатление от сказанного, и стремительно продолжала: — У него теперь есть такая возможность! Отец его и правда вел себя глупо, в отличие от матери. Почти все Банвины — люди очень умные, хотя и немного ветреные. И он тоже умен. Вот только как он этим умом распорядится? Последнее время он водит дружбу со Стеллином и исполняет лишь то, что от него требуется, не больше. Никто не знает, что волнует его на самом деле... никто, кроме нас. Похоже, он любит нашу семью... Да, ему нравятся высокие горы и дальние острова. Ему нравятся опасности. Он всегда появляется на нашем острове нежданно — то по пути в Феррин, то в Керн, то в Карнию, то в горы, то еще куда-нибудь.

Итак, король бывал на острове Дорнов, и ему действительно нравились девушки, а девушки чувствовали к нему *апиату*.

— Хисы говорили, что он приезжал к ним со Стеллином, их двоюродным братом.

А может быть, и Дорна приходилась им кузиной?

— Хотя он ездит к ним вовсе не из-за дружбы со Стеллином, — сказала Дорна резко.

— Мне кажется, он заезжает повидать Некку, — начал было я, но запнулся, неуверенный, имею ли я право вмешиваться.

— Очень похоже. — И Дорна быстро сменила тему: — Как вам понравились Хисы?

— Очень понравились.

Девушка остановила на мне долгий взгляд, потом сказала:

— Тор бывает на Острове три-четыре раза в год. Думаю, в основном чтобы повидаться со мной. Поразмыслите над этим, Джонланг. Только не воображайте, что я собираюсь за него замуж.

Я протестующе засмеялся, не зная, как отнестись к подобной прямоте, и все же испытал огромное облегчение.

— И вообще не собираюсь, — добавила она. — Пока.

Мы помолчали.

— А вы, Джонланг? У вас есть невеста?

Передо мной моментально промелькнули образы моих американских подружек, Наттаны и самой Дорны. Что я мог ответить?

— Нет, — сказал я, — невесты нет, но есть несколько девушек, с которыми я, наверное, был бы счастлив.

— Всю жизнь? — Дорна резко привстала, в голосе прозвучало удивление.

— Почему бы и нет?

Мы взглянули друг на друга. Глядя в глаза Дорны, я забыл обо всех остальных женщинах и постарался взглядом выразить, что она для меня — единственная.

Дорна слабо улыбнулась, отвела глаза и снова откинулась на подушку...

Что же значил *аниата* для девушки, с которой мне предстояло провести ночь и которая призналась, что ей знакомо это чувство? Что нового добавляло к *ании* уменьшительное *та*?.. Испытывая волнение, нерешительность, я хотел только, чтобы все продолжалось так, как оно началось.

— Ладно, — сказала Дорна, останавливая на мне свой сияющий взгляд. — Допустим, что есть несколько мужчин, к которым я равнодушна. Но вряд ли среди них найдется тот, кто способен сделать меня счастливой на всю жизнь!.. Как мало мы с вами еще знаем друг друга.

— Да, мы разные, Дорна, — ответил я.

Она кивнула:

— Отчасти дело в языке. Некоторые ваши слова мне непонятны.

Но когда я уже собрался было спросить, что значит слово «*аниата*», язык не повернулся выговорить его... Итак, есть мужчины, к которым она равнодушна...

— Вы все понимаете и очень хорошо говорите сами, — ответила Дорна так, словно разговор ей наскучил. — Так почему же мы разные?

— Хиса Наттана считает, что у всех иностранцев чувства — бледно-розовые! Она думает, что именно в этом главное отличие. А вам как кажется?

Дорна не спешила отвечать. Она с улыбкой взглянула на меня, словно собираясь заговорить, но тут же опустила глаза, так и не вымолвив ни слова. На ее лице промелькнуло довольное выражение, потом оно стало насмешливым и колдовским, как у бесенка. И снова это поразило меня, но теперь еще и манило, поддразнивало, влекло. Так же неожиданно черты ее лица смягчились. Взгляд стал томным, и только нервно сжимались и разжимались лежавшие на коленях руки.

— И вам тоже кажется, что ваши чувства бледно-розовые? Не сказала бы, Джон.

— Конечно нет! — воскликнул я. — Но это задевает меня. Что вы думаете об иностранцах, Дорна?

Она по-прежнему не сводила с меня пристального взгляда своих темных, глубоких глаз, но лицо выражало робкую покорность. Ласковый взгляд ничего не утаивал, ни в чем не отказывал; голова у меня кружилась, щеки пылали, стучало в висках. Ее по-прежнему нервно перебирающие пальцы словно звали меня успокоить, погладить их. Ее губы полуоткрылись.

— Дорна! — прошептал я, наклоняясь к ней.

Взгляд ее не был ни враждебным, ни удивленным...

Потом, вновь сидя на своей койке, я чувствовал, что сердце у меня вот-вот разорвется, как надрывно, вхолостую вспарывающий воздух винт моторной лодки, вытащенной на берег. Я хотел прикоснуться к Дорне, но нервная, обессиливающая дрожь сковывала меня.

Дорна сидела, подобрав ноги, отвернувшись, и глядела в потолок. Совершенство ее красоты обезоруживало меня.

— Не знаю, права ли Наттана, — сказала она так, словно ничего не случилось. — Вы — практически единственный иностранец, которого я знаю, я имею в виду — из молодых людей. Наверное, жизнь, которую вы ведете в Соединенных Штатах, делает ваши чувства более разнообразными и утонченными.

— Почему, Дорна?

— Ах, это всего лишь догадка. Вы сами заговорили о различиях. А различия должны быть оттого, что жизнь разная... — И снова голос ее поскучнел.

— Интересно, изменит ли вас здешняя жизнь? — вдруг спросила девушка после долгого молчания.

— Не знаю.

— На вашем месте я оставалась бы американкой.

— Вы это уже говорили.

— Простите! Я не хотела снова обидеть вас.

Вода плескалась о борт лодки. Одна свеча уже совсем догорела, и сырость мало-помалу проникала в каюту. Мгновенное желание, толкнувшее меня к Дорне, налетело, как летняя гроза, яростная, внезапная. Теперь все опять стихло...

Дорна сидела, по-прежнему отвернувшись, и мне была видна лишь плавно очерченная скула, мягкая, шелковистая кожа. То, что меня вдруг так потянуло к девушке, казалось теперь странным. В конце концов, условности и приличия тоже имеют свой резон — ведь мы не должны были оказаться здесь вместе...

— Может быть, сойдем ненадолго на берег, прежде чем лечь?

Голос ее, хотя и усталый, звучал решительно и энергично. Мы поднялись на палубу. Укрывший суденышко туман вкупе с ночной темнотой заставлял двигаться на ощупь, вслепую. Я шел за Дорной, придерживаясь леера.

Но что это? Дорны не было видно, но оттуда, где, как мне казалось, она должна была быть, доносились какие-то слабые звуки, всплески.

— Помочь вам, Дорна?

— Нет, спасибо, Джон.

Теперь слышался один лишь ее голос. Он доносился откуда-то снизу.

— Хорошо бы течение было посильнее, — сказала Дорна, — и все-таки, может быть, нас отнесет к берегу.

— Что вы делаете, Дорна?

— Отпускаю якорь.

— Это моя работа.

— Почему?

— Потому что я — мужчина.

— А какая разница?

— Есть вещи, которые должны делать мужчины.

— Но тут не нужна особая сила.

— И все-таки это — мужская работа.

Мы замолчали. «Болотная Утка» едва уловимо, но все же двигалась.

— Так, значит, у вас есть мужская работа и есть женская?

— Мужчины сами понимают, что в подобных обстоятельствах физическую работу должны выполнять они.

— Но, — по звуку голоса я понял, что Дорна обернулась ко мне, — как же все это забавно! Может быть, вашим женщинам мешает их платье?

— Возможно. Отчасти.

— Конечно, мужчины обычно сильнее, — сказала Дорна задумчиво. — Хотя вряд ли вы сильнее меня.

— Почти наверняка. Ведь я выше и намного крупнее.

— Для мужчины вы не слишком крупный. — Она вздохнула. — Может, в конце концов вы меня и одолеете. Вымотаете. Но я так просто не сдамся. Я — сильная, Джонланг.

Она не хвасталась. Казалось, я чувствую ее силу даже на расстоянии.

Мягкий толчок — и лодка остановилась. Присутствие Дорны в темноте было настолько ощутимо, что, казалось, я слышу ее дыхание, касаюсь ее крепко сбитого тела. Быстрый звук шагов по палубе, негромкий смех.

— Я уже здесь, на берегу, — донесся со стороны кормы голос Дорны.

Снова держась леера, я двинулся навстречу ей.

— Можете сойти, — вновь раздался голос девушки, — я зацепилась якорем.

Падавший из каюты свет бледно-желтым пятном лег на уступистый черный берег, поросший грубой осокой, едва не касавшейся борта лодки. Перешагнув через леер, я спрыгнул. Глазам было больно от темноты. Дорна куда-то исчезла.

Кругом — мертвая тишина. Плоские, бескрайние равнины. Моим единственным убежищем была «Болотная Утка». Пожалуй, не стоило удаляться от нее. Сырой холод проникал сквозь одежду...

Но вот земля у меня под ногами вздрогнула, тряска и быстро задрожала, раздался глухой звук. Сердце бешено заколотилось в груди, мурашки пробежали по коже.

— Где вы? — раздался вслед за шагами голос Дорны.

— Здесь. Что это был за звук?

— Под болотами — пустота. Бывает, она отзывается... Ах, да вы испугались!..

Она подошла ближе, по-прежнему невидимая.

— Я не ожидал...

— Это я не подумала. Не надо было бежать.

Она двинулась к лодке. Туман над мачтой светился. В белесой дымке показалась тень — силуэт Дорны; потом ее шаги донеслись с палубы.

— Поднять якорь?

— Как хотите. Бояться тут некого.

Она спускалась в люк.

Да, пожалуй, лучше было оставаться на причале.

Спускаться в каюту или нет? Оказавшись на борту «Болотной Утки», я снова ни на что не мог решиться.

Время шло. То, что я испытывал, было хуже, чем просто неловкость или замешательство, — я мучился, страдал...

— Вы собираетесь лечь, Джонланг? — донесся из каюты голос Дорны.

— Сейчас, Дорна.

И все же я не сразу решился спуститься, а войдя в каюту, старался не смотреть в сторону Дорны. Но взгляд мой произвольно и мгновенно нашел ее. Она лежала, укрывшись пушистым серым одеялом, отвернув голову. Обнаженная рука лежала поверх одеяла.

Взяв свечу, я разделся в соседней каюте. Когда я вернулся, Дорна взглянула на меня и улыбнулась, лицо у нее было уже совсем сонное. Потом протянула руки к единственной еще горевшей свече. Я поспешно забрался в свою койку, свернувшись под одеялом, дрожа от его влажного холодного прикосновения.

Свеча погасла, и каюта погрузилась во мрак... Я отвернулся к стене. Живо и ярко мне все еще виделась обнаженная рука Дорны, тянущаяся к свече.

Ее койка заскрипела так, словно она ворочалась, устраиваясь поудобнее.

— Спокойной ночи, Джон, — раздался ее безмятежный, сонный, ровный голос.

— Спокойной ночи, Дорна, — ответил я дрогнувшим голосом.

Мне показалось, что в ответ раздался то ли смешок, то ли сонный вздох, но скорее всего — просто послышалось.

Сон не шел. Дорна лежала тихо, не шевелясь, и, похоже, уснула. Совсем рядом вода мягко плескалась в обшивку борта, потом затихала, и снова раздавался тихий неравномерный плеск. Единственный звук, нарушавший жуткую, мертвенную тишину, непроглядную тьму ночи. «Болотная Утка» была хрупким, но верным убежищем, защитой от страшной ночной бездны. И теплые, с мягким ворсом одеяла делали жесткую койку не такой неудобной.

Дорна спала совсем рядом со мной! Когда-то я грезил о подобных приключениях. Теперь все происходило на самом деле, но казалось таким невероятным, что снова больше походило на грезу. В снах же царила идеальная гармония; обычно, как и сейчас, я выступал в роли благородного героя. Спать в одной комнате с девушкой — этого было уже вполне достаточно. Присутствие девушки — целиком в моей власти — было сладостно, но она могла довериться мне, и ничто ей не грозило. Дорне сейчас тоже ничто не грозило, однако, это зависело от нее самой не меньше, чем от меня. Впрочем, другой на моем месте, пожалуй...

Наконец веки мои стали тяжелеть, мысли дремотно путались. Как прав был Дорн, остерегая меня влюбляться в островитянок. Все, что так привлекало меня в них, было мне, в общем, знакомо, но, помимо привычного обаяния, они несли смятение, боль, заставляли заглянуть в немислимые глубины... И вот я рядом с одной из них... Но почему, почему — если она хотела, чтобы я внял ее предупреждениям, — почему она взяла меня с собой в такую дальнюю поездку, где мы постоянно были рядом, а теперь даже спали в одной каюте?

Она и без того уже была такой красивой, такой любимой; она обжигала и мучила меня своей красотой. И все же... Любимая, милая, обворожительная... Я чувствовал, что засыпаю. Мягкое тепло одеял и покой...

Я открыл глаза и увидел, что лежу чуть не уткнувшись лицом в доски борта. Сна как не бывало. Настал день, и яркий солнечный свет проникал в каюту. Наверху слышался резвый топот босых ног по палубе... Дорна! Должно быть, она уже поднялась, подумал я и сел на койке, торопясь поскорее одеться, но тут увидел у другого борта, глубоко зарывшуюся в подушку и почти скрытую разметавшимися, отливающими темным блеском волосами знакомую голову. Тело Дорны мягко обрисовывалось под одеялами, неподвижное, скованное сном, такое беззащитное и безвольное, что я поспешил отвести глаза. Стараясь двигаться тише, чтобы не разбудить девушку, я прошел в каюту, где оставил свои вещи, и быстро оделся.

Утренняя прохлада и свежесть! Сквозь истончившийся туман просвечивало голубое небо. Влажная белесая пелена, окутавшая лодку, была пронизана сияющим светом, и болотистый берег, густо-зеленый, стал виден футов на шестьдесят. Большая собака, поджав хвост, вприпрыжку бегала по палубе. Вот кого я перепутал с Дорной! Надо будет ей рассказать. То-то мы посмеемся.

Болота влекли меня. Воздух был соленый, свежий, бодрящий. Туман почти растаял, и белый диск солнца просвечивал сквозь его вьющиеся пряди.

От сомнений и ночной горячки не осталось и следа. Я шагал по ровно стелющейся влажной траве, и окруживший меня широким кольцом туман двигался вместе со мной. Скоро «Болотная Утка» скрылась из виду. Дорна уже, наверное, проснулась и гадает, где я. Что ж, по крайней мере, я не помешаю ей спокойно умыться. А может быть, она уже прибирает каюту и готовит завтрак? Да, вот что значит жить с женщиной: часами вместе, а потом — каждый уходит по своим делам, внутренне не расставаясь... Однако ночь кончилась, и, кто знает, выпадет ли еще одна такая. Время ушло. Заставив пережить незамутненно чистые минуты счастья, оно оставило

на память боль. Красота Дорны, невидимой, но близкой, вновь мощным магнитом повлекла меня назад.

Дорна ожидала на палубе — завтрак ждал внизу. В каюте было прибрано, небо глядело в открытые иллюминаторы, но в воздухе еще плавал легкий аромат — запах Дорны. Волосы ее, зачесанные назад, были перевязаны шнурком, темные и влажные. Дорна сказала, что успела выкупаться. Очень холодная вода. Кожа ее блестела, и лицо, омытое сном, было кротким и ласковым, как у ребенка.

Пока мы завтракали, постепенно светлело, но порой снова накатывала темнота — словно мигал огромный глаз.

Мы долго смеялись над историей с собакой. Сам повод мало значил — просто нам хотелось смеяться. Мы были уже не те, что накануне: часы, проведенные вместе, ночь в одной каюте изменили нас. Мы успели привыкнуть друг к другу и спокойно завтракали, то и дело обмениваясь улыбками, смеялись над разной чепухой и подолгу молчали.

Спешить было некуда. Давление времени не ощущалось совсем. Ветра не было, прилив запаздывал. Позавтракав, мы еще долго сидели в каюте; потом, без всякой особой цели, поднялись на палубу.

Туман струился, отступая, местами он плотно прилегал к поверхности болот, местами клубился — розовый на солнце и синеватый в тени. Вся ширь болот вновь открылась взгляду, как огромная шахматная доска, расчерченная желтыми и темно-зелеными клетками. Меньше чем в миле к востоку виднелся поселок; огороженный луг начинался ярдах в двухстах от берега.

— Ферма Аманов, — сказала Дорна. — Наверное, это была их собака.

Мы снова рассмеялись.

До фермы было рукой подать.

Утреннее солнце пригревало все сильнее. Дорна была Преисполнена энергии, я старался не отставать, и, хотя дул лишь легкий ветерок, мы решили трогаться в путь. Дорне хотелось, чтобы я в полной мере почувствовал себя американцем, и, предоставив мне всю «физическую» работу, она стояла рядом, наблюдая и выражая некоторое нетерпение. Не обошлось и без забавных происшествий. Я отпустил якорь и стал выбирать линь, облепленный мягкой серой глиной. Потом поставил парус — действительно мужская работа, — подумав, впрочем, что у Дорны самой хватило бы на это сил. Пока я ставил парус, Дорна тоже нашла себе занятие: принесла ведро воды и стала отмывать с палубы грязь, сняв сандалии и высоко подобрвав юбку. И уж никак было не обойтись без ее знаний и опыта, когда надо было поймать слабый, еле дующий ветерок.

Мы плыли медленно, временами вода подергивалась рябью. Проток был узкий, извилистый и глубокий, прилив относил нас назад, лодка то и дело застывала на месте. Слабые порывы ветра, налетавшего с юга, иногда совпадали с нужным курсом, но чаще задували с правого борта.

Утро прошло незаметно. Пышные клочковатые белые облака тихо скользили по темно-голубому небу. Нас то окатывал солнечный свет, то накрывал сумрак, и большие тени облаков проплывали по болотам.

Цветы вокруг были слепяще яркими. В трех или четырех милях к юго-западу показался поселок — низкие дома посреди равнины. Деревья и дом на холме едва возвышались над неровной кромкой горизонта. Дорна стала рассказывать об этих местах. Попасть сюда можно было только по тому протоку, которым мы плыли. На северо-востоке, милях в пяти-шести, лежало озеро; на островке посреди озера и находилась ферма. Утки тысячами селились там. Озеро питали ключи, а система специально построенных плотин помогала поддерживать

уровень воды.

— Так это и есть те самые болотные утки? — спросил я.

— Да, — ответила Дорна, — больше всего — уток, но есть и другие птицы. Утки — самые симпатичные из всех небольших птиц; у них ярко-синие крылья, белые с коричневыми перьями по бокам, и черные шапочки на голове.

— Их мясо едят?

— Иногда.

— И вы на них охотитесь?

— Да, если нужна дичь.

— А просто так, для удовольствия?

— Что значит — для удовольствия?

Пришлось объяснять. Убивать уток, сказала Дорна, вовсе не доставляет удовольствия — разве что человек голоден, и ему нужно утолить свой голод, — но наблюдать за ними гораздо интереснее. Они такие забавные! Дорна описала их повадки, их деловитый вид и непредсказуемое поведение.

Охота ради охоты — этого она не понимала.

Близился полдень. Солнце стояло высоко. Примерно в пяти милях показались острова Дорнов и Ронанов, нарушавшие ровную линию горизонта, над которым нависли белые гряды облаков. Однако на самом деле нам предстоял путь вдвое дольше. Ветер совсем спал, и, чтобы нас не относило назад, пришлось снова бросить якорь — в ожидании послеполуденного отлива.

Время, проведенное наедине с Дорной, истекло, и думать об этом было тяжело; но чем ближе становился конец нашего плавания, тем больше сил чувствовал я в себе, тем больше хотелось мне что-то делать, двигаться.

Дорна тем временем казалась невозмутимо-спокойной и неподвижно сидела на палубе, скрестив вытянутые ноги. Она так и не стала надевать сандалии. Как редко приходилось мне видеть босые женские ноги! В них было что-то неестественное. Эти розовые ступни и пятки, вместо подметок и каблуков, казались мне недостойным завершением девичьей фигуры. Не мог привыкнуть я и к походке островитянок, носивших либо туфли на очень низком каблуке, либо вообще без такового. Трудно было поверить и в то, что Дорна вот так, без всякого кокетства, выставляет напоказ свои голые ноги. Хотя я знал, что она, конечно, понятия не имеет о чувствах американца, и был рад, что девушка не догадывается о том, в какое мучительное смущение она меня приводит.

Дорна сидела, облокотившись на леер, в не совсем удобной позе, но с явно довольным видом. О чем думала она, когда вот так, подолгу сидела молча, лениво; и думала ли вообще о чем-то? Скорее казалось, что она впитывает, проникается ветром и солнцем. Иногда она поднимала голову, глядела вверх, и ее по-прежнему распущенные волосы, спадая с гладкого лба, мягкой волной откидывались назад. На ее обращенном к небу лице появлялось выжидательное выражение.

Ее красота была способна выдержать любой, самый пристальный взгляд. И даже ее босые ноги уже не казались мне чем-то странным. Передо мной было само совершенство; ошеломительная красота девушки приводила меня во все растущее изумление. Пожалуй, не следовало так подолгу смотреть на нее.

Наше плавание — мимолетные часы, проведенные вместе, — не могло закончиться простым «до свидания». Чудо еще не достигло своего пика. Я должен был как-то объясниться. Мне хотелось бы упасть перед ней на колени, целовать ее ноги... Но что сказать — я не знал. Как сказать ей, что она — прекрасна? Не прозвучат ли для нее мои слова пустым звуком? И

потом, это будет попытка заигрывания, а разве она не заигрывала со мною (да к тому же и нечестно, обеспечив себе преимущество), когда подстроила это наше путешествие? И все же, с другой стороны, мне казалось, что она ждет от меня большего. Однако она сама предостерегала меня от влюбленности. Неужели она настолько жестока, что хочет, чтобы я все-таки овладел ею?

Единственное, на что я мог положиться, был голос моего рассудка, удерживавшего меня от дальнейшего ухаживания, не дававшего открыто сказать, как она прекрасна и как я люблю ее. Она хочет стать моим другом, она сама это говорила. Значит, и мне следовало быть другом, безличным и верным ее брату и ее деду, который мне доверял.

Дорна медленно обернулась ко мне. Казалось, она очнулась ото сна и пристально смотрит, словно заметив в моем выражении нечто неожиданное. Через мгновение она встала и, ни слова не сказав, спустилась вниз. Я остался один. Откинувшись, я полуприкрыл глаза. Солнце обрушивало потоки своего света, жаркого, властного. Слышался тихий лепет волн. Неужели я все-таки влюбился в Дорну? Влюбился, несмотря ни на что? Это было прекрасно и больно вместе, и весь мир приобрел новые краски, увиденный сквозь призму моего чувства.

Прошло довольно много времени, пока Дорна не позвала меня. Я спустился в каюту. Дорна достала и разложила на столе наши последние припасы. Неужели она разгадала мои мысли? Она была спокойна и сдержанна; что-то очень важное, связывавшее нас, казалось утраченным.

На ее холодность и отчуждение я решил ответить тем же. Заговорили о моих планах. Может быть, я задержусь на Острове еще на пару дней? Если я останусь на два дня, то не успею посмотреть оба поместья Сомсов. Так что лучше не задерживаться, сказала Дорна.

— У вас будет еще не одна возможность подольше погостить в нашем доме, но, пожалуй, стоит вам повидаться и с Сомсами, и поскорее... Хотя мне хотелось бы, чтобы вы остались, — добавила она как бы между прочим.

— Мне тоже хочется остаться, Дорна.

— Надеюсь, вы еще заедете весной.

Но пока была осень.

— Я связан расписанием пароходов и могу выкроить всего шесть недель в мае, июле и сентябре.

— Лучше всего — в сентябре. В июле слишком холодно.

— Это еще так не скоро, Дорна.

— Приезжайте и в другое время, Джонланг.

— А вы будете здесь в сентябре?

— Возможно. В сентябре цветет мой сад. А в гости я езжу осенью и зимой. Весной и летом дома лучше всего.

— Вы часто ездите в гости, Дорна? Может быть, заедете в Город?

— В Город вряд ли, но я думаю быть на собрании Совета в июне. По гостям я езжу часто...

Каждый год она регулярно, на неделю и больше, отправлялась к своим двоюродным братьям и сестрам на острове Тэн и в бухту Грейз, к Фаррантам, Сомсам и Марринерам из Виндера. Часто навещала она и Стеллинов в Камии, Белтонов из Каррана, Дрелинов из Дина, Айрдов из Сторна — раз в год или в два года. На болотах жило много семей, к которым она уезжала на несколько дней, особенно к Мартам — родственникам овдовевшей приемной дочери лорда Дорна. И еще, каждую весну, сказала Дорна, бросив на меня быстрый взгляд, она по нескольку дней гостила у Ронанов, даже еще когда была маленькой. Кроме того, раз или два в году она ездила в Город на собрание Совета и часто вместе с дедом наезжала в Доринг.

Мне нравилось вслушиваться в переменчивые интонации ее голоса, в ее необычный выговор, следить за выразительными движениями ее губ. Наконец-то эта молчунья

разговорилась. Слова лились потоком.

Где ей только не случалось бывать! Помимо регулярных поездок, она и просто ездила в гости, когда была в настроении, и особенно запомнила, как была в гостях у семьи Мора, ей как раз тогда исполнилось четырнадцать. Они верхом добрались до северных границ Каррана, и Дорна — пусть всего несколько ярдов — прошлась по чужой земле. В семнадцать лет ее на два года послали в школу для девочек в Тейле, в провинции Камии.

Лицо ее светилось при воспоминании обо всех этих местах и людях. Поистине, каким удовольствием было путешествовать по такой красивой, многоликой и объединенной родственными узами стране. Спасибо Дорнам, что приобщили меня к подобным путешествиям.

— А кто навещает ваш остров?

Она упомянула своих двоюродных братьев, Дорну с острова Тэн, Дрелину, молодую жену Дорна из Грейза, двух дочерей Белтона, верховного судьи, Сому, которая приезжала, пока не вышла замуж и не уехала в Св. Антоний, и Стеллину, дочь лорда Камии. Все они, кроме Дрелины, были ее возраста. Так, значит, единственным молодым человеком, приезжавшим на остров, был Тор?

Я спросил, часто ли им случалось приглашать в гости надолго какую-нибудь семью. Пожалуй, нет, разве что — Моров. Гости приезжали нечасто, по одному, реже по двое, и единственным местом, где сразу встречалось много друзей, было собрание Совета в Городе.

— А вам приходится встречаться с молодыми людьми, вашими ровесниками?

— Да, в других домах и в Городе, а кое-кто приезжал и к нам.

Мне было интересно, кто они, но я не хотел спрашивать сам. Однако Дорна, словно угадав мои мысли, продолжала:

— Раз или два в год приезжает молодой Стеллин. Сомс, брат Сомса из Св. Антония, бывает проездом, но тоже не чаще Стеллина. Потом Гранери, брат судьи. Мужчины из усадеб на болотах, случается, заезжают на несколько дней. Конечно, бывает и Ронан. Иногда, если приезжает мужчина, я чувствую, что это, чтобы повидать меня, но они уезжают и не возвращаются. Как-то приезжал даже молодой Мора!

Дорна рассмеялась и взглянула на меня, словно желая сказать: ну что, теперь вы довольны? Все эти мужчины, конечно, мечтали о том же, что и я, но им было гораздо легче добиться своей цели, чем мне, иностранцу, которого постоянно предостерегали и ставили на место. Мысли о предполагаемых соперниках, мягко говоря, были неутешительны. Но откровенность Дорны порадовала меня.

— Ближе всех мне Стеллин, — продолжала она. — Пожалуй, он самый мужественный и красивый. А его сестра уж точно моя лучшая подруга. Надеюсь, вы скоро познакомитесь. Может быть, встретитесь у нас.

— А она опасная, Дорна?

— Не опаснее, чем вы думаете, Джонланг, и не опаснее, чем мы все!

Она была права, и ее слова задели меня.

— Вы, наверное, все думаете про то, что я посоветовала вам не жениться на островитянке, и теперь не понимаете, почему я хочу, чтобы вы встретились с такой красавицей. Вы ведь поэтому спросили: она опасная?

Честно говоря, у меня не было такой мысли.

— Не знаю, Дорна.

Она довольно долго молчала.

— И все же я думаю, для вас будет лучше, если вы не женитесь на какой-нибудь из наших девушек.

— Вы не оставляете мне никаких надежд?

— Ах нет!

— Тогда в чем же разница — влюбиться здесь или в Америке?

— Очень большая разница, Джонланг! — Она сжала руки так, что побелели костяшки пальцев, и я понял, что это больная тема для нее.

— Вы говорите, что я буду счастлив, если сердце мое останется свободным. Интересно, а можно быть счастливым без всяких «если»?

— Конечно, это лучше всего.

— Что такое счастье, Дорна?

— Это значит жить в полном согласии с собой и чтобы каждое мгновение твоей жизни было безмятежным и увлекательным. Жить спокойно и наслаждаться ветром и морем, землей и небом, не зная забот и печалей, — вот чего бы мне хотелось!

Восторженные и пустые слова Дорны окончательно привели меня в уныние.

— Так можно быть счастливым только одному.

— Ах нет! — мгновенно откликнулась она, и голос ее звучал искренне. — Я хочу, чтобы у меня были друзья — мужчины и женщины.

— Просто друзья?

Дорна посмотрела на меня.

— Возможно, когда-нибудь мне и захочется большего; тогда — прощай, счастье. Я была равнодушна к некоторым мужчинам, Джонланг, они нравились мне, и это причиняло мне боль. Но пока я не готова выйти замуж, не готова быть женой и иметь детей.

Ее откровенность зародила во мне ужасное подозрение.

— Конечно, Дорна, вам и не следует выходить замуж, пока вы к этому не готовы! — сказал я.

Дорна еле заметно кивнула. Потом подняла на меня глаза.

— Не знаю.

— Так, значит, вы свободны выйти замуж, когда хотите и за кого хотите?

— Вам так кажется? — спросила она, словно желая услышать подтверждение.

— Вы из такой великой семьи, Дорна. И я думаю, вы можете не подчиняться законам, по которым живут простые люди.

— Дело не только в семье, — задумчиво ответила девушка. — Пока все очень неопределенно, но боюсь, я буду вынуждена — нет, не каким-то человеком, а обстоятельствами и самой собой...

У меня перехватило горло от любви и жалости; подождав, пока волнение уляжется, я сказал:

— Я понимаю, почему вам так хочется счастья и покоя, Дорна.

Глаза ее расширились, и она приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, но, так и не вымолвив ни слова, потупилась. Через минуту она сказала спокойно и ровно:

— Спасибо, Джонланг. Может быть, мне и придется когда-нибудь столкнуться с такой проблемой, но не сейчас. Я совершенно свободна. Но я знаю, что вопрос этот рано или поздно должен быть решен, а пока он не решен, я хочу оставаться свободной и счастливой.

— Вы говорите о чем-то определенном?

— Не более, чем я уже сказала; что-то должно произойти и разрешиться — так или иначе.

Неужели она намекала, что помолвлена? Или снова хотела меня предостеречь? Я чувствовал себя беспомощным, бесправным; со стороны Дорны это было жестоко. Бездна разверзлась передо мной, и меня так и тянуло броситься в нее, сказать Дорне, что я люблю ее, и предложить ей руку и сердце. Но мог ли я поступить столь опрометчиво, и насколько тактично это было бы после ее слов?

Я заговорил, стараясь намекнуть, но так и не решившись открыто высказать свои мысли.

— Вы сказали, Дорна, что я не должен и думать о том, чтобы жениться на вас. Так, значит, вот в чем причина?

— А разве этого не достаточно? — важно произнесла она, и по ее голосу я понял, что это не единственная причина. Здесь крылось еще и иное — то, надрывающее мне сердце, терзающее меня, неуловимое, о чем так серьезно, хотя ничего не объясняя до конца, говорили Дорн и Наттана.

— Это не может остановить мужчину, Дорна. Ведь вы сами говорите, что свободны.

Она привстала, с опущенной головой, сплетая и расплетая пальцы.

— Возможно, вы и правы, — сказала она наконец, — но вы способны еще больше усложнить мое положение. А мои слова о том, чтобы вы воздерживались от некоторых желаний, скорее относятся к вам, чем ко мне.

— То есть у меня нет никаких надежд?

— Джонланг! — Голос Дорны задрожал. — Неужели я сказала бы вам, что у вас нет надежд, даже если бы была совершенно в этом уверена? Мне хотелось бы дать вам определенный ответ, но я не хочу лгать. Вы такой же мужчина, как и остальные, но есть причины, причины...

— Разве вы не видите, Дорна, как мне тяжело? По-вашему, со мной что-то не так, но вы не хотите сказать, что именно.

— Да нет же! — воскликнула Дорна, и глаза ее сверкнули. — Но есть нечто, стоящее между нами. И не настаивайте, я все равно не скажу, что. Я и сама точно не знаю. Мы только будем без конца спорить, обижать друг друга, но это ни к чему не приведет. Но это есть, Джонланг. А может быть, мне кажется. Я не знаю.

Она встала и пошла к двери, но остановилась у порога и обернулась ко мне.

— Отчасти я понимаю, что вас мучит. Поверьте, это так. Теперь мы друзья. Но я не хочу быть вашей женой и думаю, вряд ли когда-нибудь захочу, да и вы, по-моему, на самом деле не хотите жениться на мне и сами точно не знаете, чего хотите. Я желала бы, чтобы вы были счастливы у нас, и очень ясно вижу, какие опасности вам угрожают. Ах, мой друг, оставьте мысль жениться на островитянке и не давайте им повода увлекаться вами, если не хотите принести кому-нибудь несчастье.

— Значит, Дорна, вы чувствуете...

— Да...

— И не можете сказать?

— Какая разница, даже если я не могу подобрать слов? Мое чувство все равно существует!

— Любое чувство можно объяснить и выразить словами.

Дорна была озадачена и несколько мгновений удивленно вглядывалась в мое лицо.

— Не понимаю, — сказала она. — Если я что-то действительно чувствую, то неужели, по-вашему, если я не могу выразить это словами... Не может быть, чтобы вы так думали! Уметь найти слова и уметь чувствовать — не одно и то же.

— И все-таки чувство существует?

— Да. — Она отвернулась, мучительно вздернув брови.

Что тут можно было сказать? Эмоции должны были улечься сами собой.

— Не обращайтесь внимания, Дорна.

Девушка резко повернулась ко мне:

— Зачем нам обоим и дальше мучиться, Джонланг? Я совершенно ясно сказала, какие чувства к вам испытываю. Мы еще недостаточно знаем друг друга. Да к тому же и взгляды у нас разные. В одном я уверена: вам надо оставить мысль жениться на мне. Думайте обо мне как о

друге.

Мы долго молчали. Мне страшно хотелось сказать Дорне, что она не права, но сказать это сейчас было невозможно. Время шло. Я колебался. Слишком поздно. Теперь мои слова не имели бы никакой цены.

— Пойдемте наверх, — быстро сказала Дорна. — Прилив уже давно начался.

Я поднялся вслед за ней на палубу и стал поднимать якорь. Время текло безмолвно и стремительно, как тени облаков, скользящие над бескрайними болотами.

С севера подул слабый ветер, и лодка медленно, но упорно стала продвигаться вперед. Уступистые берега, зеленая равнина скользили, оставаясь позади. Небо потемнело — сегодня тучи одержали победу над солнцем.

Дорна стояла у руля, слегка расставив босые ноги. Я сидел, прислонившись к лееру у правого борта, но «Болотная Утка» была такой широкой и устойчивой, что почти не кренилась под моей тяжестью. Моя задача была следить за парусом.

Вверху над головой проглядывало голубое небо, но горизонт был обложен тяжелыми дождевыми тучами. Дальние поселки, с их насыпными холмами, с рощами, нарушавшими ровную линию горизонта там, где болота смыкались с небом, тонули в серой пелене, однако оба острова — Дорнов и Ронанов — были по-прежнему отчетливо видны. Они были уже совсем близко; два дня, проведенные вместе, подходили к концу.

Стоило ли так уж переживать? Рано или поздно это должно было кончиться; что ж, справедливо. И все-таки мне хотелось бы задержаться здесь — плыть протоками под облачным небом, среди ровно стелющейся зелени болот, мимо то тут, то там разбросанных поселков, добраться до озера с плотинами, где живут болотные утки, плыть по морю вдоль волнистых дюн, быть бездумно счастливым, как этого хотела Дорна.

— Мне никогда не надоедает плавать и смотреть на все вокруг, — неожиданно сказала девушка, обводя рукой расстилавшийся кругом пейзаж, и смущенно улыбнулась. — И мне хотелось бы все плыть и плыть. В жизни так много всего!

Она взялась за румпель и рулила, раскачиваясь, приподнимаясь с носка на носок, причем становились видны ее розовые ступни в мелких морщинках. Ее ноги были необычайно красивы и соразмерны всей фигуре.

— И я думал о том же, — ответил я. — Как мне хотелось бы проплыть по всей дельте.

Говоря о плавании по дельте, я не имел в виду, что компанию мне обязательно должна составить Дорна, ну а она уж и тем более не имела таких мыслей, и все же голос мой дрогнул.

Наступила долгая пауза.

— Завтра будет дождь, — сказала Дорна, — и, пожалуй, он может начаться еще до того, как мы вернемся.

— Ваш брат говорил, что вы всегда предсказываете погоду безошибочно.

— Я давно наблюдаю за погодой. Мне это нравится. Я знаю, какая она будет, за день или за два вперед.

— А вам случалось подолгу плавать в дельте?

— Да, конечно! — воскликнула девушка. — Я неделями жила на «Болотной Утке». Правда, чаще, когда мне было восемнадцать, девятнадцать лет, а в последние годы — все реже.

— Вы путешествовали одна?

— Иногда одна, иногда с друзьями: с братом, до того как он уехал к вам учиться, с моей двоюродной сестрой Дорной с острова Тэн или с кем-нибудь из девушек с нашего острова. Плавали мы и с молодым Ронаном, а один раз — со Стеллином в Большие болота.

Сердце мое тревожно забилося. Дорна внезапно умолкла.

— Не думаю, чтобы можно было просто так остаться с женщиной больше чем на ночь или на две, — сказала она через некоторое время. — *Апиаты* не избежать. Некоторые вообще не придают этому значения, но мне кажется, это большое несчастье, если мужчина и женщина не могут быть вместе!

— Мне тоже.

— Я как-то думала... А как у вас дома на это смотрят?

Ответить честно было нелегко.

— Неодобрительно, — сказал я наконец, не глядя на Дорну.

— Я едва не повернула назад, — раздался голос Дорны сверху. — У вас совершенно убитый вид. Но уже поздно. Возвращаться к Дорингу будет очень нелегко. Но мне хотелось бы!.. С вами я совершаю ошибку за ошибкой! На этот раз потому, что решила следовать нашим обычаям. А раньше — потому, что хотела приспособиться к вашим.

— Вы считаете, это была ошибка? Я не согласен, Дорна.

— И я, Джонланг!

— И я, Дорна!

— Надеюсь, — сказала она низким голосом.

— Я был так счастлив!

— Ах, и я тоже!

Смех ее прозвучал не совсем естественно.

— Давайте успокоимся, — добавила она. — Иначе мы снова можем невзначай обидеть друг друга. Когда двое находятся рядом так подолгу, надо, чтобы каждый постоянно старался быть для другого приятной компанией. Я уже устала от нас обоих. А вы?

— От себя, но только не от вас.

Она тихо вздохнула:

— Неважно.

Значит, она всего лишь старалась составить «приятную компанию». Что тут можно было сказать...

Сумерки настали рано, когда мы еще плыли по протоку, а когда лодка выплыла на простор Эрна, начало темнеть. Ветер посвежел, и «Болотную Утку» стало качать. Дорна темным силуэтом выделялась на фоне вечернего неба, но казалось, что, рассеивая наступающую тьму, она излучает свет: он исходил от ярко-желтой юбки и блузы, от теплого румянца щек, блики света играли на ее шелковистых икрах, когда она, покачиваясь, двигала руль. И хотя становилось все прохладнее, казалось, что девушка, простоволосая, босая, в легкой одежде, не замечает этого.

Ее взгляд был прикован к чему-то впереди.

— Ну, держитесь, Джонланг! — крикнула она, быстро оглянувшись. Вода впереди была темной, только верхушки волн, катящихся навстречу, вспыхивали белизной. Дорна откачнулась, и я увидел на мгновение обозначившуюся сильную и красивую линию ее спины и бедра. «Болотная Утка» накренилась, вспенивая воду, и большой парус, развернувшись, пронесся над палубой, но я уже был готов к этому. Пропустив потерявший ветер парус, я быстро поставил его к ветру.

Оставляя пенистый след, «Болотная Утка» вошла в узкий проток. Впереди стали видны знакомые очертания Острова и мельницы, куда водила меня Дорна: ее большие крылья вращались в темно-сером небе.

Дорна звонко рассмеялась:

— Будьте начеку, Джонланг! Снова ветер!

Подойдя почти вплотную к берегу, мы снова сделали лихой разворот.

— Молодец! Молодчина! — крикнула Дорна. — Ах, как это здорово, когда наконец удается поймать ветер!

Было почти уже совсем темно, когда мы развернулись в последний раз и лодка скользнула в бухту, где ветер, от которого прикрывал здесь остров Ронанов, был намного слабее. Дорна выступала в роли капитана, я — команды и, хотя и в единственном числе, но успев набраться опыта, расторопно исполнял все приказания, звучавшие скорее как советы и просьбы, невольно вспоминая о том, каким тоном отдаются приказы на других судах.

Мы причалили по всем правилам искусства, и Дорна, довольная, рассмеялась и сказала:

— Какие же мы молодцы, Джонланг! Идеальная команда.

Теперь дело было за тем, чтобы аккуратно убрать все снасти. «Болотная Утка» стояла у причала, надежно пришвартованная. Наше плавание закончилось; впрочем, еще оставалось несколько минут. Дорна казалась совершенно счастливой.

Пока она прибиралась в каюте, я вынес наши вещи на палубу. Поднявшись наверх, она потянулась за своей поклажей.

— Позвольте мне быть американцем и взять ваши вещи тоже, — сказал я.

— Позвольте мне быть островитянкой и нести свои вещи самой.

— Нет, в этот раз моя очередь.

Дорна засмеялась, уступив мне.

— Вы очень добрый, Джонланг. Так мне будет легче идти, к тому же я немного замерзла.

Мы спустились на берег; ракушки хрустели у меня под ногами.

— Вы надели сандалии, Дорна?

— Да, да, — пробормотала она еле слышно.

Упали первые редкие капли дождя. Дорна шла легко, как обычно покачивая бедрами. Отличный моряк, отличный ходок. Хотелось бы взглянуть, как она держится в седле.

Ветви старых буков черным узором раскинулись над нами в почти таком же черном небе. В конце сводчатой аллеи свет падал из-под двери дома. Дома Дорнов.

Дорна двигалась рядом, как тень. Ветер шумел в ветвях деревьев, но сквозь его шум я расслышал, как девушка потихоньку напевает.

Ее доносящийся из темноты голос звучал несколько неуверенно.

— Я была очень счастлива с вами, Джонланг.

— А я с вами, Дорна... Никогда еще я не был так счастлив!

— Ведь было так прекрасно, правда? И я так рада этому шквалу — теперь вы знаете, чего стоит моя лодка!

Мы приближались к дому. Казалось, эти два дня мы были единственными живыми существами на земле. Но за стенами дома тоже были люди — каждый со своей жизнью.

— Я бы хотел, чтобы это не кончалось.

— Это должно было кончиться. Давайте я сама расскажу своим, как так вышло, что мы задержались на два дня, — сказала Дорна, помолчав. — Кое-кому это может не понравиться.

— Хорошо, Дорна.

Мы подошли к двери. Она впустила нас и закрылась, и все: ночь, болота, лодка — весь мир под открытым небом исчез. В полутемной зале никого не было.

Поднявшись наверх, мы пошли длинными коридорами. У двери моей комнаты Дорна остановилась.

— Моя сумка, — сказала она. — Благодарю за помощь.

— Могу я занести ее к вам?

— Теперь моя очередь.

Я отдал ей сумку.

Неожиданно она коснулась моей ладони кончиками пальцев. Потом резко развернулась — юбки взвились — и пошла дальше по коридору к своей комнате.

Увидев у себя в комнате Дорна, я был поражен, и не очень приятно, поскольку рассчитывал, что у меня будет время перевести дух и успокоиться. Когда я вошел, он ждал и, медленно подняв голову, взглянул на меня. Хотя лицо его было в тени, я не мог не заметить, как горят его глаза.

— Привет, — сказал я с улыбкой, хотя чувствовал, что он видит меня насквозь, и не мог избавиться от ощущения вины.

Отвернувшись, я начал распаковывать вещи. Возможно, когда Дорна сказала, что «кое-кому это может не понравиться», она имела в виду именно брата; но, по словам Дорна, он приехал всего за несколько часов до меня. Потом Дорн стал спрашивать, как прошло мое путешествие на северо-запад. Переодеваясь и моясь, я подробно изложил ему все события этих дней. Обожженная солнцем кожа горела. Прошедшие два дня не столько прибавили сил, сколько довели меня до полного изнеможения; к тому же мои мысли все были только о Дорне. Что она сейчас делает? О чем думает? Моется, как и я? Тоже устала и обгорела на солнце?

Мы спустились к ужину. Файна, Марта и Дорна-старшая уже дожидались нас. Не успели мы сесть за стол, как вошла моя Дорна, в зеленом платье, с пылающими щеками, словно она долго терла их, волосы ее были снова зачесаны назад и заплетены в косу.

Наши глаза на мгновение встретились. Я быстро отвел взгляд, вновь почувствовав себя виноватым; счастливое волнение и дурные предчувствия боролись в душе. На мгновение мы вновь оказались вдвоем против остальных — против тех, кому «это может не понравиться».

Меня стали спрашивать о моем посещении Фар-рантов. Дорна старалась отвечать на большинство вопросов сама, видимо, надеясь поддержать меня хотя бы до конца ужина. Дорна-старшая и Марта вели себя очень сдержанно. Глядя на них, я еще больше упал духом. Дорн уже слышал мой рассказ, и было невозможно затягивать и дальше описание моих приключений. Итак, я сказал, что вернулся в Доринг.

— Вчера вечером? — спросила Дорна-старшая.

— Нет, позавчера.

— А когда вы выехали?

— Вчера утром, — ответил я, чувствуя, что краснею.

— Совсем не было ветра, — вмешалась Дорна-младшая. — Проплавали два дня.

Наступило тягостное молчание.

— Лангу, наверное, пришлось нелегко, — участливо заметила Файна.

— Нет, мне очень понравилось, — сказал я неуверенно.

— Не очень, Джон, — снова прервала меня Дорна. — Ведь вы не рассчитывали на такое долгое плавание?

— Не рассчитывал, но мне понравилось.

Дорна рассмеялась, но смех ее прозвучал фальшиво.

— В это время года ветры очень непостоянны. Когда мы отплыли, стоял штиль, но мы все же двигались вперед, пока ветер не стих совсем.

— Ты обычно знаешь, как поведет себя ветер, — сказала Марта.

— Иногда и я ошибаюсь. Твой отец знает все про ветер не хуже меня, и он нас отпустил.

— Ну, он больше человек сухопутный. Вы хоть переночевали где-нибудь? У Аманов?

— Нет, — сказала моя Дорна. — Мы так и не добрались до них из-за тумана, а потом стемнело. Не понимаю, зачем надо было всю ночь рыскать по болотам.

— Я тоже не понимаю, — неожиданно вступилась Файна. — Надеюсь, у тебя все было и Ланг чувствовал себя удобно.

— У меня всегда все есть на «Болотной Утке»... Вам было удобно, Джон?

— Очень!

— Как тебе лодка? — спросил Дорн. — А помнишь ту, на которой мы плавали в Мэне?

Но пока мы сравнивали достоинства лодок, Дорна-старшая хранила упорное молчание. Совершенно очевидно, она тоже была из тех, кому «это не понравилось». Файна, похоже, не относилась к их числу. Кто же еще? Марта? Мой друг?.. Но он перевел разговор на другие темы; только сейчас я осознал, какому тяжкому испытанию подвергся, и почувствовал себя крайне неудобно. Мнение Дорна значило для меня очень много.

Впрочем, когда после ужина он, Дорна и я обсуждали наши планы, сидя в первой зале, он ни словом не обмолвился о затянувшемся плавании. Вместо этого мы заговорили о том, когда мне лучше ехать — завтра, но одному, или послезавтра.

— Я советовала Джону ехать послезавтра, — сказала Дорна брату, — чтобы он смог повидать Сомсов.

Дорн согласился; окончательное решение было принято, и я не знал, радоваться мне или печалиться. Рассудок подсказывал, что надо как можно скорее оставить Дорну; я даже побаивался ее, но было так тяжело пожертвовать даже минутой общения с нею.

— Будет завтра дождь? — спросил Дорн сестру.

— До самого вечера, и сильный.

— Ты уверена?

— Да, да... уверена.

— Так же, как насчет ветра?

— Именно так!

Она отважно встретила взгляд Дорна, но щеки ее пылали. Дорн продолжал глядеть на сестру с выражением, мне непонятным. Ее же лицо было сердитым и одновременно смущенным.

Потом она сказала, что устала и пойдет спать.

Я поднялся. Дорн продолжал сидеть.

— Мы с Джоном так замечательно провели время, — сказала Дорна и вышла, не глядя на нас.

Наступило молчание; наконец Дорн предложил пойти посидеть в библиотеке. И снова, когда я шел за ним, чувство вины мучило меня, однако Дорн, казалось, пригласил меня исключительно затем, чтобы по карте проследить мой маршрут, обговорить места моих стоянок, посоветовать, как лучше держать Фэка в городе, и обсудить сложную ситуацию, возникшую в связи с тем, что меня видели на перевале.

Огонь пылал в очаге посреди комнаты. Длинные поленья были положены так, чтобы давать больше света; когда они прогорали, их пододвигали, и пламя вновь пылало ярко. Капли дождя, падавшего в трубы, шипели на углях. Сидя на скамье рядом, Дорн прочитал мне ответ лорда Моры на письмо деда. Мора искренне заверял, что то, что я оказался на перевале вместе с Дорном, было расценено правильно и не вызвало никаких кривотолков. Разумеется, со стороны должно было показаться, будто я замешан в дела Дорна, Дона и юного незнакомца, однако сейчас это абсолютно не волновало меня; мысли мои были о другом.

— Я допустил серьезную ошибку, — сказал Дорн.

— Ах, нет, что ты!

— Я слишком многое держал от тебя в тайне. Не говорил, чем занимаюсь. Ты вполне можешь сказать, что ничего не знал о наших намерениях.

Я кивнул, поняв, куда он клонит.

— Расскажу, где побывал, что видел и как радушно меня везде встречали.

— Я рад, что у тебя остались такие впечатления... — сказал Дорн, помолчав. — Не будь ты консулом, мне ничего не пришлось бы скрывать и я постарался бы показать тебе вещи, как они видятся мне.

— Теперь, познакомившись со всеми вами, я гораздо лучше стал понимать твои взгляды.

Дорн в упор посмотрел на меня и, казалось, задумался.

— И все же не слишком поддавайся нашему влиянию, — сказал он после паузы. — Мы судим пристрастно. В любом случае я не верю, чтобы человек со стороны мог действительно понять нас.

— Почему бы и нет, если он честен, умен и проницателен? Неужели ваши взгляды так уж непостижимы?

— Одной честности и ума — мало. Надо видеть глубже, обладать чувственным знанием.

Это начало меня раздражать. Почему они считают, что я не способен понять их?

— Так ли уж вы отличаетесь от нас?

— Думаю, все равны в том, что они люди, но ощущение жизненных ценностей у нас разное.

— Хорошо, предположим, некто уже долго живет в вашей стране, в точности следуя всем вашим обычаям.

— Это только начало. От него потребуется большее. Конечно, ему придется смириться с отсутствием многого из того, что окружало его дома. Он должен научиться радоваться нашей жизни, сроднясь с нею, а не глядя на нее как на объект изучения. И все происходящее в Островитянии должно волновать его до глубины души.

— Ты думаешь, нельзя понять явление, просто изучая его?

— Явление, но не образ жизни. Его нужно не только знать, но и чувствовать.

— Какого же рода эти чувства?

— Ну, хотя бы... Нет, этого не передать словами.

— Ты совсем как Дорна. Верить в первую очередь чувствам. Если чувство нельзя выразить словами, оно сомнительно.

— Но какая разница?

— Без слов чувство нельзя понять.

— Нужно просто чувствовать, и все!

Я рассмеялся, отчасти над Дорном, отчасти над своими безуспешными попытками переубедить его.

— В чем-то мы с Дорной похожи, а в чем-то совсем нет, — коротко сказал мой друг. — И проявляется это по-разному. Мне было очень непросто понять, то есть почувствовать, почему вы, американцы, думаете и ведете себя так, а не иначе, и до конца мне это так и не удалось. То был для меня хороший урок. И теперь я думаю, что иностранцу тоже почти невозможно понять нас до конца.

— Хорошо, хоть «почти». Значит, нам не хватает остроты чувств?

— Я не то хотел сказать.

— Дорн, мне ненавистна сама мысль о том, что я никогда не смогу тебя понять. Ты приводишь меня в отчаяние. Когда я только приехал, меня одолевали очень странные чувства, непонятные, страшные, но понемногу я стал привыкать и уже не ощущал себя таким растерянным.

— Дорна считает, что со временем ты поймешь нашу жизнь.

— Правда?

Сердце у меня забилося.

— Она сама сказала. Они с дедом говорили о том, насколько иностранцы способны понять нас, как раз накануне того, как ты вернулся от Фаррантов. Дед так и не высказался определенно, я сильно сомневался, но Дорна сказала, что некоторые могут, и назвала среди них тебя.

— Интересно, что она теперь думает?

Дорн какое-то время молчал.

— Вам действительно удалось найти общий язык?

— Не всегда, но мы очень много говорили о торговле с границей и о политике, и тут понимание было полное. Хотя, конечно, взгляды у нас разошлись. Кстати, порою она бывает и очень красноречива. Но ты и вправду сомневаешься?

Дорн резко поднялся и обернулся ко мне, стоя спиной к огню.

— Почему тебе так хочется походить на нас?

— Не знаю, как насчет «походить», но мне хотелось бы хоть как-то понять вас.

— Это одно и то же! И что же ты хочешь понять?

Единственное, что пришло мне на память, — это минуты смятения, пережитые рядом с Дорной, а из них — самое болезненное: мысли о том, что в чем-то я кажусь ей ущербным.

— Просто мне не нравится быть чужаком.

Дорн не поспешил опровергнуть меня.

— Но что так беспокоит тебя? — спросил он наконец. — Почему ты считаешь чужаками нас?

— Потому что вы не кажетесь мне чужими, а я для вас — чужой.

— Должно быть, мы кажемся тебе очень странными.

— Иногда странными, но не чужими!

— Это потому, что ты здесь, а мы живем своей обычной жизнью и ты видишь только ее.

— Нет, потому что и там, в Америке, ты не казался мне чужим.

— Мы устроены проще, и наша цивилизация дает человеку больше уверенности в себе, — сказал Дорн с расстановкой.

Что можно было на это ответить?

— Греки и варвары — не так ли? — заметил я.

— Скорее, греки и римляне. Но мы — не греки. Вспомни «Республику» Платона. Они верили в законы и в сильную власть, направляющую действия каждого. Впрочем, есть одна вещь, для которой все это не имеет никакого значения, — это наша дружба.

— Кажется, это единственное, на что можно положиться.

— Да, можно.

Ответа и не требовалось, настолько сильно и весомо прозвучали эти слова. Мы оба долго молчали...

— Интересно, что ты подумал о Дорне, когда понял, что она заранее рассчитывала на двухдневное плавание? — сказал Дорн. — Тоже, наверное, показалось странным? Тогда, за ужином, все всё поняли. Она знала, что за день вам не обернуться.

Я покраснел до корней волос, но Дорн в этот момент носком подталкивал поленья к центру очага.

— Да, она знала, — ответил я, — и сказала мне про это вскоре после того, как мы отплыли.

— Но не до тех пор, пока вы не успели отплыть достаточно далеко, в этом я уверен.

— Во время завтрака, но начался отлив, и можно было вернуться.

— Но стоял штиль.

— «Болотной Утке» не нужен сильный ветер.

— Я не виню Дорну. И тебе не нужно ее защищать.

— Если уж винить, то скорее меня. Я не хотел возвращаться. А она дала повод.

Я наполовину солгал: Дорна и не предлагала вернуться.

— И тебя я не виню тоже. Просто спросил насчет странностей. Можешь ничего не объяснять.

— У меня на душе беспокойно. Дома это посчитали бы дикой выходкой, но ведь здесь — не Америка.

— Я знаю, что подумали бы в Америке.

— Дорна сказала, что и здесь есть люди, которым это не понравится.

— Когда она это сказала?

— Сегодня.

— Разное бывает, — ответил Дорн. — Многое зависит и от самих «беглецов». Полагаю, ты решил, что в Островитянии это принято, потому что иначе Дорна не взяла бы тебя с собой?

Он взглянул на меня, словно желая, чтобы я подтвердил его догадку, но я не мог этого сделать.

— У меня не было определенного решения. Я принимал ситуацию такой, какая она есть.

— Ты вполне мог бы предложить вернуться — в такой форме, чтобы Дорна не обиделась, решив, что поступает предосудительно.

— Скорее всего, я даже не подумал об этом.

Дорн возился с поленьями.

— Лучше бы она этого не делала, — сказал он, сильным пинком загнав полено вглубь очага, — но теперь мое мнение ничего не изменит.

Пламя снова задыхало жаром мне в лицо. Вопросы, один за другим, готовы были сорваться с губ; внести ясность казалось жизненно необходимым. Но Дорн опередил меня.

— Джон, я забочусь о тебе больше, чем кто бы то ни был здесь. Давай прекратим этот разговор. Ни ты, ни Дорна не виноваты.

— Я не виню ее.

— Не вини и себя.

— Мне не в чем себя винить.

Дорн коротко рассмеялся, но лицо его было мрачно. Его слова отозвались во мне радостно и больно.



По совету Дорна, я предполагал навестить Сомсов в их провинции, в Лории, на обратном пути в Город. К вечеру третьего дня, когда солнце уже садилось, я подъехал к «каменным воротам с вырезанными на них двумя волчьими головами», о которых рассказывал Дорн. В прохладном осеннем воздухе повсюду поднимались, змеясь, струйки дыма — горели опавшие листья.

Когда мы проезжали через ворота, Фэк ускорил шаг. Ровная, ухоженная дорога, петляя, уходила в густые заросли молодых елей.

Из-за елей перед нами — так резко, что Фэк испуганно шарахнулся в сторону, — выступили двое — мужчина и женщина. Ярко-красные лучи солнца пробивались сквозь темную зелень деревьев. На ее фоне фигуры незнакомцев выделялись так живо и ярко, что казались нереальными. Мужчина, черноволосый, молодой, приятной внешности, был в желтой рубашке и пестрой расстегнутой куртке, у женщины, тоже молодой, волосы с золотистым отливом были заплетены в косу; на лицах у обоих играл яркий румянец.

Я натянул поводья и назвал свое имя. С минуту незнакомцы молчали, пристально глядя на меня. Потом юноша резко подошел ко мне и отрывисто произнес:

— Сомс!

— Брома, — так же отрывисто сказала девушка.

— Мы ждали вас завтра утром, — добавил Сомс. — Дорн известил нас о вашем приезде. Наш дом — ваш дом.

Теперь я вполне понимал значение этих слов и поблагодарил Сомса.

— Вы застали нас врасплох, — рассмеялся юноша. — Эти маленькие лошадки Дорнов двигаются неслышно, как кошки. А мы гуляли по лесу.

Меня наш взаимный испуг тоже позабавил. Брома, подойдя поближе, широко улыбнулась, обнажив ряд ровных белых зубов. Она была еще моложе меня, лет двадцати с небольшим, — жена Сомса.

— Вы, наверное, хотите отдохнуть с дороги, Ланг? — спросил Сомс. — Вы ведь уже три дня в пути, не так ли? Дом близко. Так что поезжайте прямо туда. А мы постараемся поскорее вернуться.

Дорога, петляя, вывела меня из леса; начались участки пахотной земли, и вскоре показался сам дом, стоящий на холме, окруженный просторными лужайками в тени старых деревьев. Подъехав к дому, я объяснил встретившему меня человеку, кто я такой. Он сложил мою поклажу на крыльце, взял Фэка за уздечку, но не стал его уводить. Я понял, что он ждет, что я тоже пойду вместе с ним в конюшню. Так я и сделал, убедившись, какая забота была проявлена о моей верной лошади.

Потом я вернулся в дом. Моей сумы на крыльце уже не было. Я почувствовал себя в некотором замешательстве, поскольку никто не появлялся, не приглашал меня войти, да и колокольчика или дверного молотка я не заметил. Однако, снова подумав, как повел бы себя на моем месте островитянин, я вошел и оказался в передней с низким потолком и каменным полом; двери были закрыты, лестница вела наверх. Прошло несколько минут, и наверху послышались шаги. Вскоре на лестнице показался человек средних лет. Я снова назвал свое имя. Мужчина представился как Сомс, сказал, что комната для меня готова, и не хочу ли я пройти.

Комната находилась в передней части дома, над террасой; из окон за лужайками виднелись участки возделанной земли, а за ними — еловый лес, в котором скрывалась дорога. Сума моя

лежала на столе; в углу стояла большая медная ванна.

Мужчина сказал, что если я хочу вымыться, то воду сейчас принесут, а пока его жена угостит нас *саркой*. Он оказался отцом Сомса, которого я встретил в лесу, — коренастый, темноволосый, синеглазый, на вид спокойный, бывалый человек.

Мы поговорили о моей поездке, о том, как поживают Дорны; потом жена Сомса, которую он представил как Даннингу, внесла поднос с тремя стаканами и блюдом с печеньем. Напиток по вкусу напоминал коньяк. Он был довольно крепкий, и я почувствовал, как внутри у меня разливается приятное тепло. Мы еще немного поговорили о моем визите к лорду Фарранту, затем вошел слуга, неся два огромных медных кувшина с горячей и холодной водой и свечи. Хозяева оставили меня, пожелав приятного отдыха.

Нет ничего приятнее ванны после долгой езды верхом. Я лежал в совершенной расслабленности, наслаждаясь теплом, идущим снаружи и изнутри. Без особых мыслей в голове, погружаясь в дремоту, я чувствовал себя просто человеком и не без интереса разглядывал в воде свое нагое тело.

Уют! Именно это чувство я чаще всего испытывал, останавливаясь у своих друзей-островитян. Нередко я уставал с дороги. Хозяева мои были заботливы и неназойливы. Еда оказывалась в меру сытной для проголодавшегося путешественника, беседа была самая незатейливая, и я всегда мог отправиться на покой, как только пожелаю.

В доме жили лорд Сомс — молодой человек, которого я встретил на дороге, его жена и родители. Внешне он походил на Сому, жену Кадредра, свою двоюродную сестру. Всего несколько месяцев, как он женился, а годом раньше был избран лордом провинции — преемником своего деда, отца Сомы. Лорд Сомс показался мне моложе своих лет (ему исполнилось двадцать семь) и, пожалуй, еще нуждался в опеке. Это был веселый, беззаботный юноша, и нельзя сказать, чтобы он всерьез воспринимал свои обязанности. Броне, молодой жене Сомса, шел двадцать второй год, и во многих отношениях она оставалась еще совсем девочкой, похожей на знакомых мне незамужних барышень. Она привлекала не столько красотой, сколько молодостью и свежестью, скуластая, с густыми каштановыми волосами и ясными голубыми глазами. Про себя я не мог не задаться вопросом, почему лордом провинции избран этот юноша, а не его отец или дядя, генерал в отставке, с которым я встретился позже. Эти люди были старше, с устоявшимися взглядами, и к тому же их избрание не нарушило бы механизма наследования. Молодому лорду, похоже, не хватало специальных знаний, и по характеру он не казался склонен к регулярному исполнению официальных обязанностей. С другой стороны, отец лорда Сомса был не слишком выразительной личностью и с головой ушел в хозяйственные заботы. Он сам рассказывал мне, как пятнадцать лет назад собственными руками сажал ельник, через который я проезжал.

Жители Лории производили впечатление людей медлительных и ленивых. Очевидно, что кандидатура лорда Сомса была единственно возможной в этой семье, однако, несомненно, в такой большой провинции могли найтись многие, кто исполнил бы обязанности лорда не хуже. И я был просто поражен, узнав, что Сомс был избран практически единогласно. Возможно, тут сказывалось давление семейного авторитета.

На следующее утро, как то и предлагали Сомсы, я выехал в сопровождении слуги по имени Серсон, мальчика четырнадцати лет, служившего мне провожатым. Сомсы дали мне лошадь. Фэк, свободный от поклажи, бежал сзади. Один я мог бы и заблудиться. Лесная усадьба Сомсов стояла в пятнадцати милях, и в конце концов я бы до нее добрался, следуя по большой дороге, но это было бы нелегко. Серсон и я то и дело сворачивали с большака на проселочные дороги, потом возвращались, и хотя я и не совсем утратил ориентацию, но был близок к тому, чтобы

окончательно запутаться в лабиринте извилистых, пересекающихся троп, пролежавших по полям и пастбищам, среди садов, разделенных изгородями и стенами. Но вот запутанное хитросплетение дорог и тропинок, пересекавших холмистые фермерские угодья, оборвалось, и мы выехали к Лорийскому лесу, старому, дремучему, — самому сердцу провинции, простиравшемуся на пятнадцать миль в длину и на семь-восемь в ширину.

И Дорна, и Сома, и Дорн — все рассказывали мне об этом лесе. Он растет на остаточном плато, с почвой менее плодородной, чем в окружающих его частях Лории. Местами среди леса вздымаются поросшие деревьями утесы; их вершины царят над землями фермеров. Преодолевая плавный подъем, мы въехали в лес. Преимущественно здесь росли буки, уже наполовину облетевшие, но на скалистых возвышенностях попадались сосны да кое-где дубы.

На проселках в лесу расположены три или четыре усадьбы, со всех сторон окруженные лесной чащей и далеко отстоящие друг от друга. Одна из них и принадлежала Сомсам.

Я не жалею, что увидел этот лес осенью, а не в летнем убранстве, как увидел и замечательно описал его Карстерс. Дул сильный ветер; белые облака плыли по небу. Здесь было холоднее, чем внизу, а лес был весь пронизан светом. Узкая дорога поросла травой, местами вытоптанной; однако это были не ровные колеи, как в Америке, где больше распространены колесные экипажи, а следы, оставленные конскими копытами. Совершенно неожиданно мы увидели трех серых островитянских оленей, с короткими рогами, крутобоких и на длинных, как у жеребят, ногах. Серсон сказал, что в лесу водятся медведи, а два года назад видели матерого волка.

Проехав около пяти миль по лесной дороге, мы неожиданно оказались на просеке перед усадьбой Сомсов. Выгоны, залитые холодным солнечным светом, спускались к ручью и вновь поднимались по склону на противоположной стороне. Там-то и стояла усадьба, а по берегам ручья, довольно круто заворачивавшего к юго-западу, рос фруктовый сад. Остальная земля была тоже возделана и разгорожена прочными деревянными изгородями.

В отличие от древнего леса, усадьба казалась новой, только что отстроенной, непохожей на те, что я видел раньше, — быть может, из-за деревянных изгородей, придававших ей вполне американский вид в этом краю каменных стен. Мы подъехали к дому между яблонь с уже голыми изогнутыми ветвями. Дом был одноэтажный, но вытянутый, несимметричный. Он стоял, открытый взгляду, со стенами из светлого необтесанного камня, и только один из флигелей прятался в густой рожице. Однако чем ближе мы подъезжали, тем осанистее и добротнее выглядел дом. Дверные и оконные наличники из более темного камня были сплошь покрыты богатой резьбой; трава росла вплотную к стенам. По центру располагалась каменная терраса с каменными скамьями по обе стороны двери.

Серсон выкрикнул наши имена громким, звонким мальчишеским голосом, и не успели мы подъехать к террасе, как дверь открылась и нас приветствовал Сомс — молодой человек лет двадцати двух. Он был настолько похож на Сому, жену Кадредана, так обаятельно улыбнулся мне, и вообще на меня вдруг повеяло таким радушием, открытостью и дружелюбием, что я чуть не позабыл о рекомендательном письме его сестры. Сомс представил меня своей матери, Хисе, которая приходилась двоюродной бабушкой Некке, Наттане и остальным детям Хисов.

Вскоре настало время обедать; за столом нас было только трое. Генерал в отставке Сомс, дядя молодого человека, жена генерала Марринера и их дети, возможно, собирались заехать в усадьбу сегодня же. Не будь у моего вожатого Серсона такого пристрастия срезать дорогу, выискивая самые запутанные, но и самые короткие тропы, мы могли встретиться с семьей генерала еще по дороге.

Хиса, такая же несокрушимо жизнерадостная, как и ее племянник лорд Хис, тем не менее была лишена того общительного обаяния, которое делало его похожим на американского

политика. Стоило мне упомянуть, что я побывал в гостях у ее внучатых племянниц, как она тут же активно включилась в беседу и припомнила их детские проказы, заставив и меня вспомнить о сестрах Хисах.

Поговорили и об усадьбе, причем выяснилось, что новой она только кажется. Семья, сказал молодой Сомс, приехала сюда четыре века назад, вынужденная оставить Камию, где, как заметил с улыбкой юноша, способы, которыми они пытались достичь победы на выборах, оказались непопулярными. Они не имели права селиться в Лорийском лесу, добавил он, однако обосновались здесь, живя по большей части охотой, и в конце концов добились своего. Они были очень бедны тогда и, учитывая суровые зимы и скудость почвы, не могли вдоволь запастись всем необходимым. Только полтора века назад удалось приобрести еще одно поместье, и теперь Сомсы понемногу доводили хозяйство до желаемого уровня. И все это благодаря «Сомсу-сыну второму» (отцу лорда Сомса) и его жене. Он полностью посвятил себя земле, оставив прочие амбиции, и частенько навещался сюда: лесная усадьба требовала дополнительных хлопот. Услышав это, я наконец нашел разгадку того, почему не он, а именно его сын стал лордом провинции.

У молодого Сомса оставалась еще кое-какая работа на вторую половину дня, и я вызвался помочь ему. Теперь я чувствовал себя истинным островитянином. Я был гостем, но именно как гостю мне было гораздо естественнее (хотя и не обязательно), естественнее, чем дома, в Америке, предложить в случае необходимости свою помощь, даже если она была сопряжена с физическим трудом. И все же мне было не отделаться от чувства неловкости. Сомс воспринял мое предложение как должное. Мне подобрали пару старых кожаных бриджей, гуттаперчевые сапоги, и мы выступили: Сомс впереди, я — следом.

Мы шли вниз по ручью, и Сомс рассказывал о том, как им постоянно не везло. В поместье жила одна семья *денерир*, в которой сменилось уже пять поколений. У Олда Парка (имя это звучало привычно, по-английски, и в то же время странно) было три сына. В хозяйстве нужны были только двое, поэтому один пошел служить в армию, а из двоих оставшихся один умер, а другого покалечило упавшим деревом. Сам Олд Парк, которому перевалило за восемьдесят, еще мог выполнять кое-какую работу, увечный сын приглядывал за скотом, так что вполне трудоспособными мужчинами в имении были только Сомс и его дядя, генерал. Другой его дядя взялся им помогать, и это было серьезной поддержкой. «Отдохнуть нам здесь некогда, Ланг, но через несколько лет все наладится. У Парка третьего, калеки, растут двое сыновей. Так что мы не жалуемся».

Пока он ничего не сказал о том, какая работа нам предстоит. Пожалуй, чтобы разговаривать с фермером, нужно действительно очень хорошо знать островитянский, поскольку во всем, что касается хозяйства, язык у них богатый и разнообразный, причем часто они употребляют несколько разных слов там, где мы обходимся одним. Мой опыт по части сельского хозяйства был очень поверхностным и скудным. Собственно, всему, что я знал, научила меня тетушка Мэри, у которой был всего лишь небольшой сад. Когда двое островитян заводили при мне беседу о хозяйстве, я не мог понять ровным счетом ничего. К тому же Сомс был из числа тех глубокомысленно серьезных личностей, чувство юмора в которых обнаруживается лишь при ближайшем рассмотрении, когда вам удастся лучше познакомиться с их своеобразной поведкой и манерой изъясняться, — личностей, которые долго и с таинственным видом рассуждают о шурфах и шпурах, когда на самом деле речь идет о том, чтобы выкопать простую яму.

Пройдя еще вдоль ручья, мы оказались в низине. Проточив глубокое русло в крутом склоне, маленький ручей ниже разливался, образуя запруды площадью примерно в пол-акра, делая этот участок земли непригодным для использования. Почва здесь была красная, почти пурпурная, местами глинистая, вязкая, местами песчаная. Сомс остановился, задумчиво озирая

затопленную площадку. Ручей безобидно журчал между двух низких насыпей; недалеко от места, где мы стояли, площадку прорезала глубокая канава. Скоро, стало ясно, что нам нужно продолжить и углубить канаву — иными словами, хорошенько поработать лопатой. Слушая забавно высокопарную речь Сомса, я внутренне переводил ее на свой язык. Через шесть недель, то есть месяца через два, подуют сильные юго-восточные ветры, настанет зима, и перед тем, как земля замерзнет, канаву нужно прорыть до конца и отвести в нее ручей, иначе все труды пропадут зря. Сомс сказал, что ему нравится копать, и поэтому он каждый день делает не меньше им самим положенной нормы. Если какой-то день выпадал, он обязательно наверстывал несделанное. И если я помогу ему выполнить и завтрашнюю норму, то вряд ли он простит мне такое прегрешение. Поэтому я могу не очень-то и стараться.

Несколько тяжелых лопат были воткнуты в дно канавы. Сомс, прищурившись, выбрал одну и вручил ее мне. Я внимательно следил за ним и захватил лопату в точности, как это сделал он. Примерно за тридцать футов вперед канава была глубиной в фут. Мне предстояло углубить ее. Копать приходилось «вверх», если можно так выразиться. Подпочва площадки была, без сомнения, сухая, потому что за мной, на более низких участках, обложенных плоскими камнями, скопилось несколько больших луж. Сомс занял место сзади; там же, где стоял я, земля была лишь чуть сырая.

Я начал копать. За спиной слышалось хлюпанье Сомсовых шагов и как тяжело шлепалась мокрая земля, выброшенная наверх. Моя лопата легко, аккуратно входила в сырую почву. Поначалу это было забавно, но скоро мои не привычные к такому труду мышцы стали отказывать. Я медленно продвигался вперед, думая о том, что лучше бы уж Сомс шел впереди, и заботясь не столько о том, чтобы побольше выкопать, сколько о том чтобы не сдаться, не остановиться первому. Я хотел объяснить Сомсу, что у меня не хватает сил, но не знал, как это сделать и не показаться «слабаком». Правду сказать, я был несколько возмущен тем, что меня заставили выполнять подобную работу, потому что ведь не могли же островитяне и в самом деле считать естественным использовать гостя таким образом; а с другой стороны, и сам гость без определенного, пусть и почти нечувствительного принуждения вряд ли захотел бы делать такую работу для человека, которого видит впервые в жизни. Но я продолжал сосредоточенно копать, стараясь, чтобы это выглядело сносно, и в то же время растягивал запас сил, чтобы не выйти из игры слишком скоро.

Отправляя наверх лопату за лопатой, я пытался представить, что подумали бы лорд Мора или молодой Келвин, если бы узнали, в какую переделку попал консул Соединенных Штатов Америки на какой-то глухой лесной ферме. Уж они-то, я не сомневался, никогда не заставили бы меня выполнять такую работу. Нет, островитяне явно переоценивают прелести ручного труда. Для такой работенки больше подошел бы паровой экскаватор. Я вспомнил идеи дядюшки Джозефа об экономии ручного труда за счет машинного, о важности технического прогресса и думал о том, как глубоко он был прав. Одновременно я испытывал не менее глубокое презрение к себе за то, что позволил втравить себя в такое, и даже в какой-то момент рассердился на Дорна — зачем он втянул меня в эту историю с немцами на перевале Лор. Мои друзья, сойдись я с ними поближе, могли представлять угрозу моему будущему.

Поднимать лопату становилось все тяжелее. Спина ныла, пальцы свело, но я продолжал копать, решив не останавливаться, пока не остановится Сомс.

Он между тем завел со мной разговор. Поначалу я отвечал неохотно: разговор отвлекал внимание, сосредоточенное исключительно на работе. Сомс рассказывал о площадке, о поведении ручья; вообще-то, говорил он, место это солнечное (хотя сейчас, когда небо было обложено низкими серыми облаками, оно казалось сырым и мрачным), а подпочва — влажная после хорошего дренажа, и поэтому они сажали здесь луковицы цветущих растений и овощи,

нуждающиеся в сухой почве, но так, чтобы на глубине корни достигали влажных слоев. Рассказал о том, как три года назад, после сильных дождей, ручей вышел из берегов и уничтожил посадки и площадка осталась единственным местом, где можно было сажать эти растения. Рассказ Сомса смягчил меня, но, сказал я со своей стороны, здесь, в Лории, вполне можно было бы использовать паровой экскаватор на тракторной тяге. Через пару дней работа была бы готова. Иными словами, я не смог удержаться от небольшой рекламы отечественных товаров. Я подробно рассказал об устройстве экскаватора. Таковую канавку он отроет в мгновение ока. Теперь уже Сомс внимательно слушал и задавал вопросы. Кажется, мой рассказ произвел впечатление. Я воодушевился и, в порыве вдохновения живописуя выгоды торговли, несколько отвлекся от копания.

Сомс сказал, что не прочь посмотреть паровой экскаватор, хотя бы на картинке.

Я вспомнил слова Дорны о том, что островитян должны заинтересовать машины, экономящие время. Рядом со мной был человек, действительно заинтересованный в том, что мы предлагали. Складывалось впечатление, что на Востоке люди здесь более прогрессивны. Западный консерватизм временами удручал меня. Я был слишком привязан к Дорну и его близким, и все увиденное у них произвело на меня большое впечатление, но мои взгляды остались непоколебимы.

Однако затем по вопросам Сомса я понял, что паровой экскаватор вовсе не кажется ему подходящим для того, чем мы занимались. Оказалось, каждый говорил о своем. Сомс решил, что и я наделен столь же специфическим чувством юмора и что все мои рассказы о том, как хорошо копать канавы экскаватором, — шутка.

— Не понимаю, — сказал он, — совершенно не понимаю, как можно поручить такую работу экскаватору.

Он помолчал, будто подбирая слова, чтобы не обидеть меня, и наконец быстро заговорил. Временами я терял нить его рассуждений, но вкратце они сводились к следующему: медленно, вручную отрывая канаву, человек гораздо лучше сможет узнать состав и качество почвы, что совершенно невозможно, работая экскаватором; чтобы скорее выкопать большой объем, экскаватор разрушит цельность залегающих пластов; земля утрамбуется под тяжестью машины; выхлопы горючего, на котором работает экскаватор, тоже могут принести вред.

Мне казалось, что Сомс переусложняет вопрос, но человеком земли был он, а не я. Потом неожиданно взволнованным голосом он сказал, что ведь тут повсюду попадают луковицы разных растений, которые экскаватор либо зарует слишком глубоко, либо просто уничтожит. Интуиция подсказала мне причину его волнения. Конечно, от моего копанья корням и луковицам тоже могло не поздоровиться. Я ненадолго остановился передохнуть и снова решил вести разговор в открытую.

— Это не пришло мне в голову. Может быть, я уже погубил несколько растений.

— Нет, — сказал Сомс после небольшой паузы. — Я следил за вами. Да на вашем участке их и немного.

Я испугался — уж не простая ли это вежливость, и представил, как переживал Сомс, наблюдая сзади за моими неловкими движениями.

— Ислата Сомс! — воскликнул я. — Скажите честно. Ведь вы боялись, глядя, как я копаю?

— Да, немножко, — ответил Сомс. — Вы слишком налегаете на лопату. Так и не заметишь, как перерубишь корень или разрежешь луковицу. Вы копаете, не чувствуя.

— А вы?

— Конечно, я чувствую.

— Значит, я мог не почувствовать! — воскликнул я в отчаянии.

— А вы можете рассказать мне о земле по тому, что говорит вам рукоять лопаты?

— Нет, — признался я.

Поглядев друг на друга, мы рассмеялись. Потом я поведал Сомсу о своем скромном опыте землекопа.

— Я для такой работы не гожусь, — подытожил я. — А там, где вы копаете, есть луковицы и корни?

— Нет.

— Тогда, может быть, я покопаю там?

— Земля здесь тяжелее и очень сырая, да и копать не так интересно.

— Ну, дайте хоть попробовать.

Сомс явно колебался.

— Я предложил вам эту работу, потому что думал — вам будет интересно искать луковицы и корни, уцелевшие после потопа.

— Возможно, однако у меня нет вашего чутья, и мне было бы действительно жаль повредить хоть одно растение.

Я рассказал, как однажды, копаясь в огороде у тетушки Мэри, разрезал лопатой несколько луковиц, и Сомс вздрогнул, словно от боли или испуга, а может быть, от отвращения. Это было все равно что рассказывать о вивисекции члену Общества охраны животных.

Но все же он пригласил меня спуститься к нему. Теперь мы понимали друг друга. Сомс позволил себе дать мне несколько советов — как лучше держать лопату, и в советах его чувствовалось знание анатомии. Я с новым рвением взялся за работу.

Должно быть, я устал. Тело ныло и болело, ладони жгло, кое-где кожа вздулась волдырями, но я чувствовал в себе могучий прилив сил. Густо пахло землей. Я копал с наслаждением, все больше втягиваясь в работу. Смутно рисовался момент, когда мы закончим работу на сегодня, ванна, ужин. Я думал обо всем этом не без удовольствия, но и без жгучего нетерпения. С того места, где я копал, стоя чуть ли не по колено в воде, была видна земляная насыпь, рассекавшая У-образную горловину ручья, и в этом просвете — роскошная яркая зелень поля. С другой стороны близко подступал лес. За мной шел склон, и вид был ограничен встающими один за другим рядами темного леса.

Внезапно я не столько понял умом, сколько почувствовал, как это пьяняще увлекательно — быть земледельцем в Островитании. Я ощутил, как безгранично интересно здесь любое дело, входящее вместе с остальными обыденными делами, составляющими жизнь каждого, в единое целое, единый круг, ведь земля и хозяйство — больше своего хозяина, они приходят из прошлого, зародившись задолго до его рождения, и продолжают в будущем — уже после его смерти, все равно оставаясь его землей, его хозяйством.

— Ислата Сомс из Лорийского леса. Уж не Ланг ли это — друг Дорна, внучатого племянника лорда Дорна? — раздался негромкий, спокойный голос сверху.

Взглянув наверх, я увидел генерала Сомса, дядю жены Кадрета, и молодого человека, с которым работал.

Генерал Сомс был небольшого роста. Темные, с проседью, волосы коротко подстрижены. Черты его лица были не менее красивы и благородны, чем у лорда Моры, и тоже не лишены своеобразного обаяния. На мужественном, сильном лице особенно выделялись глаза. В них было что-то дикарское, страстное, и вместе с тем угадывалась потаенная боль.

Несмотря на обворожительную улыбку, взгляд отливал холодной непреклонностью. Я ответил на его приветствие.

Вдруг молодой Сомс, племянник генерала, вскрикнул, и мы оба повернулись к нему.

— Вы помните тот *дарсо*, который появился здесь весной? — торопливо говорил юноша. —

Похоже, я его нашел!

Его лопата была до половины воткнута в землю. Рука Сомса медленно погружалась в землю вдоль лезвия лопаты. Мы внимательно следили за ним. Уже много позже мне довелось видеть, как цветет *дарсо*. Тогда же я мог только вспоминать, что слышал о нем раньше, но волнение моих спутников сообщилось и мне.

Молодой Сомс вытащил из земли большую, почти правильной круглой формы луковицу и очистил ее от земли. Потом они с дядей наклонились, разглядывая находку. Я не вполне мог составить им компанию, зная лишь, что *дарсо* — растение редкое, если не уникальное.

— Надо отправить *дарсо* внучатой племяннице Дорне, — сказал дядя Сомс.

— Да, конечно, — с чувством подхватил его племянник.

— Рядом должны быть и маленькие луковицы.

Молодой человек снова стал прощупывать землю.

Я прислонился к земляному отвалу, без сил, но счастливый, чувствуя, что весь охвачен неудержимой дрожью.

Когда вечером того же дня я вернулся в свою комнату, мне вдруг ясно припомнилось все, связанное со словом «*дарсо*». В одной из бодвинских притч из области естествознания рассказывается о том, как однажды это растение было найдено рядом с военным лагерем. Автор притчи размышлял над тем, насколько живыми и сильными оказываются интересы земледельца в их противостоянии воинственному пылу, опасностям и тяготам войны; и описание цветка с его ослепительно белым покровом и пурпурным исподом широко раскрытой чашечки так ярко и живо встало у меня перед глазами, как, должно быть, сам цветок, ослепивший своей красотой Бодвина.

Что он будет столь же ослепительно цвести в саду Дорны — я не сомневался! Болезненная дрожь, как и в полдень, овладела мной, но я не мог вызвать достаточно отчетливый зрительный образ Дорны — далекой, отделенной от меня высокими горами, — не видя ее четыре дня и четыре ночи. Я вдруг словно ослеп и, как ни напрягал свое зрение, не мог разглядеть лица девушки. Ее образ был для меня единственным, самым чистым, но жизнь вдали от нее успела пусть немного, но изменить меня, и образ словно бы затуманился. Восток, куда я возвращался, скорее отталкивал, но и там были свои соблазны. Там я буду больше чувствовать себя дома. Я был не ровня Дорне и не мог держаться на равных с ее родным Западом, но я твердо знал, что люблю ее.

На следующее утро я уехал от Сомсов. Послезавтра я уже снова буду в Городе. Казалось, я возвращаюсь домой.

Молодой Сомс сам вывел меня из леса и показал, в какую сторону ехать, чтобы добраться до Главной дороги, проходившей в нескольких милях к юго-западу от города Лории. Я предпринял отважную попытку быть островитянином до конца: во-первых, не теряться, а во-вторых, без ложного смущения переспрашивать, ежели что будет мне непонятно.

С чувством облегчения покидал я Сомсов и вообще весь консервативный Запад: Файнов, Хисов, Дорнов, Фаррантов — противников Договора, въезда иностранцев, возводящих стену между Островитянией и той жизнью, к которой я привык. Глядя на них, можно было предположить, что страна их почти наверняка откажется от свободного обмена гражданами, воспретит селиться колонистам, вести торговлю и даст согласие лишь на краткосрочное пребывание иностранных туристов. Тем не менее, проезжая холмистыми, густо заселенными районами восточной Лории, под пасмурным, но бледно светящимся небом, я думал о том, что есть и другое решение этого вопроса и я — не единственный его сторонник. Кроме меня были

еще и сам лорд Мора, молодой Эрн, молодой Келвин, молодой Мора и жители их провинций. Так ехал я весь день, одолеваемый раздумьями, соображая, как мне лучше действовать в предстоящей борьбе.

Единственное, что темным пятном омрачало радость возвращения, были мысли о том, какую реакцию вызовет в Городе мое участие в истории на перевале.

Лорд Мора писал, что дело ему ясно, однако я хотел бы повидаться с ним лично и объяснить напрямую относительно собственной позиции и моего отношения к немцам. Письмо премьера не давало повода тревожиться, и все же на душе было беспокойно.

Вечером следующего дня, прибыв в Город, я первым делом направился в конюшню на площади Мони, где отныне, под заботливым присмотром, предстояло жить Фэку. Что за чудоконь и как я ему был благодарен! Затем, уже привычным движением взвалив суму на плечо, углубился в сеть воздушных переходов, затерялся в висячих садах. Подойдя к двери, над которой висел флаг моей родины, я вошел. Джордж первым встретил меня, приветствуя после столь долгого отсутствия. А оно и в самом деле длилось больше месяца, даже островитянского: я выехал десятого марта, а сегодня было четырнадцатое апреля.

Я бросил суму в угол и опустился в кресло. Как приятен был этот вновь обретенный покой! Вымыться в собственной ванне, сесть ужинать у себя за столом и выпить чуть больше обычного, в сознании того, что пьешь свое вино.

Джордж в этот вечер не стал утомлять меня делами. Он охотно слушал мои рассказы, и я поведал ему все, что можно было, кроме случая на перевале. Тут он достал мою почту. Из-за границы, конечно, ничего не было, поскольку пароходы за это время не приходили, но было несколько местных писем, одно — от лорда Мору. Только его я решил прочесть немедленно, хотя так и тянуло поскорее улечься.

Великий человек писал, что самого его не будет в Городе к моему приезду, но что при желании я могу встретиться с его сыном. Далее лорд Мора писал о том, что ни он, ни правительство не придали какого бы то ни было значения инциденту на перевале; что он взял на себя труд объяснить графу фон Биббербаху, как я там оказался, и вполне уверен, что граф правильно понял ситуацию; и наконец, что он попросил сына и графа правильно растолковать случившееся, буде возникнут кривотолки. Он выражал надежду, что мне понравилось увиденное во время путешествия, полагая, что его старым друзьям Дорнам не удалось-таки изменить мою точку зрения на некоторые политические проблемы; напоминал, что теперь — очередь навестить его: до двадцатого мая он будет дома, в своей резиденции в Мильтейне, и надеялся, что я приеду погостить у него неделю. Письмо было написано несколько официальным, но вполне добродушным тоном. Разумеется, я испытал облегчение, однако был слегка озадачен. Итак, получалось, что кривотолки все же могут возникнуть.

Что ж, тогда придется призвать на помощь молодого Мору.

Я лег, но уснул не сразу. Ироничное пожелание лорда Мору, чтобы я не поддавался влиянию Дорнов, воскресило в моей памяти впечатление о днях, проведенных в тех далеких провинциях. Воспоминания нахлынули, яркие, порой болезненные, и почти сразу мне представилась Дорна. Что следовало предпринять, чтобы изменить их жизнь? Или я попусту связывался в чужие дела? Если запад Островитянии хотел оставаться исключением — почему бы и нет, даже если большая часть провинций решит иначе?.. А Дорна? На какое-то мгновение мне даже захотелось, чтобы сама Островитяния изменила ее характер, наказав за все, что она мне наговорила, за ее предостережения, ее придирки. В преображенной Островитянии поверженная Дорна вполне могла стать благосклоннее к могущественному Джону Лангу.

Вино снимает преграды, стоящие перед воображением. Осмелев, я мечтал о будущих победах: о дружбе с Дорной навеки, которую я, конечно, приму, о ее губах, губах первой

женщины, которую я поцеловал, и обо всем прочем, обо всем, что будет принадлежать мне, когда я стану ее мужем. Я видел, ощущал ее как живую, и это поражало еще больше. Ее образ преследовал меня, как Диана преследовала Актеона.^[3] Я чувствовал — и это было неопишное чувство, — словно чьи-то мощные незримые руки хватают меня и повергают наземь. Примерно то же я пережил, лежа в каюте «Болотной Утки», такой хрупкой и вместе с тем такой надежной, прочной.

Дорна обладала надо мной властью, превосходившей власть простой смертной. Я даже не мог ей противиться. Единственная успокоившая меня мысль была та, что человеку подвыпившему часто приходят странные мысли или, скорее, странные чувства.

Хорошенько напиться — замечательно хотя бы тем, что засыпаешь одним человеком, а просыпаешься совершенно другим. На следующее утро все вокруг и во мне слегка изменилось. Спал я крепко. Сколько миль было проехано, как много я узнал, а увидел и того больше. Я был полон жизненных сил и готов со рвением взяться за дела.

Сегодня приходили пароходы, и на пристани предстояла неизбежная встреча с графом фон Биббербахом, которого я побаивался, хотя он и «правильно понял ситуацию». Граф стоял окруженный толпой соотечественников. Все громко и оживленно разговаривали. Посланник, как всегда, был в строгом костюме. Ничего не оставалось, как, небрежно заложив руки в карманы, продефилировать мимо, готовясь приветствовать графа и стараясь справиться с сердцебиением.

Граф, словно только и ожидавший моего появления, сказал что-то. Все примолкли и обернулись ко мне; сам же граф, протягивая руку, устремился мне навстречу с широкой, чуть насмешливой улыбкой на цветущем лице.

— Хэлло! — крикнул он по-английски, стиснул руку и крепко похлопал меня по спине. — Рад, что вы снова здесь, а не на границе. — Он рассмеялся. — Ваша страна, как правило, любит ясность в отношениях с партнерами, не так ли? Но ваши друзья там, на границе, не были официальными лицами. — Он снова сжал мою руку. — Дорогой Ланг, я все-таки понимаю. Думаю, вам пришлось пережить несколько неприятных минут из-за упрямства ваших друзей, но ни у кого и в мыслях не было причинить кому бы то ни было зло. Все мы знаем, что молодой Дорн — ваш бывший приятель по университету.

— Не понимаю, как все это случилось, — ответил я. — Дорн хотел показать мне перевал, и я удивился, когда увидел, что к нам присоединились еще двое, а когда разыгралась эта сцена, я был просто поражен.

Едва сказав это, я усомнился в правильности выбранной линии.

Граф по-прежнему держал мою руку в своей. Потом пристально взглянул на меня.

— Поражены — чем? — спросил он даже как будто сердито.

— Такое глухое место — и вдруг сразу так много людей.

— Ваши спутники решили, что готовится злоумышленный переход островитянской границы.

— Правда? — сказал я, стараясь прикинуться простачком. — Они ничего не сказали. Все это показалось мне довольно странным. А вы же знаете, какими они бывают скрытными, эти островитяне.

Граф еще крепче сжал мою руку. Сил у него было явно побольше. Он не сводил с меня глаз. Я чувствовал, что предательски краснею.

— Никто не собирался нарушать границу.

— Разумеется.

— Да и демаркационная линия на этом участке еще не определена.

«Вот это ново», — подумал я. Было совершенно очевидно, что немецкие всадники пересекли перевал, то есть наивысшую точку, естественную границу, которая могла проходить только здесь и нигде больше. Просто одна из уловок графа фон Биббербаха.

— Лорд Мора признает за нами право совершать рейды.

— Я так и подумал, что это специально снаряженный рейд, — ответил я как можно более невинным тоном.

Последовала пауза.

— Я никогда там не бывал, — сказал наконец граф. — Понимаю — район интересный, и завидую вашей молодости и энергии. Позвольте представить вам моих друзей.

Среди тех, кого граф с чрезвычайной учтивостью представил мне, я сразу узнал двоих: герра Майера и герра Штоппеля. Они в тот незабываемый день тоже были на перевале. Оба держались несколько настороженно, но вполне дружелюбно. Каждого из нас волновало свое.

Я разговаривал с немцами, когда четырехвесельная лодка подошла к пристани. Пассажиров было немного, из американцев — никого; но зато я увидел широкоплечего, жизнерадостно улыбавшегося Хефлера, с которым познакомился еще в Св. Антонии, — он возглавлял верховую группу, которую мы преследовали на перевале. Вся компания бурно, с хохотом приветствовала его, однако, почти сразу заметив меня, Хефлер, еще не успев ступить на берег, улыбнулся злорадной, хотя и веселой улыбкой.

— Можно мне ступить на берег, герр Ланг? — крикнул он мне.

Все воззрились на меня, и я почувствовал себя несколько неуверенно, впрочем, решив наконец сыграть роль истинного дипломата. Я бросился к Хефлеру и первым пожал ему руку.

Громкий смех раздался у меня над головой.

— Нам надо будет еще встретиться, — сказал немец. — Ваши спутники неправильно истолковали мои намерения. Но что мне было делать? Я всего лишь хотел произвести топографическую съемку. Но они правы: мы пересекли границу.

С этими словами он отвернулся.

И вот тут-то я решил произвести собственное небольшое расследование. Хефлер приехал в январе, вместе со мной. С тех пор он не уезжал из страны ни на каком другом пароходе. И тем не менее он не мог не выезжать из Островитянии, поскольку подъехал к границе с карейнской стороны. Было маловероятно, чтобы он использовал для перехода какой-то другой перевал, помимо перевала Лор. А если так, он должен был знать топографический план и верхнюю отметку. Да и специальных инструментов здесь не требовалось. Я догадывался, что он ускользнул из Островитянии незамеченным и так же хотел попасть обратно; однако, раз уж его заметили, решил вернуться как полагается — с парадного входа.

По дороге домой в голове у меня теснились самые разные мысли; теперь я воочию убедился, что мои немецкие друзья ведут двойную игру.

Среди местных писем, которые я отложил вчера вечером, одно было для меня настоящим сюрпризом. Его, по неведомым мне причинам, прислала Хиса Наттана, и это была не короткая записка, а настоящее письмо, причем я ведь даже и не заводил речи ни о какой переписке.

Я распечатал конверт.

«Друг мой.

Интересно, пишут ли там, дома у Джона Ланга, девушки молодым людям, если у них, нет такого уговора? В Островитянии такое случается. И пусть Джон Ланг очень занят после возвращения с Острова, и пусть его переполняют воспоминания о том, что там приключилось, я, его друг Наттана, верю вполне в его дружбу (амию) и знаю, что он не откажется выслушать меня и, может быть, ответит на мое

письмо. Чувствую, что должна ему много-много всего объяснить, но не знаю, как выразить то, что мне самой не до конца ясно. Может быть, мне просто хочется поговорить с ним и чтобы он меня успокоил. В то раннее утро, когда Джон Ланг уехал от нас, и возможно, надолго, я не встала проводить его именно потому, что не знала, что сказать. Он объездит всю Островитянию, прежде чем вновь посетит старых знакомых, это точно, я же пока не скоро куда-нибудь соберусь. Я так и не встала, пока он не уехал, и, конечно, пожалела об этом, как только поняла, что уже поздно, — не могла же я решиться опроретью броситься вслед мужчине, как если бы мне было не выносимо не увидеть его хоть еще на минутку. Теперь я точно знаю, что, даже если бы и ничего не сказала, мне все равно было бы спокойнее. Пожалуйста, пусть Джон Ланг не судит по мне других островитянок и воспринимает меня такой, какая я есть. Он сказал, что любит меня (помнится, я произнес тогда слово амия). Пусть докажет это и напишет мне, которая была так жестока с ним.

Через несколько дней после его отъезда к нам приехал молодой Стеллин, наш двоюродный брат, с тремя лошадьми, а еще через день, как мы и думали, — его друг, самый великий и мужественный, сам молодой король Тор, на одной лошади и совершенно один. Некка, единственная из нас, знает, что тут к чему во всех подробностях. Тор пробыл у нас четыре дня, и это встревожило отца, так как он должен был присутствовать в Городе на собрании Совета пятнадцатого марта и задержаться там еще на неделю, но Тор, очевидно, решил «упразднить» это. (Употребленное Наттаной выражение означало «нарушение какого-либо важного социального обязательства»; единственное, что смягчало суровость формулы, было уменьшительное «та».) Но отец и сам «упразднил» это. Тор целые часы проводил с Неккой, а однажды так они и вовсе уехали на целый день одни, а потом Неттера всякий раз, как появлялась Некка, играла на дудочке песенки, которые мы все знаем, что значат, и которые играть нельзя. Конечно, может быть, Тор их и не знал, но Некка очень рассердилась и даже хотела наказать Неттеру, но мы с Эттерой выступили против, а с отцом Некка об этом говорить не могла, ведь он тоже знал, что значат Неттерины песенки.

Когда же наконец наш замечательный красавец король отбыл, Неттера забралась на крышу конюшни и сыграла «победную песнь», я танцевала, а Некка села на коня и ускакала.

Вот и все новости, Джон. Больше к нам никто не приезжал. Никто не появлялся на перевалах. Может быть, это и глупо, но мы редко переправляемся на другой берег реки, и всякий раз, выезжая на прогулку, как и наши предки, предпочитаем исследовать долину вдоль. А может, в этом и вовсе нет нужды.

Я сказала, что особых новостей нет, но кое-что может заинтересовать Джона Ланга. Пусть он скажет, и я напишу ему. Он тоже многое мог бы мне рассказать, но это не намек, чтобы он писал больше или чаще. Интересно, есть ли история его страны на островитянском? Мне бы так хотелось прочесть.

Так что если он действительно мне друг, пусть напишет хоть пару строк, чтобы я знала, что это так, и была спокойна. И пусть простит своего искреннего друга

Хису Наттану Сольвадиа».

Я несколько раз перечел письмо, но все попытки вычитать между строк истинную природу чувств Наттаны ничем не кончились. Тем не менее одно не вызывало сомнений. Я мог искренне

исполнить ее просьбу: заверить ее в своей дружбе и самых нежных чувствах.

Письмо очаровало меня. Мой перевод не в силах передать все оттенки смысла, особенно в рассказе о короле, но за словами всегда стояло что-то, обращавшееся прямо к чувствам. Очевидно, Наттана была в недоумении и тревоге. Да и Неттера, только на свой лад. Я сердечно переживал за своего друга Дорна и чувствовал, что сердца двух девушек, тоже его друзей, болят за него. Я снова явственно ощутил атмосферу этого дома, и мне казалось, я даже слышу дудочку — то ли флейту, то ли кларнет — Неттеры. Интересно, что значили песенки, которые она играла, сидя на склоне холма, во время пикника, и те, что она играла при короле, отчего Некка так рассердилась, что требовала наказать сестренку. И хотя я немного сердился на Некку, я вместе с тем испытывал к ней симпатию, беспокоясь не столько о том, что она может стать королевской забавой, сколько о том, не слишком ли далеко зашло ее чувство к королю.

Да и вообще над этим письмом стоило призадуматься. Особенно над значением последнего слова подписи. Оно было сложным. Приставка *соль* означала интенсивность качества, *ди* — зеленый, конечное *а* — просто женский род, самым загадочным оставалось *ва*. Но тут меня осенило. *Ва* и *ван* значило «глаза»; нечто, что было различимо вдали, в пределах зрения, звучало как *вант* или *вантри*. Постепенно для меня, человека, все глубже проникающего духом островитянского языка, яснее и яснее становился смысл этого прозвища, которым кто-то наградил Наттану или которое она придумала себе сама. «Девушка с зелеными-зелеными глазами». Да, пожалуй, я нашел разгадку. Вспомнил я и о том, что у многих островитян есть тайные имена, которыми пользуются лишь самые близкие им люди, хотя иногда имена эти переходят в общее употребление. Мне не терпелось получить подтверждение своей догадки насчет прозвища Наттаны. А может быть, у нее были и более заповедные имена, а именем «Сольвадиа» она пользовалась, когда с кем-нибудь заигрывала? Я слышал, как Дорн иногда называл свою сестру Аскара, то есть «морская чайка» — длиннокрылая, плавно парящая чайка с болот Доринга, проворная, как ласточка, с ярко-красным клювом, коричневой спинкой; все остальное оперение ее было ослепительной белизны... Впрочем, хотя мне и доводилось слышать о том, какие возможности открывает передо мной вскользь упомянутое тайное прозвище, я решил не отвечать прямо, а тоже, как бы мимоходом, упомянуть о зеленых искрах, вспыхивающих иногда в ее глазах, о темно-зеленой воде морского мелководья, когда дует свежий ветер, а небо ясно.

И в глубине сердца я чувствовал, что, будь это даже игра, мы с Наттаной стали друзьями, и сознание этого делало меня счастливым. Тем же утром я, без особого желания, отправился повидаться с молодым Морой, как мне советовал его отец. Он жил сейчас в Семейном доме на Городском холме, там же принимал посетителей и спокойно вершил государственные дела в эти часы затишья. Я вошел, стараясь держаться независимо, и приветствовал молодого человека как равного.

Первым делом я рассказал ему о своей поездке: где побывал, у кого гостил. Разумеется, это было только начало. Затем я вкратце изложил, какие попытки предпринимал, стараясь склонить людей к возможности внешней торговли, и как они реагировали на мои речи. Молодой Мора ответил не задумываясь и точно так же, как сделал бы это его отец. Я должен выслушать противную сторону, посетить другие области и провести по крайней мере неделю у них, в Мильтейне, пока отец там. Я сказал, что приеду в мае, после пятого, то есть после прибытия пароходов, если это, конечно, удобно. Разумеется, удобно, — был ответ. Желательно только уведомить письмом заранее. Он улыбнулся. Ни телефона, ни телеграфа здесь пока не знали.

Молодой Мора предположил, что я, скорей всего, хочу как-то заинтересовать своих соотечественников в Островитянии. Если он может быть чем-то полезен... Я кивнул, сказав, что посылаю отчеты, которые могут попасться на глаза самым разным людям. Однако, продолжил я,

островитянские товары могут показаться американцам дорогими, поскольку золото в Островитянии ценится ниже, чем в Америке. Мора тут же показал мне нечто вроде списка товаров, которые, как ему казалось, должны заинтересовать американцев, жаждущих быстрой прибыли. Тут были текстильные изделия, прежде всего шерстяные ткани, кое-какие гастрономические товары; потом он высказал предположение, что сначала импорт Островитянии будет больше, чем экспорт, благодаря чему стоимость золота в стране возрастет. Конечно, добавил он, это должно происходить постепенно, иначе на долгие годы расстроит сложившуюся в стране систему цен. Я спросил, как он считает, захотят ли островитяне приобретать иностранные товары. Кое-кто нет, но большинство, а затем и остальные... Конечно же, нужна была и кредитная система, и у них уже был черновой вариант проекта, над которым усиленно трудился лорд Келвин.

И все же пока это были только формальности. Я вспомнил слова месье Перье, сказанные еще по пути в Островитянию. Торговый обмен между островитянскими земледельцами и иностранными фирмами — дело второстепенное. Я ни минуты не сомневался, что молодой, Мора думает так же. Мне стало надоедать, что он так упорно твердит об этих, в сущности, побочных моментах.

Я решил поговорить начистоту.

— Мне кажется, — сказал я, — что такая торговля, даже если объем ее будет возрастать, мало что изменит в вашей стране. У ваших людей есть все или почти все, в чем они нуждаются. Будь я на вашем месте, я прежде всего боялся бы того, что иностранцы будут эксплуатировать природные ресурсы Островитянии — лес, ископаемые, интересуясь при этом лишь тем, чтобы как можно больше брать, ничего не давая взамен. Думаю, что вложение крупных иностранных капиталов в островитянские разработки и предприятия при том, что сами островитяне будут вкладывать не меньше, а желательно и больше собственного золота, доллар к доллару, — вряд ли придется вам по душе.

Я внимательно посмотрел на молодого человека. Он казался встревоженным.

— Да, — ответил он. — Конечно, есть множество проблем, над которыми нам следует всерьез поразмыслить. — Впрочем, мы не нищие, но и не чересчур богаты, — добавил он, пожав плечами, и резко переменял тему.

Он сказал, что лорд Дорн подробнейшим образом описал его отцу мое участие в случае на перевале. Он считал должным сообщить мне, что было проведено расследование и его отец убежден, что цель группы, появившейся с карейнской стороны, была только найти самую высокую точку, которая и служит естественной границей.

Я знал — от меня ждут, что я в это поверю, и возможно, мне и следовало убедить себя, что все так, и смолчать, но я сказал то, что чувствовал.

— Верхнюю отметку можно обнаружить невооруженным глазом. Думается мне, на этом перевале не требуется никаких топографических съемок.

— И мы того же мнения, — резко ответил Мора, — но наши благородные друзья, которым мы доверили надзор за этим районом, хотели увидеть все на месте собственными глазами. Они люди педантичные, вы же знаете, и боялись поддаться оптической иллюзии.

— Значит, водопад — это оптическая иллюзия?

— Нет, но дальше поток может уйти в землю.

Мора взглянул на меня с тонкой улыбкой.

— Ваши друзья действовали чересчур поспешно, — значительно произнес он. — Единственное, чего они добились, — поставили несколько человек, в том числе и вас, в неловкое положение. Хотя можете быть уверены: все понимают, что вы были не больше чем изумленным зрителем, выбравшимся прогуляться в горы в компании старого друга. И отец

просил всех нас, молодежь, рассказывать о том, как вы, ничего не подозревая, шли вслед за...

— ...Скорее полз!

— И — всё!

Молодой Мора рассмеялся:

— Как-нибудь я с удовольствием послушал бы более подробный рассказ, но не теперь: больше знать мне не положено.

Наши глаза встретились. Я первый отвел взгляд. Мора предложил позавтракать с ним, но я отказался: мне хотелось навестить месье Перье.

Встречать меня вышла вся семья, и все тут же так дружно принялись уговаривать меня позавтракать вместе, что я согласился, не успев даже подумать. Я рассказал им о своей поездке, разумеется, пополняя рассказ личными впечатлениями, и не мог удержаться от упоминаний дочерей Хисов и Дорны. После завтрака, за сигарами, я имел долгий разговор с месье Перье касательно происшествия на перевале. Я рассказал все, как было, потому что не хотел, чтобы он хоть в чем-то меня подозревал, и потому что втайне доверял ему. Потом, подловив Жанну и Мари, спросил, прилично ли молодому человеку и девушке, с островитянской точки зрения, «вести переписку».

— Откуда мне знать?! — воскликнула Жанна.

— Почему бы и нет?! — воскликнула Мари.

И все же французский этикет они знали несравненно лучше островитянского. Полагаться на них вполне было нельзя. Я попытался использовать их знания и женскую интуицию. Жанна решила внутренне перевоплотиться в островитянку и с этой целью переоделась в островитянское платье. Имена, впрочем, не изменились: она так же называлась Жанна, дочь Жана, владельца усадьбы. Когда она объявила, что наконец чувствует себя вполне островитянкой, я вернулся в комнату, сел рядом и после непродолжительного разговора на островитянском спросил, не позволит ли она написать ей и не напишет ли мне сама. Вместо ответа она неожиданно упала в обморок. Все это выглядело очень глупо. Мари не без труда привела ее в чувство. Очнувшись, Жанна прижала руку к груди и глубоким, страстным голосом воскликнула, что да, она будет писать мне до самой смерти письма по сто страниц в неделю, если же я не стану отвечать ей, то она убьет меня. Момент был драматический. Я вздрогнул. После своего прочувствованного монолога она закрыла глаза, а когда вновь открыла их, то уже была все той же французской барышней, уверяя, впрочем, что какое-то время действительно чувствовала себя островитянкой и говорила совершенно искренне. Исходя из этого, она считала небезопасным обращаться к наивной островитянке с просьбой переписываться. Мари возражала, хотя считала, что вряд ли наивная островитянка засыплет меня письмами. Так они пикировались, одновременно подшучивая надо мной, однако, когда настало время уходить, Мари сказала, чтобы я все же попробовал. «Ни за что!» — сказала Жанна.

По пути домой мне попался единственный американец (помимо, разумеется, меня), проживавший на данный момент в Городе. Это был некто Роберт С. Дженнингс, с которым я встретился в конторе дядюшки Джозефа и который был мне симпатичен. Я хотел, чтобы он тоже помог мне в моих планах завоевания островитянского рынка.

Он был из тех людей, взглянув на которых, вы легко можете представить их в детстве: пухлый мальчуган в костюмчике в обтяжку, продолжающий сохранять этот пухлый розовощекий мальчуганистый вид еще и в том возрасте, когда ему самому хочется выглядеть серьезным и взрослым. Круглолицый, круглоголовый, круглощекий, с ослепительным румянцем и прозрачным вызывающим взглядом, на вид более крепкий, чем кажется, более развитой, чем его сверстники, — такие всегда пользуются уважением у остальных мальчишек, в то время как

родители приходят в ужас от их преждевременной опытности и словечек, которыми они щеголяют. Став уже вполне взрослым человеком, Дженнингс оставался все таким же по-детски пухлым, свежим и всеведущим.

В Соединенных Штатах много таких молодых тридцатилетних людей, которые уже подростками определили свой жизненный путь, любят деньги и умеют их зарабатывать; которые любят приключения и, ни минуты не колеблясь, сожгут все мосты, покинут насиженное место и многообещающую карьеру, чтобы пуститься в рискованную, но яркую и манящую авантюру, уверенные, что рано или поздно достигнут вершин; людей, которые, пренебрегая учебой в колледже и вроде бы не подавая особых надежд, тем не менее легко вписываются в любое общество за счет того, что можно назвать природным умом, обладают хваткой, сдержанны, всегда имеют наготове запас пикантных историй; которые придерживаются невысокого мнения о женщинах (не лучшего, впрочем, и о мужчинах), но всегда верны своим обещаниям, на которые, однако, скупы.

Дженнингс объявился в здешних краях кем-то вроде вольнонаемного коммивояжера и объездил западное и восточное побережья Карейнского континента, ища, где бы сорвать куш побольше. Потом, как я полагаю, повинувшись внезапному порыву, бросил все свои коллекции образчиков в Мобоно и в середине февраля приехал в Островитянию — начинать все сначала. Он прекрасно мог постоять сам за себя, поэтому не причинял мне хлопот, а последние два месяца провел, разъезжая по Бостии, Лории, Камии, Броуму, Мильтейну, Каррану и Дину.

В тот вечер, куря мои сигары и прихлебывая мое вино, мы долго беседовали о Договоре и его последствиях для торговли. Наши взгляды совпадали почти во всем, кроме одного. Дженнингсу казалось, что островитяне — люди как люди и хорошая реклама обеспечит успех. У меня не было такой уверенности, однако мы, безусловно, сошлись на том, что торговые игры — это чепуха по сравнению с концессиями. Концессионеры — вот кому достанется навар. Дженнингс, несомненно, строил планы — втереться в какую-нибудь из концессий, но открыто признавался, что это вряд ли ему по зубам. Торговые игры тоже привлекали его, хотя и не сулили таких выгод. В конце концов, сказал он, если вспомнить судьбу «У. Р. Грэйс и К°» в Южной Америке... От меня он хотел узнать, как организовать и пошире развернуть рекламу в местных условиях.

Встреча с Дженнингсом была счастливым совпадением: именно такой человек мог помочь мне в моих замыслах.

Тогда же я сказал ему об этом, как бы развивая его идеи о необходимости хорошей рекламы. Я пересказал ему свои беседы с разными людьми. Он слушал, понимающе глядя на меня своими круглыми, ясными темно-синими глазами. Идея сводилась к следующему: зафрахтовать судно, годное одновременно для морского и речного плавания, нагрузить его образчиками, схемами и разного рода литературой обо всем многообразии товаров, которые Америка готова предложить островитянам, и отправить эту «плавучую выставку» в путешествие по стране, не принимая при этом, разумеется, никаких заказов и не заключая сделок, а просто демонстрируя людям, какие перспективы сулит им международная торговля, а также, по мере возможности, указывая, как и к кому можно обратиться за приобретением всех этих вещей, в случае если Островитяния станет открытой страной. Мы достали карту, и я показал Дженнингсу возможный маршрут, составленный таким образом, чтобы судно могло останавливаться по крайней мере в двух портах каждой провинции, включая даже такие глубинные районы, как Островная и Броум. Во главе предприятия не мог стоять такой человек, как я, занимающий официальный пост, хотя, конечно, доля моего участия была высока: на меня возлагалась задача получить необходимое разрешение властей, подготовить литературу на островитянском, а также руководство для команды (тоже по-островитянски), фрахт судна и прочее. К тому же я

пообещал приложить все усилия и постараться сопровождать «выставку» на отдельных участках пути.

Я заверил Дженнинга, что именно такие люди, как он, требуются для подобной работы, и особо подчеркнул, что все, кто примет в ней участие, скорее всего, станут представителями американских фирм в Островитянии.

Пока Дженнингс обдумывал мой план, я развил такую бурную деятельность, как никогда. За два дня, оставшихся до прихода «Суллиабы», которая, как я надеялся, должна была доставить большую почту (а также, отчего я трепетал, официальные сообщения и вкрадчивые письма от дядюшки и его друзей), я закончил все коммерческие отчеты и ответил на все поступившие до сегодняшнего дня запросы. Я спешил привести дела в порядок и со спокойной душой приняться за работу по «Плавучей выставке» и краткой истории Соединенных Штатов на островитянском, о которой просила Наттана.

К концу апреля, а точнее, восемнадцатого числа, когда должна была прибыть «Суллиаба», я чувствовал себя несколько усталым. Рано поутру явившийся Дженнингс вдохнул в меня новые силы. Он окончательно решился предпринять экспедицию, как только будет получено официальное разрешение. Он был явно на подъеме и уже считал, что Островитяния — достаточно занятая страна и стоит того, чтобы здесь поработать; при этом он потрясал кипой писем, адресованных нескольким важным персонам — его знакомым из Нью-Йорка. Я тоже настроил письмо в Вашингтон, в Министерство иностранных дел, с просьбой разрешить мне участие в экспедиции, и мы оба ринулись на пристань — пароход уже подходил, — чтобы поскорее отправить нашу корреспонденцию.

Одно из моих писем было к брату Филипу: я просил его прислать мне разные луковицы и семена. Они предназначались Дорне, о которой я едва успел пару раз вспомнить за последние дни, которая казалась бесконечно далекой, потерянной и отступала все дальше и дальше, пока я рьяно, используя любую возможность, готовил то, против чего она боролась.

Дженнингс и я стояли на пирсе рядом с Гордоном Уиллсом и мисс Уиллс, явно ожидавшими прибытия большой группы земляков.

На воде, двигаясь стремительными рывками, показалась четырехвесельная лодка, и я, как всегда, почувствовал волнение, глядя на это странное суденышко, скользившее между парусных кораблей, — единственную связь между пришедшим издалека пароходом и нами на этой земле без развитой торговли, телефонов, телеграфа и заказных писем. И каждый раз я со жгучим интересом ждал, что оно несет, зная, что скоро буду читать то, чем еще помнящие меня друзья решили поделиться со мной.

Когда лодка подошла ближе, я увидел безукоризненный пробор Филипа Уиллса. Значит, он был на пароходе. Филип разговаривал с молодой девушкой, почти девочкой. Потом толпа встречающих скрыла от меня девушку, но когда лодка причалила, я снова увидел ее профиль: она внимательно смотрела на галантно нагнувшегося к ней Филипа. Мне вспомнилось раннее утро и тишина заглушенных моторов. Тонкий и четкий, как камешек, профиль и мое разочарование при виде девушки, покидающей корабль, — все это так живо выступило в памяти. Ее звали Мэри Варни, у ее отца было поместье в Коапе.

С «Суллиабой» прибыло много почты для меня, а главное, наконец пришли первые ответы на мои письма. Известия были обнадеживающие. Каблограмма из Министерства иностранных дел была расплывчатой, но благосклонной; никаких официальных писем, никаких докучных запросов. Впрочем, несколько все-таки попало, но ответить на них не составляло труда. Однако самая драгоценная часть писем, несмотря на все, связанное с Дорной, были ответы на

мои послания, отправленные еще из Св. Антония, — от Клары Брайен, Натали Вестон (от них я уже получил письма с последним судном) и от Глэдис Хантер.

Две страницы Глэдис посвятила ответу на мой рассказ о поездке на Запад (это мне понравилось), на четырех писала о Карстерсе, очень заинтересованно, и просила меня кое-что уточнить, и еще на двух страницах описывала школьную жизнь. Я с удовольствием подумал, что два моих письма — о Файнах и о Фаррантах — уже на пути к ней, потому что в них я касался многого из того, что интересовало Глэдис. Эти совпадения я принял за добрый знак. В письмах Глэдис всегда чувствовалось живое любопытство, и отвечать ей было приятно.

Вечером, после ухода Дженнингса, я решил, что пришла пора написать Наттане.

Я рассказал ей, что у нас, в Америке, девушки часто пишут молодым людям и я только что получил несколько писем от своих американских подруг. Обычно письма читались и обсуждались совместно, и я выразил надежду, что Наттана снова напишет мне и я наверняка буду ей писать. А пока я тепло поблагодарил ее за то, что она не забыла обо мне.

Я действительно не понимаю, писал я далее, в чем она хочет, чтобы я ее утешил, хотя, конечно, я был удивлен и разочарован, когда она не спустилась меня провожать. Надеюсь, продолжал я, снова навестить их дом. Написал я и о том, как здорово удалось ей рассказать про посещение короля и поведение ее самой и сестер, так что мне даже взгрустнулось о них; и что я вполне разделяю ее беспокойство из-за открытых перевалов, но пусть она только никому об этом не говорит, потому что консулам не положено испытывать таких чувств; и что интерес Наттаны к истории Соединенных Штатов побудил меня написать о ней, разумеется, очень коротко. Начну, как только выберется свободная минутка.

В заключение я вкратце рассказал, чем занимался все то время, пока мы не виделись, упомянул о зеленых морских искрах ее глаз и подписался «Джон Ланг», оставив пропуск между словами.

Перед тем как ложиться, я стал обдумывать, как начну свою историю, и понял, что истребление американских индейцев походило на то, как островитяне изгнали и уничтожили племена бантов, и что...

Назавтра был последний день лета — по-островитянки *сорн*, — которое длится четыре месяца, вслед за чем наступает осень, или «время листьев», длящееся всего два. День выдался погожий, теплый и ясный. Я поднялся в мой сад на крышу и, примостившись в тени, стал прикидывать, чем и в какой последовательности заняться, а потом начал свою краткую историю с описания североамериканского континента. В памяти то и дело всплывали отрывки бодвинских коротких рассказов и притч, и я, насколько возможно, не противился тому, чтобы они влияли на мой стиль.

Это было мирное, но тревожное, радостное, но беспокойное занятие. К западу расстился Город, на востоке виднелись рвы с водой и уходящие вдаль невысокие строения ферм. Было ясно и почти безветренно, что характерно для этого времени года. Легкий северный ветер изредка пробежал по кустам, шелестя листьями. Почти весь сад уже облетел, цветы увяли. Моя хозяйка Лона была слишком занята, чтобы уделять саду много внимания. На следующий год надо будет попробовать самому. Только один куст композиты был усыпан ярко-красными цветами.

Делать что-то, зная, что делаешь это по чьей-то просьбе, — занятие чрезвычайно успокоительное. Когда ты получаешь определенный простор и в положенных рамках делаешь что-то совершенно новое, ни на что не похожее, свое, — тебе дарованы счастливейшие минуты. Так, казалось мне тогда, обстоит дело и с моим проектом «Плавучей выставки». Мирную радость американского консула омрачало только огромное количество предстоящих и не всегда

приятных дел. Таким образом, беспокойство и тревога не были следствием моей работы над историей Америки. Это были чувства крошечной частички американского общества по имени Джон Ланг, испытывающей нервную дрожь в этой пусть уже не чужой, но странной, очень странной стране.

Если образ Дорны на расстоянии становился все бледнее и я уже не мог зрительно воспроизвести во всех подробностях детали ее внешности или платья, оттенки ее голоса, — все равно, даже живя там, на далеком, замкнутом Западе, она оставалась снизошедшей ко мне богиней. Она заставила меня пережить слишком много. Я боялся ее, потому что боялся, что мои чувства могут не выдержать. И все-таки девять десятых ее существа, да и все оно, когда Дорна сама того желала, были понятны мне благодаря мужскому чутью. Обнаженные ноги Дорны, скрещенные на палубе, с их точеными лодыжками и тонкой сетью бледно-голубых, словно тушью прорисованных вен... Этот обрывок воспоминания то и дело мелькал у меня перед глазами сегодня утром; и стеклянная гладь реки, и жаркое солнце в зените. Но Дорна была слишком великолепна, величественна для меня. И я мог тихо радоваться лишь потому, что больше не ощущал на себе ее взгляда, хотя отчасти мое беспокойство и проистекало из разлуки с нею.

Женись я на ней, и в жизни моей воцарился бы «золотой век», но тогда мне пришлось бы постоянно быть сказочным героем, каким я на самом деле не был. Даже мысль о Дорне — вечной спутнице, о нашем союзе двоих против всего мира, о том, как я стану для нее всем, если она, конечно, будет моей, — даже эта мысль пугала меня до головокружения. Мне следовало бы этого желать, но желал ли я этого?..

Когда Дженнингс зашел навестить меня после моего возвращения с Запада, мы долго беседовали, и под конец, после длившейся несколько минут паузы, он с несколько даже застенчивой улыбкой спросил: «Ланг, не подскажете, где мне найти женщину?» Я не знал и так и сказал ему об этом. В мои консульские обязанности это не входило. Дженнингс заметил, что какой же тогда из меня консул, и я вдруг вспомнил, как мы с Эрном искали мне квартиру и почему пятый по счету дом оказался неподходящим. Тогда я рассказал об этом доме Дженнингсу.

Несколько дней спустя он снова зашел ко мне и, слегка разомлев после *сарки*, описал свои похождения. Я не думал, что он сможет отыскать это место по моему путаному рассказу, однако я недооценил, сколь сильна в нем авантюрная жилка и, вероятно, сколь сильна была его потребность. Дженнингс рассказал, что, кроме укромного характера построек и слишком узкой аллеи, ничто не выказывало увеселительного характера тамошнего заведения. Он побродил вокруг, заглянул в другие аллеи, собрался было уходить, но вернулся. Оказалось, что это форменный публичный дом, заверил меня Дженнингс. Дверь открылась, и вышла женщина средних лет. Завязался разговор. Как ему показалось, она хотела узнать, иностранец ли он и что ему угодно. Дженнингс сказал, что он американец и хочет девушку. Так именно он и сказал. Этого было достаточно: женщина заулыбалась и знаками пригласила его войти. Дом был очень симпатичный. Хозяйка усадила Дженнингса и стала говорить без умолку, пока он наконец не догадался: она старалась вызнать, не был ли он когда-нибудь болен. При этом она без конца извинялась и выглядела очень смущенной.

Нет, сказал Дженнингс, и это было правдой. И все же он заподозрил, что женщина проверяет его. Он согласился, и: «Вы не поверите, Ланг. Она взяла у меня кровь из пальца и вышла, — все как на анализах!» Ждать Дженнингсу пришлось долго. Прошло не меньше часа, прежде чем женщина вернулась, улыбаясь. Очевидно, все было в порядке. Чрезмерные предосторожности были связаны с тем, что он — иностранец. Потом женщина провела

Дженнинга в соседнюю комнату, где сидели две девушки. Хозяйка подала им какое-то угощение и немного вина. Дженнингс выбрал одну из девушек и провел с ней ночь.

Уж не знаю как, но им даже удалось найти общий язык, и Дженнингс разузнал многое из того, как это делается в Островитянии. Девушку навещало полтора или два десятка мужчин, большей частью одиноких, многие из которых служили в армии или на флоте. Для Дженнинга это было ново. Получалось, что у мужчины была какая-то одна, определенная женщина. И считалось нормальным, что, когда ему нужно женское общество, он встречается с ней и только с ней. «Ваши островитяне — однолюбы, — сказал он мне. — Они привязываются к одной девушке, а когда той надоедает ее жизнь, хозяйка подыскивает им другую». Его подруга была с ним вполне откровенна. Ее отец «работал на ферме» (безусловно, *денерип*), и прокормить большую семью ему было трудно. Девушке нравились мужчины, но вряд ли ей удалось бы выйти замуж. К тому же она никогда и не мечтала о замужестве. А так она проводила время в свое удовольствие и работать ей приходилось немного. Работать ей вообще не нравилось. Но и от своих нынешних занятий она слишком уставала. И со всеми, рано или поздно, происходило то же. Тогда она сообщала старой даме, что ей стало неважно, и та отпускала ее домой, и если девушка «вела себя как подобает», то ей уже не приходилось вновь возвращаться в Город на заработки.

Дженнингс продолжал делиться опытом, и, слушая его со смешанным чувством неприязни, гадливости и любопытства, я не мог не завидовать этому человеку, так легко добившемуся того, что до сих пор было неведомо мне, хотя и понимал, что в силу своего внутреннего устройства никогда не смогу последовать его примеру. Но я знал, что в основе моей тревоги и беспокойства гнездились все то же плотское желание, и презирал себя за это. То, что рассказ о легкой добыче Дженнинга разбудил во мне зависть, заставило меня устыдиться, и, пристыженный, я даже не смел подумать о Дорне или о Наттане и лишь потом вспомнил о них одновременно, с неприязнью ощущая себя жалким, низким существом.

Однажды вечером, когда, трудясь над своей историей, я сидел у себя перед зажженным камином, раздался звук колокольчика. Я сам вышел открывать и не без удивления увидел барышень Перье в сопровождении месье Барта. Они пришли сказать, что сегодня вечером будет выступать Ансель. Папа, сказали барышни Перье, в последнюю минуту не смог пойти, и он предлагал мне отправиться вместо него. Я не мог решиться. Времени оставалось в обрез. «Разумеется», — сказал я и настоял, чтобы они подождали меня в доме. Я быстро оделся, и мы вышли.

В Городе был свой театр, носивший имя великой королевы Альвины и построенный ею же примерно шестьсот лет назад. Мне случалось, проходя мимо, заглядывать внутрь, поскольку театр практически всегда стоит открытым. Зал по форме был похож на древнегреческий — полукруглый, круто подымавшийся амфитеатр с каменными сиденьями и довольно низко расположенной сценой, но раскинувшийся надо всем воздушный светлый купол как бы приподнимал ее. Впрочем, театр не был театром в обычном смысле слова, поскольку в Островитянии нет драмы. Месье Перье говорил мне как-то, что островитяне принципиальные противники телесного копирования, подражания другому существу, пусть даже вымышленному. И Дорна, помнится, говорила, что недостойно, когда человек претендует быть кем-то, кроме самого себя. Но если кто-то хочет сообщить или показать что-нибудь большой аудитории, для этого как раз и используется театр, особенно если такое представление не может проводиться под открытым небом; к тому же в театре устраиваются концерты. Каждый год в июне проводилось нечто вроде музыкальных фестивалей; впрочем, бывали и сольные концерты. На один из них мы и направлялись.

Я никогда не был заядлым меломаном. Мне всегда казалось, что я любил бы музыку больше, если бы сам процесс исполнения был не столь напряженным и изматывающим, и гораздо чаще ограничивался намерением сходить на тот или иной концерт. Способный прожить и без музыки, я знал о ней очень мало. Знал и о том, что в Городе устраиваются концерты, но ни разу не позаботился сам выбраться на них, пока барышни Перье в буквальном смысле слова не отвели меня за руку.

Ансель играл на таком же, одновременно похожем на дудочку, флейту и кларнет, инструменте, что и Неттера. Однако у Неттеры это была действительно скорее флейта или дудочка, тогда как инструмент Анселя, более широкий по диапазону, приближался к басовому кларнету. Зал был заполнен едва наполовину. Представление шло как импровизация. Ансель не был профессионалом, но зрители, по желанию, могли платить музыканту. В этом случае сборы шли на развитие профессиональной музыки. Ансель приходился братом *таны* из одного древнего рода провинции Броум. Семья занимала такое положение, что могла обходиться без помощи Анселя в хозяйстве. Будь это иначе, ему пришлось бы стать профессионалом. Талант влек его к музыке, а деньги, которые он смог бы зарабатывать, восполнили бы убытки от потери рабочих рук.

Определенной, заранее составленной программы не было. Ансель играл без нот. С самого начала мне постоянно вспоминался Дебюсси. Ритм был четко выстроен, мелодия же с трудом улавливалась моим слухом, привыкшим к постепенным переходам от тона к тону. Когда объявили начало концерта, Ансель, увлеченно болтавший с приятелями в первых рядах, поднялся на сцену и, повернувшись к публике, начал играть. Очевидно, игра отнимала много сил, потому что какое-то время спустя он, не прерываясь, принес стоявший в дальнем углу сцены стул и сел. Обстановка была самая непринужденная. Ансель играл около часа, позволив себе всего лишь несколько, и то очень коротких, пауз. Построенная вокруг одной, постоянно повторяющейся, темы, вещь воспринималась как единое целое. Вначале я слушал с любопытством. Во время одной из пауз кто-то сказал что-то с места, но я не разобрал, что. Ансель рассмеялся и повторил (так мне показалось) несколько тактов, причем по залу пронесся одобрительный шумок и аплодисменты. Во время другого перерыва он сказал: «А теперь кое-что неожиданное, приготовьтесь». Потом, позже, он объявил: «Верхний Доринг». Звуки этой вещи напомнили мне «Молдавию» Сметаны.^[4]

По словам Жанны, пребывавшей в крайнем возбуждении, другого такого виртуоза, как Ансель, не было. Мое присутствие даже немного раздражало ее, как истинную ценительницу, потому что я, профан, не мог постичь всей исключительности происходящего. Я не решался задавать вопросы и старался как можно меньше принимать эту музыку головой, полагаясь лишь на слух.

Вероятно, то, что происходило во мне, было скорее ассоциативным мельканием мыслей, чем музыкальным переживанием. Пассаж *à la* Сметана затянулся, и вдруг я почувствовал, как волосы зашевелились у меня на голове, мороз пробежал по коже, — музыкальный поток смел, увлек меня за собою. Музыка коснулась глубинных корней моих эмоций, и меня охватил трепет, близкий к предсмертному. Считается, что человек должен наслаждаться подобной эстетической щекоткой. По крайней мере, испытавшие такое стремятся испытать снова и снова. И мне тоже хотелось, чтобы это почти невыносимое наслаждение длилось; да, мне, безусловно, хотелось этого тогда. Казалось, внутри меня все как-то болезненно смещается, меняет привычную форму. Когда же музыка кончилась, я почувствовал, что Ансель внушает мне чуть ли не страх.

Всю дорогу домой Жанна молчала; ее темные, почти черные глаза горели, на щеках пылал румянец, и она казалась почти красивой. Когда Мари сказала, что Анселю особенно удалась

кульминация, Жанна резко, почти грубо оборвала ее. Мари не обиделась, бросив быстрый, понимающий взгляд в мою сторону, однако когда месье Барт попытался было успокоить Жанну, та резко прервала и его.

Я проводил барышень Перье до самого дома, чувствуя себя очень усталым и глубоко взволнованным. До сих пор я удачно играл роль человека, влюбленного в полубогиню, сгорающего от нетерпения, однако не такого уж несчастного; но Ансель пробудил скрытые во мне силы. Желание жгло меня. Я чувствовал, что умру, если хотя бы еще раз не увижу или не услышу Дорну, и при этом тот, кто внес такую сумятицу в мои чувства, вызывал у меня страх.

Назавтра, повинувшись голосу рассудка, я уселся за отчеты: они успокоительно действовали на мою истерзанную душу. Надо было всего лишь дожить до июня, когда я снова увижу Дорну. А до этого следовало хоть чем-то занять себя.

Третьего числа из немецких колоний пришла «Суллиаба», а пятого — «Св. Антоний». Я встречал оба судна. Они привезли почту, но немного, и среди писем не было ничего экстренного. Зато на «Суллиабе» прибыли двое американцев: бизнесмен Эндрюс и профессор геологии Джордж У. Боди. Они нанесли мне визит, впрочем недолгий, поскольку я мало чем мог им помочь. Боди уже бывал в Островитянии и сразу сказал, что знает ее вдоль и поперек. Это были, помимо Генри Дж. Мюллера, первые ласточки — разведчики, охотники за концессиями. Мне было досадно, что они явно не собираются посвящать меня в свои дела.

Рано утром седьмого мая я отправился в Мильтейн, одевшись, как одеваются для путешествия островитяне, впрочем, прихватив и лучшую часть своего американского гардероба, поскольку хотел предстать перед семьей Моров американцем с ног до головы. Я намеревался проделать путь до Мильтейна как можно скорее и не хотел перегружать свою лошадь, а потому взял еще одну, тех же кровей, что и Фэк, которую подобрал для меня конюший. В дорогу я взял свой дневник, историю Соединенных Штатов и томик бодвинских притч — чтобы попутно шлифовать стиль. Настроение у меня было прекрасное.

Перед лордом Морой я благоговел. Род Дорнов был даже чуть старше, но Дорны ничем особенным не отличались от прочих обитателей Доринга и западных земель. Семейство Моров, наоборот, выделялось в Островитянии богатством, семейными традициями и образом жизни. Они проводили время в царственных развлечениях и принимали гостей, которыми был постоянно полон их дом, как представители европейской знати.

Еще до отъезда я буквально ощущал дух, атмосферу этого семейства. Мне предстояло преодолеть по меньшей мере двести миль. В местах, где я должен был останавливаться, все было готово для меня. Первая стоянка, через пятьдесят миль, намечалась в Камии, где меня ждали на постоялом дворе как гостя лорда Моры. Вторая, через шестьдесят миль, в городе Броум на реке Мэтвин, там меня должен был принять *тана* по имени Панвин. Следующая стоянка, вновь после шестидесятимильного перегона, находилась уже во владениях лорда Моры, в усадьбе Броум. И наконец, последний участок пути — до Мильтейна. Почти все участки, кроме последнего, были слишком долгими для Фэка, не столь выносливого, как лошади центральных и восточных провинций. К тому же они были намного резвее.

За четыре дня пути ничего особенно нового я не увидел. Камия и Бостия похожи как две капли воды. Оба города окружены бесконечными фермами. Было тепло, и Фэка приходилось слегка поторапливать. По большей части он шел шагом, но иногда я заставлял его переходить на рысцу. Езда верхом стала моей второй натурой. Я вполне мог обдумывать на ходу главы моей истории и даже сочинять целые пассажи. Вечерами или во время долгих привалов я записывал, что успевал. На бумаге всегда получалось хуже, чем в голове, но постоянная умственная сосредоточенность придавала моему путешествию неповторимый характер грезы, перемешанной с реальностью.

К полудню четвертого дня, преодолев очередной подъем дороги, я увидел на расстоянии около мили вздымавшиеся посреди ровного поля серые стены Мильтейна и красную черепицу крыш. Справа у стен города плескались синие воды широкой реки Хейла. За городом виднелись круглая башня с зубчатым верхом и фасад собора с двумя квадратными западными колокольнями, увенчанными низкими пирамидальной формы шпилями.

Как и Доринг, Мильтейн — город уникальный. Оба они стоят на реках, но Доринг расположен на холмистой гряде, а Мильтейн — на плоской луговине у слияния рек Хейл и Мильтейн. Это самый европеизированный из всех городов Островитянии, самый либеральный, где иностранец чувствует себя как дома.

Проехав по лугу под необъятно раскинувшимся небесным сводом, я въехал на подъемный мост и через открытые ворота — в город. Ровно стоящие вдоль улиц дома, в большинстве из белого известняка, крытые красной черепицей, были одинаковы по высоте, а улицы — шире, чем в других островитянских городах. Кривая улочка привела меня к центру города. Я обогнул тяжелый, сложенный из рыже-бурого камня собор — базилику, выстроенную христианами

зодчими в одиннадцатом, а может, двенадцатом веке в доготическом стиле, скорее подавляющую своей тяжеловесной мощью, чем красивую. Затем я свернул на улицу, прямо ведущую к парку Моров, который расположен в юго-восточном конце города и вдается мысом в Хейл. В парке стоит старый городской Капитолий — огромная башня, которую я разглядел еще издали, и дворец лордов Мора — конечная цель моего путешествия.

Подъезжая к дворцу, я увидел коляску и остановился у дверей в тот момент, когда из коляски выходили мисс Варни и мисс Гилмор.

Мы разошлись по своим комнатам — переодеться к ленчу; основной прием, хоть и неофициальный, должен был состояться в главной усадьбе лорда Мора, в центре огромного поместья, в шести милях вниз по реке. Тем не менее и во дворце Мильтейна нас встречали с почестями.

Моя комната была обставлена по-европейски, и, переодеваясь, я разложил свое американское платье на чиппендейловском ^[5] кресле. Позже я слышал, что во времена изгнания миссионеров, в 40-е годы, правивший тогда предок лорда Мора приобрел у них многое, чтобы хоть как-то возместить понесенные ими убытки.

Невозможно представить себе более любезных и предупредительных хозяев, чем лорд Мора и его жена Келвина, хотя в манерах ее порой проскальзывало что-то бездумно затверженное. Сам лорд был, бесспорно, великий человек. Все в нем: приятные черты лица, обаяние, которому невозможно было противостоять, открытость и дружелюбие в сочетании с непринужденными манерами — давало почувствовать, что меня действительно рады видеть.

Лорд, его жена и младшая дочь специально приехали из загородной усадьбы, чтобы встретить нас. Кроме нас, в доме были и другие гости, но лорд сразу дал понять, что не смешивает нас с ними, уделяя нам особое внимание.

После ленча в пышно обставленной гостиной мы под руководством лорда Мора осмотрели старую Крепость и взобрались на самый верх башни Мора, которая, я думаю, обязательно должна была получить свои две звездочки в любом бедкере. ^[6] Она строилась как последнее убежище семьи Моров и их последователей в дни, когда Мильтейн был сильным пограничным укреплением на Востоке. Башня, более древняя, чем крепость, возвышалась над ним; глядя на юг с ее вершины, можно было видеть весь город и ровную зелень лугов, расстилавшихся вокруг на много миль, а к востоку — широкое устье Хейла, с его песчаными отмелями и рябщими синевой рукавами дельты.

Пока мы стояли молча, завороженные открывшимся зрелищем, лорд Мора вкратце рассказал нам о том, что когда-то происходило здесь. Осада Мильтейна в 1066 году (странное совпадение!), вскоре после того, как город был построен, когда глава рода и строитель башни видел, как сарацины опустошают край и огни пожарищ вздымаются повсюду до самого горизонта. Несколько тяжелых осад пережил Мильтейн и при королеве Альвине, когда с этой самой башни Мора видел, как галеры карейнского императора Киликеша впервые предприняли попытку подняться к городу вверх по реке и как затем эскадры островитянских парусных кораблей гнали неприятеля обратно. С тех пор враги попадали на землю Мильтейна только как пленники.

Во мне этот незатейливый рассказ, в котором имена предков рассказчика употреблялись постоянно, как имена близко знакомых людей — бабушек или дедушек, с той лишь разницей, что бабушки и дедушки в данном случае были очевидцами битвы при Гастингсе, — затронул нечто, дремавшее глубоко на дне моей души. В семье Моров, и в семье Дорнов, и в других семьях на Западе это чувство родовой солидарности было так сильно, что отразилось и в языке, в виде двух форм местоимений первого лица множественного числа: одно — «мы», когда говорящий хочет обозначить себя и членов своего рода, и другое — «мы» или «нам», когда он

имеет в виду только членов своего семейства. Меня немного удивило, что в этом отношении Мора — такой же островитянин, как Дорны или Сомсы, и я вдруг понял, что, несмотря на огромную разницу в их политических взглядах, они гораздо ближе лорду Море, иногда так походившему на иностранца. И поскольку лорд Мора был человеком проникательным, многое понимавшим без слов, то я решил, что нет смысла молчать, и рассказал ему, как поразило меня это чувство семейного единства, с которым я столкнулся и у Дорнов, и у Сомсов. Лорд загадочно посмотрел на меня, впрочем тут же уловив мою потаенную мысль.

— Мы («мы», относящееся к одной семье), — начал он на островитянском, — считаем себя такими же островитянами, как и они. У нас разные средства, но одна цель.

Хотя я и так чувствовал, что злоупотребляю его вниманием, мне хотелось до конца разрешить все тайно волновавшие меня вопросы. Потом он указал на здание собора и стал рассказывать о судьбе христианства в Островитянии. Глава их рода был воспитан христианским священником и, хотя никогда не исповедовал христианства, по духу был близок к нему. Отвоевав Мильтейн у чернокожих, он дал в нем приют христианским миссионерам.

— Тогда-то и началась вражда между нами и Дорнами, — продолжал он с улыбкой. — Чем дальше, тем больше Мора проникались симпатией к христианам, а лорд Мора Пятый даже был крещен. Миссионеры, как он говорил, ввели в Островитянии алфавит, письменность. И они были иностранцы — стало быть, и у иностранцев многому можно поучиться. Даже отец лорда Дорна того же мнения, хотя, конечно, главное, чему он хотел бы научиться, это как держаться от них подальше.

Скоро мы отправились в усадьбу, куда добирались по реке. Двухмачтовая лодка напоминала яхту. Ее огромные белоснежные паруса и очертания корпуса были изысканнее, чем у грубоватых суденышек с болот Доринга. Ветер дул несильный, и все путешествие заняло около двух часов. Мы сидели в кубрике, расположенном ближе к корме. Я был в неопишемом восторге.

Лодка легко вошла в небольшую бухту и причалила у каменного пирса, за которым начинался ровно подстриженный газон. Дом прятался за деревьями; большинство членов семьи вышло встречать нас. Время года соответствовало середине октября в Америке, а похоже, стояло бабье лето. Трава газонов была еще зеленой, но роскошные, величественные буки и другие деревья, росшие вокруг, пестрели яркими багряными и золотыми красками осенней листвы. То тут, то там сквозили белые стволы берез, их тонкие, темно-красные, уже облетевшие ветви. Два небольших строения из нетесаного камня, с красными черепичными крышами стояли недалеко от берега, в конце дока. За ними разбиты были сады, где пламенели яркие цветы композиты. Собравшиеся нас встречать дополняли пейзаж яркостью своих костюмов; особенно выделялась одна девушка, вся в белом, кроме красных манжет и лацканов с белой лентой.

Усадьба напоминала богатый загородный дом, горделиво скрывающий роскошь и комфорт за простоватой внешностью, — нечто вроде Гористой Пустыни без гор.

Мы сошли на берег; нас представили. Я вновь увидел молодого Эрна, помогавшего мне когда-то подыскивать квартиру, и его мать — как оказалось, из рода Сомсов, что несколько удивило меня; ведь Сомсы твердо стояли за Дорнов, в то время как Эрны были сторонниками Моров. Она также приходилась теткой молодому Сомсу, с которым мы копали канаву в Лорийском лесу. Очевидно, разница политических убеждений вовсе не мешала семействам родниться между собой. Кроме них нас встречали младшая сестра Эрна, девушка лет двадцати с небольшим; лорд Роббан из Альбана, мужчина сорока шести — сорока семи лет, с женой; Дэлан и его жена Эннинга, пожилая пара; Морана — девушка в белом, старшая дочь лорда Мора, Морана Эттера, то есть «третья», и ее сестра Морана Некка; Мора Атт, второй сын лорда Мора;

и наконец, далеко не в последних рядах, двое моих немецких «друзей» — господин фон Штоппель и господин Майер, возглавлявшие пешую группу на перевале. Потом, уже в доме, нас встретили дядя лорда Моры, старик уже за восемьдесят, Морана, его сестра, и Бодерина — жена брата лорда Моры, генерала; и, кроме того, множество детей.

Оказаться одному среди такого многочисленного и незнакомого общества, пусть и дружелюбно настроенного, и держаться при этом непринужденно — было нелегко.

— Это не лучше, чем домашняя вечеринка в Англии, — сказала мисс Варни, — только что больше родственников.

Тем не менее, когда пришло время ложиться, я успел пообщаться со всеми, и кажется, достойно.

Старшая дочь лорда Моры была писаная красавица. Сходство детей с отцом ошеломляло. Все они были высокие, прекрасно сложенные, с аристократической соразмерностью всех членов, с тонкими чертами лица, одухотворенными, горделивыми, полными скрытого огня, с пышными каштановыми волосами, и глаза у них были синие, кроме старшей Мораны, унаследовавшей от матери темно-карие. Все в ней, казалось, говорило: «Я — существо редкое, особое, добиться меня нелегко, и если я буду принадлежать кому-то, то уж, конечно, не простому смертному». Она напомнила мне кое-кого из моих знакомых американских барышень, однако без их жесткой самоуверенности и рассудочности. Словом, это была будущая леди высшего света.

Какие бы симпатии ни питал лорд Мора к Европе, в обращении с гостями он был столь же европеец, сколько островитянин, — иными словами, не прерывал своих обычных дел, в которых иногда не возбранялось участвовать и гостям. В то же время он предоставлял их самим себе, как только замечал, что их интересуется нечто свое. Никаких специальных развлечений намечено не было. При этом и сам лорд, и его жена, сыновья и дочери постоянно, но деликатно и ненавязчиво заботились о нас, и я ни на минуту не чувствовал, что про меня забыли.

Милях в пятнадцати за рекой, в провинции Дин, начиналась холмистая, поросшая густым лесом местность, носившая название Йовел. Туда-то и было решено отправиться на пикник. Мы должны были переправиться через реку на пароме, а потом, верхами, подняться по изрезанным склонам холмов.

За ужином накануне, когда планы пикника оживленно обсуждались, Морана Эттера, сидевшая за два места от меня, предложила мне выехать на Фэке. Таким образом, хоть я и выеду чуть раньше остальных, а вернусь чуть позже, Фэк сможет вволю насладиться привычными холмистыми дорогами. Потом Морана спросила насчет моей выючной лошади: она ведь той же породы, что и Фэк? Она обьезжена? Я сказал, что лошадь обьезжена, и с замиранием решил спросить, не захочет ли Морана отправиться со мной. Девушка согласилась без колебаний.

Мы выехали примерно за час до остальной партии. Лошадей переправили ночью. Мы с Мораной сели в небольшой ялик и отчалили.

Река была шириной почти в полмили, с узкими песчаными отмелями, которых приходилось остерегаться. Дул свежий ветер, гоня по светло-синей поверхности воды легкую рябь. В воздухе чувствовалась осень. Моран сказала, что ночью были даже заморозки. Причалив в небольшой бухте и привязав ялик к дереву, мы по узкой тропе направились к фермерскому дому, где нас ждали лошади. Морана была в длиннополой куртке из мягкой материи и в мужских бриджах, причем носила их так непринужденно, что я, не привыкший видеть девушек в подобных нарядах, воспринимал это как нечто вполне естественное. Она была такой изящной и стройной, что костюм лишь подчеркивал простые, воздушные очертания ее фигуры.

Потом мы заспорили, кому ехать на Фэке, как на лучшей лошади, и наконец решили, что

поедем по очереди, причем Морана с улыбкой сказала, что предпочитает вьючную лошадь, — пусть ей будет не так обидно. Стали тянуть жребий. Я как сейчас помню ее узкую, тонкую, загорелую руку с двумя зажатými в ней травинками. Моране досталась вьючная лошадь.

Девушка ехала впереди, я — сзади. Показалось яркое солнце, быстро прогревшее воздух. Мы ехали не спеша в разлитой кругом отрадной тишине, поросшими травой дорогами, между каменных изгородей, пастбищ, по очереди открывая и закрывая ворота и калитки: на этом настояла Морана, сказав, что в подобных поездках островитянки больше любят сами делать то, что им под силу, хотя с моей стороны очень любезно стараться выполнить всю работу за нее. Скоро мы выехали на большую дорогу, идущую вдоль реки Йовел — по сути, ручья, а не реки, впрочем с сильным течением; то стремительный, то разливающийся сонными заводьями поток, из тех, что так нравятся любителям ужения форели.

Так ехали мы дальше, через равные промежутки времени по знаку Мораны обмениваясь лошадьми, испытывая удовольствие от молчаливого присутствия друг друга, и я уже не переживал из-за того, что говорить нам почти не о чем. И в самом деле, Морана, как и многие другие островитянки, словно налагала на меня печать молчания. Честь нарушить молчание предоставлялась мне только тогда, когда я действительно хотел сказать что-то значительное.

Однако когда мы пересекли Главную дорогу, идущую на юг, через Дин и Герн в далекий Ардан-ин-Сторн, и дорога стала мало-помалу подниматься, ручей еще громче зажурчал слева, а леса, большей частью буковые, стали гуще, Морана, подстроившись, поехала рядом и сама завела разговор. Это был один из тех разговоров, когда время течет незаметно, но след от них надолго сохраняется в душе каждого из собеседников, не обязательно друзей, поскольку люди эти могут оставаться чужими, но такие беседы дают каждому как бы ключ от чужой души и память о том, что когда-то души их звучали созвучно. Впрочем, толковали мы в основном о пустяках. Моране удалось расшевелить меня, и я говорил больше, чем она, — с внезапно охватившей меня болезненной жаждой всему найти точные слова, избежать какой бы то ни было претензии, позы, неискренности, раскрыть свои чувства в их наготу. Интерес Мораны льстил мне. Я рассказал о том, как очутился в Островитянии, о Гарварде и о Дорне, о своей поездке на Запад, и словно желая отплатить мне откровенностью за откровенность, раскрыть сходную часть своего существа, Морана рассказала, что ни сама она, ни ее отец, ни братья, ни сестры никогда не выезжали из Островитянии, что отец и мать очень хотели, чтобы она съездила в Англию, но она отказалась (не объяснив мне, почему). Упомянув о Дорнах, она сказала, что однажды была у них в гостях и они как-то раз навещали Моров.

Солнечные пятна лежали на дороге. Йовел журчал и всплескивал рядом, и внезапно образ Дорны ожег меня, восстав из глубины, где он мог на время затаиться, но где пребывал всегда.

Дорога становилась все круче, местность — гористой, и, свернув за поворот, мы выехали на лужайку. Над нами уходили в небо известняковые скалы, яркие на фоне бледного неба. Зелень, увенчивавшая их плоские вершины, испещрившая склоны, переливалась на солнце.

Фэк ускорил рысцу; вьючная лошадь не отставала.

— Вряд ли они теперь нас догонят, — сказала Морана с нескрываемым торжеством.

Мы доехали до последней фермы. Дорога здесь, становясь извилистой узкой тропой, уходила в горы. Пришла очередь Мораны пересаживаться на Фэка, что она проделала неохотно.

Виды по бокам и снизу постоянно менялись. Мне казалось, что мы поднимаемся со сверхъестественной быстротой. Морана ехала впереди: когда впереди шел Фэк, вьючная лошадь начинала чересчур горячиться.

Тропа вилась между скал. Подъем был несколько утомительным, но совершенно безобидным для человека, уже путешествовавшего по Фрайсу.

Дин, блестящий на солнце Хейл и Мильтейн стелились внизу ровной, плоской картой,

овеянные дымкой и мягкими тенями. Да, это было настоящее бабье лето, и солнце, бившее в скалы, заставляло их вспыхивать белизной.

Внезапно Морана гибким движением развернулась в седле и указала рукой вдаль. Взглянув вниз крутого склона (такого крутого, что у меня на мгновение закружилась голова), я увидел пропорционально уменьшенных в размерах остальных участников пикника, один за другим выезжавших из леса. Первым ехал мужчина (молодой Эрн), за ним белым пятном — слишком белым и воздушным для всадника — появилась, скорее всего, мисс Варни, за ней — тут ошибиться было трудно — грузная фигура герра Штоппеля, потом — две женщины, мальчик и двое всадников, ехавших рядом, затем вьючные лошади, и завершали процессию двое мужчин. Глядя сверху на бокастые очертания лошадиных туловищ, казалось, что животные двигаются плотно прижавшись к земле; наконец мы увидели крошечные, тонко вырезанные черты белых лиц, обращенных в нашу сторону; слабый звук голоса долетел снизу. Я пришпорил вьючную лошадь, чтобы поравняться с Мораной, спокойно ехавшей впереди на весело выступавшем Фэке.

Утро было в разгаре; высоко стоявшее солнце стало припекать. Меня одолела дремота. После очередного поворота снова открылась дорога внизу, и мы увидели своих товарищей: все до одного спешившись, они с трудом одолевали крутизну, идя впереди своих лошадей. Наши же лошадки бежали по-прежнему резво, несмотря на жару.

Морана попридержала лошадь. Теперь мы ехали рядом, и оба, как мне показалось, были несколько встревожены: как остальные? Уж не слишком ли они переусердствовали, стараясь догнать нас, ведь теперь им пришлось вести выдохшихся лошадей. Возглавлял шествие молодой Эрн. Морана сказала, что в нем есть азартная жилка.

Не сговариваясь, мы высказали одну и тут же мысль — не стоит ли нам подождать. Иначе они слишком устанут, сказала Морана. На самом же деле ей не хотелось ждать, в ней тоже была заложена скрытая азартность, которой поддался и я, гордясь своими лошадьми, чей час наконец настал — ведь здесь они были как дома.

Если уж ждать, решили мы, то в тени; проехав еще немного вперед, мы привязали лошадей в кустах, а сами сели на узкой полоске густой тени. Только теперь я почувствовал в полной мере, как жарко. Воздух застыл. Я был весь в горячей испарине, кровь стучала в висках, и одежда липла к телу.

Морана откинулась, сложив руки за головой, слабая улыбка блуждала по губам. Она молчала, и взгляд был отрешенно безмятежным.

Мы ждали. Время шло. Ветерок мягко овеивал нас, впрочем не принося прохлады. Морана замерла совершенно неподвижно. За полчаса она разве что один раз моргнула. И ни разу не взглянула на меня. Грудь ее ровно вздымалась и опадала. Она полулежала, расслабившись и настолько безвольно, словно желая горделиво подчеркнуть свою женскую хрупкую привлекательность. Мысли, чувства мои были в смятении. Если бы кому-нибудь случилось пробыть достаточно долго наедине с симпатичной, и даже весьма симпатичной женщиной, смог ли бы он воспротивиться тому, чтобы рано или поздно почувствовать, как мягко и тепло пробуждается в нем мужское начало, даже вопреки его воле?

Бесстрастное спокойствие Мораны гипнотизировало меня. И, словно в гипнотическом трансе — на грани яви и сна, не способный окончательно пробудиться, — я увидел молодого Эрна, с улыбкой на покрасневшем потном лице ведущего за повод свою лошадь; за ним показалась мисс Варни, тоже вся пунцовая, а за ней герр Штоппель, Морана Некка, Эрн, молодой Дэлан, Роббан и Келвина; за ними — три вьючные лошади и наконец, к моему великому удивлению, немец Майер и сам лорд Мора.

Мисс Варни выглядела на редкость привлекательно, во всем блеске своей женственности,

которую подчеркивали сидящие в обтяжку бриджи из плотной ткани, высокие, до блеска начищенные верховые сапоги, белая шелковая блузка и белый тропический шлем. Мужской покрой ее костюма лишь оттенял крепкую упругость фигуры; маленькие руки и ноги казались еще тоньше в мужских сапогах и перчатках; мягкие пряди волос выбивались из-под шлема, падая на разгоряченное, сердитое маленькое лицо. И, подойдя ближе, я не мог не почувствовать исходящего от ее влажной кожи приятного запаха.

Впрочем, мне тоже было очень жарко, а долгое сидение в полной неподвижности нагнало дремоту. Тем не менее я испытал занятное чувство облегчения от встречи. Морана, ее отец и я быстро все уладили. Мисс Варни усадили на Фэка, Келвину — на мою выючную лошадь, и мы двинулись дальше пешком, за исключением барышень, герра Майера и молодого Эрн, чья лошадь, даже на мой ненаметанный глаз, держалась отлично и еще долго поднималась по склону, выдерживая вес хозяина. Остальные явно выбились из сил, шкуры их лоснились от пота.

Довольно сухо меня поблагодарив, мисс Варни села на Фэка и двинулась вслед за Эрном. Я взял под уздцы ее лошадь, неожиданно оказавшись во главе процессии.

Глядя сзади на Фэка и на оседлавшую его мисс Варни, глядя на его маленькие ноги, мускулистый круп и бока, напряженившиеся и дышащие силой, в явном намерении не уступать шедшей впереди длинноногой и сильной вороной лошади, я испытывал чувство неподдельной гордости.

Вести лошадь, собственно, и не было особой нужды, так как путь был простой. Я не останавливался оглянуться, иначе мог бы загородить дорогу. Эрн и мисс Варни скоро исчезли из виду. Мы достигли подножия скалы, здесь тропа становилась прихотливее: с одной стороны шла каменная стена, с другой — обрыв, но головокружительной опасности не чувствовалось. Долина внизу была почти не видна, скрытая бледным мерцанием. Но какой бы пейзаж ни открывался кругом, жарко было или холодно — мне было хорошо. Я был рад тому, что не еду, а иду, рад, что чувствую тепло своих мышц.

Не знаю, сколько прошло времени. Мы поднимались вдоль внешней стороны скалы, тропа шла по ее выступу и несколько раз то поворачивала обратно, то вновь вела вперед.

Взглянув вверх, я увидел острую вершину и на ней, на фоне неба, три движущиеся фигурки, одну в белом. Они махали нам, пока мы медленно поднимались, ведя за собой лошадей. Я решил, что Эрн и мисс Варни повстречали еще кого-то. По-прежнему идя впереди, я оглянулся на следовавший за мной караван, мельком отметив, что Келвина, ехавшая на моей выючной лошади, ведет еще одну. Последним ехал герр Майер, низко надвинув фетровую шляпу, и о чем-то беседовал с лордом Морой. Лорд, легко, пружинисто раскачиваясь, шел рядом со своей лошадью. При взгляде на него я почувствовал дрожь волнения: мне было приятно, что он так запросто предложил мне поехать на пикник в тесной компании своих друзей и знакомых, что он спрашивал у меня разрешения одолжить мою лошадь для мисс Варни и доверил мне вести караван.

Когда я снова взглянул вперед, то, к изумлению своему, увидел, что третьей в ожидавшей нас группе была Морана. Герр Штоппель громким, басистым голосом удивленно поинтересовался у Мораны Некки, как ее сестра смогла обогнать нас. Некка долго делала вид, что не слышит вопроса, пока наконец дотошный немец не выудил у нее ответа, впрочем довольно уклончивого.

— Тот, кто идет пешком, может срезать путь. Здесь есть тропинки. Исла Келвина взяла у Мораны лошадь.

Скоро все мы оказались на вершине и привязали лошадей в тени. Лорд Мора, лорд Роббан, Эрн и я присматривали за ними, пока женщины доставали провизию, а герр Штоппель и герр Майер любовались открывшимся видом.

После завтрака лорд Мора рассказал о том, как в 1305 году Мильтейн был взят и «мы» бежали в эти горы, где какое-то время скрывались в известняковых пещерах.

— Морана, — сказал он, с улыбкой взглянув на дочь, — должно быть, и прошла через них, чтобы срезать путь.

Морана кивнула.

— Почему-то, — продолжал лорд, — она никому не хочет их показывать.

Герр Штоппель, расположившийся полулежа, посмотрел на девушку.

— Уж не боитесь ли вы, Ислата Морана, — сказал он по-островитянки с сильным немецким акцентом, — что они еще могут понадобиться?

Темные глаза Мораны сверкнули.

— Совсем не боюсь. Просто не хочу, чтобы кто-нибудь еще знал.

Вопрос был с подвохом, но Морана не поддавалась на уловку. На самом деле герр Штоппель имел в виду не то, что Морана боится показать пещеры, а какое-то определенное событие.

И снова мне вспомнились рассказы Наттаны о ее страхах, и я мог лишь гадать, что в действительности чувствует Морана, но мои размышления были прерваны словами герра Штоппеля.

— Интересно, — сказал немец, обращаясь к лорду Море, — увидеть пример атавистических страхов, сохранившихся через шестьсот лет. Уж наверное, вы рассказывали вашей дочери эти истории, когда она была ребенком.

В голосе Штоппеля сквозила легкая ирония. Мне показалось, его задело, что Морана не захотела показать ему пещеры.

Солнце клонилось к западу, поднялся ветерок. Похоже, он дул с открытых пространств севера, и на наших глазах свершилось чудо. Дымка, опаловой влагой скрывавшая долины Дина и Мильтейна, растаяла. Сам город Мильтейн, окружающие его луга стали видны рельефно и отчетливо, а сверкающие притоки Хейла серебряными нитями протянулись по этому зеленому ковру, испещренному белыми пятнышками — фермами; но прекраснее всего — настолько, что захватывало дух, — был протянувшийся на северо-западе Большой хребет с бело-розовыми снежными полями. Штоппель громогласно выражал свое восхищение.

Но пора было возвращаться.

Тем же вечером между лордом Морой и мной состоялось нечто вроде политической дискуссии. Я спросил, не сможет ли он уделить мне какое-то время; он был очень любезен и провел меня в библиотеку, уставленную рядами книг на самых разных языках. Горел камин, и я, утомленный сначала дневной жарой, а потом вечерним холодом, был рад его теплу.

Я рассказал лорду о Дженнингсе и поделился планами о «Плавучей выставке». Это означало, конечно, что в Островитянию придется завезти иностранные товары, но не для продажи. Я изложил полную и тщательно аргументированную программу, а под конец, желая спровоцировать собеседника на прогноз, заметил, что, если Островитяния по-прежнему останется закрытой страной, все усилия пропадут даром. Но лорд не спешил делать прогнозы и, в свою очередь, задал мне несколько возникших у него по ходу дела вопросов. Мы проговорили долго. Сама идея понравилась лорду, но, по его словам, ее нельзя было решить вот так, сразу. Он понимал, что мы не хотим, чтобы наше предприятие получило огласку, чтобы другие страны не предприняли подобного или даже опередили нас. Он обещал дать окончательный ответ к середине июня и сказал, что думает, ответ будет положительным, хотя нынешние законы экспорта и импорта подобного рода, по его мнению, для образцов «Плавучей выставки» могут сделать исключение.

— Но разве существующий закон не позволяет сделать подарок? — спросил я, вспомнив

вдруг о луковицах, обещанных Дорне. — Я хотел бы послать своей тете семена некоторых островитянских садовых цветов. Разве я не могу этого сделать? И разве нельзя ввозить в Островитянию луковицы и семена?

— Нельзя, — ответил лорд, — поскольку законом запрещен любой ввоз и вывоз, за исключением книг и тому подобного. Подарки также запрещены. Впрочем, пошлите вашей тете семена, и не будем больше говорить на эту тему. Если же вы получите семена и луковицы для подарка из дому, не уничтожайте их, но и не высаживайте, пока университетская комиссия не обследует их на предмет возможных заболеваний. А мы сделаем вид, что ничего не произошло.

Лицо мое залил жаркий румянец. Лорд разгадал мои скрытые мысли. Его пронизательность, близкая к ясновидению, относительно семян и луковиц, трепетом отозвалась в каждом моем нерве, и мне вдруг захотелось открыться этому человеку, рассказать ему обо всех своих тревогах и печалях... Его магнетическое обаяние как бы снимало разницу в возрасте, положении, национальности. Я физически ощущал это. Но я не сказал ему ни слова о себе и вместо этого принялся говорить о том, как восхищен всем, что здесь увидел, радушием хозяев, но, как ни жаль, через пару дней мне придется покинуть их. Лорд не слишком настойчиво, но все же попросил меня остаться подольше, как бы давая понять, что я для него не просто гость.

После небольшой паузы он спросил, собираюсь ли я ехать прямо в Город. Я рассказал ему о своих планах и «горящих» делах. Упоминание об «Истории Америки» на островитянском, казалось, особенно заинтересовало его. Он задал несколько вопросов и очень деликатно предложил свою помощь. Далеко ли я успел продвинуться? Неожиданно для себя я сказал, что хочу показать ему уже написанное, и лорд выразил искреннее удовольствие.

Я принес свои рукописи и заметки и, оставив лорда за их чтением, отправился спать.

Вскоре после завтрака лорд спросил, не разрешу ли я показать мою рукопись старшей дочери, чтобы узнать, насколько ее, типичную островитянку, к тому же никогда не выезжавшую из страны, могут заинтересовать сведения о загранице. Мне было приятно, что Морана прочтет написанное мною. Лорд весьма и весьма похвалил мое знание островитянского и спросил, не буду ли я против, если они с дочерью сделают несколько предложений и замечаний.

Днем пошел дождь, несильный, но частый, мелко морозящий. Теперь я мог заняться дневником, написать несколько писем. Я прошел к себе в комнату и заперся. Примерно через полчаса в дверь постучали. Это была Морана. Я не знал, удобно ли просить ее войти или нет, но она сама разрешила эту проблему этикета, спросив, можно ли ей войти.

Войдя, она села, закинула ногу на ногу и обхватила колено, сплетя пальцы сильных, красивых рук. Ребяческая пухлость пальцев в сочетании с тонкой, свежей кожей производила очаровательное впечатление. Девушке было двадцать два года, и все же она казалась мне старше меня.

Переменяя свою речь улыбками, Морана сказала, что идет дождь, а поскольку я уезжаю так скоро, а завтра, возможно, все снова соберутся на прогулку, то поговорить со мной вряд ли еще удастся; что у нее ко мне долгий разговор и, может быть, я не откажусь выйти прогуляться: в доме слишком много народу и ей надоело сидеть в четырех стенах, — может быть, и я не прочь проветриться.

Когда мы вышли, было уже почти совсем темно. По низкому небу плыли серые тучи, и лица наши скоро стали холодными и мокрыми от дождя. На мне был мой островитянский плащ и сапоги, а на голове американская фетровая шляпа — нелепое сочетание, но Морана упросила меня не стесняться, лишь бы мне было удобно. Я рассказал, что в Америке люди, которым вменяется в обязанность носить специальную форму, — почтальоны, машинисты, кондукторы и прочие, — придя домой, спешат сменить форменный наряд на что-нибудь обычное, домашнее, чтобы отделаться от клейма униформы. Это позабавило Морану, которая шла впереди, словно и

не замечая дождя.

Собственно, она хотела поговорить со мной о моей рукописи. Высокая, стройная, изящная фигура Мораны, закутанная в плащ, который раздувал ветер, налетая порывами со всех сторон, ее немного склоненный вперед, стремительный, юный, почти детский, омытый дождем, безмятежный, участливый и царственный профиль, слившиеся в сумерках дерева, луга, почти черная бурлящая река и низкое небо — все это создавало ощущение крылатого, неудержимо стремящегося времени. Разговор двух стран — происходящий в лицах, поскольку каждый то и дело приводил примеры из личной жизни, — был захватывающе интересным. Около двух миль мы шли вдоль самой воды, сплошь покрытой дождевыми кругами, и все больше сливавшиеся в одно целое в густевшей тьме луга, река, ветер, дождь создавали то особое ощущение одиночества и брошенности, затерянности в безмерном пространстве, которое возникает, когда идешь узкой прибрежной полосой, а все, что там, на земле, скрыто от взгляда рядами дюн или скал. Чайки кружили над водой. Судно, вспенивая воду, прошло под всеми парусами вверх по течению. Я не знал, куда мы направляемся, но определенная цель у нас была — домик на краю утеса, футах в двадцати над рекой, укрытый плотно обступившей его дубовой рощицей.

Морана, не сбавляя шага, подошла к дому и коленом толкнула незапертую, но разбухшую от сырости дверь. Камин, два располагающих к отдыху кресла, койка, стол и небольшой шкаф. Морана изящным движением сбросила плащ и улыбкой предложила мне сделать то же. Мы повесили плащ на крюк, и Морана, нагнувшись, стала разводить огонь, решительно отклонив мою помощь. Когда огонь, разгоревшись, запылал в камине, девушка достала из шкафчика слегка зачерствевшие ореховые кексы, бутылку легкого, прозрачного вина, а из складок плаща — мою рукопись. Усевшись в кресла, мы стали просматривать ее страница за страницей, особо обращая внимание на вписанные тонким почерком предложения и пометки отца Мораны и ее самой.

Дверь за нашими креслами была открыта в темно-синий мир дождя, туч, деревьев и берега, о который бились волны. Камин был затоплен не столько чтобы согреть домик, а скорее, чтобы высушить нашу одежду.

У Дорны был свой укромный уголок — мельница, у Мораны — этот домик, место, где можно было побыть одному, вполне уютное убежище. Я не был внутри мельницы, но теперь не сомневался, что и там стояли два кресла и было место, где Дорна могла бы прилечь, задумавшись, подложив руки под свою круглую голову. Слушая ритмичное поскрипыванье мельничных крыльев, она вдыхала соленый воздух болот и, закрыв глаза, живо чувствовала неизмеримость времени, как бы перевоплощаясь то в одного, то в другого из своих предков, живших сотни лет назад.

Морана отнеслась к рукописи доброжелательно, однако придирчиво. Я услышал от нее больше замечаний и предложений, чем похвал, и все они были для меня открытием; к тому же она никогда не критиковала те места, где я сам мог улучшить текст.

И по мере того, как мы говорили и даже иногда спорили, я все сильнее и сильнее ощущал национальную природу ее характера. Даже будучи дочерью человека современных взглядов, повидавшего свет, и сама много общавшаяся с иностранцами, Морана стала в моем восприятии такой же, как Дорна, и я почувствовал прилив любви к ней — любви не алчной и требовательной, а той, что, когда кризис позади, становится основой глубокой и долгой привязанности. Встреть я ее первой, быть может, она стала бы моей островитянской возлюбленной, а Дорна — другом, ведь судьба определила мне найти любовь в этой прекрасной, вечно ускользающей стране. И я задумался над тем, действительно ли это была любовь — такая, какую я испытывал там, дома. Быть может, это их красота так больно ранила меня и я путал боль с любовью?

Наконец все было сказано, и Морана, вручив мне рукопись с замечаниями — своими и отца, — сделала то же, что, мне представлялось, делала Дорна: сложила руки за головой, округлые очертания которой лишь подчеркивал глянец волос и кожи, и улыбнулась мне дружеской, незабываемой милой улыбкой.

Взгляд ее стал отрешенным, и в домике надолго воцарилась зачарованная тишина, нарушенная лишь однажды, когда Морана кончиком сапога расшевелила огонь в камине. Становилось все темнее, дождь барабанил по крыше. Я слегка развернул свое кресло: слишком велико было напряжение — вот так, молча, сидеть, глядя друг на друга, — при этом стараясь двигаться как можно тише, чтобы не потревожить девушку. Теперь кресло мое было повернуто к открытой двери.

Ясный, спокойный и нежный голос Мораны нарушил тишину.

— Вы похожи на нас тем, что иногда испытываете желание помолчать.

Я был благодарен девушке, подметившей сходство, а не различие, но я не мог выразить этого словами, вспоминая, что сказали мне в свое время Дорна и Наттана. Я только кивнул, и вновь воцарилась тишина. И все же я не был островитянином, потому что во время таких пауз мне больше хотелось найти новую тему и продолжить разговор, чем наслаждаться обоюдным молчанием...

— Пожалуй, нам пора, — сказала Морана.

Мы шли берегом, ветер и дождь хлестали в спину. Морана завернулась в плащ, складки которого вздымались и опадали, как крылья. Расправив плащ, она сказала: «Вот мой парус». Я отвлекся мыслями и уже не мог воспринимать Морану иначе, как парящий рядом пленительный призрак.

И все же она оказалась сильнее меня. Я должен был отблагодарить ее за все, что она для меня сделала, и в виде благодарности, сам увлекшись, стал рассказывать ей о том, какой она мне видится. Я рассказывал о том, что у нас, в Америке, детей воспитывают на сказках о благородных принцессах, живущих в далеких странах, так что «принцесса» для нас — это верх доброты, учтивости и обаяния, самая прекрасная из женщин, и что, мне кажется, я наконец встретил настоящую принцессу.

— Я немного знаю ваши сказки, — ответила Морана, — и, боюсь, вы переоцениваете меня. И все же мне будет очень приятно вспомнить об этом, Ланг. А теперь послушайте, какая я на самом деле. Я — плохая дочь своего отца, которая всегда убегала из школы, всегда пряталась, когда приезжали иностранцы; понимая, что идеи отца и его политика верны, я всегда боялась их, и во мне — крушение его надежд.

Она снова предложила помочь мне с моей рукописью, и мы условились, что я пошлю ее ей. Потом добавила, что отца очень заинтересовала моя работа, но он слишком занят и поэтому попросил ее помочь мне по мере сил.

Теперь и у меня появился шанс сказать ей комплимент, и я воскликнул:

— Если уж он так заинтересовался моей работой, то вряд ли стал бы просить вас помочь мне, считай он, что вы — крушение его надежд!

Морана от души рассмеялась, а немного погодя сказала, что отец всегда великодушно дает ей шанс исправиться.

Итак, мы расстались добрыми друзьями, рассчитывая продолжить нашу дружбу, скрепленную общим делом.

По возвращении в Город меня ожидало множество хлопот. Я пропустил собрание Совета в марте, и, хотя он не был таким важным политическим событием, как собрания в июне и сентябре, за мной накопилось большое число разных задолженностей, визитов, которые нужно было нанести. Джордж уже начал составлять список тех, кого я непременно должен пригласить на званые обеды в июне. Предстояло поработать и над моей историей, которую предполагалось скоро издать, с тем чтобы она оказала определенное влияние на умы к тому времени, когда состоится голосование за Договор лорда Моры. Наконец, надо было встретиться с Дженнингсом и обсудить организацию «Плавучей выставки».

В полдень одиннадцатого июня, когда я с нетерпением ожидал вечернего собрания Совета, переживал из-за трех назначенных обедов, взволнованно обдумывал детали своего туалета, трепетно ожидал возможной встречи с Дорной и сосредоточенно пытался представить, как будет выглядеть черновой вариант первой половины моей рукописи, — в дверь позвонили. У меня и в мыслях не было, что это может быть Дорн. Однако, открыв, я увидел именно его. Конечно, можно было предположить, что он появится на Совете, но я полагал, что мне самому следует его разыскать. И все же это был он — широкоплечий, загорелый и обветренный, с горящим взглядом упрямых глаз.

Комната была для него готова. Он собирался переночевать у меня одну ночь и, возможно, навестить еще через какое-то время. В Город они с дедом приехали только что. Дорн сразу же пошел ко мне, дед отправился во дворец Дорнов. Больше никого из своих единомышленников он не упомянул. Я ни о чем не спрашивал, догадываясь, что Дорна не приехала.

Мы пообедали вместе и оделись для королевской аудиенции, которая предшествовала собранию Совета. Я надел парадный вечерний костюм, в очередной раз почувствовав, как нелеп и неуместен он здесь. Костюм Дорна покроем ничем не отличался от ежедневного, но «парадность» ощущалась и в том и в другом. Дорн действительно производил сильное впечатление в своих темно-синих бриджах, куртке, великолепном плаще из материала, напоминающего очень тонкую саржу, и белоснежных чулках. Плащ был на белой подкладке, и когда мы вышли на улицу, Дорн перебросил его полу через плечо. Он был без головного убора; на мне красовался цилиндр. К тому же я был в перчатках, Дорн — без. Взглянув друг на друга, мы рассмеялись, настолько разительно отличались наши костюмы. Я сказал, что в одежде Дорна больше изысканности.

— Если мы пустим к себе иностранцев, все будут одеты как ты, — ответил он.

Вечер был ветреный, темный, по небу тянулись тучи, но дождя не было. Влажный воздух бодрил. Пламя свечей на улицах, по углам, билось и трепетало, словно стараясь оторваться от фитилей. Во всем, даже в погоде, чувствовалась праздничность предстоящего события. Осень и начало зимы всегда считаются подходящим временем для торжественных вечеров! Дни, проведенные на открытом воздухе, еще свежи в памяти. Стены жилищ еще не превратились в унылую тюрьму, пока они — радушное убежище, в котором можно укрыться от бурных капризов погоды. Настроение у меня было приподнятое. Ноги сами несли вперед. Выпитое за обедом вино приятно согревало.

Дорн тоже был взволнован. Он шел, широко шагая, откинув голову. Мы говорили о тех, чье присутствие ожидалось на Совете, о тех, кто не собирался приехать, но имя Дорны не было упомянуто ни разу. От Хисов собиравались быть — лорд Хис, Айрда, старший сын и Некка. Дорн сказал, что не видел ее с марта, и это прозвучало как признание. Мне предстояло увидеть также

знаменитого Стеллина и его сестру, Морану, лорда Файна, Сомсов и многих других. Поговорили и о званных обедах, на одном из которых, специально для наших сверстников, Дорн обещал быть. С большинством из моих островитянских гостей я еще не был знаком, но то, что я буду, единственный, представлять свою страну, — немаловажный факт.

В тусклом уличном свете мужчины и женщины — темные тени — стекались к сумрачному дворцу, который снаружи казался почти не освещенным, только яркий свет лился из открытых дверей. Мы подходили все ближе. Вступая в ослепительно белый проем, темные фигуры высвечивались, и костюмы их переливались пурпуром.

— Келвины! — резко сказал Дорн, и я испытал нечто вроде дрожи, представив, что вот сейчас они сойдутся: Запад и Восток, Дорны и Моры, сторонники и противники открытой политики и торговли, и при этом все они — островитяне.

В первый момент свет ослепил меня. Едва войдя, я сразу оказался среди знакомых: тут были месье Барт и супруги Перье, маленький итальянец — консул синьор Полони с женой. Нам было отведено специальное место, куда мы и направились. Дорн, как и предупреждал, оставил меня.

Мы, иностранцы, входили в большой зал через отдельную дверь. Потолок в зале был очень высокий, с темными перекрытиями. Стены до половины — из камня, теплого, темноватого тона; такого же цвета ковром был устлан пол. Расположенные во много рядов свечи находились достаточно высоко, чтобы не слепить присутствующих. Отражая льющийся от свечей свет, стены и ковры наполняли залу ярким золотистым глянцем.

Цвета одежд тех, кто явился на королевскую аудиенцию, тоже приводили в изумление. Каждый островитянин был облачен в цвета своей провинции и соответственно занимаемому положению. У каждой провинции, армии, флота и судей было по два цвета: в основной был окрашен плащ, второй был пущен в виде полосы — широкой у Ислов и их жен, узкой — у Ислат; у тех, кто, подобно моему другу, вовсе не носил титула, полоса отсутствовала. Вторым цветом, или, точнее говоря, оттенком цвета, гармонирующий с основным и с цветом одежды каждого, в который была окрашена изнанка плащей, часто был виден, поскольку большинство носили плащ откинутым назад. Куртки и блузы, бриджи и юбки тоже были основного цвета, а второй у людей титулованных шел полосами по манжетам, как я уже видел это у Келвинов, Хисов и в других местах. Юбки, блузы и чулки были белого цвета или каких-либо еще, выбранных на вкус хозяина, причем всегда так, чтобы гармонично сочетаться с внешностью человека и цветами, которые предписывает ему обычай. Поистине удивительно было то, как многие мужчины и женщины, используя неожиданно смелый цветовой штрих на подкладке, воротнике блузы или рубашки или на чулках, умели подчеркнуть свою индивидуальность, с неизменным успехом избегая вульгарных, кричащих контрастов.

Вдоль стен зала были места наподобие лож, по восемнадцать с каждой стороны. Из этих тридцати шести лож по одной было отведено каждой провинции, военному, или военно-морскому, или законодательному ведомству, в соответствии с тем, когда именно данная провинция вошла в состав страны или было учреждено данное служебное сословие. Таким образом, старые, центральные провинции помещались в одном конце зала, следом шли ложи западных провинций и последними — восточных, причем расположены они были по разные стороны; под ними тянулись ложи главного судьи, маршала, адмирала, а за ними — судей, генералов и командоров. Ложи были отгорожены друг от друга темно-зелеными шнурами и стойками темного дерева. Все они были обращены к центру зала. В нижнем конце размещались новые ложи, специально устроенные для иностранных дипломатов; они шли в один ряд, справа от лож островитянской знати. В верхнем конце была только закрытая дверь.

Знать рассаживалась по своим ложам, поглядывая в центр зала. Заняли свои места и мы.

Пока пустовали германская, австрийская и русская ложи, отделявшие меня от Перье и Полони. Я ждал Джорджа, надеясь, что его присутствие придаст мне уверенности. Ложа занимала восемь квадратных футов, и в ней абсолютно не на чем было сидеть. Но скоро я позабыл об этих мелочах, увлекшись зрелищем радужного многоцветья заполнявшегося зала. Я различал знакомые лица, отчетливо выделявшиеся на многокрасочной, контрастной цветовой палитре, освещенные мягким золотистым светом, — лица отчетливые, как на миниатюрах, лица, которые раньше я видел на фоне сельских пейзажей, лесов и полей, лица, неожиданно изменившиеся, но знакомые, казавшиеся лицами друзей.

Справа я увидел необычное, запомнившееся мне лицо лорда Дорна III, судьи; верхняя одежда его была желтовато-коричневой с белыми полосами; на фоне темно-синей рубашки лицо его не казалось чересчур смуглым. Ложи, следующие за ложей судьи, быстро заполнялись. Все больше становилось незнакомых, мелькали желтые, терракотовые, алые, розовые плащи и гармонично сочетающиеся или контрастирующие с ними по цвету рубашки и блузы. Вот камейные римские профили Келвинов, и сразу за ними — лорд Файн, в последней, самой почетной ложе, в алом плаще с серыми полосами; его сухощавое, породистое, усталое лицо обрадовало, как лицо неожиданно встреченного друга.

На другой стороне, как я полагал, должны были находиться ложи тех, кого я знал лучше всего: Дорнов, Хисов и Моров. Я уже собрался было посмотреть в ту сторону, как в находившейся рядом со мной ложе появились Гордон Уиллс, его сестра и мисс Варни в платье с низким вырезом, из муслина в цветочек и с рюшами на груди, явно из Лондона или Парижа, облежавшем ее как перчатка. Ее обнаженные руки и шея резко выделялись среди фигур в плащах и куртках. В этот момент появился Джордж, весь красный, взволнованный, хотя прическа на голове была по-прежнему безукоризнен. Он долго мучился, выбирая, что надеть, остановившись на плаще и костюме из прекрасного, но лишенного каких бы то ни было украшений темно-синего материала. Он не мог появиться в моей ложе в костюме цветов своей провинции, а мои цвета — красный, белый и синий — вряд ли его бы устроили. Я представил его Уиллсам и мисс Варни, но он был несколько рассеян и завороченно смотрел на происходящее вокруг. Для него, как и для меня, это было первое присутствие на аудиенции.

Наконец все дипломатические ложи были заполнены, и я решил хорошенько разглядеть своих коллег. Мундиры немецких, австрийских и русских представителей блистали и переливались, а платья дам в любом другом месте вызвали бы всеобщее удивление и восторг. Постарались они на славу. Драгоценности играли гранями. Но по сравнению с островитянами мы выглядели безвкусно вырядившейся компанией, черное на нас казалось грязно-серым, белое — снятым молоком, синее — вылинявшим, а все золотые цепи, рубиновые аграфы и бриллиантовые кольца — тусклыми стекляшками. Любое самое блистательное собрание показалось бы ничтожным рядом с буйством островитянских красок.

Ища глазами Дорна, я вглядывался в другие ряды лож. На этой стороне было больше знакомых лиц, и даже на расстоянии они казались узнаваемыми и более яркими и живыми, чем лица сидевших рядом. Ближе всех, чуть позади другой четы, в серо-коричневых военных цветах, стояли генерал в отставке лорд Сомс и его жена Марринера в темно-синем с зеленым. Дальше я увидел приветливое, юношески-открытое лицо молодого Эрна, с Сомой, его матерью, и мужчиной, по всей вероятности его отцом, генералом Эрном II. Сразу за ними — удивительное, запоминающееся лицо адмирала Фарранта XIII, сына Фарранта XII, которого я навещал, в серо-голубом — цветах флота.

Я продолжал выискивать лорда Дорна и своего друга и случайно наткнулся взглядом на семью Моров, в красном с белыми полосами. Мужественное и одухотворенное лицо лорда Мора выделялось среди прочих; рядом стояла его жена, Келвина, потом молодой Мора, его сын

и приемник, и Морана — моя принцесса, высокая красавица с широко раскрытыми глазами и улыбкой, еще прекраснее той, что я помнил.

Но я искал Дорнов.

За ложей Моров шла ложа, в которой стояли два незнакомых мне человека, потом еще одна, пустая, а дальше, уже совсем в другом конце зала, были Хисы — в белом с темно-синими полосами: сам ярко-рыжий лорд Хис и Айрда, его старший сын от первой жены, вылитый отец, и Некка — Некка, точно такая, какой я ее запомнил, со своей забавной улыбкой, высокая, не очень складная, несколько смущенная, она стояла, обернувшись ко все еще закрытой двери в конце зала.

А потом, потом...

В соседней ложе стоял мой друг и его двоюродный дед, в темно-синем с белым, далеко не такой осанистый и статный, как лорд Мора, и сразу за ним — Дорна. Я не ожидал ее увидеть. Я боялся увидеть ее. Я и думать не смел, что увижу ее. Как и брат, она была в темно-синем, без полос. Она выглядела так, словно вошла в ложу прямо с продутых ветром болот, не отряхнув брызг бурных вод, окружающих остров Дорнов. Как все в ней было безыскусно и просто! Она стояла, застыв, не сводя глаз с двери. Волосы ее были гладко зачесаны. Даже почти в ста футах я мог различить каждую черточку ее лица — так глубоко врезались они в мою память. Казалось, она изменилась, вид у нее был несчастный. Ее маленькое лицо не потеряло своих красок и даже на расстоянии было ярким, как эмаль на лоскуте домотканой материи. И с неожиданным чувством, в конце концов даже несколько забавным, я подумал: «Все. Попался».

Взоры всех были устремлены на дверь в конце зала. Я тоже посмотрел туда. Мне доставляло особое удовольствие глядеть туда, куда глядела она.

Великий момент настал.

Дверь широко распахнулась, и две высокие фигуры показались в прямоугольном проеме. Они двинулись к центру ярко освещенного зала, словно волна света несла их, оба юные, оба в зеленом — единственные в собрании они были в костюмах глубокого зеленого цвета. Волосы их сверкали, как золото. Кожа молодого человека была розовая, как у ребенка, но ничего детского не было ни в его прекрасно сложенном теле, ни в горделиво вздернутой голове. Его сестра, Тора, Королевская Исла, тоже держалась горделиво, как настоящая принцесса, как Морана.

Я уже видел этого юношу. Это был тот самый незнакомец с перевала Лор.

Король Тор прямо прошел в центр зала между рядов лож. Выждав несколько мгновений, как то и подобает коронованной особе, он заговорил.

Это была древняя формула приветствия короля Совету. Он обращался к членам Совета не как к подданным, а как к равным. Он объявил Совет открытым и стал поименно называть всех, кто был уполномочен присутствовать, причем каждый из названных делал шаг вперед и кланялся королю, который, в свою очередь, отвечивал поклоном. Все это Тор исполнял с достоинством, но легко, как бы играя.

— Тора! — с улыбкой назвал он первым имя сестры, и та тоже с улыбкой, почти кокетливой, поклонилась брату, а тот ответил ей торжественным поклоном.

— Дорн!

Глядя на церемонию приветствия, я видел не столько старого Дорна, сколько его внуку, стоявшую с опущенной головой.

— Мора!

Лорд Мора выступил вперед. Два самых поразительных, самых могущественных человека в Островитянии поклонились друг другу. Но Дорна не смотрела в их сторону.

— Белтон! Марринер! Броум!

Тор называл имена лордов в соответствии с древностью рода; род Дорнов восходил к 1003

году, Моров — к 1008-му, а Белтонов — к 1472-му.

Потом он назвал Фарранта, и муж Андры выступил вперед с поклоном.

— Фаррант! — еще раз произнес король. Наступила тишина, и Тор поклонился пустующей ложе, а я вспомнил лорда Фарранта в его замке с большими окнами, глядящими на море...

Дорна, казалось, скучала. Правда, я даже почти позабыл о ней, старательно запоминая имена и лица, впрочем, забыл лишь потому, что очень хорошо знал, что она здесь и я в любой момент могу ее увидеть.

Когда был оглашен весь список (последним было названо имя Тоула, лорда Нивена), король Тор — его сестра шла рядом — подошел к дипломатическим ложам и коротко приветствовал нас на французском.

Мы — гости Островитянии. А Островитяния всегда радушно встречает своих гостей... Такова была краткая суть его обращения. Слова короля показались мне искренними, безыскусными и вполне подходящими к случаю. Потом Тор сделал небольшую паузу и продолжал. Не возражаем ли мы, если будем оставаться на своих местах, и все остальные выйдут к нам. Граф фон Биббербах, как старшина дипломатического корпуса, отвечал поклоном и произнес несколько официальных фраз.

Ни я, ни остальные члены нашей колонии не знали, что должно за этим последовать, однако скоро выяснилось, что все островитяне собираются пройти мимо нас процессией, которую возглавляли Тор и Тора, а за ними шли остальные, и не в том порядке, в каком назывались их имена, а по старшинству занимаемой должности. Так, восьмидесятидвухлетний лорд Файн со своей невесткой Марой, шел сразу же за королем, так как был лордом старейшей Островной провинции.

Процессия двигалась слева направо вдоль наших лож. В результате синьору Полони, консулу, первым досталось приветствие короля, в то время как граф фон Биббербах, посол, должен был дожидаться своей очереди. Я, чья очередь была последней, думал о том, как все это необычно, с большим интересом глядя на красочную процессию и то теряя, то вновь отыскивая глазами Дорну, попутно заметив, как Некка, едва выйдя из своей ложи, нашла меня и весело кивнула.

Германский посланник успел о чем-то перемолвиться с королем, несколько задержав общее движение, видимо чтобы успокоить свое ущемленное самолюбие. Где-то в этой пестрой череде людей была Дорна, и мне предстояло увидеть ее лицом к лицу...

Недалеко от короля и принцессы, после лорда Файна и Мары, перед видной, со светлыми умными лицами четой в бледно-зеленых костюмах с коричневыми полосами, шла молодая пара, очевидно брат и сестра, которые привлекли мое внимание не столько потому, что были очень похожи на родителей, сколько потому, что напомнили мне другие, знакомые лица, вот только чьи — я никак не мог вспомнить. Юноша был высоким и худощавым, с удивительно правильными, хотя и грубоватыми чертами лица. Оно светилось умом и кротостью, за которой, однако, угадывалась скрытая сила. Его сестра была очаровательна. Она тоже была высокой, с маленькой головой и овальным лицом. Ее красиво очерченные юные губы казались чуть сжаты от сдерживаемой улыбки. Кожа ее была настолько нежной, что трудно было представить себе, как она выдерживает прикосновение дождя или ветра, — бледная, цвета чайной розы, чуть тронутая теплым румянцем на щеках. И большие глаза, ярко-голубые, почти фиалковые, ясные и лучистые, как солнечный отблеск в воде.

Процессия двигалась. Австрийский посол, граф де Крайлицци, не стал надолго задерживать короля. Тор поравнялся с ложей Уиллсов.

Идущий за ним лорд Файн улыбнулся мне, и это был добрый знак.

Встреча с королем казалась даже немного забавной, ведь мы уже виделись один раз.

Наконец, отойдя от Уиллсов, он подошел к моей ложе, остановился и взглянул на меня. Вблизи лицо его, действительно красивое, выглядело несколько женственным, а взгляд серых глаз хотя и казался рассеянным, но светился умом и проницательностью. Несколько секунд он молчал, потом улыбнулся именно такой улыбкой, какой я от него ждал.

— Нет, — сказал он. — Нет, Ланг, меня там не было.

— Сэр, — ответил я с поклоном, — вас действительно там не было.

Принцесса выглянула из-за плеча брата. Глаза ее улыбались, лицо выражало довольство.

— Кто знает, где мы можем оказаться в один прекрасный день, — сказал Тор.

— Разумеется, — ответил я.

— Значит, мы с вами думаем одинаково, — ответил с улыбкой король и отвернулся.

Следующие за ним лорд Файн и Мара по-дружески, сердечно просили меня вновь навестить их, как только я смогу, ласково, тепло глядя на меня.

Уже отходя, они сказали, что придут на мой первый званый обед. Следующими показались мужчина и женщина в бледно-зеленом платье с коричневыми полосами и их дети. Мужчину звали Стеллин, а его жену — Даннинга. Они с улыбкой приветствовали меня и уступили место детям. Оба были тогда друзьями Дорны. Все трое на мгновение почувствовали неловкость. Мне казалось, что я уже давно знаю их, хотя видел впервые.

— Нам кажется, что мы уже знакомы, Ланг, — сказал Стеллин мягко.

Я не мог придумать, что ответить, как вдруг меня осенило.

— Не придете ли вы ко мне отобедать шестнадцатого? — спросил я. — Думаю, там будут и ваши знакомые.

Да, да, конечно, скорей всего, они смогут. В любом случае они дадут знать. Я подумал, уж не слишком ли я поторопился. Если все, кого я приглашал, явятся, Джорджу будет нелегко их разместить. Интересно, сможет ли прийти Дорна? Конечно, я приглашал и ее, еще не будучи уверен, что она — в Городе.

Мне хотелось видеть Дорну; процессия двигалась слишком медленно.

Прошли Келвины, в алом; Сомс и Брома, в сером и розовом, те самые, которых я встретил во время их прогулки, и они просили снова навестить их; Роббин и Келвина из Альбана, в белом и зеленом, их я встречал у Моров.

Церемония затягивалась. Граф фон Биббербах, разрозовевшийся, ораторствовал без устали, останавливая всех подряд. В промежутках, казавшихся бесконечными, я разговаривал с Джорджем.

И вот я увидел знакомое лицо лорда Дорна перед ложей графа; брат и сестра стояли рядом. Дорна выглядела скучающей.

Неожиданно передо мной возник мужчина в сером с розовыми полосами.

— Бейл из Инеррии, — сказал он отрывисто.

Я ответил на островитянском, и он остановился, словно нехотя. Я сказал, что проезжал через его провинцию и она напоминала мне сухие, бесплодные земли центральных и западных штатов моей родины. Не знаю, зачем я завел этот разговор. Лорд казался раздраженным и не склонным к общению, но стоял, слушая и задавая вопросы.

Краем глаза я следил за Дорной у ложи Уиллса. До меня донесся ее низкий, взрослый голос. Весь внутренне собравшись, я закончил начатую фразу.

Неожиданно Исла Бейл оглянулся и сказал с искренней теплотой:

— А вот и лорд Дорн, а с ним Дорна! Вам будет с ними интересно, Ланг... Мой дом — ваш дом. Вы понимаете?

Довольный, я поблагодарил его и, наконец свободный, действительно свободный, приготовился — приготовился увидеть Дорну.

Она стояла передо мной. Что могло быть проще и прекраснее?

Прошло всего мгновение, но большего мне было и не нужно. Передо мной стояли мои ближайшие, мои самые дорогие друзья. В их доме была моя комната — и я мог жить в ней. А ведь все начиналось с моего друга, молодого Дорна...

Он молчал. Его дед пригласил меня на обед семнадцатого, но отказался от моего приглашения на четырнадцатое. Дорна сказала, что будет шестнадцатого, и, когда они уже повернулись, чтобы отойти, оглянулась.

— Не найдется ли у вас времени повидаться со мной? Я пробуду здесь всего пять дней.

Я назвал часы, когда свободен. Мы разговорились, стараясь выбрать удобный нам обоим день. И чем бы ни закончился разговор, было упоительно просто говорить с ней, потому что я видел, что она тоже волнуется, что ей небезразлична наша встреча. Я никак не мог собраться с мыслями, Дорна тоже была в некотором замешательстве. Тут на помощь пришел Дорн.

— Послезавтра, когда закончится Совет, вы оба будете свободны, — сказал он, обращаясь к нам как к детям. — Вот и приходи к нам, Джон.

Дорна подняла на него блеснувшие гневом глаза, потом обернулась ко мне.

— Да, приходите. Я буду ждать.

Они отошли. Гладко зачесанные волосы на круглом затылке Дорны блестели, косы были скрыты плащом. Она слегка напоминала девочку-француженку в школьной форме; одетая более чем скромно, она казалась здесь лишней. Лицо ее изменилось. Выражение его было невеселым...

Поприветствовав двух мужчин и женщину, чьих имен я даже не запомнил, я увидел, что перед моей ложей остановились Хисы, приветливо мне улыбаясь. Некка сияла и была чем-то очень возбуждена. Когда я снова навещу их? Как мне понравилось на Востоке?

Теперь я уже не мог смотреть на эту высокую девушку с ее странным, неуловимым выражением лица иначе как — хотя бы отчасти — глазами Дорна. Пока мы говорили, я пытался разгадать его мысли, понимая, насколько силен его соперник — король, и чувствуя, что Некка для меня такая же непостижимая загадка, как для моего друга. Отходя, она обернулась, бросив на меня тревожный взгляд, за которым тут же последовала ее обычная забавная улыбка.

— Наттана сказала, что ей очень понравилось ваше письмо, — шепнула она.

— Мне ее — тоже, — откликнулся я.

Некка скорчила гримаску и быстро отошла.

За Хисами последовали другие, причем я чувствовал, что знакомых у меня уже не меньше, чем незнакомых. В центре зала островитяне разговаривали, разделившись на группы. Слабые звуки их голосов долетали то громче, то тише, совсем не похожие на шумную болтовню американской вечеринки. Мне хотелось, чтобы церемония поскорее закончилась, чтобы остаться одному и оглядеться в этом удивительном месте, куда я попал. Все остальные мысли были о Дорне.

Тем не менее я с огромным удовольствием увидел наконец лорда Мору и мою принцессу, которые уже миновали ложу велеречивого графа фон Биббербаха. Я едва успел сказать Моране, что готов показать ей черновую рукопись, как уже получил приглашение посетить ее после окончания Совета. Но сама она сказала, что не сможет прийти ко мне на обед послезавтра. Лорд Мора обещал быть четырнадцатого.

Но вот прошел последний из лордов, и формально церемония завершилась. Началась неофициальная часть. Жены и дети членов Совета разъехались, для оставшихся был устроен стол. Однако я решил отправиться домой: дожидаться Дорна и обдумать на досуге свои планы.

Я шагал легко, словно летел по воздуху. Неистовая радость обуревала меня теперь, когда я знал, где я и чего хочу. Ветер завывал. Пламя свечей билось и трепетало, словно стремясь

оторваться от фитилей. Ночь раскинулась надо мной огромным черным сводом. Мое сердце билось в такт пульсу Вселенной.

Дорн пришел вскоре после меня. Щеки его пылали, глаза лихорадочно блестели. Мы сели молча; каждому было о чем подумать. Мой друг был первым препятствием на пути к осуществлению моего плана. Я знал, что после всего, что он когда-то мне говорил, мои новые чувства и намерения в отношении Дорны доставят ему немало волнений, но вместе с тем я был совершенно уверен, что он посоветует мне добиваться своего. Мы глядели друг на друга, и я знал, что Дорна беспокоит примерно то же, что и меня. Но мы так и не обмолвились ни словом. Ощущая теплоту взаимного расположения, мы, так сказать, рассчитывали друг на друга, как на подкрепление в случае возможных боевых действий.

Той же ночью, лежа в постели, я почувствовал, что волнение мое несколько улеглось. В последнее время я постоянно делал именно то, против чего меня предостерегали и за что упрекали мои друзья. Наттана сказала, что чувства у меня — розовые; мой друг Дорн говорил, что попытки глубже понять жизнь островитян принесут мне лишь страдания, что мне лучше и не пытаться и что, если я влюблюсь, любовь эта будет несчастливой; и наконец, сама Дорна предупредила меня, советуя быть сдержанней, оставить мысль жениться на ней и постараться не давать поводов островитянкам увлекаться собой. И вот я полюбил островитянку и добивался взаимности, что должно было, в конечном счете, принести ей несчастье. Теперь, лежа в темноте, чувствуя, что не способен уснуть, я совершенно не мог понять, почему мне со всех сторон пророчили беды и несчастья и почему я не имел права любить и быть любимым. Доводы моих доброжелателей казались призрачными. Да я почти и забыл о них, так я был счастлив.

На следующее утро, ровно в десять, в визитке и цилиндре, как то и подобает дипломату, я, вернее та часть меня, которая являла собой консула Соединенных Штатов (обожатель Дорны остался дома), отправился в Домашнюю резиденцию, где должно было состояться первое открытое заседание Государственного Совета.

Заседание проходило в большом светлом зале с высоким деревянным потолком и каменными стенами, снизу доверху покрытыми резьбой. Вдоль стен стояли в два ряда темные скамьи. В конце зала, на возвышении, стояло большое тяжелое кресло, пока не занятое. По обе стороны ярко пылали два очага, а в противоположном конце в несколько рядов поднимались ярусами друг над другом скамьи для дипломатов и зрителей. Я пришел одним из первых и занял место в углу. Моя записная книжка была наготове: в Вашингтоне будут ждать отчета. Большого международного интереса не ожидалось, хотя никто ни в чем не был уверен до конца. Непредвиденную остроту придавало участие лорда Дорна.

Один за другим стали появляться члены Совета, некоторые в сопровождении сыновей или советников. Они занимали передние ряды, а сопровождающие садились непосредственно за ними — все в том же порядке, в каком располагались ложи на аудиенции.

Подходили небольшими группами и дипломаты. Островитяне были без плащей, но в костюмах соответствующих цветов. Они представляли яркую, радующую глаз картину — так слепят чересчур яркие, с преобладанием цвета слоновой кости краски турецкого ковра, только что принесенного из чистки.

Наконец появился Тор, юный монарх, вместе с сестрой и небольшой свитой, вооруженной большими коврами и перьями. Они сели за стоявший перед тронем стол. Тора, единственная женщина на Совете, с несколько скучающим и надменным видом заняла место на передней скамье, справа, рядом с лордом Файном. Кресло Тора, стоявшее перед столом, было обращено к центру зала. Когда он вошел, все встали, но, когда началось заседание, король сам чаще стоял, чем сидел, и никто не обязан был вставать вслед за ним.

Он исполнял роль председательствующего, или спикера. Для лорда Мора, хоть он и был премьером, не было отведено специального места, он сидел рядом со своим политическим противником, лордом Дорном.

Тор занял свое место, и лорд Мора поднялся. Он начал говорить, негромко, но так, что каждое его слово было прекрасно слышно. Мало-помалу голос его звучал все выше и звонче. Тембр был таким чистым и музыкальным, что слушать его было приятно, даже не вникая в смысл слов. Его речь поначалу представляла отчет о положении дел в международной политике, о количестве иностранцев, находящихся в стране в соответствии с Сотым Законом, о деловых предложениях, исходивших от дипломатических кругов, о количестве дипломатов и членов их семей. Затем последовал отчет о результатах медицинских обследований. Пять или шесть человек не были допущены, но жалобы подали только двое. (Тут я почувствовал, что краснею.) Один из недовольных, гражданин Соединенных Штатов, подал жалобу в весьма резком тоне. Сначала он обратился к консулу Лангу, который — совершенно справедливо, с точки зрения спикера, — отказался его поддержать. Как стало известно от Кадрета из Св. Антония, этот человек передал свое дело непосредственно в Вашингтон (малоприятная для меня новость), так что, вероятно, Ланг в ближайшее время должен получить прямые указания от своего правительства.

Я увидел обращенные на меня взгляды и улыбку на губах лорда Дорна. На мгновение я почувствовал себя важной персоной, хотя и был обеспокоен.

Лорд Мора перешел к другим темам. Со времени последнего заседания Совета ни одно иностранное судно, в связи с поломкой, не заходило в островитянские порты, и только одно в данный момент находится в островитянских водах, это немецкий пароход «Альтгелт», ставший на мертвый якорь у Доринга, о чем, впрочем, Совету уже докладывалось. (Я вспомнил о своем плавании с Дорной...)

Касаясь деятельности иностранцев, находящихся в Островитянии, лорд Мора упомянул досужих путешественников, любителей экзотики, числом не более тридцати, и тех, кто добивался разрешения, предусмотренного договором, — восемьдесят пять человек. Назвав точную цифру, лорд Мора выдержал небольшую паузу, прежде чем приступить к описанию деятельности этих лиц.

Далее он затронул некоторые вопросы, касающиеся международных связей, подробно остановившись на действии законов, связанных со съездом по дипломатическим паспортам. Поступали просьбы об отмене медицинского обследования вообще либо замене его обследованием врача соответствующей страны. Этот вопрос Совету предлагалось рассмотреть отдельно.

После этого лорд Мора перешел к вопросу, который считал особенно важным. Речь шла о согласовании с графом фон Биббербахом, представителем Е.И.В., вопроса о границе. Зал оживился. Как известно Совету, сказал лорд Мора, в интересах сохранения дружественных отношений и в результате настояний графа, действующего, согласно прямым указаниям Берлина, гарнизоны были сняты. Конечно, вследствие этого граница отчасти оставалась менее защищенной, но он, лорд Мора, уверен, что в действительности она надежна как никогда; немцы передислоцировались в районе степей Собо, одновременно уничтожая источники опасности, грозившей ранее островитянам, которые вынуждены были принимать против них постоянные оборонительные меры. На протяжении многих лет граница проходила там, где островитяне предпочитали ее устанавливать. Теперь, разумеется, путем цивилизованного вмешательства пограничная линия в горах должна быть установлена раз и навсегда. Немецкие дозоры осуществляли постоянный контроль. Скоро немецкая сторона представит свои предложения, об этом у него есть точная информация. В то же время он, лорд Мора, считал, что

Совету нецелесообразно детально обсуждать все пункты вопроса о границе. Поэтому он просил у Совета согласия уполномочить его, лорда Мору, самому согласовать эти вопросы, безусловно консультируясь с главнокомандующим (насколько я помнил из рассказа Дорны, им был Бодвин, в целом склонявшийся на сторону лорда Мора, но не являвшийся его ярым сторонником).

Одно из общих опасений, возникших после отвода гарнизонов, состояло в том, что разного рода безответственные лица смогут проникать на территорию Островитянии в нарушение Сотого Закона и закона о дипломатических визах. Тем не менее ни одного подобного случая отмечено не было! Лорд Мора сделал на этом особое ударение.

Все взгляды обратились на короля Тора. К моему (впрочем, думаю, не только к моему) удивлению, король, сидя на троне, улыбался совершенно неподобающей озорной, мальчишеской улыбкой. Лорд Мора строго взглянул на него. Король, слегка покраснев, тут же с напускной важностью склонил голову в знак согласия. По залу пронесся ропот.

Да, продолжал лорд Мора, была предпринята опрометчивая попытка установить, имеют ли место подобные нарушения. Разумеется, каждый островитянин имел право применять закон на практике. Право это будет сохранено, однако имелось мнение, что оно должно быть предоставлено лишь военным, — этим вопросом лорд Мора предлагал Совету заняться позже. Но, распределяя права подобным образом, было бы гораздо лучше, по вполне очевидным причинам, чтобы гражданское население отнеслось к этому ограничению спокойно, уступая свои права военным, за исключением чрезвычайных обстоятельств. Германский отряд, сказал далее лорд Мора, появился на перевале Лор исключительно с целью произвести осмотр местности. По предварительной договоренности он встретился с другим отрядом в условленном месте. В то время, как отряд находился на спорной территории, вполне возможно — немецкой (я быстро взглянул на Тора — у него был явно скучающий вид), трое островитян напали на него с очевидным намерением задержать участников рейда; но здравый смысл возобладал, и когда стало окончательно ясно, что нарушения границы не произошло, островитяне отступились. Происшествие, по мнению лорда Мора, весьма досадное.

На протяжении всей своей речи он глядел на короля, с улыбкой, но, как мне показалось, довольно-таки сердито.

— В высшей степени опрометчивый поступок, — повторил он значительно. Намек был явно адресован Дорнам. Тор вспыхнул, потом улыбнулся и весело прервал лорда Мору.

— В высшей степени необдуманый, — сказал он любезным тоном. — Необдуманый! Среди немцев пробежал недовольный шумок.

— Необдуманый и опрометчивый! — резко сказал лорд Мора, лишая таким образом замечание Тора — отчасти извинение перед Дорнами, отчасти сарказм в адрес самого лорда Мора — его язвительности.

Момент был волнующий. Не сомневаюсь, что Дорна была бы в восторге. Но король? О, он явно показался бы ей героем.

Мне было вдвойне волнительно оттого, что лорд Мора самым решительным образом и в то же время не без юмора отвел от меня все подозрения об участии в инциденте. В зале раздался смех. Я тоже рассмеялся, стараясь, чтобы смех мой прозвучал непринужденно, хотя и чувствовал себя глупым дитятей.

И только когда лорд Мора перешел к самой торжественной части своего сообщения — к вопросу о внешних сношениях, я перевел дух. Всего лишь через год Совету предстояло решать, быть может, самый важный из всех вопросов, стоявших перед ним за всю его историю. Лорд Мора призывал глубоко оценить и взвесить все факторы, не говоря прямо, но недвусмысленно давая понять, что вся нация стоит перед ответственным выбором и должна сделать его правильно. Затем он в самых общих чертах указал на некоторые из выгод внешней торговли, на

обогащение страны как неизбежное следствие отношений с заграницей, притом обогащение не только материальное, но и духовное, преуспевание не только коммерческое, но и содействующее общему благу нашего беспокойного мира.

Среди дипломатов раздался ропот одобрения.

Заключительная часть сообщения касалась уже только вопросов собственно внутренней политики. Речь лорда продолжалась едва ли не до полудня. После утреннего заседания я отправился на завтрак к князю Виттерзее. Это был первый из моих визитов после путешествия. По дороге мне встретились двое американцев — Эндрюс и Боди. Они хотели, чтобы я помог им получить разрешение на вывоз образцов горных пород, причем как можно скорее. Они собирались отправить их пятнадцатого. Когда я смогу принять их? Я предложил им зайти сегодня к вечеру, но это их не устраивало и завтрашнее утро — тоже. Они настаивали на встрече днем, как раз когда я должен был увидеться с Дорной. Я сказал, что днем у меня свидание. Они ответили, что еще через день будет поздно. Я снова предложил им встретиться завтра утром. В десять? Нет, в десять я буду на заседании Совета. Может быть, у меня есть специальные приемные часы? Нет, по крайней мере, пока не закончатся заседания Совета. Хорошо, тогда завтра в полдень.

— Нет, в полдень у меня свидание.

— Держу пари, что с барышней, — сказал Эндрюс, уже по-настоящему начиная злиться. Я сам был зол настолько, что не нашелся, что ответить, тем более что покраснел до корней волос. Так ничего и не сказав, я повернулся и пошел прочь, но, подумав хорошенько, догнал Эндрюса и его приятеля.

— Мы можем встретиться завтра утром между восемью и половиной девятого или послезавтра, — сказал я. — А сейчас мне надо идти, у меня назначено свидание.

Когда я впервые увидел их в мае, они мне понравились, и, знай я, что они окажутся в Городе, я, пожалуй, пригласил бы их на один из обедов, но сейчас мои мысли были не о том.

Вторая половина заседания скоро закончилась. Завтра лорд Мора должен был отвечать на вопросы. Лорд Дорн выглядел усталым, безразличным; ему явно не хватало сил по сравнению с лордом Морой, у которого, казалось, еще огромный запас энергии и который был бесконечно обаятелен и явно сохранял ясность мысли на протяжении всего дня работы.

Во время чая у Перье и обеда у Келвинов, устроенного с размахом для всей дипломатической колонии, у меня не было ни секунды, чтобы подумать о себе. Голова слегка кружилась от выпитого вина, воспоминания дня мелькали в беспорядке, и, едва придя домой, я лег спать и проснулся уже запоздно; Эндрюсу и Боди пришлось ждать, пока я оденусь, а об их делах мы говорили, пока я завтракал. Мне пришлось отчасти разочаровать их, потому что мне было совершенно ясно, что некоторые из «образцов», которые они собирались вывезти, были не просто образцами. Они хотели, чтобы я предоставил им свободу действий, но закон в данном случае не допускал двусмысленных трактовок, и я отказался поддержать компаньонов.

На утреннем заседании Совета вопросы, как лидер оппозиции, первым начал задавать лорд Дорн. Когда, еще в сороковые годы прошлого века, при обсуждении вопроса о внешней торговле партия, возглавляемая отцом лорда Дорна, одержала верх над партией деда лорда Мора, лорд Дорн самолично проверил факты, о которых докладывал тогдашний премьер. Скоро стало ясно, что и на этот раз повторилось то же. Как только лорд Дорн начал задавать свои вопросы, я почувствовал, что он располагает немалой информацией, которую может использовать в любой подходящий момент. Он часто оборачивался к моему другу, сидевшему рядом, и к лорду Файну, который тоже подсел поближе. Мне было интересно увидеть наконец лорда Дорна «в деле». Голос его обладал притягательной силой, о которой я и не подозревал. Вопросы были просты и

понятны. Он точно знал, каких ответов хочет добиться от своего противника. Тон его был вежлив, но настойчив. Чувствовалось, что запас сил в нем поистине неиссякаем. Мне было приятно видеть его таким сильным, хотя и хотелось, чтобы через год победу одержал лорд Мора, ведь это открыло бы передо мной такие возможности.

Поэтому я со смешанными чувствами выслушал оглашенный лордом Дорном факт, состоявший в том, что, за исключением членов дипломатической колонии, в Островитянии на данный момент находится не сто пятнадцать, а около ста тридцати иностранцев, из чего следовало, что либо лорд Мора допустил неточность, либо эти лица попадали в страну, нарушая закон. Лорд Мора обещал перепроверить данные.

— Вам следовало полагаться на точные факты, тогда никакой перепроверки не потребовалось бы, — сказал лорд Дорн. — Сотый Закон по-прежнему в силе, а дипломатические паспорта предусмотрены и в вашем проекте.

Эта реплика показалась мне неоправданно резкой, однако позже я узнал, что лорд Дорн часто позволяет себе такие замечания на заседаниях Совета, и не только там. На этот раз слова лорда Дорна попали в цель, и лорд Мора явно почувствовал себя не совсем удобно.

Потом лорд Дорн заявил, что островитянские доктора считают, что медицинское обследование, проводимое докторами-иностранцами, чаще всего — проформа, удостоверения выдаются вообще без осмотра и что если и проводить осмотр, то проводить его всерьез. Примерно в таком же роде были и остальные факты, которые лорд Дорн привел во время утреннего заседания.

Вообще заседание проходило более непринужденно и обсуждаемые вопросы были ближе к жизненным реальностям по сравнению с дебатами в американском Конгрессе. Я внимательно слушал. Время летело быстро.

После ленча с Эрном во дворце его отца я вновь поспешил на Совет. Обсуждался вопрос о том, принимать или нет предложение лорда Мора о передаче ему права на установление границы. Лорд Дорн указал на тот факт, что так называемый немецкий дозор продвинулся дальше верхней отметки перевала, а стало быть, пересек границу. За этим последовала весьма жаркая дискуссия на топографические темы. Похоже, лорд Дорн чувствовал себя в этом аспекте не совсем уверенно. Лорд Мора предложил поставить спорный вопрос на голосование, после чего лорд Дорн совершенно неожиданно и к разочарованию своих сторонников пошел на попятный, сказав, что сейчас голосовать не время, поскольку если предлагаемая линия границы в основном приемлема, то детали можно оставить на усмотрение премьера при содействии военных.

Затем впервые слово взял лорд Келвин, не слишком любезно осведомившись, уж не хочет ли лорд Дорн, чтобы и флот тоже давал советы по поводу границ. Я вспомнил, как Дорна рассказывала, что и адмирал, и оба командора поддерживают ее деда. Намек, таким образом, был достаточно прозрачен.

Лорд Дорн отвечал, что лучшего нельзя было бы и желать.

Лорд Мора спросил его, согласен ли он голосовать сейчас, если в комиссию по решению пограничного вопроса войдут и представители флота, на что лорд Дорн только рассмеялся.

Время шло, и по мере того как близилось мое свидание с Дорной, я чувствовал все большее беспокойство и нетерпение.

Решение ни по одному вопросу так и не было принято, и, дождаввшись перерыва, я ушел. Было уже около пяти часов, а мне нужно было вернуться домой не позже половины седьмого, чтобы успеть переодеться перед визитом к графу фон Биббербаху.

Сильный и свежий юго-восточный ветер, неся редкие снежинки, дул мне в лицо, когда я, почти бегом, шел по улице к набережной. Сердитые серо-зеленые волны бились о пристань, и

корабли, казалось, попрятались по докам от неуютной морской стихии. А где-то там уже наверняка горел камин и Дорна ждала меня!

Миновав агентство и мост через канал Субарра, где ветер едва не валил с ног и мокрые холодные хлопья жгли мое разгоряченное лицо, пройдя мимо конторы, где мы с Джорджем поджидали когда-то курьера из Доринга и я получил письмо Файны, я вышел на мол, к серым стенам дворца Дорнов. Дойдя до ворот, я распахнул их тяжелые створки. За садом, выглядевшим уже по-зимнему, за голыми, облетевшими деревьями, виднелся длинный фасад дворца. Я подошел к дверям, дернул за звонок. Еще минута, и я увожу Дорну, саму Дорну, и буду с ней все эти длинные зимние сумерки!

Слуга впустил меня. Лицо мое околело от холода, в ушах звенело. Слуга взял мое пальто и шляпу. Что ж, придется Дорне увидеть меня в визитке. Я молил бога, чтобы накрахмаленная манишка не слишком хрустела.

Меня провели наверх по каменной лестнице. Потом — налево. Каблуки мои громко стучали по каменным плитам длинного коридора, в конце которого была открытая дверь.

Я вошел в большую, скупо обставленную комнату; в дальнем конце ярко горел огонь очага, перед ним стояла скамья. Сидевшая у окна Дорна поднялась; на этот раз на ней было не обычное темно-синее, а коричневое платье, оттенявшее ослепительную, матово-гладкую, как слоновая кость, кожу, волосы были распущены. Я быстро пошел навстречу девушке. Каким длинным показался мне этот путь в несколько шагов! Я услышал ее голос — и вот уже сидел рядом с ней на скамье. Мы заговорили и, прислушиваясь к налетавшему с моря юго-восточному ветру, сердито бившемуся в окна, залепляя их мокрым снегом, я особенно чувствовал, как жарко пылает огонь, как радостна близость любимой.

Дорна, казавшаяся такой молчуньей три месяца назад, тут же сама завела разговор, как барышня опытная, умеющая принять и развлечь гостя. Она попросила рассказать все, что случилось со мной со времени нашей последней встречи. Я описал свое посещение Сомсов: с каким удовольствием я помогал копать канаву, про луковицы, и сказал, что выписал семена и луковицы для нее. Дорна внимательно слушала; наконец я дошел до того, как приехал к Морам.

Я знал, что для Дорны это самое интересное: она смотрела на меня, сидя со скрещенными ногами, облокотившись о колено и подперев лицо ладонью, словно прелестная маленькая статуэтка. Ее прозрачные глаза задумчиво, изучающе глядели на меня, постоянно меняя выражение, по которому, однако, невозможно было догадаться, о чем она думает.

На мгновение я почувствовал, что теряю нить рассказа.

— Вам понравилась Морана? — спросила Дорна.

Наводящий вопрос хозяйки дома... Я сказал, что думаю о Моране, и упомянул о своей истории и о том, как Морана мне помогла.

— Я тоже могла бы вам помочь, — сказала Дорна.

Я почувствовал, что тут же готов бросить Морану ради нее.

— Ну, вы ведь противницы, — заметил я и продолжал свой рассказ.

Закончив, я спросил Дорну, чем она занималась это время.

— Ничем особенным, — коротко ответила она. — Кое-что делала по дому. Я ведь помогаю дедушке, вы знаете. Две недели назад заезжала Стеллина. Я не думала, что отправлюсь в Город, но, когда брат и дедушка уехали, решила поехать тоже. Так что добирались мы вдвоем со Стеллиной. Доехали всего за четыре дня, хотя снег на перевале сейчас очень глубокий. Обратный путь будет нелегким... Я очень рада, что вы пригласили Стеллинов на обед. А кто будет еще?

Я перечислил приглашенных, и Дорна одобрила мой выбор. Разговор вернулся к аудиенции.

— Что вы думаете о речи Тора? — спросила девушка.

Я сказал, что, по-моему, речь получилась краткой, но насыщенной. Дорна пристально взглянула на меня, словно я не до конца понял ее вопрос. Мне снова вспомнилась речь короля.

— Он назвал дипломатов «гостями», — сказал я. — И ни слова о том, что Островитяния готова принять их.

Дорна прищурилась, и в глазах ее появилось уже знакомое плутоватое, колдовское выражение.

— Да, — кивнула она, — он словно хотел сказать, что они здесь временно и вовсе не обязательно приглашать их снова. Сами они, может быть, и не поняли, но мы все поняли именно так. — Она широко улыбнулась. — Странно, что вы не поняли этого, Джон.

Еще раз внимательно взглянув на меня, она опустила глаза. Я был так счастлив, что мог даже не смотреть на нее. Она была здесь, и этого было достаточно. Еще тогда, на аудиенции, мне показалось, что она изменилась и вид у нее несчастный. Под глазами залегли тени. Я хотел спросить, уж не случилось ли чего.

Но у Дорны было свое мнение насчет того, как должна развиваться наша беседа. А что я думаю о вечернем заседании? Я рассказал о своих впечатлениях, и снова Дорна свела разговор к поведению молодого короля.

— Он вел себя не очень дипломатично, — осторожно сказал я.

— Конечно, нет. Но это совершенно в его духе. Конечно, лорд Мора заранее его подготовил, и он со всем согласился, но не мог удержаться и не проявить своих истинных чувств. Это не было недоразумение. Тор уверен, что немцы заехали намного дальше пограничной черты.

Было похоже, она действительно знала мнение Тора.

— Значит, он примкнул к вам? — спросил я.

Дорна расцвела от удовольствия.

— Не знаю, — ответила она, — но он не дает лорду Море помыкать собой. Он будет настоящим королем, а не марионеткой, как его отец.

— Интересно, что вы станете говорить, если его симпатии вдруг изменятся? — спросил я.

Дорна посуровела, опустила глаза.

— Все равно он — настоящий король, — медленно и глухо сказала она.

Потом она снова развеселилась, и мы стали вспоминать, как вел себя граф фон Биббербах и о его явных претензиях захватить лидерство среди дипломатов.

— Это довольно опасно, — сказала Дорна. Я попросил ее выразиться яснее, и она поделилась со мной своими мыслями о том, что Германия, похоже, хочет установить протекторат над Островитянией и то, что немцы фактически оккупировали степи Собо, — один из шагов в этом направлении.

— Я не должна была всего этого вам говорить, — добавила она быстро. — Я забыла, что вы — мой враг.

— Я — ваш враг?!

— Да, с тех пор, как сознательно стали консулом. И, по-своему, были правы... А раз вы согласились стать консулом, то рано или поздно вам придется уехать. Сотый Закон разрешает иностранцам оставаться у нас только на год, один раз в десять лет.

Я почувствовал, что мы вновь подходим к такой большой для меня теме: способен ли я до конца понять Островитянию, полюбить островитянку и добиться ее любви?

Я сказал, что аудиенция была очень красочной, что собравшееся на ней блистательное общество произвело на меня незабываемое впечатление, и добавил, что не менее разительным был контраст между спокойной и вразумительной беседой островитян и крикливой суетой

американских вечеринок, между островитянскими одеждами и нашими костюмами, вульгарными и претенциозными по сравнению с ними. Сам того не желая, я задел Дорну.

— Мы с братом были одеты беднее всех. И всю жизнь носить это скучное синее платье! Уж лучше совсем об этом не думать!

Передо мной была совсем другая Дорна — Дорна, которую беспокоит, как она одета! Я оглядел ее с ног до головы. Пожалуй, настал подходящий момент сказать, что сегодняшнее платье на ней кажется мне верхом совершенства.

Дорна улыбнулась.

— Может быть, — сказала она польщенно. — Мне всегда трудно подобрать подходящий цвет.

Мы стали обсуждать, какой цвет ей больше к лицу. Теперь я мог безнаказанно разглядывать ее и чувствовал, что люблю ее все больше и больше.

— Может быть, подойдет зеленый? — спросила Дорна. — Нет, зеленый вряд ли.

Дорна продолжала настаивать: снова появиться на аудиенции в этом балахоне — просто ужасно! Она даже не смогла сделать специальную прическу!

— Вы выглядели подобающе и достойно! — воскликнул я. — Вы казались собой — так, словно прямо перенеслись в столицу из Доринга, оттуда, где только ветер и море. У всех остальных лица были как будто приделаны к одежде, а вы, Дорна, вы были прекрасны!

Она рассмеялась:

— Это хорошо, что вам показалось, будто я действительно прямо «оттуда». Я сама так себя чувствовала: Дорна с острова Дорнов, и ниоткуда больше!

Это был ключ к ее душе. Дорна с острова Дорнов, с Запада, ревнительница старины... И снова разговор зашел о политике. У Дорны были свои взгляды буквально по каждому вопросу. Она говорила уверенно и сильно, совсем как ее дед. И снова я не мог налюбоваться определенностью, ясностью ее мысли, ее силой, и снова я был счастлив.

Я рассказал ей, о чем мне приходилось говорить с людьми, которых я встречал, в том числе с молодым Морой. Она мгновенно напала на его идею о том, что перевес импорта над экспортом вызовет отток золота из страны, а истощение золотого запаса приведет к снижению цен. Голос Дорны стал язвительным. Ну, это еще пустяки! Они считают, что, в конце концов, внешняя торговля превратит Островитянию в земной рай! Да, это похоже на Моров! Впрочем, она довольно скоро успокоилась и очень убедительно доказала, что изменение баланса цен в стране, где они так долго были стабильными, окажется губительным.

— Конечно, — заключила она, — если бы вопрос сводился только к тому, чтобы смягчить последствия перемен, которые все равно неизбежны, мы, может быть, и примирились бы с Морами.

— Я презираю Моров, — сказала она с расстановкой, пристально глядя в огонь, — за то, что они затемняют суть дела, восхваляя преимущества внешней торговли. Дорогой Джон, если уж перемены должны наступить, то, поверьте, найдутся люди, которые будут счастливы погибнуть за то, чтобы оставаться самими собой на своей земле. Среди нас немало таких, кто может свободно дышать только воздухом своей родины.

Сейчас устами этой девушки говорили ее предки. Проблема, как она виделась Дорне, выходила далеко за рамки обычных политических игр, оказывалась слишком серьезной, чтобы я мог судить о ней.

— Милая Дорна, — сказал я, — надеюсь, этого никогда не случится!

Она ответила не сразу, голос ее звучал теперь иначе.

— Как вам наша деловая жизнь в последние месяцы? — спросила она. — И чем заняты вы?

Я сказал, что буквально засыпан приглашениями и сам даю много званых обедов. Дорна

одобрила выбор гостей и сказала, что хотела бы сама побывать на всех вечерах.

— Мне бы тоже этого хотелось, — откликнулся я, не переставая думать, что я — «враг».

— Но про одну вещь совсем забыли, — сказала Дорна. — Не будет музыки. А это для вас единственная возможность в году послушать настоящую островитянскую музыку.

Потом она рассказала о своих приглашениях. Было много встреч с девушками-ровесницами, с прежними подругами. Намечалось также несколько обедов вроде тех, что устраивал я. Приглашение на один из них, к Келвинам, я вынужден был отклонить, так как он приходился на тот же день, когда я давал свой первый вечер. Дорна, к сожалению, собиралась быть у Келвинов.

— Но скоро я снова поеду домой, — сказала она, и глаза ее вспыхнули. — Снова в пути, на свободе, а не киснуть весь день в четырех стенах. Погода, наверное, будет скверная. У меня так мерзнут руки. А на стоянках мы будем разводить костры...

— Я завидую вам, Дорна. Мне придется целыми днями сидеть взаперти и работать.

— Вы обязательно должны приехать на Остров весной, — сказала она с чувством.

Я честно пообещал быть.

— Вы не знаете, как хорошо у нас весной, — продолжала Дорна. — И я тогда — совсем другая.

— Какая?

Она только рассмеялась.

— Но вы должны послушать нашу музыку, Джон. Пойдемте вместе на концерт. Они бывают каждый вечер.

Правда, каждый вечер у нас обоих, вплоть до самого отъезда Дорны, был занят, но она придумала выход. Концерты устраивались поздно вечером. А званые обеды в Островитянии проходили не так чопорно, с них всегда можно уйти пораньше. Как раз пятнадцатого числа мы оба были приглашены в гости к островитянам, а не на прием к иностранцам.

Было уже довольно поздно, и я не раз подумывал о том, что пора идти. Однако сегодня, пожалуй, единственная возможность остаться с Дорной наедине. Мне хотелось воспользоваться таким редким случаем, но я не представлял, как. Впрочем, мы еще сможем прогуляться по ночному Городу пятнадцатого.

— Мне уже давно следовало идти, — сказал я, вставая.

Дорна не стала меня задерживать и тоже проворно поднялась. Меня это кольнуло, но я вспомнил, что ее тоже ждут в гостях сегодня вечером. Просто я успел совсем об этом забыть.

Сожалея, что в Островитянии не принято пожимать друг другу руки, я попрощался и вышел. Ветер хлестал по лицу, свистел в ушах, пока я быстро шел к дому. Спешка и боязнь опоздать на большой прием к графу фон Биббербаху подействовали на меня отрезвляюще. Несмотря на дивные, незабываемые часы, проведенные с Дорной, воспоминание о зловещих предостережениях не оставляло меня.

Поздно вечером в германском представительстве, когда ужин подходил к концу и мне хотелось поскорее расстегнуть жилет, в голове шумело, а на стол продолжали подавать все новые вина и блюда, голоса присутствующих звучали как бы издалека, цвета казались слишком яркими, — у меня было определенное ощущение, что я, равно как и все прочие, поросенок, которого откармливают на убой. Ужин явно был для большинства из нас — даже для лорда Моры, даже для Ислы Келвины — важным, но обременительным делом, то же было написано на лице молодого Тора: глаза его ярко блестели, лицо разругивалось, на губах играла беспечная, озорная улыбка.

Я без конца вспоминал Дорну. Приди она, неужели она выглядела бы так же, как все мы?

Нет! Слегка опьяненная Дорна была бы подобна менаде, резвящейся на вольном воздухе, а не тяжело рассеявшейся за столом даме. Ах, Дорна, Дорна, думалось мне, ты создана не для меня! Мне стало грустно, и я вспомнил чьи-то слова о том, что вино лишь усугубляет истинные чувства. Если вино вызывает, на первый взгляд, горькую усмешку, значит, в глубине души человек счастлив; если на вершине счастья вино повергает человека в отчаяние, значит, именно отчаяние поистине владеет им.

Так, самый счастливый день в моей жизни закончился для меня грустно.

Следующий день, четырнадцатое июня, был насыщен событиями. Лорд Мора снял вопрос о медицинском обследовании, отложив решающую схватку на шесть месяцев, согласившись, видимо, что время еще не настало и надо полнее исследовать мнение островитянских врачей. Казалось, Дорны могли праздновать победу. К вопросу о пограничной комиссии тоже не возвращались. Большею частью Совет занимался вопросами внутривосточными. В собрании мгновенно установилась атмосфера гораздо большего согласия, и международные наблюдатели стали один за другим незаметно покидать заседание.

Что до меня, я ушел рано, весь в заботах о предстоящем обеде. И вот этим вечером, вне себя от волнения, я увидел их всех у себя за столом: министров, и консулов, и их жен; лорда Мору и Ислу Келвину, лорда Келвина и Ислу Морану, лорда Сомса и Ислу Бромбу, лорда Файна и Мару. Мгновенно завязался оживленный разговор, напитки и блюда подавались вовремя, и я понемногу успокоился. И все же было что-то дилетантское в моем приеме, и это смущало меня, хотя внешних поводов для беспокойства не было. Под занавес граф фон Биббербах, весь красный и слегка покачиваясь, обнял меня за плечи и от имени всей дипломатической колонии назвал «нашим малышом» и при этом отменным, просто отменным хозяином!

Но, пожалуй, самый великий день был пятнадцатого!

Пятнадцатого прибывали пароходы, и я ушел прямо посреди заседания, чтобы не пропустить пришедшего с Запада «Св. Антония». Восемь часов. Набережная у таможни. Ясный, но холодный день. Ни среди уезжавших, ни среди прибывших особенно интересных для меня людей не было, однако почта меня ожидала пренеприятная.

Первыми я прочел правительственные депеши. Среди них была каблограмма, дающая согласие на проект «Плавучей выставки», но все остальное расстроило меня чрезвычайно. «Вашингтонский жалобщик» добился своего, и мне предписывалось сделать все возможное для пересмотра освидетельствования, причем в совершенно недвусмысленной форме давалось понять, что я не сделал всего, от меня зависевшего. Меня просили также сделать все возможное, чтобы поспособствовать американцам в заключении выгодных договоров с островитянами еще до принятия Договора. Министерство намекало, что я отнюдь не использую данные мне возможности, и я понял, что Генри Дж. Мюллер тоже не терял времени в Вашингтоне... Мне стало не по себе, я почувствовал приступ неожиданной слабости. Объясниться, и в самых резких выражениях, — вот чего мне хотелось в первую очередь.

В том же духе было выдержано и письмо от дядюшки Джозефа. Письмо было написано на машинке, но, читая печатный текст, я словно слышал голос самого дядюшки: «Подумай хорошенько, — и я сразу узнал его наставительные нотки, — ты впутываешься в нехорошую историю». Далее он советовал не строить из себя кисейную барышню; что же касается «вашингтонского жалобщика», то, по мнению дядюшки, это был человек, ради которого мне, по здравом размышлении и учитывая, что наш мир весьма далек от идеала, следовало бы сделать все возможное. Кроме этого, дядюшка считал, что, независимо от того, кто прав, а кто виноват, я должен был по крайней мере, будь я истинным дипломатом, хотя бы сдерживать свои эмоции в

общении с представителями такого человека, как Гэстайн. В конце концов, в нашем далеко не идеальном мире (это выражение явно понравилось дядюшке) всегда наступает момент, когда люди мудрые и предусмотрительные не имеют права проявлять близорукость и, не выходя за рамки, все же должны предпринимать нечто свыше дозволенного. Я еще слишком юн, продолжал дядюшка, на карту поставлено мое будущее, и некому дать мне совет, кроме него, дядюшки Джозефа, который устроил меня на это место, будем говорить начистоту, и мне следовало понять, что в жизни далеко не все так гладко, как хотелось бы моему совестливому и щепетильному новоанглийскому воображению. А главное, мой долг — ни на минуту не забывать о деле и, по возможности, оказывать услуги людям; игра шла по-крупному, и теперь от меня зависело — погубить себя или сделать блестящую карьеру. Я обязан помнить, что я — американец, и не пренебрегать интересами своих соотечественников ради моих друзей в Островитянии, и т. д. и т. д. В заключение (эти слова уже заранее вызывали у меня тоску) он призывал меня трудиться, трудиться и трудиться.

Прочитав письма, я немедленно сел сочинять ответы. Однако письмо, отосланное восемнадцатого, было написано уже в гораздо более сдержанном тоне, чем черновик, где я не скупился на выражения.

После ленча я заглянул на заседание Совета, по-прежнему занятого исключительно внутривластными вопросами. Дорн, которого я там встретил, посоветовал мне прийти завтра с утра. Я был рад перемолвиться с ним хоть словом. Он задержался всего на минутку, но, уходя, крепко пожал мне руку, и чувство раздражения и тревоги оставило меня.

Уже несколько подустав, я переоделся и пешком направился в дальний, северный конец Города, где жили Эрны. С молодым Эрном мы быстро сблизились и стали настоящими друзьями. Он и его семья были гораздо радушнее и не так мнительны во всем, связанном с политикой, как, скажем, Келвины или молодой Мора.

Обед прошел в узком кругу, и это было приятно. Гости подобрались не исходя из политических симпатий, а, скорее, я думаю, просто чтобы дать молодому Эрну возможности развлечься и развлечь своих приятелей, а его родителям — взглянуть на тех из них, кого они видели не часто. Младшие и старшие — все сидели за одним столом.

Жгучее желание увидеть Дорну держало меня в почти невыносимом напряжении. Я знал, что два часа пробегут незаметно, а следующее наше свидание, когда Дорна будет только моей, произойдет лишь весной, через многие, долгие месяцы.

Под конец, боясь опоздать, я, наскоро попрощавшись, покинул Эрнов: путь до дворца на Холме, где Дорна ужинала у Стеллинов, был неблизкий. Было сложно выразить всю ту теплую симпатию, которую я чувствовал к Эрну и его родителям. И вот, окутанный влажным, прохладным ночным воздухом, я уже вновь спешил той же дорогой, что привела меня к этому дому. Все, оставшееся позади, было мигом забыто. Лишь Дорна существовала теперь — где-то там, отделенная от меня темным запутанным лабиринтом городских улиц.

Я был влюблен в Дорну, влюблен в темные улицы, в сырой, порывистый ветер, предвещавший снег, влюблен в Город, в Островитянию.

Времени у меня в запасе было достаточно, и я медленно, сознательно сдерживая шаг, поднимался по Городскому холму. Сквер на вершине был безлюдным, мрачным. Здание Совета, где днем кипела работа, и теперь еще выглядело оживленным, хотя света в окнах не было. Порыв ветра на мгновение заставил меня остановиться, и то ли дождь, то ли снег холодом обжег лицо. Проходя мимо уличного фонаря на углу улицы Норм, которая вела к дворцу, я заметил, что хлопья снега, нанесенные ветром, почти целиком залепили фонарное стекло.

Как мне хотелось, чтобы Дорна была рядом посреди этого безлюдья и метели!

Сердце мое сильно билось, когда я подошел к двери и позвонил, и голос мой дрогнул, когда

на вопрос открывшего мне слуги я ответил, что «Ланг» пришел по приглашению «Дорны, внучатой племянницы». Слуга удалился; я стоял в маленькой квадратной передней. Тускло освещенный коридор, казалось, уводил в бесконечность.

Дорна выбежала мне навстречу в накинутом плаще. Каблуки ее звонко цокали по каменному полу.

Она бросилась ко мне. Моим первым желанием было пожать ей руку. Мне казалось, что я уже научился сдерживать этот порыв, но мне лишь казалось.

— Я не опоздал, Дорна?

— Нет, Джон. Как раз вовремя. А что?

— Вы так спешили.

— Терпеть не могу заставлять людей ждать. Знаю по себе, каково это. Снег еще идет?

— Да, Дорна.

Она надела капюшон, и мы вышли. Со стороны она была похожа на монахиню или на Красную Шапочку в темно-синем плаще. Фонарь над дверью ярко высветил ее фигуру. Снег белым пунктиром летел, скрываясь в темноте. Холодные белые хлопья, темно-синий плащ, чернота ночи и мелькающее под капюшоном лицо Дорны — оживленное, румяное, с блестящими глазами... Снова она была моя, и у нас было еще целых два часа впереди!

Мы пошли вниз по Холму. Размокшая земля скользила под ногами. Рядом со мной двигалась закутанная в темный плащ фигура, лицо показывалось лишь изредка. Ну и что? Ведь я еще нагляжусь на нее на концерте, а сейчас она была рядом и принадлежала только мне.

Идти было недалеко; дома защищали от ветра, кроме того места, где, проходя через парк, надо было пересечь приток реки. Ветер буквально отшвыривал Дорну назад, но она не сдавалась и, нагнув голову, медленно, упрямо двигалась вперед. Когда мы снова оказались под защитой обступивших нас стен, девушка близко подошла ко мне.

— Неужели придется так же идти обратно?

— Надеюсь, нет, — только и ответил я.

Мы вошли в театр. Здесь, как и в Америке, проверяли билеты, но там она дала бы их мне, чтобы я показал их контролеру, даже если бы она пригласила меня на концерт, а здесь женщины не чувствовали и тени неловкости, оказываясь в роли хозяйки положения. Мы прошли дальше, Дорна — впереди. Публика собиралась не спеша, вполголоса переговариваясь. Дорна скинула плащ. Юбка и жакет на ней были густо-оранжевые, блуза скорее с желтоватым оттенком; в заплетенную не так туго, как обычно, косу была вплетена лента такого же цвета. На ее словно загоревшей коже еще ярче проступил румянец. Она была оживлена, блистательна — полный контраст тому, что я увидел на аудиенции.

Прямо, уверенно она прошла к местам, вероятно выбранным заранее, и мы сели рядом, очень близко друг от друга.

Мы пришли вместе, и она принадлежала мне, а я — ей, на час, даже больше... Окинув быстрым взглядом зал, Дорна повернулась ко мне и прочла целую лекцию о том, что мне предстояло услышать.

Только в Городе и только в июне проводятся большие концерты. Оркестровой музыке островитянские музыканты предпочитают сольные сочинения, дуэты или трио. Дорна советовала не искать в музыке скрытого смысла, а постараться забыть обо всем и просто слушать. Я почувствовал себя слегка уязвленным: неужели она думает, что я не знаю, как слушать музыку?

— Отлично, — сказал я. — С этой минуты становлюсь новорожденным младенцем.

— Станьте, пожалуйста!

Я рассказал Дорне о концертах Ансея и о том, что одну из композиций он назвал

«Верхний Доринг».

— Ну, это совсем не то, — сказала она с явным оттенком пренебрежения, что тоже мне не понравилось, поскольку музыка Анселя глубоко взволновала меня.

— Он сочиняет пьесы, — продолжала Дорна, — всегда отталкиваясь от какого-то определенного переживания, которое можно передать словами, от чего-то, что можно увидеть или узнать с помощью других чувств.

— Его музыка обращена к сердцу.

— Уж не хотелось ли вам разрыдаться?

— Да, — ответил я неуверенно.

Дорна коротко рассмеялась.

— И что же там было такого печального?

— Не могу точно сказать.

— Вам вспомнился кто-то?

— Не знаю... Но та пьеса, «Верхний Доринг»...

— Вы представили себе Верхний Доринг, и он показался вам гораздо красивее, чем на самом деле?

— Не уверен.

— Но вас переполняли мысли?

— Не думаю, скорее — чувства.

— И очень-очень грустные, да, Джон?

— Да, — сказал я сквозь зубы.

— Именно этого Ансель и добивается от слушателя, — сказала Дорна, и снова голос ее прозвучал язвительно. — Милые, красивые, грустные чувства... Сегодня будет другое.

Я попытался сделать так, как советовала Дорна: отключив сознание, превратиться в звуковые рецепторы, и, надо сказать, на какое-то время мне это удалось. Музыка была кристально простой и ясной. Пассажи плавно следовали один за другим. Но Дорна слушала взволнованно. Я то и дело искоса взглядывал на ее бесконечно милый мне профиль, на темные, густые ресницы. Я был слишком влюблен, а может быть, и действительно не умел правильно слушать музыку. Она звучала лишь аккомпанементом к моим мыслям, делая их почти невыносимо, болезненно пронзительными: тут была и безмерная любовь, безмерное желание достичь счастья вопреки всем препятствиям, чудовищным препятствиям, разделяющим нас, печаль отчаяния и снова — любовь, снова — счастье.

Пару раз я обвел взглядом зал. Просто, как подружки, сидели рядом молодая Стеллина и принцесса Тора. Она слегка откинулась назад, и было что-то отрешенное в ее позе, но ее продолговатое, тонкое, умное лицо выражало полную сосредоточенность. Увидел я и Жанну с Мари в сопровождении месье Барта. Мари украдкой посмотрела в мою сторону, и я почувствовал, пожалуй, не вполне заслуженную гордость оттого, что меня увидели рядом с Дорной... Сердце мое оттаяло. И они, эти барышни-француженки, тоже вдруг стали близки и дороги мне. Зал сделался как бы единым целым, состоящим из близких друг другу людей, и мне, вопреки всему, хотелось стать частью этого целого. Любовь к Дорне делала для меня и Островитянию родным домом. Я был влюблен в эту страну. Я не мог представить, что расстанусь с ней. Я был с нею одно. Любовь изменила меня. Безмерная любовь к тебе, Дорна, давала мне силу преодолеть любые непреодолимые препятствия и печаль, истинную печаль, какой мне еще не доводилось знать...

Неожиданно для меня музыка кончилась. Никто не аплодировал, лишь легкий шумок одобрения пробежал по залу.

Дорна сидела, застыв. Одной рукой она облокотилась о колено, задумчиво подперев

подбородок ладонью; другая была безвольно опущена.

Я гадал, видит ли нас Мари — молчаливую, притихшую пару. Стеллина тихо говорила о чем-то с Торой. Я хотел излить перед Дорной обуревавшие меня чувства, но сам не мог до конца разобраться в них. Но хоть как-нибудь, пусть намеком, пусть хоть в нескольких словах, мне хотелось дать ей знать, что я чувствую. Нет, пожалуй, даже не это; больше всего я стремился увериться, что все оставалось по-прежнему — так, как когда-то, на Острове, что тот «вопрос», с которым, как говорила Дорна, ей рано или поздно придется столкнуться, еще маячит где-то в отдалении. «Я совершенно свободна, — вспомнился мне ее голос. — Пока все так или иначе не решится, я хочу быть свободной». Теперь смысл этих слов стал для меня яснее. Она намекала, что хочет, чтобы я не пытался завладеть ее чувствами. Хорошо! Я буду молчать. Я любил Дорну, и ее свобода была для меня драгоценна. Итак, решение было принято.

Концерт продолжался. Пьесы походили на то, что исполняли до перерыва. Дорна так и не проронила ни слова, и пусть она говорила, что ни о чем не думает, — я был уверен, что это не так, и отдал бы все, чтобы узнать, о чем ее мысли. Быть может, все о том же «вопросе».

Концерт закончился. Наше с Дорной время было на исходе. Два дивных часа протекли как одно мгновение.

Я подал Дорне плащ, она надела его, накинула капюшон. Земля примерно на дюйм была покрыта мягким снегом. В воздухе было бело от снежинок, и мягко кружащиеся хлопья оседали на ресницах, слепя глаза. Снег рассеивал свет уличных фонарей, так что мы легко различали дорогу, ступая осторожно, чтобы не поскользнуться. И все же сначала я, потом Дорна пару раз с трудом удержались на ногах. Я протянул руку, чтобы поддержать девушку, и совершенно неожиданно ее рука протянулась навстречу моей. Мне хотелось взять и крепко сжать ее обнаженную руку. Сквозь рукав я чувствовал, как она ухватилась за меня. Однажды я уже держал в своей руке руку Дорны, и яркая, живая память об этом могла заставить меня перешагнуть через все. Но я остался верен решению сдерживать свои эмоции.

От театра до дворца Дорнов было всего четверть мили. Незаметно мы дошли до здания агентства на канале. Направо тянулась занесенная снегом пристань. Море было близко, ветер дул сильнее, и снежинки летели прямо в лицо, заставляя жмуриться. Мы с трудом, держась рядом и помогая друг другу, взобрались на крутой скользкий мост. Иногда наши тела соприкасались, и метель объединяла нас, укрыв снежным, пропахшим солью плащом.

На другом берегу канала, где дорога спускалась к волнорезу, ветра почти не было слышно, но снегу намело много. Справа, под нами, сквозь голубую пелену снегопада, светил в темноте прикрепленный к тускло блестящей мачте корабельный фонарь и проступали смутные очертания доков. Дорна потянула меня за руку, когда я уже собирался было повернуть не в ту сторону. Прикосновение было уверенным и сильным. За это я и любил ее и готов был следовать за ней куда угодно.

Вот, уже совсем близко. Черное пятно слева оказалось дворцовой стеной. Еще мгновение — и мы стояли у ворот, под слабо светившим фонарем. Слышно было, как шуршат снежинки, касаясь камня стен. Дорна прошла через ворота, я — за ней. Сад притих, укутанный мягким белым покровом. Мы подошли к дверям дворца.

— Спокойной ночи, Дорна, — сказал я, задыхаясь от волнения, надеясь, что в конце концов она пригласит меня войти. Я двинулся было к открытой двери, но Дорна, до сих пор державшая мою руку, остановила меня.

— Я хочу сказать вам одну вещь. — Голос ее звучал отрывисто и глухо. — С тех пор, как я увидела вас на Острове, не случилось ничего такого, что изменило бы положение.

Сердце мое забило. Дорна ответила на мой невысказанный вопрос.

— Вы по-прежнему свободны? — спросил я дрожащим голосом.

— Да, вопрос решится по-прежнему не скоро.

— Спасибо за откровенность, Дорна.

Быстро выдернув руку, она открыла дверь и теперь стояла, обернувшись ко мне, в прямоугольнике яркого света, ступенькой выше.

— Спокойной ночи. — Голос ее дрогнул. И хотя лицо, против света и скрытое капюшоном, оставалось невидимым, я угадывал любимые, яркие черты.

— Спокойной ночи, — почти выкрикнул я.

Дорна сделала шаг назад, и дверь мягко захлопнулась.

Я повернулся и в крайнем возбуждении зашагал прочь. Она сама сказала мне, что свободна, сказала то, что я больше всего хотел знать. Я быстро двигался в направлении дома, не замечая метели, разве что по тишине и безмолвию, царившим кругом.

Но, сидя у себя перед камином, я понял, что ведь неизменными остались и предостережения Дорны: не влюбляться в нее, и вообще в островитянских девушек, не позволять увлекаться собой, то есть я по-прежнему считался неровней. В тот вечер я принял много важных решений касательно того, как держаться дальше, и особенно — что мне следует предпринять в ближайшие месяцы.

Оставались еще не прочитанные письма: несколько от родственников и одно от Глэдис Хантер. Пожалуй, оно было единственное, которое мне действительно хотелось прочесть, потому что оно не напоминало мне о многом, что связывало меня с домом, и одновременно отдаляло от Дорны. Глэдис была еще совсем девочкой, очаровательной, и заслуживала, чтобы ее письмо прочли сразу. Я был рад, что не получил писем от Натали и Клары.

Эти дни я провел в делах: надо было смирить гнев Вашингтона, и я обрушил все накопившееся у меня раздражение на дядюшку Джозефа, написав ему, что не могу действовать иначе, поскольку дорожу именем честного человека. Надо было также повидать Дженнингса до его отъезда в Америку восемнадцатого числа, чтобы окончательно уладить все, связанное с «Плавучей выставкой». Он уезжал неохотно и уже не казался самоуверенным и щеголеватым, как вначале, но о своих личных делах предпочел не распространяться.

Шестнадцатого, по совету Дорна, я отправился на собрание Совета, и утро выдалось интересное, хотя и волнительное. Лорд Дорн выступал с ответами лорду Море. Его позиция была предельно ясна. Он не предлагал никаких конкретных действий, а просто изложил факты, не противоречащие, как он выразился, законам в их настоящем виде. Но, кроме этого, у лорда Дорна было наготове сообщение, которое вогнало графа фон Биббербаха в краску. Лорд Дорн представил неопровержимые доказательства того, что, со времени установления немецкого протектората, туземные племена в степях Собо были вооружены лучше, чем когда-либо, что полуармейские-полужандармские немецкие отряды были многочисленны и разрозненны, меж тем как среди туземцев происходили постоянные волнения. Однако, продолжал лорд Дорн, как только туземцы уразумеют, что островитянские заставы действительно сняты, а не просто укрылись на время, вполне возможно, что долина Верхнего Доринга снова станет свидетельницей сцен, о которых еще несколько лет назад нельзя было и помыслить. Нет сомнения, что немецкие отряды предпримут все усилия, чтобы держать под контролем Степи, но, несмотря на все заверения, вряд ли у них имеются достаточные основания блюсти островитянские границы так же, как они блюдут порядок в Степях. За поведение горных племен можно было ручаться вполне лишь по одну сторону перевала. Даже если бы немецкие отряды постоянно курсировали вдоль пограничной черты, островитянская территория была бы лишена прикрытия. И что касается его, лорда Дорна, и многих других, разделяющих его мнение, ему в равной степени неприятно было бы видеть на территории Островитянии как немецких солдат, якобы преследующих горцев, так и тех и других порознь.

Мне показалось в высшей степени неразумным демонстрировать свою враждебность так открыто, и что лорд Дорн допустил промашку, оскорбив германских представителей; но, как бы то ни было, ему удалось ясно показать, что пограничная ситуация крайне опасна и что опасность эта — гораздо глубже, чем непосредственная угроза набегов горских племен.

Граф фон Биббербах сделал ответное письменное заявление лорду Море, которое было оглашено два дня спустя. Оно было, вполне по-немецки, богато проиллюстрировано фактами и отличалось резкостью тона, однако предощущение двойной угрозы осталось у большинства. Меня чаще всего посещала мысль об опасности, грозящей Наттане и Некке. Слова лорда Дорна произвели на меня, имеющего теперь так много друзей в Верхнем Доринге, очень сильное впечатление.

Зачитав письмо, лорд Мора весьма искусно доказал, что ситуация, столь красноречиво описанная лордом Дорном, ни в коем случае не возможна. Лорд Дорн пользовался сведениями из неофициальных источников. И, конечно, они далеко не во всем совпадали с данными официальных наблюдателей. Немецкая сторона соблюдала принятые обязательства до последнего пункта, и, по его мнению, граница никогда не была столь надежно защищена.

Слушая лорда Мору, я постепенно успокаивался. Мне уже не мерещилось, как чернокожие всадники преследуют беззащитных Наттану и Некку. Тем не менее ни лорд Дорн, ни лорд Мора так и не обнародовали фактов, из которых исходили. Заседание окончилось словесным поединком вождей враждующих партий.

— Представим, что отряд разбойников-горцев пересечет границу. Кто остановит их? — спросил лорд Дорн.

— Мы лишь попросту тратим время, обсуждая надуманные проблемы, — ответил лорд Мора. — Если вам угодно, мы можем поговорить в частном порядке.

— Времени у Совета предостаточно. Я желал бы голосовать по данному вопросу не прежде, чем сам проведу окончательное расследование или же кто-нибудь не сделает этого достаточно убедительно.

— Всем известно, что гарнизон в Тиндале располагает сотней кавалерии, сотня находится в Хисе и две сотни — в Баннаре.

— Стало быть, по-вашему, этих сил достаточно, чтобы остановить и уничтожить любого неприятеля?

— Раньше вы говорили — «остановить». Уничтожить — другое дело.

— Значит, вы считаете, что этих бандитов не следует уничтожать как вредных и опасных животных?

— Правильнее было бы передавать их германским властям для соответствующего наказания.

— Это предусмотрено в вашем Договоре?

— Не в *моем* Договоре, это предусмотрено законами нашей страны, Дорн. Может быть, не прямо, но это вытекает из них, как считаем мы и граф фон Биббербах.

— Мне кажется, Мора, вы с графом зашли слишком далеко, разрушая устои нашей безопасности.

— Никогда раньше цивилизованная сила не охраняла ваших границ.

— Чем цивилизованней враги, тем это опасней.

— Лорд Дорн, я прошу вас, по крайней мере публично, не называть графа фон Биббербаха и народ, который он представляет, врагами. Вы подвергаете угрозе добрые отношения, сложившиеся у нас с Германией.

— Я знаю, что в других странах иностранные министерства привыкли укорачивать языки тем, кто честно и открыто высказывает свою точку зрения. Раньше здесь это не было принято. И

это — одно из последствий Договора, который вы предлагаете нам утвердить. В законе же, предусматривающем ратификацию этого Договора, нет параграфа, предписывающего мне замолчать. С точки зрения моей и моих сторонников, все, кто, подобно Германии и прочим иностранным государствам, диктуют нам, что мы должны делать и как жить, — враги. Пусть приезжают к нам как гости, и мы будем рады им, если только их не окажется слишком много и они не начнут вести себя неподобающе гостям. А пока они для меня — гости, не более.

Лорд Мора внимательно выслушал эту страстную речь.

— Они не враги, — сказал он. — Они всего лишь хотят добиться того, во что вы никак не хотите поверить. И я — на их стороне. Разве я ваш враг?

— Нет, вы враг не мне, вы — враг своей страны, лорд Мора.

Оба молча, в упор поглядели друг на друга. Необыкновенная тишина стояла в зале.

— Извините мне мой вопрос, — сказал лорд Мора. — Ответ я знал заранее. Что до вас, то вы кажетесь мне не врагом своей страны, а ее впавшим в роковую ошибку другом.

Лорды улыбнулись друг другу с искренней симпатией.

— У меня еще один вопрос, — сказал наконец лорд Дорн. — Оставляете ли вы за немецкими отрядами право пересекать границу, увлекшись преследованием разбойничьих банд?

— Да.

— Вы нарушаете Сотый Закон, лорд Мора.

— Отнюдь. Это всего лишь неизбежное последствие тех пунктов в Договоре, в которых оговорен контроль немецких отрядов над степями Собо. Осуществляя его, они защищают нас. И мы должны позволить им использовать любые требуемые средства.

— Я очень рад, — сказал лорд Дорн, — что теперь Совету известен этот факт и точки зрения на него. И пусть все помнят: по мнению лорда Мора, немецкие солдаты имеют право проникать в Островитянию, увлекшись травлей двух-трех чернокожих.

Мои последние два званых обеда прошли как нельзя более успешно. Восемнадцатого я пригласил прежде всего островитян — тех, кто так или иначе стал моим другом. Были приглашены все, в чьих домах я останавливался, и многие пришли: оба Сомса с женами и другие, из которых я был особенно рад лорду Файну и Маре, его невестке. Шестнадцатого собиралась молодежь.

Справа от меня сидела моя принцесса — Морана, слева — Дорна. Чтобы внести в атмосферу обеда «иностранную ноту», я посадил за противоположным от себя концом стола Мари Перье, как бы в роли хозяйки, что, кажется, немного смутило ее; впрочем, никто не обратил на это внимания. Справа от нее с краю сидел Дженнингс, одетый с иголочки, но с несколько опухшими глазами, слева — мой друг Дорн. Слева от Дорны сидели Келвин, Стеллина, Мора и мисс Варни; по правую сторону, рядом с Мораной, — Стеллин, Жанна, молодой Эрн и, рядом с Дорном, Некка.

Порядок, в котором сидели гости, был мной тщательно продуман. С утра до вечера занятый делами Дорн мог наконец поговорить с Неккой; мисс Варни и Дженнингс могли быть интересны друг другу как иностранцы; Морана в равной степени пользовалась вниманием моим и Стеллина; Жанну опекал энергичный обаятельный Эрн; таким образом, мне удалось успешно разделить всех близких друзей и знакомых, за исключением Дорна и Некки. Последнее оказалось моей единственной ошибкой. Казалось, им нечего сказать друг другу. Эрн развлекал Жанну, а Дорн — Мари. Некка зачастую оказывалась без внимания, лучезарно, отсутствующе улыбаясь, и это беспокоило меня.

Сидя рядом со мной, разговаривали через стол Дорна, которую я любил, и Морана, к

которой испытывал все самые нежные чувства, кроме любви. Обе, и вместе с ними молодой Стеллин, говорили без умолку, словно подзадоривая друг друга, и я как хозяин мог лишь радоваться. Дорна показала себя с новой стороны. Раньше казавшаяся мне робкой, застенчивой, она была сегодня самой яркой, блистая умом и красноречием, и превзошла всех, даже молодого Мору. Мало-помалу все втянулись в общую беседу, которую умело поддерживала Дорна. Только мисс Варни и Дженнингс, неважно знавшие островитянский, остались в стороне. Всех увлекла поистине неистощимая тема различий между островитянами и нами, иностранцами. У каждого, разумеется, была своя точка зрения, а поскольку Дорна явно не стремилась скрывать свою собственную, все были в равной степени откровенны. Никто не относился к разговору чересчур серьезно, однако это была далеко не пустая болтовня. Дорна высказала мысль, которую она потом бесконечно повторяла на разные лады, — что мы, иностранцы, люди «бездомные» и одиноко скитаемся по миру, как рыбы бродят в морских просторах, в то время как островитянин не теряет живой связи с местом, где он явился на свет и где будет похоронен после смерти.

Обед закончился рано. Сомс должен был идти на концерт; Стеллины, Мору и барышни Перье ушли вместе с Эрном, плененным Жанной. Оставшиеся тоже ушли вместе. Я прощался с Дорной до весны, на три с лишним месяца. Сегодня она была гостя, я — хозяин, и это требовало от нас официальности, и все же ей удалось хоть как-то подсластить для меня горечь расставания.

— Я собиралась написать вам, — сказала она, — но была слишком занята. Брат передаст вам мое письмо. До свиданья, Джон.

Обернувшись, она улыбнулась мне ослепительнейшей улыбкой. Глаза ее горели темным огнем, щеки пылали. Она была явно довольна собой, сознавая произведенное ею впечатление.

Совет отложил свои заседания до двадцатых чисел, и в эту ночь Дорн тоже остался у меня. Он пришел поздно, усталый, озабоченный. Отчасти его беспокойство было связано со слабым здоровьем деда. Я накормил, напоил его, дал ему выговориться вволю и постарался, чтобы он чувствовал себя как можно удобнее.

Он ни слова не сказал о Некке, хотя я знал, что мысли о ней занимают его, но сообщил много такого, что проливало свет на политические дела.

Предположение о том, что немцы хотят обманом добиться от лорда Мору открытой границы, чтобы затем, в случае войны, найти оправдание своим действиям, по мнению Дорна, не стоило сбрасывать со счетов. Может быть, я думаю, что его дед зашел слишком далеко? Конечно, его поведение не слишком «дипломатично» (тут Дорн употребил английское слово).

— И все же, скорее, победа за нами, — продолжал он. — Мы заставили правительство колебаться, и оно не решилось поставить вопрос на голосование, боясь, что проиграет. Мне кажется, что у лорда Мору остались в запасе средства, которые он мог бы пустить в ход. Ведь за ним стоят все его старые союзники, и они поддержат его — из чувства чести и веря в его окончательную правоту. Не знаю, что они предпримут через год, но сейчас они, по-моему, считают, что лорд Мора не должен уступать. Однако он испугался. Лорд Дорн вывел его на чистую воду.

Поскольку Дорн так и не заговорил о Некке, и я не стал говорить о его сестре и ни словом не обмолвился о неприятностях, связанных с Вашингтоном. Я посоветовал ему пораньше лечь спать, ведь завтра с утра — в дорогу, и сказал, что мне будет очень не доставать его. Вряд ли нам удастся повидаться до весны.

Он ушел к себе. Значит, Дорна уехала, так и не успев написать мне обещанного письма. Дженнингс, к которому я в каком-то смысле успел привязаться, отплыл восемнадцатого. Хисы,

которых мне еще хотелось бы повидать, Стеллины, с которыми я не прочь был бы познакомиться короче, Сомсы, лорд Файн и Мора и все, представлявшие для меня особый интерес, кроме семьи Перье и моей принцессы, — все отбыли. Близкая возможность увидеться с Мораной по поводу моей рукописи служила мне единственным утешением.

Итак, я вновь засел за историю, скрепя сердце и памятуя о принятом решении, касавшемся Дорны. Да, нелегко мне было!

И все же она сдержала обещание. Ее письмо, написанное у Сомсов, пришло в день отъезда ее брата.

«Джон

Я не сдержала слова, но, если бы Джон знал, сколько мне пришлось всего переделать и передумать, даже на концерте, он бы сразу меня простил, я знаю. И вот что я хочу ему сказать: когда я говорила, что ничего не изменилось после нашей встречи на Острове, мне хотелось, чтобы он понял, и это главное, что все те ужасные, жестокие вещи, которые я ему наговорила, — все это правда. Он казался таким счастливым, что я испугалась. Я не хочу, чтобы он страдал, а ему придется страдать, я знаю, если он не будет держаться и не останется американцем, а когда все-таки решит жениться, не выберет в невесты американку, французенку или англичанку. Ему не надо жениться на нашей девушке, и пусть простит, что я снова это говорю.

Мне еще многое хотелось бы сказать, но пришлось целых два дня скакать по замерзшим дорогам, и я очень устала.

Все, что я сказала насчет того, что свободна, тоже правда. Я думаю, Джон будет рад узнать, что «вопрос», которого я так боялась тогда, мне предстоит решать еще очень не скоро. Уверена, что он не забыл тех домашних радостей, которые ждут его лучшего друга

Дорну».

Совет завершился. Из близких друзей в Городе совсем никого не осталось. Пароходы должны были прибыть не скоро, и консульские дела не доставляли особых хлопот — в день, да и то не всегда, на них уходило не больше часа. Зима была в середине. Погожие, ясные, холодные дни чередовались с метелями, гололедом; дули сильные юго-восточные ветры. Камин у меня топился почти все время. Изредка я выбирался на прогулку, наносил кое-какие визиты. Фэку я тоже не давал хорошенько размяться; обычно я ездил на нем по дороге, тянущейся вдоль городских стен, а иногда по проселкам, соединявшим разбросанные по дельтам фермы. Большую часть времени я проводил, трудясь над своей историей Соединенных Штатов, и вообще вел сидячую, полузатворническую жизнь.

Частенько я так же проводил зиму и дома. Теперь новизна и непривычность впечатлений от Островитянии поблекла перед живой реальностью моей любви к Дорне. И мне случалось надолго забывать о том, что вокруг — все чужое, напротив, окружающее казалось привычно стертым, давая волю совсем иным мыслям и чувствам.

Полюбив Дорну, я, по крайней мере мне так казалось, наконец повзрослел. Чувство это было во мне предельно ощутимо. Ничего подобного я прежде не знал. Оно делало для меня близким каждого. Жизнь как-то сразу упростилась. Я понял, зачем существую, и цель, ради которой стоит трудиться.

Теперь я старался вложить в мою историю то обостренное ощущение всего волнующего и прекрасного, которое дала мне Дорна. С неведомым раньше трепетом я переживал эпизоды американской истории, когда-то оставлявшие меня равнодушным: упрямое упорство Джорджа Вашингтона, эпопею первопроходцев Запада. И я подолгу трудился над тем, чтобы придать повествованию живую легкость и изящество. Вопросы стиля заботили меня чрезвычайно.

Своими сомнениями и вопросами я делился с Мораной раз или два в неделю в июне и июле. Она была ко мне добра, как никто, и я мог прийти к ней в любое время. Сердечность, с какой она меня встречала, даже казалась мне порою опасным соблазном. Я шел к огромной, увенчанной башнями резиденции Моров со своей рукописью, спрашивал Морану, и почти всякий раз она оказывалась у себя и была готова меня принять. Я проходил в ее собственную приемную. Иногда Морана уже была там в компании кузенов, Келвина или Эрна, или сестер. Однажды была Стеллина, которую мы тоже посвятили в нашу работу и с которой провели два упоительных часа, — милая девушка, к сожалению не наделенная таким же резким, критическим и конструктивным умом, как Морана. Сидя перед весело потрескивающим камином, мы могли в сотый раз обсуждать вопросы американской истории. Морана всегда не колеблясь высказывала свое мнение, даже если оно было мне не совсем приятно, и безошибочно подмечала неуместную сентиментальность или излишний пафос, которыми я часто грешил. Действительно, некоторые страницы я писал, будучи чрезмерно взволнован: любовь к Дорне овладевала всем моим существом, окрашивала собою мои мысли. И я чувствовал определенную неловкость, когда Морана указывала мне на эти слишком восторженные пассажи.

И только в одном наши мнения не совпадали. Довольно неожиданно Моране пришло в голову, что она не просто помогает сделать мою рукопись удобочитаемой для островитян, что вместо этого она пишет ее как бы сама от себя, забывая об авторе. И, по правде говоря, это было именно так. Ей было нелегко поделиться со мной своими опасениями, она даже вся покраснела. Мне пришлось не только протестующе заявить, что история получается такой, какой видится мне, но и поблагодарить Морану в таких осторожных выражениях, которые случайно не

подтвердили бы ее страхи. В один ужасный момент мне показалось, что она собирается совсем отказаться помогать мне, однако в конце концов мы поладили.

Морана часто говорила, что скучает, не видя меня; мне же безусловно недоставало ее, когда она вновь уехала в Мильтейн. Я дважды посылал ей отрывки из рукописи, и они очень скоро возвращались с замечаниями и пометками, но мои посещения дворца прекратились, и я уже не видел перед собой излучавшее покой и радушие лицо Мораны, не слышал ее голоса.

«Уж не увлекся ли я ею?» — не раз спрашивал я себя. А как же тогда моя любовь к Дорне? Было тревожно сознавать, что любовь к Дорне не способна сделать меня полностью равнодушным к прелестям других женщин и защитить от еще не до конца преодоленных юношеских соблазнов.

Нередко в темные ветреные дни, сидя дома, я мучительно думал о том, достаточно ли крепка моя любовь, особенно когда, почти с ужасом, ощущал, что трепетность чувства угасает во мне. Работа над рукописью полностью поглотила меня. Я часто бывал счастлив, но эти счастливые минуты никак не были связаны с Дорной. Неужели сердце мое дало трещину и любовь, истекая по каплям, уходила, а я вновь становился заурядным и пустым?

Подолгу находясь в одиночестве и мало преуспев в своих планах завоевания Дорны, я в то же время обнаружил, что влюбленность — само по себе интересное явление; и это тем более заставляло меня сомневаться в своем чувстве. Мне казалось, что оно не такое, каким должно быть.

Однако поначалу это случалось не часто, и сомнения редко посещали меня. Почти всякий день я остро ощущал, как я люблю Дорну, какой бы ни была эта любовь, счастливой или несчастливой, приносила ли она боль или радость, но она была ослепительно реальна. Бывало, что душа в неистовом веселье отзывалась на все эмоционально волнующее и прекрасное; а бывало и так, что неотвязная и неизбежная спутница любви — чувственность (при том, что я понимал, что хочу Дорну, потому что люблю ее) заставляла меня избегать чувственных описаний в книгах, подавлять телесные соблазны и недостойные мысли, и я становился себе гадоком, сознавая, что уже не держу себя в руках, а желание мое никак не связано с любовью.

Но бывали и минуты, которые я сознательно поощрял в себе, мечтая о невинных радостях, которым я мог бы предаваться вместе с Дорной: о путешествиях, о том, как я когда-нибудь покажу ей мою страну, а она провезет меня по Островитянии, о домашних заботах, о бесконечных разговорах, — и разумеется, в этих мечтах она всегда была моей и только моей.

Это были отрадные моменты. Но за ними следовали иные, полные безнадежной тревоги, когда чувство повергало разум в полубезумное состояние, когда я думал о стоящих на моем пути препятствиях, казавшихся столь непреодолимыми, что я готов был плакать от отчаяния.

Я не был так уж беден, но и не достаточно богат, чтобы претендовать на руку Дорны. Мой капитал в Америке составлял около пятидесяти тысяч долларов. Даже если бы мне, как мужу Дорны, дали бы островитянское гражданство, моих средств не хватило бы на то, чтобы купить в Островитянии ферму. Они вообще продавались редко, только тогда, когда умирали все члены семьи. Правда, строились, хотя и медленно, новые фермы, и теоретически я мог скопить достаточно денег, чтобы приобрести одну из них, но вряд ли мы с Дорной, оба не имея никакого опыта ведения хозяйства, прижились бы там.

Мысль о том, чтобы взять Дорну в Соединенные Штаты, я отверг сразу. Представляя себе Дорну среди моих родственников и друзей, я понимал, что она не будет чувствовать себя уютно и счастливо. Вряд ли они смогут понять ее лучше, чем ее брат. С отвращением я видел Дорну замужем за молодым бизнесменом, клерком, которым помывает какой-нибудь дядюшка Джозеф.

Был только один путь достичь положения, котореосоответствовало бы моим намерениям по

отношению к Дорне. Если Договор лорда Моры будет принят, я, как представитель американских торговых фирм, мог бы приобрести вес в обществе. Я часто мечтал о таком счастливом завершении моих тревог, не в силах при этом отделаться от неприятного чувства: слишком хорошо помнил я слова Дорны о том, что она предпочитает скорее умереть, чем увидеть, как кто-то подобным образом обоснуется в ее стране.

Был и еще один повод для беспокойства — загадочный «вопрос», стоявший перед Дорной. Существовал некто, некто вполне определенный, в любой момент могущий появиться на сцене. И можно было, при желании, подыскать немало конкретных фактов, объяснявших природу этой мучившей меня неизвестности. Одно из таких наиболее вероятных объяснений состояло в том, что имелся некий мужчина, успевший сделать Дорне предложение, наверняка любивший ее, которым сама Дорна была по крайней мере «заинтересована», но который в данный момент не мог жениться на ней в силу некоего обстоятельства, пусть временного.

Дамоклов меч навис надо мной. В любой момент «вопрос» мог разрешиться, препятствие — быть устранено. И в самом деле, пока я сидел перед своим камином, трудясь над рукописью, обдумывая ее, этот человек, возможно, уже спешил к Острову, чтобы сказать Дорне, что он наконец свободен и открыто просит ее руки!

Помимо прочих препятствий, и без того ранивших мою гордость и самолюбие, существовали и скрытые предупреждения, о которых я ни на минуту не забывал: не те, что касались моих собственных страданий, в случае если я полюблю островитянку (в этом смысле предупреждать было уже поздно), а те, что касались страданий девушки, влюбившейся в меня. Что-то не устраивало во мне Дорну, возможно, какой-то личный изъян. Но какой? Быть может, какая-то роковая черта, вызвавшая в ней физическое отвращение? Нет, в это я не мог поверить. Быть может, что-то в моем образе мыслей? Что же было не то в моих взглядах, моем характере? Неужели Дорна чувствовала себя существом высшего порядка? И почему она ничего не хотела объяснить?

Временами я доводил себя до того, что начинал по-настоящему злиться на нее. Было жестоко с ее стороны предупреждать, не объясняя причины. Уж лучше было знать правду, как бы она ни была горька, и попробовать смириться с нею, чем давать волю воображению, рисовавшему еще более мрачные картины. Ни одной женщине не дано право окружать мужчину загадками в подобных случаях!

«Ах, Дорна! — восклицал я про себя. — Если бы ты понимала, что ты делаешь со мной, ты никогда не повела бы себя так!» И мне даже приходило в голову написать ей и попросить объяснений.

Однако я хранил молчание, послав ей за весь этот долгий промежуток с начала зимы до весны одно-единственное короткое письмо, в котором благодарил ее за записку, сообщал, что теперь мне все совершенно понятно (чистая ложь!), и желал счастливо и без особых волнений провести зиму; единственное, в чем я дал выход своим чувствам, это приписав в конце, что жду весенней встречи больше, чем она может себе представить. Ни единой весточки не получил я от нее с 21 июня до конца сентября. Это была действительно долгая-долгая зима.

Нелепое положение для влюбленного — быть полностью оторванным от того, кого любишь, и сознавать, что это дело твоих собственных рук. Я мог бы написать ей ласковое письмо. Я мог бы проездом посетить Остров, но Дорна словно накладывала на меня обет молчания, которому я вынужден был повиноваться, памятуя о ее мольбе не тревожить ее, о ее проникновенной просьбе приехать не раньше весны.

Три месяца — три месяца, во время которых я мог бы хоть изредка видеть Дорну, не нарушая ее покой. Я страстно желал ее, томился, не видя ее улыбки, не слыша ее голоса. Одного этого мне было бы довольно. Сомнения, негодование, счастливая уверенность — все эти

чувства, которые по временам одолевали меня с такой силой, — все это могло мгновенно утратить всякий смысл, если только... если только...

Мучительно долго тянулась зима; я вел исключительно затворническую жизнь. Каждый день я, как бы со стороны, слышал собственный голос, отдающий короткие распоряжения Джорджу.

На июль пришелся наплыв американцев, но они почти не доставляли мне хлопот, пользуясь моими услугами скорее как агента компании Кука. Интересующиеся концессиями также прибывали все в большем количестве и действовали все активнее, но меня это не касалось. Я практически (и, конечно, весьма непростительно) позабыл о своих прямых обязанностях. Дядюшке Джозефу, разумеется, больше понравилось бы, если бы я сошелся с этой публикой, будь то американцы или нет, поближе, не спуская с них глаз. «Используй любой шанс, Джон. Не привередничай. Не упускай ни единой возможности. Ты можешь разузнать много ценного и обзавестись полезными друзьями». Словом, я уверен, что мог бы сам себе писать такие письма, экономя дядюшкино время! И все же... и все же я понимал, что, лишаясь этих возможностей, я одновременно упускаю шанс улучшить свое положение материально и стать реальной опорой для Дорны. Почему бы не приглашать их на обеды, не бродить, словно бы ненароком, возле гостиницы, не угощать их выпивкой, не устроить вечеринку, не рассказать о районе, обнаруженном Дженнингсом? И почему, собственно, это обязательно нужно делать из угодливости, а не в виде товарищеской помощи, когда один крепкий, нормальный американский парень помогает другому, беспомощному, в чужой стране, где к тому же нет ни театров, ни дансингов, ни прочих увеселений?

Я рассказывал бы им все без утайки, стараясь, чтобы они разобрались в ситуации, с учетом островитянских условий. Как мне казалось, я исполнил бы свой долг по отношению к своей стране и способствовал развитию ее торговли. И все же, наедине с собой, я не мог не видеть правды и решил, что не стану добиваться положения, которое превратило бы меня в одного из тех, против кого Дорна собирается сражаться не на жизнь, а на смерть, даже если из-за этого мне придется навсегда расстаться с надеждой завоевать сердце девушки.

Затем настали темные дни августа. Желать чего-то для человека — естественное состояние, но, когда желание соединяется с заботами и тревогами, оно становится невыносимым. То и дело отвлекавшие меня хлопоты почти затмили отрадные мысли, связанные с моей любовью к Дорне. Они не давали мне покоя, возможности сосредоточиться. Рукопись подвигалась с трудом.

Джордж, видимо подметив мое угнетенное состояние, уговорил меня съездить куда-нибудь — отвлечься. Действовал он не спеша, никогда не претендуя на то, чтобы прямо советовать мне то или иное, однако спрашивал, почему бы мне не выбираться почаще за город, рассказывая, какое облегчение приносят ему самому такие вылазки. «Конечно, Ланг, вы человек по всему городской, но люди в мире везде одинаковы. Думаю, вряд ли найдется такой, которому поездка в деревню не пошла бы на пользу, и наоборот, неплохо иногда выбираться из деревни в город».

Спор, таким образом, носил как бы отвлеченный характер. Но покончить с затворничеством оказалось не так-то просто. Не без некоторой внутренней борьбы я преодолел апатию, мешавшую мне выбраться к Стеллинам, хотя их поместье в Камии находилось всего в восемнадцати милях. И все-таки я поехал, при этом без приглашения и даже не предупредив хозяев. Я просто выехал, поддавшись порыву и отчасти оправдывая себя тем, что Стеллина — подруга Дорны. Стеллины сказали, что их дом — мой дом, а я уже знал, что это значит для островитянина. Я сложил вещи, рассчитывая на недельную отлучку, оседлал Фэка и отправился в путь в разгар метели. Едва выехав за ворота, я почувствовал какое-то облегчение. Снежинки

падали на разгоряченное лицо, запорашивали глаза.

О Стеллинах мне приходилось слышать часто, и все говорили, что эта семья в очень большой степени обладает качествами, особо ценимыми среди островитян. Джордж упоминал о них едва ли не с благоговением. Они прожили в своей усадьбе тысячу лет, и в этом смысле были старейшими из старейших.

Я ехал к ним отчасти с любопытством, с теплым чувством к Стеллине — подруге Дорны, которая была о ней высокого мнения, — и в то же время с некоторой затаенной враждебностью, как человек, решившийся «показать себя».

К полудню метель утихла, небо очистилось. Я не спешил: мне не хотелось приехать, когда будет готовиться обед, к тому же я не знал наверняка, кого застану дома. Молодой Стеллин, скорее всего, был вместе с королем Тором, который, по слухам, путешествовал по восточным провинциям. Стеллина вполне могла сама уехать в гости. Хотя, конечно, не имело большого значения, кого именно я застану, но, если в доме одни лишь старики, я решил, что останусь на день-два, не больше.

Фэк к тому времени был довольно упитанным и тяжело продвигался по свежесвалившемуся снегу. Мне часто приходилось слезать и вести лошадь под уздцы, причем во всем теле ощущалась вялость и каждое усилие давалось против воли, с трудом. Влюбленному хочется чувствовать, что он самый ловкий, самый красивый, и мне не хотелось бы, чтобы Дорна увидела, как я бреду, задыхаясь, спотыкаясь и чуть ли не падая на скользкой дороге. И все же у меня была надежда, почти нереальная, что она может гостить у Стеллинов.

Бедный Фэк! Мне было равно жаль нас обоих. Я совершенно позабыл о нем в последнее время, почти не выезживал, держал взаперти. А каково мне будет, если придется навсегда покинуть Островитянию и оставить Фэка! Ведь даже если я возьму его с собой — где держать его мне, клерку в конторе дядюшки Джозефа? «Это лучшие, золотые дни твоей жизни, Джон Ланг, — мысленно обратился я к себе. — Даже если ты потеряешь Дорну. И первым делом тебе нужно сейчас поддержать себя физически. Весна близится». И вот я наконец у цели, усталый, но внутренне прибодрившийся и умиротворенный.

Каменная стена, укрытая снегом, тянулась вдоль дороги слева. За нею виднелось поле, блистающее нетронутой белизной, с одной стороны окаймленное лесом высоких облетевших буков, который, изгибаясь огромной дугой, уходил вдаль и снова подступал к дороге, уже вдалеке. Поле плавно поднималось, и на самом верху стоял самый что ни на есть скромный дом. Сложенный из серого камня, он был двухэтажным. Крыша белела под снегом; снежный покров, лежащий на поле, подступал вплотную к стенам. Было что-то неуловимо милое в его пропорциях и в том, как вписывались они в волнистую поверхность поля, изогнувшийся дугой лес.

Лорд Стеллин сам приветствовал меня, стоя в двери, расположенной сбоку от центра фасада, после того как я, поборов робость, назвал свое имя: любой громкий звук, любой крик, раздавшийся в этой заснеженной тиши, казалось, звучал враждебно. Мне было любопытно, помнит ли меня старый лорд, но, даже если он и позабыл о молодом американце, это никак не отразилось на его поведении. Он попросил меня войти, и уже через несколько минут, сидя у очага, я беседовал с подругой Дорны, Стеллиной, и ее братом. Оба сразу же меня признали. И я столь же быстро преодолел скованность, вовлеченный в поток этой, казалось бы, чужой мне жизни, и чувствовал себя почти счастливым: образ Дорны маячил в отдалении, а старые боли и тревоги вспоминались не больше, чем больной зуб.

Я пробыл у Стеллинов неделю, ни разу не задавшись вопросом — не злоупотребляю ли я их гостеприимством, поскольку точно знал: мне рады и я могу пробыть здесь сколько захочу. Жизнь в усадьбе вели самую простую. Никакой музыки, как у Хисов; ни одной книги и никаких

разговоров о литературе, никакой резьбы, как у Дорнов, словно искусство вообще не коснулось этого дома. И люди здесь жили немногословные. Почему же временами я испытывал такие приливы счастья? Несколько часов я провел, работая над рукописью; выбирался на пешие или верховые прогулки с молодыми Стеллинами, и каждый был сам по себе и вместе с другими. Большую же часть времени я провел в одиночестве. Никаких потрясений, никаких особых событий.

Вероятно, все дело было в красоте самого места — мирного, нежащего взгляд сочетания незатейливых элементов: лес, дом, поле. Не было во всей усадьбе ни одного местечка, лишённого обаяния, некоей скрытой притягательной силы, которая влекла вас вновь и вновь. За внешней простотой крылось необычайное богатство и разнообразие, поскольку я знал, что со сменой времен года прелесть здешних мест изменится, но суть ее останется растворенной в окрестности. О, эта смена погоды, освещения — в бесконечном разнообразии сочетаний!

На следующее утро после приезда я верхом объехал поместье вместе с лордом Стеллином. День выдался ужасно холодный, и я был рад вновь вернуться к огню. Стеллина шила платье, положив раскроенные куски материи на колени. Ее узкая, гибкая спина красиво изогнулась, а маленькая грациозная головка была чуть приподнята, словно девушка говорила с кем-то. Молодой Стеллин просто сидел, наблюдая за сестрой. Они спросили, куда мы ездили, и, когда я, как мог, описал то, что мне удалось увидеть, тут же наперебой стали называть места, которые мне еще следует показать.

— Но мы и так проехали через все поле, — сказал я.

— Да, но с западной стороны, а вот если бы вы объехали его с востока и посмотрели с другой точки... — ответила Стеллина.

Я поинтересовался, что же такого необычного в этом поле.

— Надо было вырубить тот березняк, — заметил Стеллин.

— Ни за что! — с пылкостью отозвалась Стеллина.

Между братом и сестрой завязалась небольшая перепалка, из которой я понял, что их беспокоит не столько ценность самого леса, сколько то, как он влияет на окружающий вид. Оба были полностью согласны в конечной цели, но расходились в средствах, с помощью которых она могла быть достигнута. Цель же сводилась к тому, чтобы изменить композицию пространства, создав на переднем плане лесную полосу из разных пород деревьев. И вдруг мне стало совершенно ясно, что Стеллины воспринимают свое имение как огромное живое полотно, ежеминутно, ежечасно меняющееся, полотно, в которое они как художники время от времени вносили небольшие изменения, хотя вся картина была творением Природы и делом рук предшествующих поколений.

Итак, только на восьмой месяц пребывания в этой стране я узнал, что любой островитянский фермер не только фермер, но и художник и архитектор ландшафта — разумеется, обладавший художественным даром в разной степени. В то утро и за ленчем я без конца расспрашивал своих хозяев, чтобы окончательно уяснить суть дела.

— В Америке, — сказал я, — фермер делает посадки там, где растения будут лучше расти.

— И у нас — тоже.

— Но вы учитываете и то, как будет выглядеть поле, когда из земли появятся первые ростки и когда они окончательно вырастут...

— И когда поле выкосят или побеги погибнут.

— Но какое из этих соображений для вас главное?

На этот вопрос они не смогли мне ответить.

Я рассказал, как у меня дома, в Америке, красоту пейзажа, и нередко, разрушают уродливыми постройками. И никому никогда не приходит в голову, что окружающий вид может

оказаться не менее важен, чем коммерческий расчет. Единственное, с чем считаются, это с отдельными уникальными уголками, да и людей, озабоченных их охраной, немного.

Стеллины улыбнулись.

Островитяне же, насколько я понял, никогда не уничтожали и даже не пытались изменить то, что находили красивым, разве лишь создавая на этом месте новую красоту.

— Но, должно быть, часто встречаются люди, которые не чувствуют этого и полностью изменяют все в своем поместье?

— Только не старые владельцы. Серьезные перемены происходят все реже и реже по мере того, как усадьба стареет, и постепенно вы научаетесь уделять внимание мелким деталям.

Я спросил, что бывает, если владелец обладает дурным или извращенным вкусом.

— Конечно, он может принести вред, но в старых усадьбах даже человек заблуждающийся не способен нанести серьезного ущерба. Один человек вообще немного может, сами знаете.

Я возразил: но ведь не исключено, что человек, наделенный даром художника, будет ограничен в возможностях его воплощения.

— Ах, возможности человека беспредельны! — ответили в один голос брат с сестрой. Они отвечали на мои вопросы практически одинаково, не прерывая друг друга, и ни один из них не стремился расширить или уточнить то, что говорил второй. И я часто не мог вспомнить, кто именно сказал то или иное.

В тот же день молодой Стеллин взял меня с собой в дальнюю прогулку. Оба мы вернулись усталые. Из всей семьи он был самым житейским, практичным и лучше других видел, как мало я разбираюсь в их жизни. Он рассказал мне столько всего о том, как и когда делаются посевы, каким образом луга превращаются в пастбища, как производят лесные вырубки, и я чувствовал себя школьником, внимательно выслушивающим урок. Предметом же в данном случае было нечто среднее между ведением сельского хозяйства и «пейзажной архитектурой»; даже сами островитянские слова объединяют оба значения — два направления, в которых трудится фермер, как, например, слово «агрокультура», то есть сельское хозяйство, может акцентировать то или иное значение в зависимости от того, на какой корень падает ударение.

Я постарался разобраться во всем, что рассказывал Стеллин, и так заинтересовался этой новой стороной островитянской жизни, что написал длинные письма обо всем этом моим немногим оставшимся американским корреспонденткам, которые, единственные, по-настоящему интересовались местом, где я пребывал.

Помня, что Стеллине нравилось участвовать в наших с Мораной беседах по поводу моей рукописи, я предложил ей почитать ее. Всем мое предложение понравилось, и на следующий вечер семья расселась передо мной, готовая слушать. Ни у одного автора никогда не было более благожелательной, заранее к нему расположенной аудитории. Тем не менее автор, Джон Ланг, относился к предстоящему чтению не только как к возможности показать себя. Я начинал наконец понимать, что Дорна, Наттана, Джордж и все остальные, кто называл Стеллинов лучшими из них, были правы. Стало быть, в них я найду и лучших критиков.

Я призывал слушателей быть критичными, но критики так и не дождался. Они были в равной мере отзывчивы и сердечны, более разговорчивы, чем обычно, и подсказали мне несколько новых мыслей о сходстве и различии между островитянским образом жизни и нашим. Но ни слова не было сказано относительно погрешностей стиля или композиции. И я, в свою очередь, не в силах был заставить столь очаровательных слушателей вдаваться в поиски мелких изъянов. И однако я вовсе не чувствовал себя чрезмерно захваленным или польщенным. Стеллины прямо перешли к теме самих Соединенных Штатов и говорили о них больше, чем о моей рукописи. Но как бы там ни было, меня ободрили, предложив продолжить чтение в последующие вечера.

Однажды мы выбрались на прогулку и со Стеллиной. Она надела высокие гетры на скрытой застежке, плотно облегавшие ее длинные, стройные ноги, широкие, как юбка, бриджи и длиннополую куртку, сшитые из одного и того же шерстяного материала и одинаковые по цвету — сизовато-серые, местами отливающие розовым. Как необычно, завораживающе выглядели эти цвета на фоне белого снега, темной вечнозеленой хвои и сумрачных облетевших деревьев! Куртка была с льняным капюшоном, отороченным шерстяной материей такого же цвета, как и куртка, только чуть светлее; из-под куртки виднелся воротничок белой блузы. Иногда Стеллина накидывала капюшон, приобретая необычный, странный вид, но чаще он лежал у нее на плечах, как косынка.

День был пасмурный, монотонно серый, и Стеллина своей живостью и костюмом ярко выделялась на окружающем ее фоне, который, однако, приглушал ее краски, гармонично оттеняя их. Ее большие лучистые фиалковые глаза невольно становились центром любого пейзажа, и взгляд их волновал и тревожил меня. Я не сказал бы, чтобы он был лишен глубины и выразительности, но в нем не было того покорного, влекущего, податливого выражения, что так часто делает женский взор опасным. Она всегда готова была встретить мой взгляд, а вот мне, то и дело приходилось отводить глаза.

Стеллина была очень хрупкого сложения. Иногда, когда нам приходилось преодолевать снежные завалы, я боялся, что ей не хватит сил, однако в конце концов она была все такой же свежей, а я чувствовал себя усталым физически и внутренне.

С ней невозможно было говорить на общие темы. Постепенно я терял контроль над ее вниманием. Она часто останавливалась, озираясь. Я поймал себя на том, что начинаю вести себя так же. Время от времени она бросала мне короткое замечание. Иногда просто указывала на какое-нибудь дерево изящным жестом голой, без перчатки, руки и улыбалась. То, взглянув вверх, могла вздохнуть с улыбкой. Иногда ее глаза глядели на меня с непонятным холодным блеском. Единственным по-женски соблазнительным в ней были ее полные, красиво очерченные губы.

На снегу лежала мертвая птица — растрепанный комок белых, с сизым отливом перьев в темных крапинках.

— Взгляните! — воскликнула Стеллина в каком-то безудержном отчаянии. — Взгляните, Ланг! Эта птица и — мой костюм!..

И вправду, цвета их перекликались.

— Может быть, похоронить ее? Хотя земля промерзла...

— Можно закопать ее в снег.

Стеллина молча, задумчиво глядела на птицу.

— Она не слишком заботилась, пока жила, что будет с ее телом после смерти. Оставим ее так. Теперь уже все равно ее тело ей не нужно.

— И моя сестра умерла, — продолжала Стеллина после долгой паузы, тем же тоном. — Многие из нас уже умерли. И мы сделали, как она просила. Есть одно тихое, тенистое место неподалеку от усадьбы Инли, в Нивене. Сестра была замужем за молодым Инли. И там, в этом месте, уже с очень давних пор растут самые разные цветы. Отец все сделал сам, только молодой Инли помогал ему. Они очень осторожно подкопали дерн, не повредив ни единого корешка. Это было не просто: земля тоже была мерзлая. Но теперь, весной, когда жизнь пробудится вновь, сестра будет там. Она любила думать об этом. И мне это нравится. Конечно, я бы хотела, чтобы она была здесь, с нами, а не там, но такова ее *алия*. Ей хотелось быть похороненной там. Я покажу вам место, которое выбрала для себя, если не выйду замуж и не уеду. Впрочем, его лучше смотреть летом или когда деревья в цвету.

Она назвала породу дерева.

— Вы видели его, Ланг? У него еще такие большие красные цветы.

— Нет, Стеллина, не знаю, — ответил я, неожиданно пораженный ее рассказом.

— Я хочу, чтобы часть меня перешла в эти цветы.

Внезапная мысль о том, что Стеллина может умереть, и Дорна тоже, и что я тоже смертен, на мгновение показалась невыносимой.

— Когда умерла ваша сестра? — спросил я.

— Десять дней назад, — легко ответила девушка и, словно предугадав мой следующий вопрос, продолжала: — Ей было тридцать. Она вышла замуж десять лет назад; осталось трое детей. Ее погубила снежная лавина... Ах, Ланг, смотрите!

Я просмотрел туда, куда она указывала, и увидел серое смутное пятно, быстро и бесшумно скользившее между деревьев.

— Что это было?

— Волчонок. Они очень забавные.

Мы пошли дальше.

— А как вы хороните своих близких?

Я рассказал, чувствуя, что голос мой то и дело готов пресечься.

— А вам не кажется, что лучше не ставить памятников, Ланг?

Я возразил, что родные и друзья обычно хотят знать, где покоится близкий им человек. Стеллина кивнула.

— Да, я и забыла, что у каждого из вас нет своего места. Если же всех хоронят в одном месте... — Она запнулась: — Кому принадлежит это место?

Мне пришлось отвечать правду.

— Обычно — какой-нибудь компании.

Стеллина содрогнулась, глаза ее расширились.

— Простите, Ланг! Но, по-моему, это ужасно.

— Некоторым нравится. Хоронить как у вас мало кто может себе позволить. И без надгробного камня не обойтись.

— У нас тот, для кого это важно, всегда помнит, — сказала Стеллина. — И каждый знает, где чья могила. Зачем точно обозначать место? И потом, если через десять лет все кругом изменится, — почему не измениться вместе со всем? Мое дерево проживет еще примерно сотню лет. Когда оно погибнет, поле вспашут и останки мои окончательно смешаются с землей, но все равно я останусь здесь, разве только муж увезет меня на новое место.

— Я думаю, вашим пахарям часто приходится наткаться на кости.

— Тогда их ломают и снова кладут в землю... Ах как вы непохожи на нас, Ланг! Наверное, вы многое могли бы мне возразить, но я все равно не пойму.

Мне очень хотелось поскорее сменить тему... Представить Дорну мертвой!.. И сама мысль о смерти! И все же что-то во мне трепетно стремилось достичь безмятежности Стеллины. А может быть, в ней это был просто род душевной черствости? Я не находил ответа. Она же продолжала поминутно отвлекаться, находя все новые и новые предметы, привлекающие ее внимание. Это стало казаться мне чуть ли не позой. И временами почти с неодобрением я думал об этих, как мне казалось, жеманных «ахах» и «охах».

Тем же вечером сосед принес известие о смерти лорда Фарранта. Кроме самого лорда Стеллина, Даннинги и обоих детей присутствовало еще несколько человек. Это был так называемый день Стеллинов, когда те, кто хотел навестить их, могли приезжать с большой уверенностью, что застанут хозяев, а возможно, еще кого-то из общих знакомых. Разговор шел о том о сем, в основном о местных делах. Я сел рядом у очага, прислушиваясь к беседе, но не

вступая в нее, усталый и несколько подавленный.

Сосед не сразу поделился новостью, упомянув о смерти лорда как бы мимоходом. И все же среди присутствующих быстро пронесся шумок, а когда он стих, лорд Стеллин сказал, не повышая голоса:

— Стало быть, лорд Дорн лишился одного из самых верных своих сторонников.

Хотя пауза, предшествовавшая словам Стеллина, показалась долгой, его замечание, не предваренное хоть какой-либо словесной данью умершему, удивило меня. Конечно, он жил далеко и, возможно, обитатели Камии мало его знали, однако мне показалось, что лорд Фаррант заслуживает несколько большего, чем просто быть отнесенным к числу сторонников лорда Дорна. Но дани уважения так и не последовало. Разговор возобновился, теперь в основном о политике. Интерес вызывал преемник лорда Фарранта и то, чью сторону он возьмет. Один из гостей полагал, что, скорей всего, если на освободившееся место возникнут два кандидата — один, склоняющийся к позиции лорда Моры, другой — лорда Дорна, — большая часть голосов будет отдана последнему. С ним заспорили: вопреки консервативному Западу, у лорда Моры появляется все больше последователей в стране.

Какое-то время лорд Стеллин прислушивался к этой вполне добродушной перепалке, по-дружески сочувственно улыбаясь каждому из спорщиков, когда его противник, казалось, берет над ним верх. Потом он задал вопрос, необычайно меня интересовавший. Не кажется ли им, спросил он, что эта проблема из разряда тех, которые сам народ разрешит лучше Государственного Совета? Я вспомнил, что в Америке мне не раз приходилось слышать дискуссии о том, что предпочтительнее: референдум или освященный временем принцип государственной представительной власти на основе конституции. И все время аргументы с обеих сторон были одни и те же: кто говорил, что, когда дело касается непосредственно каждого, лучше прямое голосование; кто утверждал, что народ недостаточно информирован и не может компетентно решать сложные вопросы, что данный вопрос, хоть и кажется простым, на самом деле очень не прост.

Спор затянулся, и я почувствовал, что меня клонит в сон. Хоть я и был заинтересован, жизненно заинтересован в проблеме в целом, поскольку она касалась моих лучших друзей, Дорнов, а значит, и моей любимой, — в тот вечер она казалась до боли далекой и нереальной, и постоянно перебивающие друг друга, постоянно повторяющиеся голоса ускользали, звучали словно издали. Может быть, я даже и вздремнул немного, но дрема погрузила меня в некий мир, более знакомый, чем мир слов, такой, в котором говорила Стеллина, размышляя о смерти и о погребении, — и я вздрогнул. То чувство вновь посетило меня.

Близился конец недели — мной самим назначенный срок. Мой дом в Городе казался далеким и унылым, возвращаться в него не хотелось.

Днем Стеллин собрался идти вырубать березы, о которых они спорили с сестрой, и я отправился с ним, вооруженный острым, как бритва отточенным, топором. Было сыро, холодно и туманно, вода едва не замерзала в лужах.

Стеллин рубил с ленцой, не прилагая особых усилий, так это было ему привычно. Я обтесывал стволы, опасно работая своим устрашающим орудием. Стеллин спросил мое мнение насчет вчерашнего спора. Завязался разговор, в котором он, между прочим, упомянул, что через несколько дней собирается вместе с Тором съездить на Запад — самим выяснить, каковы там настроения.

Уж не поедут ли они к Дорнам? Я не решился спросить, но на то было похоже. Дорна и король! Я представил их вместе, и эмоции мои вспыхнули с новой силой. Вслед за болью ревности ко мне вернулось мое страстное томление, и я был счастлив, испытывая одновременно

любовь и страдание.

Разгорячившись от работы, мы решили передохнуть. Сидя на ворохе обрубленных веток, Стеллин оглянулся. Туман стал гуще; снег вдали казался серым, но валявшиеся кругом тонкие красные веточки берез ярко выделялись на пушистом белом фоне. Я тоже присел; спину ломило, и все же сейчас мне было куда приятнее и легче, чем когда я только приехал, пять дней назад.

Вдруг появилась Стеллина.

Она шла сквозь туман по протоптанной в снегу тропинке, легкая, тонкая, беспечная и в то же время почти застенчивая. Ее светлое платье, по контрасту со снегом, казалось коричнево-желтым. Она была простоволоса, но на шее алел небрежно повязанный платок. Глаза неожиданно поглубели — единственные пятна голубого цвета вокруг. Она принесла нам фляжку с шоколадом, горячим, крепко заваренным, сладковато-горьким.

Пока мы пили шоколад, девушка, легко и проворно нагибаясь, принялась собирать рассыпанные по снегу ветки. Мы оба наблюдали за Стеллиной с чувством тихой радости — так приятно было следить за ее непринужденными движениями, за алым порхающим платком. Но мне снова, и так ясно, представилась Дорна, что красота Стеллины лишь делала отсутствие любимой еще больнее. Сырой холод проникал сквозь одежду, я чувствовал, что дрожу, несмотря на горячее питье. Близилась сумерки. Стеллина предложила сходить на другой край поля — посмотреть, какой вид открывается теперь, без берез. К тому же это было по пути к дому.

Мы долго шли по глубокому снегу к выбранному Стеллиной месту, и, когда, дойдя, обернулись, фигура Стеллина, к тому же находившегося ниже, чем мы, была едва различима в тумане. Мы, хотя и смутно, видели, как он встал, нагнулся, и туманная дымка окрашивалась желтым — и вот уже ярко-красные языки пламени взметнулись вверх на фоне темневшего вдалеке леса.

Стоявшая рядом со мной Стеллина резко, глубоко вздохнула. Я поймал ее взгляд — она неожиданно улыбнулась, словно преодолевая боль.

— Сейчас не поймешь, как это будет выглядеть, — сказала она, — уже слишком темно...
Пойдемте?

Мы шли молча. Стеллина, казалось, парит рядом — наполовину призрак, наполовину коварно близкий друг. Мне захотелось поделиться с ней своими печалью.

Но она снова вспомнила о похоронах и спросила, как выглядят наши кладбища. Я довольно презрительно отозвался о них, как о бессвязном нагромождении кучек дерна, гравия, кустов или же дикого винограда.

— А деревья там есть? — спросила Стеллина.

— Да, иногда очень красивые...

— Тогда это должно выглядеть очаровательно, — неуверенно сказала девушка.

Я согласился, добавив, впрочем, что кладбища всегда внушает мысль о смерти и невозвратимой утрате.

— Я думала не об этом, — сказала Стеллина, — а о том, что так или иначе — насадив кустов и деревьев, поставив украшенный резьбой камень — можно сделать какой-то уголок приятным для взгляда.

Мне вспомнился наш разговор несколько дней назад, когда Стеллина так и не поняла меня. Представляя себе кладбища, она, очевидно, думала о них не как о местах, где покоятся мертвые, а как о возможности приложить художнический дар, и мне показалось, что постоянная сосредоточенность Стеллины на зримой красоте скрывает от нее мрачную сторону жизни.

Я взглянул на девушку с интересом и одновременно критически и увидел в ее глазах выжидательное, вопрошающее выражение.

— Что-то не так? — неожиданно спросила она холодным, но озабоченным тоном.

— Для нас, — ответил я, — кладбище, где мы хороним мертвых, не просто приятное, очаровательное место. Оно исполнено печали, и мы стараемся сделать его местом мирного упокоения.

— Но ведь и вы стараетесь, чтобы оно было очаровательным! — воскликнула Стеллина.

— Некоторые — да. Другие просто помещают там что-нибудь, что символически или словесно напоминало бы об умершем и помогало хранить память о нем как можно дольше.

— Никто не может по-настоящему помнить о нем, кроме тех, кто его знал, — ответила девушка. — Простите! Мне трудно понять вас, Ланг.

На это мне нечего было возразить.

— Вы прекрасно поняли бы меня, — сказал я, — увидь вы хоть раз наше кладбище.

Какое-то время мы шли молча. Мои мысли вновь обратились к Дорне.

— Смерть, — наконец сказала Стеллина, — кажется, причиняет вам более сильную боль, чем нам.

— А может быть, вы просто чувствуете ее иначе.

Стеллина надолго задумалась.

— Что вы делаете там, у себя в Америке, когда кто-то дорогой вам умирает или уходит от вас?

Вопрос удивил меня.

— Мы стараемся как-то перенести это, эту боль.

— Да, но что вы делаете?

— Мы? Мы продолжаем жить, исполняя наши обязанности.

— Я понимаю, — задумчиво сказала Стеллина.

И вновь наступила долгая пауза.

— В Америке, наверное, очень красиво? — нарушила молчание Стеллина. — Расскажите о каких-нибудь местах, совсем не похожих на наши.

Мы проговорили до самого ужина: по пути домой, а потом — сидя перед разожженным камином. Она с явным интересом выслушала мои описания отдаленных уголков Среднего Запада, «Польного штата» — Невады, Скалистых гор, Большого Каньона, Ниагары, Великих озер и пустынь, окружающих соляные озера на Западе. Я не знал ничего, похожего на эти места, в Островитянки, и хотя сам был мало знаком с ними, но читал о них и видел их на рисунках и фотографиях.

— Мне кажется, Ланг, — сказала Стеллина, когда настало время ужинать и мне нужно было подняться к себе, чтобы умыться и переодеться, — что если кладбища и места, в которых вы живете, не совсем такие, как вам хочется, все же в вашей стране есть замечательные вещи, на которые стоит посмотреть.

— Да! — воскликнул я. — Но если вы потеряли близкого человека, вид их лишь растравляет вашу боль.

Стеллина взглянула на меня широко раскрытыми глазами.

В день моего отъезда Стеллина с братом провожали меня до ворот. Фэк шел рядом и, будучи благовоспитанной лошадью, не порывался вперед. Было холодно, но, пройдя немного, мы согрелись. Небо было безоблачным, глубоким и синим. За ночь выпал еще снег, и все на земле укрылось этой свежей белизной с бледно-розовыми, сиреневыми и голубыми переливами. Только местами выступали из-под этого покрова стволы деревьев, почти красные в бледно светящемся ясном воздухе, серый каменный фасад дома под белой кровлей, темно-зеленые метелки хвои.

С непокрытыми головами, в темных одеждах, брат и сестра Стеллины казались на фоне

слепящего белого на солнце снега особенно хрупкими, слабыми, но шли вперед, шагая уверенно и легко. Таким ходакам, как они, ничего не стоило бы обогнать меня, но они ни за что на свете не позволили бы себе этого. Их улыбки, выражение глаз были так похожи, что они казались близнецами.

Стеллина вертела во все стороны своей маленькой очаровательной головкой. Она то оглядывала поля, то пробегала взглядом по вершинам деревьев, то оглядывалась на дом или восторженно смотрела на серебристое облачко снежной пыли, взметнувшееся из-под ее ног; и я знал, что ее взгляд не упустит ни единой частицы окружающего нас прекрасного мира и красота его пронизает ее существо ясным потоком, очищая и заполняя собою эту очаровательную форму. А мы — ее брат, не столь восприимчивый, и я, еще менее восприимчивый, чем он, — следили за ней, за быстро меняющимися выражениями ее лица, чтобы она помогла нам узреть и почувствовать то, что видит сама. Зная, что мы смотрим на нее, она одинаково радостно улыбалась нам обоим, одаривая каждого ясным взглядом своих прозрачных глаз. Потом опустила голову и мерно и легко продолжала идти вперед с застывшей улыбкой. Юбка развевалась при каждом шаге; высокая стройная фигура была почти детской, и тонкая белая снежная пыль взвивалась на ее пути.

Не переставая любоваться Стеллиной, мы с ее братом переглянулись и тоже улыбнулись друг другу, без слов разгадав общую мысль.

Вот и ворота. Фэк догнал нас, и Стеллин подошел к нему сбоку. Стеллина, стоя рядом, наблюдала за нами. Я сел на лошадь. Стеллина шагнула вперед, не спуская с меня широко открытых, прозрачных фиалковых глаз, ясных и светлых, как вода лесного ключа. Она явно что-то задумала, и я гадал, что именно, надеясь, что девушка, которой мир видится таким волнующе новым и прекрасным, на этот раз сможет поделиться со мной хотя бы частью своего знания. По-прежнему глядя на меня, она погладила серую морду Фэка, и тот опустил голову. Стеллина улыбнулась, и по ее лицу пробежала гримаска боли. Она обернулась к брату, словно спрашивая согласия.

— Я хочу поцеловать Ланга, — сказала Стеллина и шагнула ко мне, доверчиво и просто, как ребенок. Я нагнулся. Фэк стоял, не шелохнувшись. Я был достаточно опытен, чтобы изобразить поцелуй, и коснулся плеча Стеллины кончиками пальцев. В наступившую долю мгновения я почувствовал, как ее маленькие мягкие губы коснулись моей щеки, но это был действительно поцелуй. Потом она отошла, все с той же безмятежной, отнюдь не смущенной улыбкой на лице.

Я не мог вымолвить ни слова, только взглянул на обоих, на брата и на сестру, кивнул, и Фэк медленно тронулся с места.

По островитянскому календарю *виндорн*, то есть зима, начинаясь в самый короткий день года, длится четыре месяца. *Грэйи*, или весна, продолжается всего два; *сорн* — лето — снова четыре, а листопад, то есть наша осень, — два, как и весна. *Виндорн* начался двадцатого июня, что соответствует двадцать первому декабря в северном полушарии, а начало *грэйна* пришлось на двадцатое октября — наше двадцатое апреля. Все эти четыре месяца непрерывно, иногда по нескольку дней подряд, дули юго-восточные ветры, часто с мокрым снегом и градом; небо было затянуто тучами. Когда ветра прекратились, прояснилось и похолодало. Вода в реке под моими окнами покрылась тонким льдом; вдалеке отчетливо виднелась вершина Островной. Когда ветер задул снова — потеплело. Впервые в жизни я ни разу не простудился за зиму.

Когда я вернулся от Стеллинов, ветер дул по-прежнему сильный, чаще неся с собой изморось, чем снегопад. Фермы за рекой лежали в разлившихся, как маленькие озера, лужах, и по временам ясное голубое небо отражалось в них. Я чаще выбирался на прогулки, верхом или

просто шлепая по грязи и раскисшему снегу. Прогулки эти отнимали немало сил, но я окреп, и Фэк тоже был готов к долгому путешествию на Запад.

Второго и четвертого сентября должны были прибыть пароходы, потом наступал шестинедельный перерыв. Я собирался выехать десятого сентября и провести около месяца на Острове, оказавшись там в разгаре весны.

Как тяжело было бесконечно ждать дня, когда я вновь увижу любимую девушку. Я нервничал и сторал от нетерпения, может быть особенно потому, что не все было так просто в моем чувстве к Дорне. Быть может, из-за того, что я слишком часто представлял себе нашу встречу, эмоции мои несколько притупились. Беспокоился я еще и потому, что в августе, получив приглашение Наттаны, совершенно не подумав, дал обещание навестить Хисов. Тогда время, отпущенное мне, казалось бесконечным, и только теперь я понял, как его ничтожно мало.

Я по-прежнему усиленно работал, чтобы поскорее закончить мою историю, и рукопись была наконец-то завершена в день прибытия первого парохода. Оставалось лишь ждать приговора Мораны, и я отослал рукопись ей.

Вскоре меня ожидал неприятный сюрприз. Тот же самый господин из Министерства иностранных дел, который уже давал мне советы относительно моего поведения, теперь настаивал на том, чтобы я присутствовал на собрании Совета тринадцатого сентября, хотя речь там должна была идти исключительно о внутренних делах. Получалось, что в Вашингтоне, за тысячу миль отсюда, лучше знали, что мне следует, а чего не следует делать! Мне категорически предписывалось быть на Совете и выслать отчет. Далее мне рекомендовали не отлучаться из Города и из своей резиденции дольше чем на несколько дней. Кто-то, видимо, успел шепнуть этому джентльмену пару «лестных» слов обо мне. Я задумался, кто бы это мог быть. Несколько человек имели основания жаловаться на меня: Мюллер, Эндрюс и Боди или же, наконец, господин, не получивший медицинской «визы».

Чтобы окончательно испортить мне настроение, дядюшка Джозеф тоже разразился посланием, написанным в обычном для него духе. Совершенно очевидно, он знал об официальном письме. Ему случилось быть в Вашингтоне, и, между делом, он зашел в министерство. Пора поговорить начистоту. В министерстве были не вполне довольны тем, как я исполняю свои консульские обязанности. Мои отчеты, составленные, правда, по всей форме, не содержали практически ценной информации. И все же основной упрек состоял не в этом. Дядюшка выражал уверенность, что ему нет нужды объяснять мне, в чем дело. «Встряхнись, мой мальчик», — писал он. Конечно, приятно проводить время в постоянных визитах, однако уверен ли я, что общаюсь с подходящей публикой? Разумеется, никто не осуждал мою дружбу с Дорнами, памятуя о нашей университетской привязанности, но разве я ехал в Островитянию ради встреч с однокашником? Дядюшка был уверен, что мне не хуже, чем кому-либо, известно, что Дорн — неподходящая компания. Был ли я достаточно осторожен? Делал ли я все возможное для... Дальше следовал перечень имен. Дядюшка Джозеф оказался знаком чуть ли не с каждым, кто приезжал в Островитянию... Потом он почти дословно повторил все, о чем писал три месяца назад.

Выходило, что, если строго следовать всем указаниям Вашингтона, я вообще не смогу больше попасть к Дорнам, хотя, по сути, меня ничто не держало в Городе. Да, действительно, на сентябрьских пароходах прибыли две группы американцев. Одних интересовала нефть, и их вполне удовлетворило то, как я организовал им поездки для исследования месторождений. Других интересовали апельсины. Все, что им требовалось, это изучить методы их выращивания в Карране. С этим тоже не было хлопот. Восьмого сентября обе группы уже уехали и должны были вернуться только через пять недель, а я тем не менее должен был сидеть в Городе до

двадцатых чисел, чтобы присутствовать на Совете и составить отчет, касающийся строительства местных дорог и земельного законодательства.

Возмущение мое не завело меня так далеко, и я решил не идти наперекор министерским распоряжениям и посетить заседание Совета. С другой стороны, сразу после его окончания я собирался выехать к Дорнам и вернуться в Город не раньше шестнадцатого октября. Шестого я написал Дорнам — предупредить о приезде, и восемнадцатого получил ответ от Файны, что все они к тому времени будут в усадьбе. Нарушь я обещание, данное Хисам, я смог бы провести у них две недели, в противном случае — одну.

И все же, решив пренебречь указаниями начальства, я чувствовал себя далеко не уютно. Сама по себе поездка с целью увидеть Дорну могла стоить мне должности и лишит меня в дальнейшем хоть какой-нибудь возможности повидаться с ней. Я часами ломал голову над тем, чья же это злая воля настраивает против меня столичных чиновников. Иногда я даже думал, уж не происки ли это дядюшки Джозефа, старающегося наставить меня на путь истинный, но иногда мне казалось, что подспудно тут действует некто или нечто еще, и мне становилось по-настоящему страшно.

Совет собирался ежедневно, и я регулярно присутствовал на заседаниях. Столь же педантичным был лишь германский атташе, хотя и он иногда казался недовольным; других иностранных представителей не было. Присутствовало лишь около двух третей лордов провинций. Молодой Тор появился только в первый день. Его сестра вообще не показывалась. Однако, несмотря на скрытое возмущение, я вынес для себя немало интересного. Обсуждение проходило самым непринужденным образом, и все были крайне добродушно настроены. Я ни разу не слышал, чтоб хоть один островитянин грубо оборвал другого, хотя они и не упускали случая по-приятельски подшутить над оппонентом. Лорд Дорн был всего три дня и пригласил меня отобедать. Я вкратце пересказал ему, какие указания получил из Вашингтона. Лорд заметил, что Дорна будет разочарована, если я прогощу у них меньше, чем собирался, и сердце мое на мгновение подскочило от радости, но тут же болезненно сжалось — ведь это могла быть просто вежливая фраза. Лорд Файн, увидев, как я одиноко сижу на скамьях для наблюдателей, пригласил меня пересесть к нему, на пустующее место секретаря. Я чувствовал себя почти что членом Совета и, когда в конце двадцатых чисел собрание было распущено, действительно мог считать, что хорошо знаю всех присутствующих, и кроме того, познакомился с внутренними делами Островитянии.

Еще одно приятное обстоятельство искупило вынужденную задержку. Морана вернула мне рукопись вместе с прелестной запиской, в которой всячески хвалила и поздравляла меня. Она писала, что каждая минута, проведенная за чтением моей истории, доставляла ей истинное наслаждение. Перед отъездом я препоручил рукопись одному из городских печатников, и ее издание, таким образом, было делом решенным.

Двадцать первого сентября, выезжая к Дорнам, я не мог сдержать невольного чувства гордости: за год стать автором книги, написанной на иностранном языке! Что и говорить, рукопись вышла небольшая, но в печатном виде составила книгу в сто пятнадцать страниц ин-октаво. Да, я гордился собой, хотя и сознавал, что, в конечно счете, получилось не совсем то, что я задумывал вначале. История писалась, чтобы распространить среди островитян мнение, будто граждане Соединенных Штатов не так уж отличаются от них самих, что с ними, гражданами Америки, можно легко и не без взаимного удовольствия общаться и вести дела и что у них много товаров (на продажу), в высшей степени нужных и полезных для Островитян. Но по мере работы пропагандистский привкус становился все менее ощутимым, дабы не скомпрометировать себя своей очевидностью, и наконец исчез совсем. Теперь книга представляла краткую историю и сборник сведений о Соединенных Штатах. В некоторых

случаях я описывал принятые у нас методы работы. Это касалось в основном сельского хозяйства, перевозок, а также использования электричества, нефти, угля и газа. Однако объяснять людям, у которых не было ни механических средств передвижения (кроме военных судов), ни телефона, ни телеграфа, практически никаких магазинов, рекламы, кредитной системы, а следовательно, и банков, приходилось столь многое, что у меня оставалось слишком мало места доказать нужность и полезность всего этого. Морана несколько раз говорила, что лучший путь — это как можно доходчивее и яснее обрисовать американскую жизнь, а там уж пусть сам читатель судит, стоит ли ему подражать Америке и американцам. И я соглашался с ней. Конечно, книга в том виде, в каком она получилась, была мне гораздо больше по вкусу, но я не решался сообщить о ней дядюшке. Рекламная сторона моего сочинения его бы явно не устроила. С другой стороны, теперь мне было бы не стыдно послать Дорне дарственный экземпляр. Сентябрьский пароход, как обычно, привез мне письмо от Глэдис Хантер, и я решил послать экземпляр и ей, пусть даже она не сможет его прочесть.

Пришла весна, и мы с Фэком отправились на Остров. День был ясный, теплый, и буйно пробивающаяся повсюду, влажно блестящая трава светло зеленела по-новому, по-весеннему. Деревья в садах стояли в цветущей дымке; на концах веток распускались ярко-зеленые листочки. Воздух наполнился теплым запахом земли. На дороге после недавнего дождя блестели лужи.

Первую ночь мы провели в старинной усадьбе Бодвинов, где жил недавно назначенный маршал и где Бодвин-младший жил и писал свои притчи еще в начале тринадцатого века. Второй раз мы остановились на ночлег у Сомсов, потом на постоялом дворе в Инерри, а к вечеру четвертого дня добрались до постоялого двора на перевале Доан.

Спускаясь по перевалу утром, мы увидели уже другую весну. Река Эрн была не такой полноводной, как Кэннен; воздух был не такой влажный, небо — безоблачно. Здесь, по другую сторону перевала, все застыло в покое, и даже растения, казалось, не спешили цвести и зеленеть.

Отсюда, сверху, видна была болотистая дельта реки Доан — плоская, темно-голубая под высоким небосводом, и, глядя вдаль, теперь, когда между мной и Дорной не было ничего, кроме воздушной стихии, я понял, что снова — на Западе, где живут мои друзья и моя любимая.

Дорога до Эрна, тянувшаяся по равнине среди однообразных ферм, была скучной. Быть может, я встречу Дорну на переправе!

Тревога, надежда и прочие чувства к концу долгого дня тоже поблекли. Мне хотелось увидеть Дорну, услышать ее голос. Две недели я буду рядом с ней, буду видеть ее каждый день. Первое потрясение пройдет, и останется только красота, красота и покой. Я постараюсь быть молчаливым, чтобы не беспокоить милую своей болтовней, но постараюсь также составить ей как можно более приятную компанию.

Когда мы въезжали в городские ворота Эрна, из мира зеленых полей и лугов переносясь в мир узких каменных улочек, — сердце мое сильно билось. Мгновение — и дорога уже свернула к пристани. Я вдохнул соленый воздух болот. Корабли с двойными мачтами стояли на якоре вдоль каменной стены.

Усталый и продрогший, я тяжело соскочил с седла, ставшего таким привычным, и подошел к краю причала, высматривая лодку, которая должна была меня ждать, а на самом деле надеясь увидеть Дорну.

Худощавый смуглый мужчина в синем свитере и коротких бриджах подошел ко мне и назвал свое имя. Это был рыбак, чья лодка стояла в небольшой гавани на юго-восточной оконечности острова, где я рассчитывал встретить Дорну.

Он сказал, что его попросили подвезти и проводить меня. Ветра почти не было, и плыть было нельзя, но он собирался перевезти меня на другой берег и дальше сопровождать верхом, чтобы указать путь через другие переправы.

Всего их было три, и последняя вела на Остров, рядом с маленькой гаванью, где остановилась Дорна.

Трехмесячное ожидание было позади.

Вновь усевшись на Фэка, я пустился в путь. Специально приготовленная комната уже ждала меня. Лучше всего было появиться как члену семьи. Прежде чем войти в дом, я завел Фэка в конюшню, расседлал и поставил в свободное стойло, все время при этом ища глазами Дорну и чувствуя, как бьется мое сердце. Это был ее дом, место, где она жила, и каждый камень,

из которых было сложено это здание, каждое дерево, самый воздух — все было полно ею.

По безмолвным, безлюдным коридорам я прошел в свою комнату. «Ваша комната готова для вас», — припомнились мне слова, произнесенные полгода назад. И точно так же, в буквальном смысле, комната готова была принять гостя и в этот странный весенний день. Меня ждали, что внушало покой и уверенность, несмотря на пугающее безлюдье и тишину, звенящую в ушах. Приближалось время ужина. Умывшись, переодевшись и собравшись с духом, я спустился вниз, в маленькую комнату, где Файна принимала меня в мой первый приезд к ним.

В чуть приоткрытую дверь был виден горящий очаг. Файна в одиночестве встретила меня, приветствуя так, словно я никуда не отлучался. Но Файна была для меня скорее существом из мира грез. Где же Дорна? И где мой друг Дорн?

Вошла Марта, и следом за ней Дорна-старшая. Обе держались приветливо. Мало-помалу заговорили о новостях. Лорд Дорн уехал в Доринг. Мой друг должен был вернуться из бухты Хоу, в Виндере, сегодня вечером или завтра.

Дорна была у Ронанов...

Я задал несколько вопросов как можно более естественным тоном, но сердце у меня заныло. Как выяснилось, она проводила у Ронанов неделю раз в год. Раньше выбраться ей не удалось из-за гостей. Она два дня как уехала. Тем не менее она собиралась быть сегодня к ужину и сказала, что если я приеду вовремя, то могу заехать к Ронанам за ней. Пожалуй, сейчас поздновато, но я могу успеть.

Я вышел немедленно. Ронаны жили поблизости. Конечно, она не совсем уехала, но все-таки это было жестоко. Темнело. Я шел по усыпанной белым ракушечником аллее. Кроны буков смыкались над моей головой, ветер шелестел в юной, едва распустившейся листве. Соленый запах болот и моря едва чувствовался — его перебивали запахи земли и травы. Остров как никогда походил на ферму, какой, по сути, и был.

Я шел быстро, и сердце билось все сильнее. Минута, которую я так долго ждал, была близка, но наполовину отравлена. Ведь лорд Дорн сам сказал, что Дорна будет разочарована моим слишком коротким визитом. Но чувство досады скоро сменилось страхом: оказывается, она сознательно избегает меня.

Я был уже совсем близко от безлюдной маленькой гавани, когда Дорна, в темно-синем платье, возникла между каменных стен эллингов и двинулась мне навстречу своей обычной легкой, стремительной походкой.

Мимоходом она улыбнулась мне так, словно мы виделись совсем недавно. Она ничего не сказала, и я, тоже молча, пошел рядом с ней.

Да, именно такой я и ожидал ее увидеть: безупречной, замкнутой, сосредоточенной лишь на себе. Она была самой собой, и никем больше. Все мои тревоги, страхи, обиды как ветром сдуло. Ничто уже больше не имело значения.

Не поднимая головы, Дорна первой нарушила молчание; голос ее звучал сдержанно.

— Я рада, что вы приехали, Джон.

— Спасибо, Дорна.

— Ах нет, не благодарите меня! Вы вправе даже обвинить меня кое в чем. Ведь это из-за меня вы здесь сейчас, и мне не хотелось уезжать.

Я промолчал, ожидая, что она скажет дальше.

— Но, Джон, — откровенно призналась Дорна, — я обещала им навестить их, а в другое время не смогла. Потом — это ведь совсем рядом. Я сказала им, что вы приезжаете, и, если захотите видеть меня, уделю вам время, — закончила она свою краткую речь.

— Мне очень хотелось вас видеть, — сказал я.

— Что ж, и мне хотелось, — сказала Дорна, помолчав. Я чувствовал, что она вопросительно

смотрит на меня, но не решался взглянуть на нее сам.

— Вы можете отвезти меня обратно сегодня вечером, — быстро добавила Дорна.

Я был единственным мужчиной за столом. Файна села напротив меня. Марта и Дорна-старшая сидели справа, Дорна — слева. По праву *танридуун* я мог садиться во главе стола, когда все мужчины в доме отсутствовали. Словом, меня считали как бы членом семьи. Оживленное лицо Дорны пылало ярким румянцем молодости. Решившись молчать, я сомневался, что смогу удержаться. Дорна так дорожила мирными радостями семейной жизни, что я ни за что на свете не должен был смущать ее. И даже не будучи уверен в себе, я обязан был ценить ее душевный покой выше своего.

Тем не менее я поддерживал непринужденный разговор о Городе, о своей жизни там и (уже специально для Дорны) о моей рукописи и ее близком выходе в свет. Рассказывая об этом, я почувствовал на себе пристальный, суровый взгляд. Неужели она была удивлена? Или заинтригована? Я ждал, что она что-нибудь скажет, но она промолчала. И только трое старших продолжали беседу.

После ужина ничего не изменилось.

Мы сидели перед очагом в маленькой комнате; Файна и я на одной скамье, Дорна-старшая и Марта — на другой. Моя Дорна устроилась на стуле, облокотившись на поджатые колени, обхватив голову руками, и глядела на огонь, не обращая на нас никакого внимания.

Я продолжал говорить без умолку, но стоило мне взглянуть на Дорну, как я тут же терял нить рассказа. С нетерпением ожидал я того момента, когда буду провожать ее к Ронанам. Марта встала, зевнув, и пошла взглянуть на малыша; думаю, ей просто хотелось спать. Файна тоже, кажется, была далеко. Только Дорна-старшая по-прежнему проявляла интерес к беседе — полагаю, больше из вежливости.

Но вот в разговоре наступила пауза. Неужели я опять должен был спасти положение? Стало слышно, как тихо в комнате.

Протекло несколько томительных минут, прежде чем Файна, пожелав всем доброй ночи, удалилась. Мне показалось, что Дорна-старшая тоже не прочь отправиться на покой, но ее удерживает присутствие кузины.

Однако первой тишину нарушила сама Дорна. Она спросила, что происходило на Совете, и я пересказал ей все в мельчайших подробностях, ведь мне пришлось составлять отчет для Вашингтона.

Дорна слушала, отвернувшись, но, как мне показалось, с интересом. Внезапно она резко, так что мы оба с Дорной-старшей вздрогнули, отодвинула свой стул от огня.

— Какая жара! — воскликнула она, и я усомнился — действительно ли она так внимательно слушала меня.

— Ронаны ложатся рано, — сказала она, вставая. — Мне пора.

Глядя на нее в изумлении, я даже позабыл про свое американское воспитание и остался сидеть. Дорна вспыхнула; сейчас лицо ее казалось совсем юным, оживленным: румянец полыхал на щеках, глаза горели.

Она оказалась в дверях, и только тут до меня дошло, что она может уйти и без меня. Я вскочил и бросился вслед за ней.

— Не стоило вам идти за мной, — быстро сказала она, когда мы шли по коридору. — Зачем это все?

— Все-таки я провожу вас, если вы не против, — ответил я, слишком смущенный, чтобы придумать что-нибудь еще. Дорна промолчала, и я продолжал идти за ней.

Мы вышли в ночь. Небо было так густо усеяно звездами, что казалось неузнаваемым, ведь

мы были в Южном полушарии. Буковая аллея протянулась длинная, темная, и только ракушечник вспыхивал то здесь, то там, словно отражал свет звезд.

Я не знал, что сказать. Настала минута объясниться, но слова не шли на ум.

Лицо Дорны смутно белело рядом, живое, теплое, желанное. Мне почудилось, что она тихонько рассмеялась.

— Когда я в первый раз услышала о вашей книге, — сказала она, — мне захотелось помочь вам в вашей работе.

— Это было бы замечательно, — ответил я с чувством.

— Но у Мораны получилось лучше, чем вышло бы у меня.

— Не думаю, — честно ответил я.

— Я хотела помочь вам, потому что мне хотелось, чтобы книга вышла такая, как мне хочется. Вы сделали правильный выбор, Джонланг.

Мне стало неловко — таким тоном были сказаны эти слова. Я не знал, как объяснить ей, что мне действительно приятнее была бы ее помощь, и в то же время заглазно не обидеть Морану.

Аллея кончилась, и снова звезды сияли над нами. Теперь Дорна уже не казалась призраком. Лицо ее матово светилось в сиянии звезд. Мне хотелось говорить, но волнение буквально душило меня.

— Когда я снова увижу вас, Дорна? — вот все, что я смог вымолвить.

— Брат приезжает завтра, — сказала она наконец после долгого молчания. На мгновение мне почудился в ее словах укор, но глухой голос, каким они были сказаны, выдавал скорее сожаление.

— Я работала вместе с Ронанами, — продолжала Дорна. — Теперь я как член их семьи. Мою посуду и готовлю. У них только одна семья работников. И еще я ухаживала за цветами... Давайте встретимся послезавтра.

Я нахмурился — но что я мог возразить?

— Хорошо, Дорна.

— Приходите за мной утром.

В голосе ее прозвучало сожаление, и мне вновь захотелось повторить вслух ее имя, но оно так и замерло у меня на губах. Ей же хотелось остаться одной. Она не желала, чтобы я беспокоил ее своими чувствами. Может быть, ее сдержанность пошла бы на пользу нам обоим. Пожалуй, впервые за все время в ее поведении проявилась мягкость, участие...

Я взглянул вверх, на облака звездной пыли. Снова я был на Острове, рядом с Дорной. По-настоящему я полюбил ее зимой; сейчас любовь моя лишь возросла. Разлука и время сделали ее глубже. Я чувствовал себя жалким и безмерно счастливым одновременно.

Мы подошли к гавани. Внизу, там, где кончалась узкая череда каменных ступеней, было причалено несколько гребных шлюпок.

— Подождите минутку, — сказала Дорна. — Я пойду первая. Их немного снесло течением. Подогнать лодку — чисто мужская работа.

— Разрешите, это сделаю я? — спросил я, делая шаг вперед.

— Вы можете упасть, ступени скользкие.

— Вы тоже можете упасть.

— Я привыкла. Пустите, Джон.

Мы стояли наверху лестницы, загораживая друг другу проход. Разговор шел вполголоса. Назревала ссора.

— Пожалуйста, Джон! — почти крикнула Дорна. Голос ее звенел.

Я отступил, сердце бешено колотилось. Минуту спустя Дорна позвала меня.

— Теперь спускайтесь. Только осторожнее! Здесь очень темно.

Очертания шлюпки были смутно различимы. Дорна стояла на корме, держась за нижнюю ступеньку.

— Сядете на весла? — спросила она.

Я забрался в шлюпку. Зима так недавно кончилась, и чувствовать рукояти весел было непривычно. Ледяным холодом веяло от невидимой черной воды. Я повел веслом, и мы мягко двинулись в темноту.

— Я буду подсказывать вам, куда плыть, — сказала Дорна. — Я могу узнавать путь по деревьям и звездам. К тому же надо помнить и о приливе.

Я греб, следуя ее командам. Слева чернела стена, вот показалась башня, но неожиданно они исчезли из виду.

— Прилив несильный, — сказала Дорна. — Но иногда весной прилив и ветер бывают такие, что переправиться никак нельзя.

Голос ее пленял меня. Почти лишенное очертаний в свете звезд лицо и голос, теплый, близкий, как бы соединяли нас. Мой собственный, в ответ, прозвучал неуверенно, слабо.

— Теперь направо, Джон.

Я повиновался.

— Вы хорошо гребете, — сказала Дорна, и я был счастлив не только потому, что именно она сказала это, но и потому, что Дорна привыкла к лодкам с детства.

— Ах! — неожиданно воскликнула она. — Какая ночь! Какая ночь, Джон!

Сердце мое учащенно забилось. Зачем приставать к берегу? Почему не плыть, просто плыть и плыть вперед по Эрну, а вокруг будет только вода и огромная темнота ночи?

— Не повернуть ли нам к Эрну? Еще не так поздно.

— Бедные Ронаны, — мягко сказала Дорна. — Они, наверное, все сидят, дожидаются новостей о вас. — И резко добавила: — Нет, лучше не надо.

Мы подплыли к каменному причалу Ронанов. Дома не было видно из-за тесно растущих в этой части острова низких сосен. Они виднелись на берегу темным пятном.

— Оставайтесь в лодке, — сказала Дорна. — Я сама найду дорогу. Когда будете возвращаться, не забывайте о приливе. И осторожнее на ступеньках... А послезавтра обязательно увидимся.

Дрожь пробрала меня. Я чувствовал, что должен хоть что-то сказать. Да, она и вправду изменилась. Теперь мне уже не было страшно.

— Я провожу вас до дома, если вы не против, — сказал я.

— Что ж, пожалуй. — Голос Дорны прозвучал удивленно.

Мы сошли на берег. Стояла непроглядная тьма, и только дорога, лежавшая между расступившимися деревьями, была высвечена звездами. Свежо пахло хвоей. Идущей рядом Дорны совсем не было видно, и о ее присутствии можно было догадаться только по еле слышному дыханию и мягким шагам.

— Дорна, — мой голос прозвучал напряженно и неестественно, — в июньском письме вы писали, что «вопрос», которого вы так боитесь, должен решиться еще не скоро. Что-нибудь изменилось с тех пор?

Наступила долгая пауза; потом из темноты донесся глубоко взволнованный голос:

— Нет. Все осталось, как было.

Кто был причиной этого волнения? Неужели я? Нет, я не мог в это поверить.

— И остальное в моем письме по-прежнему правда.

Голос Дорны звучал тверже и более глухо.

Итак, она не отказывалась от своих жестоких слов. И все же... может быть, речь шла только

о последних строках?

— В конце вы писали, что не сомневаетесь, что я не нарушу ваши мирные радости... — сказал я, обращаясь к шедшей рядом невидимке.

— А разве не так? — раздался ласковый, глубокий голос.

— Конечно, да! — воскликнул я, сам пораженный тем, что говорю. — Это единственное, чего я желаю. Но...

Я запнулся в нерешительности.

— Но что? — спросила Дорна, и в голосе ее я уловил непонятную мне радость.

— Я не могу понять, вправду ли вы хотели меня видеть? — вырвалось у меня. — И я долго не решался приехать.

Тишина была почти невыносима.

— Вы имеете такое же право жить на Острове, как и я, — медленно ответила она после долгого раздумья. — И если ваши сомнения помешают нам видеться, мне будет очень жаль.

— Я знаю, — ответил я (почему-то слова Дорны больно кольнули меня), — но я не хотел, чтобы мой приезд нарушил вашу спокойную жизнь.

— Но почему он должен ее нарушить?

Тьма впереди неожиданно расступилась, и справа, неподалеку, показался низкий дом Ронанов; только одно окно оранжево светилось в темноте.

— Скажите определенно, Дорна! — воскликнул я.

— Ах, Джон, — в голосе ее слышалась боль. — Что вы хотите от меня услышать?

— Я только хочу знать, рады ли вы мне?

Послышался короткий жесткий смешок.

— Разве я не приглашала вас весной?

— Да, но, может быть, просто потому, что весной здесь так красиво. Вы сами так сказали!

Значит...

— Но разве этого не достаточно? Мне хотелось сделать вам приятное.

— Да, да, конечно. Мне очень приятно, но...

Мы остановились у дверей дома, глядя друг на друга, и теперь я смутно различал ее лицо и яркий темный блеск глаз.

— Что вы хотите, чтобы я сказала? — спросила она полуласково, полуустало.

— Что вам самой действительно хотелось, чтобы я приехал, — ответил я, пытаюсь придать словам шуточный тон.

— Ну конечно, хотелось! А вы как думали?

Она повернулась и быстрым движением открыла дверь.

— Я ничего не знаю, — сказал я.

— Спокойной ночи, Джон. Я не могу пригласить вас, уже слишком поздно.

— Спокойной ночи, Дорна, — откликнулся я, стараясь протянуть звуки ее имени. Дверь захлопнулась передо мной, скрыв Дорну в доме, где, возможно, молодой Ронан ждал ее, чтобы поговорить обо мне. Я стал спускаться по тропинке, озаренной светом звезд и окруженной тьмою.

Потом я поплыл обратно к острову Дорнов, кое-как находя дорогу и едва не врезавшись в двухмачтовое суденышко, стоявшее на якоре посреди гавани. Обогнув его, я подгреб к лестнице, где в шлюпке сидел мой друг, дожидаясь меня.

Я заметил его, только когда проплыл мимо. Он заговорил спокойным, ровным голосом, но я не был готов к разговору, поскольку мысли мои были далеко. В темноте Дорн казался огромным и совсем чужим. Голос его словно доносился из иного мира, и я, как загипнотизированный, отвечал ему и, как во сне, шел за ним к дому, чувствуя себя человеком, которого застали на

месте преступления, которого он вовсе не собирался совершать.

К моему облегчению, Дорн в основном сам поддерживал беседу. Он рассказал о своей поездке, причем я слушал довольно внимательно, чтобы запомнить на будущее то, что сможет мне пригодиться. Туда и обратно он плыл по реке; погода стояла хорошая. О целях поездки он ничего не сказал. Поднявшись в горы, он прошел вдоль хребта, пролегающего на полуострове Виндер. Дорн сказал, что эти места всегда производили на него сильное впечатление и мне тоже надо будет их посмотреть.

Мы поднялись ко мне. Дорн удобно расположился, и мы проговорили допоздна. Мало-помалу я приходил в себя, чувство вины было позабыто, и Дорн наконец стал казаться вполне реальным. Мне было жаль, что новые впечатления заслоняют образ Дорны, и ужасно хотелось остаться одному и снова думать о ней. И все же было приятно отвести душу с другом, хоть и островитянином, но способным понять меня. Я рассказал ему обо всем, даже о конфликте с министерством и о Стеллинах, — обо всем, кроме чувства к его сестре. По мере того как я говорил, мысли мои упорядочились, и к концу разговора я имел уже вполне сложившееся мнение: держаться принятого решения и скрывать свою любовь. Я узнал то, что хотел узнать больше всего, а именно, что «все осталось, как было».

О Дорне мы упомянули только однажды.

— Когда она уехала к Ронанам? — спросил Дорн.

— Два дня назад.

— И как долго она собирается у них пробыть?

— Она сказала — неделю.

Дорн собирался что-то сказать, но смолчал.

— Несколько дней — в моем распоряжении, — сказал я вместо этого. — Придумаем что-нибудь.

Он зевнул и скоро ушел к себе. Но как бы там ни было, он оставался моим лучшим, ближайшим другом. Я подумал, уж не сказал ли я чего-нибудь лишнего. Раздеваясь, я вспомнил о Некке и почувствовал, что по какой-то причине уже не так переживаю при мыслях о Дорне. Безусловно, я любил ее, и все же после разговора с Дорном что-то во мне изменилось. И пусть мир теперь снова казался бесцветным и будничным, все же это был реальный, мой мир.

Вконец усталый, я заснул почти мгновенно.

Комната была залита теплым светом. Проснувшись лишь настолько, чтобы понять, что я дома, точнее, на Острове у Дорнов, а солнце на востоке уже поднялось над горами и шлет свои прямые лучи в мое окно, я безуспешно пытался настичь ускользающий сон, гадая, сон ли это, или просто чувство новой радости, новой полноты бытия. Был ли это сон? Красота волнами подступала к сердцу, причиняя почти боль. Было раннее утро. Сегодня я не увижу Дорну. Но что же такое я пережил во сне, дарящее счастье больше, чем сама любовь?

Мне припомнился наш долгий разговор с Дорном накануне и то, какое решение я принял. Радость потускнела. Решение принято, и я должен его держаться. Но весь день напролет я думал о ней, о том, как она там, у Ронанов. Она была в моих мыслях, стояла перед глазами, полускрытая стволами сосен, озабоченная домашними делами, моющая посуду или работающая в саду. Наверное, молодой Ронан увивался подле нее. А может быть, она именно сейчас, подняв голову, с улыбкой смотрит на него?

Тем не менее я с радостью препоручил себя заботам своего друга. Взяв перекусить, мы переправились на шлюпке через Эрн, а потом пешком обошли внутренние болота, вдоль южного рукава Доринга. Был очаровательный, ясный весенний день, прохладный и теплый одновременно. Небо над головой было голубым, с маленькими белыми облачками, а вокруг нас,

на земле, расстилались темные, плоские, пустынные болота.

Говорили мы мало. На обратном пути Дорн останавливался потолковать о делах с фермерами, мимо участков которых мы проходили. Сидя на солнышке, в полудреме, я играл с молодым псом, большим жесткошерстным и с большой, унылой черной мордой, никак не вязавшейся с его игривым характером.

На следующее утро мне было уже не до того, чтобы наступать ускользающие сны. Едва проснувшись, напряженный, полный энергии, я вспомнил, что мне предстоит. После завтрака, выждав с четверть часа, дабы не приехать слишком рано, я как можно более небрежным тоном сообщил Дорну, что скоро собираюсь идти.

— Похоже, ты вряд ли вернешься к ленчу, — сказал Дорн. — Возьми лучше парусную лодку.

Цвета по сравнению со вчерашним днем, казалось, не изменились, но какие они были другие! Над головой в голубом небе плыли те же белые облачка, так же прихотливо раскачивались на ветру ветки буков, так же поблескивала синяя вода протоков, и те же сосны темной полосой застыли на острове Ронанов; но каким пронзительно-слепящим было все это сегодня!

Ронан-отец, с каштановой с проседью бородой, конопатил шлюпку, лежащую вверх днищем на двух бревнах. Он больше, чем все, кого мне приходилось здесь видеть, походил на фермера, занятого обычным, нелегким трудом. Мы приветствовали друг друга и заговорили о погоде. В это время года, сказал Ронан, слишком мало дождей. В горах и в долине живет легче. Все труды там окупаются. Сейчас сажать толку нет, хотя кое-кто уже начал. Пожалуй, и ему лучше бы начать сажать, чем возиться с лодкой. Хотя... Он ласково улыбнулся. Я слушал вежливо, внимательно, сгорая от внутреннего нетерпения, — ведь Дорна была там, в доме, так близко...

— Однако Дорна говорит, — сказал Ронан, — что эта лодка ходит лучше, чем любая у них. — И добавил несколько другим тоном: — Она вас ждет.

Не отвечая, я повернулся и зашагал к дому, низкому, маленькому, вокруг которого было неухоженно и не чувствовалось хозяйской руки.

— Заходите, заходите! — крикнул Ронан, и его молоток вновь принялся металлически вызванивать по днищу. Я вошел и с первого взгляда понял, что оказался в столовой. Пол был из выщербленных красных черепиц, обстановка скудная, камин не чищен, в воздухе — густой, застоявшийся запах пищи. В помещении никого не было, но из-за приоткрытой двери в соседнюю комнату слышались какие-то звуки.

Я громко произнес свое имя.

Раздались два женских голоса, затем веселый голос Дорны крикнул:

— Мы здесь!

Я вошел в кухню. Дорна, как то часто представлялось мне, мыла посуду, молодой Ронан протирал вымытое. Парна, его мать, мела пол, а Ронана, его сестра, девочка лет двенадцати, сидя у стола, читала книгу.

Вид у Дорны был рабочий: рукава закатаны по локоть, руки влажно блестели.

Я поздоровался с Парной и молодым Ронаном. Наши взгляды на мгновение скрестились, но, я думаю, в них было больше теплоты, чем обычно во взглядах, которыми обмениваются мужчины в подобных щекотливых ситуациях. Чувства каждого из нас не составляли никакой тайны для другого.

Совершенно очевидно, Дорна была средоточием жизни в этом доме, когда навещала хозяев, и, конечно, не могла этого не ощущать. Была какая-то натянутость в ее улыбке, в ее деловитости — словом, она слегка переиграла, войдя в роль хозяйки.

Меня усадили на стоящий у стола стул. Ронана, оторвавшись от книги, приветливо улыбнулась мне и снова погрузилась в чтение.

Парна, Дорна и молодой Ронан принялись обсуждать дела на день, и я почувствовал, что Дорна, так сказать, выгадывает для себя лишние свободные часы, сказав, что хотя она могла бы вернуться до ленча, но лучше — к вечеру... Я мысленно поблагодарил ее.

Наконец посуда была перемыта, и Дорна повернулась ко мне, спуская закатанные рукава. Мой взгляд непроизвольно скользнул по гладкой коже ее маленьких красных рук.

— Хотите взглянуть на место, где скрывался Дорн? — спросила она.

Я сказал, что конечно да, стараясь вспомнить, почему именно он там скрывался.

— Только сначала перевезем на тот берег Ронану, моя кухня занимается с ней.

Скоро мы все трое вышли. Девочка на ходу повторяла урок. Она и еще несколько детей каждый день ходили к Дорне-старшей, и мы высадили Ронану на каменных ступенях пристани Дорнов.

Восточный бриз слегка рябил воду. Я поставил мачту и развернул парус. Поворачивая рулевое весло, мы отплыли, впрочем куда и как надолго, я не знал, а Дорна не спешила объяснять.

Выйдя из гавани в проток, мы повернули на запад. Теперь ветер дул сзади. Мало-помалу напряжение мое ослабло. Дорна была все такой же, и одновременно в ней появилось что-то новое; она тем не менее была удивительно привлекательна. Она вела беседу и как-то так незаметно успела выведать у меня обо всем, что я спохватился только тогда, когда понял, что рассказываю ей о вашингтонских депешах.

Дорна, задающая вопросы, — это тоже было что-то новое. На каком основании министерство заставляло меня отчитываться? Я рассказал о Гэстайне, Эндрюсе и Боди, и о господине, не прошедшем медицинское обследование. Дорна была в недоумении. Я добавил, что и моим собственным поведением недоволены.

Дорна долго и пристально смотрела на меня, во взгляде ее сквозили озабоченность и непонимание.

— Простите, Джон, — наконец сказала она, — но почему вы никак не поладите с ними?

Вопрос заставил меня задуматься. Я мог бы подвергнуть критике отношение моих соотечественников к любым законам, в которых они не видели для себя прямой выгоды, особенно если то были иностранные законы; но я не хотел. Дорна была слишком проницательна, ведь удалось же ей интуитивно угадать разницу между рационально объясняемыми расхождениями и моей лежащей в основе эмоциональной чужеродностью, заставлявшей меня быть «не в ладу» с некоторыми соотечественниками.

— Думаю, они недовольны тем, что я прилагал не слишком много усилий, чтобы развлекать и содействовать всем, кто приезжает сюда.

— Именно этого от вас ждали?

— Да, именно.

И я рассказал ей о дядюшке Джозефе и о том, что он и его друзья-бизнесмены прежде всего заинтересованы во мне как в консуле, мое назначение состоялось не без их содействия, и что, наконец, дядюшка был лично заинтересован моими деловыми знакомствами, и не только ради меня самого, но и рассчитывая затем сделать меня своим представителем, успешная деятельность которого напрямую зависит от его деловых связей.

— Его мечта — это что я когда-нибудь стану торговым представителем его фирмы в Островитянии. Пост консула для него лишь первый шаг.

Говоря, я вспомнил все, что было мной передумано в этой связи, и особенно слова Дорны, сказанные в Городе, во дворце. Она сказала тогда, что есть люди, готовые биться за свои

интересы не на жизнь, а на смерть. Я внимательно следил за ней, ожидая похожего, резкого, эмоционального выплеска.

Однако Дорна продолжала холодно, изучающе глядеть на меня.

— Значит, вы здесь не просто как консул, Джон? — спросила она. — Вы сказали, что ваш дядя действовал отчасти и в ваших интересах?

— Да, Дорна. По крайней мере, так это представляется мне.

— У него есть дети?

— Сын, юрист, и дочь, она замужем.

— Может быть, он хочет, чтобы вы унаследовали его агентство. (Слова «бизнес» или «фирма» в островитянском не было.)

— Не думаю, хотя — кто знает, — ответил я. — Но ясно, что он разочарован, поскольку я не сошелся ближе с американскими изыскателями и не попытался приспособить закон к их нуждам. Вполне возможно, что у него — свои люди в министерстве. Письма они с дядюшкой шлют очень похожие.

— Но почему вы здесь — только консул, Джон? Почему не делаете того, что от вас ждут?

— Дорна! — воскликнул я. — Скажу вам прямо. Я не давал своему дядюшке никаких обещаний перед поездкой сюда. Конечно, я понимаю, что можно рассматривать консульский пост и как средство, но я не обязан, ради чего или кого бы то ни было, превышать свои полномочия. Дорна, есть серьезные причины, из-за которых я хочу оставаться просто консулом!

Я прервался, чтобы перевести дыхание: слишком уж явно ощутил я присутствие этих причин.

— Но когда я узнал, как вы относитесь к торговым агентам, я не могу и не смогу пытаться стать одним из них.

Дорна моргнула.

— Значит, это из-за меня? — спросила она.

— Да.

— Не из-за моего деда или брата?

— Честное слово! — воскликнул я, пристыженный. — Это ради вас, Дорна!

— Мне жаль... — начала она.

Я следил за ней. Губы ее сжались. Глубокие, почти старческие морщины обозначились вокруг рта. Она слегка приподняла голову. Сердце мое билось, я чувствовал, что сделал что-то не то. Если бы я мог просто сказать, что люблю ее!

Но тут же я поймал себя на том, что думаю по-английски. Смог ли бы я произнести островитянское слово *ания*? Это значило бы, что я хочу ее в жены, я, который не мог дать ей ничего. Вряд ли было бы подходящим и слово *ания*, означавшее, что я хочу ее, хотя и это была правда...

Дорна подняла голову. Лицо ее было спокойно. Она взглянула на меня и улыбнулась уклончивой, манящей улыбкой.

— И все же я очень рада, Джон, — сказала она и внезапно добавила: — Да ведь мы еле двигаемся. Не хотите ли сесть на весла?

Я изо всех сил налегал на весла, чувствуя внутреннее облегчение. Вряд ли мне удалось бы яснее выразить свою любовь. Глядя ей в лицо, я видел, что Дорна понимает это: сидя на корме, у руля, она то и дело смотрела на меня с ласковой улыбкой.

Мы плыли узкими протоками к западу от Острова. Огромная полусфера над нами сияла ровной синевой.

Я взглянул на девушку. Боже, и всего-то несколько слов: «Дорна, я люблю вас!» И болота, и синяя вода, и небо словно уговаривали меня: скажи!

Дорна сидела вполоборота ко мне, глядя на убегающую назад пенную струю, уверенно держа руль крепкими загорелыми руками, и профиль ее четко вырисовывался на фоне синей глади воды. Волосы были гладко зачесаны назад, косу скрывал капюшон.

Какое-то время спустя Дорна подрулила к берегу, и мы сошли, привязав лодку к воткнутому в рыхлую землю веслу. Впереди виднелся невысокий холм, густо поросший соснами. Этот лесистый островок лежал к юго-востоку от острова Дорнов, отделенный от него протоком.

Мы пересекли заболоченную полосу. Дорна шла свободно, упруго шагая, и, казалось, платье не скрывает ни одной линии ее тела. Мое чувство успело качественно измениться, и обуревавшие меня в Городе желания казались теперь призрачными порождениями фантазии, игрой взбудораженных нервов, по сравнению с темным биением крови, которое я ощущал сейчас.

Дорна, улыбаясь, шла впереди, углубляясь в сосняк по узкой, похожей на оленью, тропе. Скоро деревья плотно обступили нас, скрыв болота; небо далеко просвечивало сквозь хвою крон. Деревья стояли неколебимо, как пирамиды, тесно переплетая ветви и сучья; короткие, твердые, темные иглы топорщились тугими пучками. Потом перед нами открылась поляна, поросшая жесткой, бурой, вымерзлой травой, сквозь которую тем не менее пробивалась юная зелень.

Дорна остановилась и взглянула вверх. Веки ее были полуприкрыты, но она улыбнулась мне рассеянно-вежливой улыбкой. Я тоже стоял, не шевелясь, глядя на Дорну. Она же светилась тем ни на что не похожим внутренним светом, какое излучают любимые люди, тем светом, который превращает человека в некое слепящее видение и обостряет оттенки всех цветов вокруг. Позади нее темной стеной стояли сосны.

— Я думаю, здесь они и прятались, — сказала Дорна, — Конечно, деревья выросли новые, а вот поляна, должно быть, осталась. Есть места, где сосны не растут, они остаются бесплодными на века. Здесь именно такое место.

Поляна поднималась вверх, и, взобравшись по склону, Дорна обернулась и помахала мне рукой. Я догнал ее и взглянул туда, куда она указывала.

— Отсюда можно было следить за усадьбой, — сказала Дорна. — В те времена деревья росли не так тесно.

Внизу, чуть пониже места, где мы стояли, широко раскинулся сосновый лес; по-над сосняком виднелись холмы, на которых стояла усадьба Дорнов, и самый из них высокий холм с башней.

— Они видели, как горит усадьба, — глухо прозвучал голос Дорны. — И если бы карейны, искавшие их повсюду, подошли слишком близко, они могли бы укрыться за деревьями, закрывая мальчику рот ладонью. Впрочем, они говорят, он почти все время спал.

Так, по частям, знакомился я с историей Дорна лорда Нижнего Доринга, бежавшего во время одного из нападений карейнов сюда вместе с женой, семимесячным сыном и двумя слугами.

Дорна села на траву, а потом, без всяких церемоний, откинулась, заложив руки за голову и вытянув ноги. Стоять при этом было как-то неловко, и я тоже сел, примостившись рядом.

— Это одно из тех мест, куда я иногда прихожу, — задумчиво сказала она. — Дедушка говорит, что я все выдумала и это вряд ли то самое место.

Я глядел на ее запрокинутое лицо; мышцы шеи были расслаблены. Где они, платонические мечты?.. Сейчас мне достаточно было нагнуться и прильнуть, обнять это беззащитное тело.

— Вы слышали их историю? — спросила Дорна.

Я вкратце рассказал все, что мне было известно.

— Он был паршивой овцой в стаде, — начала девушка. — Пожалуй, хуже него не было среди нас с тех пор, как мы спустились в долины. Он бросил всех и хотел спасти собственную усадьбу за счет других, но потерял и ее.

Голос Дорны стал низким, вибрирующим. Резко оттолкнувшись, она села.

— Но он спас последнего Дорна, последнего из нас. Вот что оказалось в нем сильнее всего остального. И род наш продолжился. Его называли себялюбцем, а потом он впал в немилость. Но ему ничего бы не стоило спастись одному, если бы не семимесячный младенец. И жена. У них могли быть еще дети. Но он решил иначе. Малыш был настоящим Дорном. И он хотел, чтобы этот ребенок вырос. Он не просто рисковал своей жизнью. Все было продумано, и от своего плана он не отступал. Да, это был мудрый человек! Он спрятал младенца в капюшоне, привязав его и завязав ему рот. Ночью он дополз до протока и переплыл его. Усадьбы на западе горели, и он повернул на север. Вплавь перебрался через Эрн. Дул сильный ветер, и волны захлестывали его. Когда он добрался до берега, ребенок не шевелился. Он чувствовал его только по тяжести за плечами. Без сил, он лег на землю. Потом потрогал ребенка руками — тяжелый, неподвижный комок. «Отзовись, если ты жив!» — крикнул он тогда. И младенец забил ножками. Тогда он встал и пошел дальше. Усадьбы на севере тоже пылали. Он повернул на восток. И там бушевало пламя, но материк был его единственной надеждой. Он шел, переплывал протоки, а днем стоял по плечи в воде, потому что карейны рыскали по болотам. Ребенок был голоден, и ему нечем было накормить его. Когда наступила ночь, он снова пошел вперед так быстро, как мог, потому что не знал, долго ли ребенок сможет обходиться без еды. К полуночи он увидел сожженную ферму, но там осталась старуха и корова. Они надоили молока и стали выхаживать ребенка. На следующий день он двинулся дальше, и теперь карейны уже не могли настичь его.

Один этот ребенок вмещал весь род Дорнов! Конечно, у них могли родиться и еще дети, но жизнь этого была куплена такой дорогой ценой. Это был сильный и крепкий ребенок, и Дорн знал это. В этом младенце, Джон, был и мой прапрадед, приведший первых поселенцев, и тот Дорн, который не отступил, впервые столкнувшись с огнестрельным оружием, и мой двоюродный дед, и мой брат. Пусть, пусть он был себялюбцем. Но он спас род, просуществовавший века. Жизнь уступила его воле!

Дорна вскочила.

— Ах, уйдемте скорее отсюда! — воскликнула она.

Мы вернулись к лодке, и на этот раз на весла села Дорна. Расставив ноги, упершись в шпангоуты, она гребла уверенно и сильно, и весла звучно всплескивали, погружаясь в воду. Лицо ее было сумрачно, хотя улыбка уже проступала на губах.

Она попросила, чтобы я сел к рулю, а когда я спросил, куда править, ответила: «Куда хотите, но только подальше от берега!» Мы двинулись на юг, в глубь болот, и пожалуй, я вряд ли смог бы так долго грести без перерыва.

Берега стали круче, протоки — уже, и я окончательно утратил все ориентиры, так часто мы поворачивали. Мне приходилось неотрывно следить за рулем, потому что Дорна налегала то на правое, то на левое весло и надо было все время быть начеку, чтобы не врезаться в берег.

И все же, в конце концов, я загнал лодку в глухой проток. Берега надвинулись на нас с обеих сторон, и я крикнул Дорне, чтобы она остановилась.

Она подняла весла и рассмеялась, тяжело, прерывисто дыша...

— Вы захватили что-нибудь поесть? — спросила она.

— Нет! А надо было?

— Все прекрасно. Я сама не ожидала, что мы уедем так надолго. Впрочем, у меня есть

немного шоколада.

Им мы и перекусили, а потом развернулись и поплыли назад. Дорна нехотя призналась, что устала, и мы поменялись местами. Я тоже чувствовал себя усталым, правда не только оттого, что долго рулил. Дорна сама согласилась приехать к ленчу через пару дней и сказала, что хотя у брата наверняка какие-нибудь более интересные планы, но ей хотелось бы вместе со мной посадить семена, которые мне прислали.

Я попрощался с Дорной у причала Ронанов. Почти с облегчением я отпустил ее, но чувство легкости мгновенно улетучилось, как только Дорна скрылась за стволами сосен, шагая все той же легкой, быстрой походкой, словно позабыв про долгий, утомительный путь. Было едва за полдень, а мне предстояло прожить еще целых два дня без нее.

И все же любой срок конечен, даже срок ожидания. Дел было много, и я чувствовал себя — в чем способствовали мне окружающие — совсем как дома. На следующий день мы с Дорном обошли кругом весь остров. Каждая мелочь требовала внимания: тут нужно было подправить плотину, там — посмотреть, как растет трава на лугах, дают ли завязь фруктовые деревья, как растут молодые посадки. Все это давало ему повод вслух размышлять о многом. Я слушал, брал на заметку то, что было мне интересно, и про себя считал часы.

К вечеру собрались облака и пошел дождь, теплый, легко морозящий, и затянулся так надолго, что я испугался — как бы не сорвался наш план относительно посадок. Однако на следующий день погода выдалась отличная. Солнце взошло на ясном небе. Я встал рано, чувствуя, что счастлив.

Дорна-старшая спросила, не соглашусь ли я рассказать ее ученикам что-нибудь насчет Соединенных Штатов или вообще, что захочу. Занятия проходили в большой комнате в юго-восточном крыле дома. Окна ее частью были обращены в сад Дорны, влажно блестящий после ночного дождя, частью — на выгон, за которым, вдалеке, виднелся континент, залитый ярким солнечным светом. Большой, старинный, тяжелый стол, отполированный ученическими локтями за много лет, стоял посередине. Здесь не было никаких парт, и дети рассаживались как хотели, но зато было множество книг (толстые, на островитянский манер, переплеты казались делом рук библиофила, заботящегося о долговечности своей коллекции), на стене — карта Островитянии и несколько глубоких, мягких кресел, стоявших у окон. И все же это было похоже на школу, потому что дети (а им было от семи-восьми лет до пятнадцати) все равно всегда — дети. Учеников у Дорны-старшей собиралось около дюжины.

Я рассчитывал проговорить часа полтора, но скоро обнаружилось, что строгого расписания здесь не соблюдается. Сев в конце стола, я начал рассказывать. Меня слушали внимательно, но, как мне показалось, больше из приличия. Через какое-то время некоторые из малышей, устав, пересели в кресла у окна. Дорна тоже под села к ним. Старшие начали задавать вопросы. Я забыл о том, что хоть это и школа, но школа особенная. В перерыве двое мальчиков и девочка попросили рассказать об играх американских детей. Особенно их заинтересовали состязания в беге. Вернувшись с ними в класс, несколько запыхавшийся, я снова был засыпан градом вопросов.

Наконец настало время ленча. Когда я, как сделал бы любой американец, стал извиняться перед Дорной-старшей за то, что так резко нарушил программу урока, она была в некоторой растерянности, и только тут до меня дошло, что никакой «программы» по сути и не было. Ученики просто схватывали на лету то, что им было интересно.

Я заторопился к себе наверх — умыться и переодеться. Время свершило свой круг, и меня снова охватила дрожь счастливого нетерпения.

Дорна опоздала, незаметно скользнув на свое место, когда остальные уже приступили к

еде. После утренних занятий Дорна-старшая словно переменялась, раздумываясь и оживленная. Ей хотелось выговориться, и все внимательно слушали ее. Она же говорила обо всем: о методах обучения, о характерах отдельных учеников, о разных проблемах и забавных случаях.

После ленча Дорна-младшая сказала, что надо обязательно надеть сапоги, и по-девчоночьи, не дожидаясь ответа, выбежала из комнаты. Когда мы вышли в сад, она была уже в мужском костюме. Высокие сапоги из мягкой, водонепроницаемой кожи кончались выше колена, так что Дорна могла опускаться на сырую землю, не боясь замочиться. В сапоги были заправлены широкие, как юбка, бриджи. Куртка доходила до половины бедер, но, так как было тепло, Дорна скоро ее сняла. Обернув косу вокруг головы, она заколола ее обломленной веточкой. Теперь можно было начинать.

Дорна была ослепительна, и, глядя на нее, я не мог налюбоваться, хотя и испытывал некоторую неловкость: вид в бриджах у нее был несколько неуклюжий, а потом, я не привык к ее ногам без юбки, к тому, как тесно облегает одежда ее бедра, к тому, что на ней — одна лишь тонкая блузка. Не могу сказать, чтобы она особенно нравилась мне такой. Выбившийся кончик косы топорщился хохолком, как у индейца, ступившего на тропу войны, и смотреть на нее, сохраняя серьезность, было абсолютно невозможно. Я, пожалуй, и хотел бы быть серьезным, но Дорна желала веселиться.

— Сегодня идеальная погода для посадок! — заявила она, обходя сад и присматривая место. То и дело она становилась на колени, отворачивала пласт влажной земли, и я тоже наклонялся, вдыхая влажный, густой запах.

Как мы дурачились! Какие поводы для веселья не придумывали! Я буквально задышался от смеха, слушая, как Дорна произносит английские слова, — не с тем, чтобы поиздеваться над ними или же моим произношением; нет, она просто смаковала их, произнося на неведомый лад и тем потешая нас обоих. «Алиссум! Ах, милый Уильюм!» (надо учесть, что ни одно слово в островитянском не оканчивается на «ум»). «Армерия! Арабис!» Каждый звук, будь то гласный или согласный, она произносила мелодично и отчетливо. Наконец, встав на колени, чтобы рыхлить землю, сказала:

— Уильюм — явно мужское имя! А какие у вас еще имена?

Я назвал несколько имен, чтобы услышать, как она станет выговаривать их.

— Артюр! Ри-ича-ард! Ди-ик! Джо-зеф! (А не Джозиф).

Потом она стала на разные лады произносить мое имя. Тут появились сначала «Дзан», потом «Джан», но в отличие от других оно никак не давалось ей, хотя было видно, что она старается.

— Давайте посадим алиссум здесь! Алис-сум! — она немного протянула конечное «ум», и мне захотелось поцеловать ее старательно сомкнутые губы.

Дорна встала. Я держал в руке пакетик с яркой картинкой, изображавшей цветок в идеале, и руководством, напечатанном тонким шрифтом под ней. Дорна подошла и встала рядом. Солнце лило на нас потоки горячих лучей. Пахло землей, и еще я ощущал запах, идущий от Дорны. Колени и руки были выпачканы землей. В одной руке она держала облепленные глиной вилы. Она попросила меня прочесть английскую инструкцию, сама заглядывая мне через плечо. Стоило кому-то из нас пошевелинуться — и мы коснулись бы друг друга. Я набрал воздуха и начал медленно и торжественно, словно читал стихи. Дорна наклонилась, чтобы следить по тексту, и я почувствовал легкое, но вполне явственное прикосновение ее руки и ее дыхание.

— Что тут написано? — тихо спросила она.

Я перевел.

Дорна подняла на меня глаза. Взгляд их был пристален и сосредоточен. На чем? На словах

чужого языка?

— Можно я возьму? — почти прошептала она. Я дал ей листок. Руки у нас обоих двигались неуверенно, неловко, словно ощупью, в темноте.

Дорна взглянула на дом, повернулась, отошла и, снова встав на колени, стала сажать семена. Я глядел сверху на неловко завязанную на голове косу, сбившуюся набок.

— Мой *дарсо* должен распуститься дня через четыре или пять, — сказала Дорна.

— Это тот, что Сомсы прислали вам из Лорийского леса?

Она указала вилами на мощный пучок длинных узких листьев, из которого поднимались высокие стебли с продолговатыми бутонами.

— Вы успеете увидеть? — спросила Дорна. Мы ни разу не заговаривали о том, как надолго я приехал. — Сколько вы собираетесь у нас пробыть?

— Я должен вернуться в Город шестнадцатого октября.

— Тогда вы точно увидите мой *дарсо*. Он такой красивый!

Она казалась довольной, а я — я был счастлив, глядя на ее руки, влажные, в земле, быстро и ловко рыхлящие землю и разбрасывающие семена.

Почему вдруг именно тогда я решил сказать Дорне о приглашении Наттаны? В ту минуту у меня не было ни малейшего желания ехать к Хисам. Я сказал, когда получил приглашение и что согласился, не взвесив все хорошенько, думая, что у меня будет больше времени.

— Значит, они вас ждут? — спросила Дорна тоном друга, намеревающегося дать совет.

— Я не сказал, что не приеду.

— Она сама приглашала вас?

— Она сказала, что они все хотят меня видеть. Мы несколько раз писали друг другу.

Я не сказал, хотя и был соблазн, что Наттана прислала письмо первой.

— Как вы думаете: это она приглашала вас с их согласия, или просто они передали приглашение через нее?

Я не решился сказать, что действительно думаю, чтобы отвести подозрение от Наттаны, но Дорна и не дала мне ответить.

— Конечно, они сказали вам, что их дом — ваш, в марте.

— Да.

— Я не хочу, чтобы вы ехали, — тихо сказала Дорна, и мое сердце забилося, как и несколько дней назад. Снова остро захотелось высказать разом все наболевшее.

Но тут я услышал, что Дорна потихоньку напевает, на коленях передвигаясь вдоль грядки и разравнивая землю ладонью.

— Если, конечно, это может повлиять на ваше решение, — шутливо добавила она.

— Может!

Итак, решено: к Хисам я не еду.

Неожиданно Дорна рассмеялась.

Мы продолжали сеять, то сходясь, то расходясь на разные концы грядок, меж тем как солнце постепенно клонилось к западу. Песня Дорны звучала громче, непредсказуемая и непринужденная, как птичье пение. Когда она пела, голос ее звучал глубже, напоминая мне голос ее брата, певшего под завывания ветра, когда мы плавали вдоль побережья штата Мэн.

Вдруг Дорна встала. Я смотрел на нее снизу вверх, пока она поправляла свою импровизированную заколку и тоже глядела на меня.

— Чуть не забыла! — сказала она. — Я обещала вернуться и помочь Парне. Сегодня у Ронанов день гостей. Приедут все Парны и Корнинги. Хотите — приезжайте тоже. Они будут рады, хотя других разговоров, кроме как о последнем дожде, я вам не обещаю.

— Вы думаете, мне стоит поехать? — спросил я. Пусть последнее слово останется за ней.

— Да, — быстро сказала Дорна. — Приезжайте к ужину. Я их предупрежу.

Она никак не могла сладить с землей и попросила меня помочь. Я подошел. Дорна глядела на меня, подняв руки, беззащитная, и мне захотелось обнять ее, тихо прижаться к ней всем телом. Она покорно наклонила голову. Вытащить заколку было легко, только несколько волосков никак не хотели распутываться.

Подняв голову, Дорна взглянула на меня и вдруг потупилась.

Потом поблагодарила.

— Я останусь и закончу, если вы мне доверяете? — спросил я.

— Конечно, лучше закончить сегодня. Так вы будете у Ронанов к ужину?

Я пообещал быть, и Дорна уже повернулась, собираясь уйти.

— На вашей заколке осталось несколько волосков! — крикнул я ей вслед.

— Я знаю. Оставьте их себе!

— Я их тоже посажу.

Мы оба рассмеялись, но я едва сдерживал дрожь.

Ужин и последовавший за ним вечер у Ронанов показались мне бесконечными. Хозяева были рады видеть меня, но затем (Дорна оказалась права) разговор почти исключительно сосредоточился на дождях. Теперь-то болота оживут... Скоро стало ясно, что Дорны для меня как бы и нет; она вся ушла в заботы о гостях, была разговорчива, легка и держалась совершенно как дома.

Наконец мне настало время идти, наступил один из тех малоприятных моментов, когда человеку приходится выбирать между соблюдением приличий и желанием сказать кому-то заветные слова. Я подождал, пока Парны, тоже собравшиеся уходить, скроются за поворотом дороги, и попрощался с Ронанами и Парной, поблагодарив их за гостеприимство. Потом обернулся, чтобы поблагодарить и Дорну, но она, не слушая меня, подошла к дверям и вышла вместе со мной.

— Очень хорошо, что вы пришли, — сказала она, переступая порог и прикрыв за собой дверь.

— Мне хотелось прийти.

— А мне — видеть вас здесь.

Мы говорили почти шепотом.

— Когда я снова увижу вас, Дорна?

— Оставьте завтрашний день для брата, а для меня — послезавтра.

— Послезавтра — ваше! — воскликнул я.

— Можно будет пройтись, покататься на лодке или верхом, смотря по погоде. Я буду у причала после завтрака. А вы захватите что-нибудь для ленча.

Я не знал, что ответить... Минуту спустя Дорна ласково пожелала мне доброй ночи и ушла в дом, а я бросился вниз по дороге, сам не свой от переполнявшего меня счастья.

Как и было условлено, следующий день я провел с Дорном. С утра мы поехали в Эрн за почтой и припасами. Ветер то задувал сильнее, то совсем стихал и постоянно менял направление. Вряд ли я мог составить хорошую компанию, настолько все мои мысли были заняты Дорной. Можно было бы заставить себя забыть про нее, но думать о ней было слишком приятно.

Вернувшись, мы поехали прогулять лошадей и самим проехать по ферме. Когда стало жарко, мы свернули на запад, в сосновый лес, где было что-то вроде пруда, разделись и наскоро выкупались в ледяной воде. На обратном пути езда вновь разогрела меня, и, хотя и усталый, я чувствовал себя освеженным.

Время шло к пяти. Подобно своим хозяевам, я привык обходиться без часов, лишь изредка заботясь завести свои, путем сложных вычислений сверяя их с большими водяными часами, стоявшими в Башенном зале, но чаще полагаясь на развившееся внутреннее ощущение времени. Если не вмешивались какие-либо экстренные обстоятельства, я мог, или полагал, что могу, определить время очередной трапезы, ошибившись разве минут на двадцать.

Войдя в свою комнату, я увидел Дорну.

— Я подумала — может быть, вы хотите пройтись, — начала она. — Я пришла, чтобы... — она запнулась. Я предложил ей сесть. Дорна быстро села, я — тоже, наблюдая за ней со своего кресла и ожидая, пока она закончит.

Дорна засмеялась.

— Ронаны — хорошие друзья, но мы слишком разные! Я стараюсь держаться как член семьи, когда навещаю их, потому что знаю — им это приятно, но не хочу слишком уж часто доставлять им такое удовольствие...

Она снова запнулась, слегка покраснев.

— Если бы я перестаралась, старый Ронан и Парна опять стали бы говорить про то, как хорошо, если бы у них была взрослая дочка. Вот я и сбежала.

Я улыбнулся.

— Вы ведь сами видели, — утвердительно сказала Дорна.

— Да, вам, должно быть, тяжело держаться там естественно.

Глаза ее расшились, она опустила голову.

— Еще хуже, если приезжает кто-нибудь «из этих».

Я вспомнил, что «из этих» значит кто-нибудь из обитателей ферм, расположенных на болотах Доринга.

Теперь стало понятно, почему она пришла, и соответственно ее приглашение оставалось в силе.

Впрочем, может быть, я устал после прогулки верхом?

На это я отвечал, что после купания чувствую себя вполне бодрым.

— Жаль, что меня не было с вами! — сказала Дорна. — Я не купалась с прошлой осени. Пойдемте к башне. На болота стоит взглянуть сверху.

Выйдя, мы прошли через сад, где гладко коричневели места новых посадок, потом углубились в сосняк...

И вот мы стояли на башне. В косых лучах солнца расстилалась, сколько хватало глаз, ровная матово-зеленая поверхность болот, местами темно-изумрудная, и пурпурные тени облаков плыли по ней. Дорна облокотилась на парапет. Я вспомнил, как в последний раз, когда мы были здесь, она восторженно говорила о своей любви к Острову. Наверное, то же чувствовала она и сейчас. Мне же было никак не справиться с неким внутренним отчуждением; ведь хотя я и мог, до определенной степени проникаясь состоянием Дорны, чувствовать красоту болот, но все-таки это был ее, а не мой мир. Я был здесь чужак. И еще одно, то, что я, наверное, не забуду никогда, припомнилось мне здесь, на башне. Это были руки Дорны, крепко сжатые, отливающие шелковистым загаром. Стоя здесь, я смотрел на них и на саму Дорну, расслабленную и отсутствующую, не такую изящную в эту минуту, но еще более дорогую, еще более желанную.

— Век бы стояла здесь! — воскликнула она глубоко растроганным голосом. — Никогда еще я так не любила эти места.

— Я понимаю, Дорна.

— Вы и правда думаете, что можете понять? Вам нравится здесь, Джон?

— Ах, Дорна, я люблю эти места всем сердцем, и не только из-за вас.

Долгая пауза. Я затаил дыхание. Дорна сдавленно рассмеялась. Руки ее разжались.

— Помните, что случилось, когда мы были здесь в последний раз? — спросила она неожиданно дрогнувшим голосом.

Сердце мое замерло, потом учащенно забилося. Рука Дорны, лежавшая на парапете вверх ладонью, придвинулась к моей.

— Да, как раз это и случилось, — шепнул я, стараясь придать своему голосу шутливый тон.

Я взял ее руку. Ладонь Дорны покорно, почти безвольно скользнула в мою, потом пальцы ее тесно переплелись с моими. Краски вокруг полыхали, все запертые двери распахнулись настежь. Теперь я мог говорить, если бы смог подобрать слова и если бы это было нужно. Я держал в своей руке руку Дорны.

Она была теплой, слегка дрожала, но не пыталась вырваться. Я видел вспыхнувший румянцем изгиб ее скулы — разящий меня острый клинок. По руке я чувствовал, как глубоко и прерывисто она дышит...

— Дорна! — начал я, но где мне было отыскать в чужом языке то единственное нужное слово...

— Прошу вас! — со стоном вырвалось у нее, и она резко отдернула руку. Потом быстро отвернулась — и вот мы уже спускались по винтовой лестнице. Дорна шла впереди.

— Дорна! — окликнул я ее.

Мы стояли внизу, у подножия башни. Я старался заглянуть в лицо девушке, но она отворачивалась.

— Дорна, послушайте!

— Нет! Нет!

Она смеялась, она задышалась от смеха.

— Нет, Джон! Нет, нет, нет!..

Сосняк кончился, пошел буковый лес. Я мог бы схватить ее, остановить, заставить выслушать меня, но руки и голос отказывались повиноваться, ведь это была Дорна. Нет, я не мог.

Единственное, что оставалось, это покорно идти за ней, и словно почувствовав это, Дорна замедлила шаг. Мы прошли через ворота так, словно ничего не случилось, вежливо придерживав створки, но сад, где мы недавно сажали цветы, виделся мне зыбко, как в тумане.

— Я пойду назад, к Ронанам! — Голос ее прозвучал сурово, едва не срываясь на крик. — И не смейте идти за мной дальше! Я бы никогда не позволила, чтобы это случилось!

— Дорна, завтра...

— Нет! Мы не можем! Я не могу теперь! Отпустите меня, Джон!

— Прощайте, — сказал я, давая понять, что она может идти.

— Ах, нет! Мы еще увидимся, я все объясню, но теперь я должна идти.

Она повернулась и стала удаляться. Это было мучительно — видеть, как она уходит... Я пошел взглянуть, не распустились ли бутоны *дарсо*. Но видел я одно — идущую по буковой аллее Дорну, взволнованную, смятенную, спешащую прочь...

Тяжело вновь окунуться в повседневные заботы после такого потрясения, когда едва приоткрывшиеся двери вновь захлопнулись перед тобой; но мне пришлось, и вышло удачно, и я даже несколько гордился тем, как естественно удается мне держаться. Я говорил со всеми так, словно ничего не произошло. Никто ни о чем не догадался, но, когда Марта обмолвилась, что Дорна приезжала от Ронанов, явно рассчитывая, что кто-нибудь спросит, почему, голова у меня на мгновение закружилась.

Всю эту ночь ум мой беспомощно и мучительно метался в лабиринте догадок, но ничто не

могло затмить красоты Дорны, красоты, которая на мгновение была моей.

Настало утро, и когда я спустился вниз, слишком рано для завтрака, слуга передал мне, что Дорна хочет видеть меня после завтрака на пристани. Возможно, мы все же проведем день вместе...

В воздухе веяло отдающей железом стылостью. Снова затопили камины, а на улице суровый, порывистый западный ветер раскачивал ветви ив и буков, уже покрытые молодой листвой, трепещущей, пестрой.

Пройдя между эллингами, я увидел Дорну. Она сидела на каменном кнехте и глядела на воду. Я надеялся, что она будет в плаще, с корзинкой, готовая к долгой прогулке, но, конечно, надеялся зря.

Никогда я еще не видел этой глубокой морщины, что пролегла теперь у нее между бровей, и таких глубоких теней под глазами.

Она встала, повернулась ко мне.

— Джон, — сказала она, не давая мне заговорить, — мы должны вернуть все на свои места, чтобы все было, как до вашего приезда.

Мне стало тревожно и радостно, ведь так или иначе это значило, что что-то переменялось, и не только во мне, но и в ней.

— И не только ради вас, но и ради меня, — добавила Дорна. — Я не могу сказать вам, зачем, кроме того, что уже говорила... словом, это все тот же мой «вопрос».

— Но когда он решится, Дорна?

— Летом, когда соберется Совет, — сказала она, не глядя на меня, — или несколько недель спустя.

Это означало, что мне придется ждать еще три месяца, причем оснований для новых надежд не предвиделось.

Дорна стояла, прижав руки к груди, глядя на сцепленные пальцы.

— Я вела себя нечестно, — сказала она.

— Прошу вас, не думайте так! — воскликнул я.

— Да. Я виновата, я дала повод думать, что чувствую к вам *apiatu*. Простите.

Сказав это, она быстро взглянула на меня.

— Мне так жаль, вы не можете себе представить!

Выражение ее лица сделалось скорбным. Видеть это было нестерпимо.

— Не жалейте, Дорна!

— Вы слишком добры ко мне, Джон!

Со стороны могло показаться, что мы ссоримся, хотя в умоляющем взгляде Дорны читалось одно желание — найти правильные слова, сделать что-то, в то время как я всем сердцем взывал к ней, моля о более милостивом приговоре. Она обрекала меня на три месяца жалкого, мучительного ожидания, еще более тяжелого, чем раньше: то, что произошло, лишь разбередило мою страсть.

— Не беспокойтесь об этом, Дорна.

— Ах, Джон!

Ее взгляд сверкнул, она отвернулась и продолжала, стоя ко мне спиной:

— Я ничего не могу для вас сделать, ничего, по крайней мере сейчас. А мне так хотелось. Как все это нечестно, несправедливо! Единственное, что остается, это чтобы вы сделали что-нибудь ради меня, что-то, что мы должны сделать. Но я прошу вас не потому, что вы должны. Мне это нужно самой! Вы поедете к Хисам?

Я даже не сразу понял, что Дорна отсылает меня.

— Я поеду, если вы этого хотите.

— Я этого хочу? Ах, Джон!

Она умолкла, потом заговорила более спокойно.

— Мне хочется, чтобы вы остались, но ради себя прошу — уезжайте. Может быть, так будет лучше и для вас.

Почему она не оставляла за мной права на благородный поступок, на жертву? Ведь своими интересами я пренебрег.

— Я поеду завтра, раз вы просите.

— Именно потому, что я прошу? — с надрывом воскликнула она.

— Конечно, Дорна!

Наступило мертвое молчание. Все было кончено. Я знал, какими долгими могут оказаться порой три месяца.

— Я должна вернуться к Ронанам, — сказала наконец Дорна. — Вы, наверное, уедете рано. Я приду попрощаться с вами.

— Если для вас это слишком рано...

— Я хочу прийти, Джон!

Дорна сбежала по ступеням к причаленной внизу лодке — той самой, которую красил старый Ронан.

Я мог гордиться своим самообладанием — никто ничего не заподозрил. После предварительной репетиции я холодно сообщил Дорну и Файне, что уезжаю.

Днем Дорн пригласил меня прокатиться на лодке. Ветер наконец-то оказался достаточно сильным, налетая порывами то с запада, то с северо-запада. Дойдя до Эрна, мы пересели в маленькую лодку; ее сильно кренило, она постоянно зарывалась носом в буруны, вздымая столбы брызг, так что парус вымок по крайней мере наполовину. Мы шли близко к подветренному берегу. Внезапно показалась лодка. Дорна сидела у руля, на леере. Прежде чем парус скрыл ее, она успела помахать нам рукой. Она была мокрой с ног до головы, волосы слиплись прядями, босые ноги то и дело окатывало водой, платье прилипло к телу. Молодой Ронан работал черпаком.

Для него у нее нашлось время, которого не нашлось для меня.

Надежда на то, что что-нибудь помешает моему отъезду, что Дорна снова захочет, чтобы я остался, не покидала меня до последней минуты. Утро выдалось прохладное, облачное; я встал и готов был выехать уже к половине седьмого. Решили, что Дорн будет сопровождать меня до Доринга. Завтрак подходил к концу, когда вышла Дорна, свежая, с разлитым по лоснящейся коже румянцем.

Между нею и братом произошла небольшая стычка.

— Удалось вычерпать воду? — спросил Дорн не очень-то любезным тоном.

— Да, — коротко отвечала Дорна, — но мы чуть не перевернулись.

— При сильном ветре не стоит плавать на таких скорлупках. Рискованно.

— Почему?

— Можно хорошенько искупаться.

— Ну, и что тут страшного?

Казалось, Дорна начинает сердиться.

— А можно и утонуть. Вода еще слишком холодная.

— Хуже было бы потерять лодку. А выкупаться мы и так собирались.

Голос Дорны снова звучал ровно, спокойно. Обернувшись ко мне, она пристально на меня посмотрела. Уж не знаю, что именно она хотела выразить своим взглядом, но он был суровым, хотя и лишенным упрека, может быть, слегка пристыженным, но через мгновение снова стал

открытым и ласковым.

Нам так и не удалось ни на минуту остаться одним. Я не знал, как это сделать; Дорна, видимо, не хотела помочь мне.

— До свидания, Дорна.

— До свидания, Джон.

Так прощались мы, когда я уже сидел в седле, а Дорн все еще возился, приторачивая свою суму.

Глаза Дорны равнодушно скользнули по мне, и когда мы выехали из ворот, я увидел на середине буковой аллеи ее быстро удалявшуюся легкую, ладную, но все же понурюю фигурку.

Никогда еще я так остро не ощущал резких перепадов в интенсивности ощущения жизни. Настоящее всегда было реальным, сегодня — точно так же, как вчера, и завтра наверняка все будет таким же. Но с тех пор, как я попал к Хисам, атмосфера призрачности сгущалась. Это место утратило живую яркость, и почти все Хисы, даже Наттана, казались раскрашенными куклами, беспорядочно движущимися передо мной.

Поначалу это беспокоило, походило на некое наваждение, болезнь, но мало-помалу я привык и, даже невзирая на разлуку с Дорной, жил не без приятности.

В конце концов рядом был друг — Наттана. Даже больше чем друг, она была скорее сестрой, чье присутствие всегда успокаивает душевную тревогу, — сестрой совершенно очаровательной.

Первый день тем не менее можно было считать полным провалом. Я никак не мог внутренне настроиться на общество Наттаны. Мы вышли прогуляться, и поначалу она была разговорчивой и старалась расшевелить меня, однако закончилась прогулка в полном молчании. Впрочем, если Наттана и осталась недовольна, ей удалось это скрыть. Она сказала, что я, наверное, устал с дороги и лучше мне будет пораньше лечь спать.

Следующее утро выдалось прекрасное, по-настоящему весеннее, и нам обоим захотелось выбраться из дому. Долина сияла; пастбища, раскинувшиеся на дальних склонах, ярко зеленели, а вершина Хисклорна, вздымаясь над лесами, на фоне глубокого голубого неба, слепила белизной. Воодушевление Наттаны, по крайней мере в виде легкого беспокойства, сообщилось и мне, и, захватив завтраки, мы оседлали двух хисовских лошадей и стали спускаться в долину, следуя вдоль русла реки, переехали мост, под которым свивались пенные струи, а затем вновь вверх, вокруг усадьбы Хисов, чьи сложенные из бурого камня стены словно вырастали прямо из земли, — кусочек цивилизации, окруженный пустотой, и дальше — к подножиям гор.

В первом письме Наттана писала, что Хисы редко совершают прогулки по правому берегу. Когда я напомнил ей об этом, она рассмеялась:

— Мы могли бы захватить ружье. Вряд ли тут действительно опасно. Я только хотела сказать, что обычно мы редко ездим здесь, разве что некоторые, а девушки одни — вообще никогда.

— Значит, мы — «некоторые»?

— Вряд ли.

Конечно, у меня и в мыслях не было повернуть назад; напротив, во мне возникло новое, еще неведомое чувство — беззащитности, и захотелось ощутить в руках дающую уверенность тяжесть оружия, чтобы в случае чего быть в состоянии защитить ехавшую рядом девушку. Я старался не позволять ей отъезжать слишком далеко.

Наттану, как мне показалось, забавляли эти полувывымышленные опасности.

На другом склоне Хисклорна, милях в тридцати от усадьбы, располагалось поселение Шу, где жило несколько сотен горцев. Хотя на много миль вокруг не было свободных от снега перевалов, а горцы избегали передвигаться по снегу, они могли отважиться и неожиданно напасть на нас. Я представлял, как они шныряют по лесу, в который мы углублялись.

Каменистая дорога по-прежнему вела нас вверх. Слева, полускрытые деревьями, показались несколько домишек. Лес сгущался. Я заметил, что местные жители, должно быть, чувствуют себя не слишком уютно.

— Они все ушли, — сказала Наттана. — В долине у них родственники, и они переселились к ним. Но как только гарнизоны вернутся, вернутся и они. Вы знаете, что горцы особенно охотятся за островитянскими девушками? — неожиданно добавила она.

Я почувствовал новый приступ тревоги и решил быть начеку.

Узкая, вьющаяся тропа довела нас до того места, где нам пришлось спешиться. Больше часа еще карабкались мы вверх по горе. Воздух стал разреженным, холодным, а деревья — более низкорослыми. Наконец мы добрались до конечной точки нашего пути — поросшей деревьями каменистой осыпи с впадиной, из которой тек ручей талой снежной воды. Снега лежали близко, чувствовалось их холодное дыхание, но солнце лило на скалы свой горячий, яркий свет. В других впадинах во множестве цвели в густой синевато-зеленой листве голубые и белые альпийский цветы.

Найдя на припеке место, защищенное от ветра, Наттана легла на спину и закрыла глаза. Я отвернулся и стал обозревать окрестности.

Далеко внизу лежал Хис, как ржавое кольцо на лоскуте зеленой материи. Дома казались кусочками красного и белого сахара. Прямо напротив, но только выше, милях в тридцати, протянулся Большой хребет во всей своей красе.

Я вздрогнул от внезапного недоброго предчувствия и резко обернулся. Наттана лежала, по-прежнему закрыв глаза, разомлевшая на солнце, ее вряд ли можно было назвать хорошенькой, но она была прекрасна и нуждалась в опеке и защите. Взгляд мой скользнул вверх по склону, жестко перечеркнувшем голубое небо над нами.

Но, конечно, грозных врагов там не было.

И все же, когда мы завтракали, я не спускал глаз с безлюдного склона.

Наттана сказала, что как-то, несколько месяцев назад, ей пришло в голову, что она заленилась и неплохо бы придумать себе какое-нибудь постоянное занятие. Она решила употребить свои способности к ткачеству и теперь, пока я у них гощу, половину времени будет проводить за работой.

Весь следующий день ливнем лил дождь, и Наттана работала. Не зайти к ней и не поговорить казалось невежливо, но и просидеть весь день, ничего не делая, за одними разговорами тоже было неловко. Я оставил Наттану и засел за письма домой, впрочем постоянно отрываясь: то тщетно ломая голову, что бы такое — одновременно нейтральное и прочувствованное — сказать Дорне, то бродя по дому, то пытаюсь читать.

Наттана появилась к завтраку. Взгляд у нее был отсутствующий, волосы слегка растрепались, и вообще она выглядела как человек, занятый исключительно своими мыслями. Ела она с большим аппетитом. После завтрака я прошел в ее мастерскую с твердым намерением удовлетворить свое любопытство.

Мастерская находилась во втором этаже того же крыла дома, которое оканчивалось конюшнями. Крутая лестница вела в нее из кладовой внизу. Наттана сидела на высоком стуле перед станком с педалями, как органист. В комнате было также нечто вроде верстака, шерсточесалка, кипами лежала шерсть, стояли корытца для красителей. Все окна были открыты, и сегодня тоже. В воздухе тонко перемешались запах шерсти, пряные запахи краски, теплой земли и дождя. Наттана пододвинула мне скамью с высокой спинкой и снова ушла в работу. Усевшись поудобнее, я стал наблюдать за девушкой.

Она сидела очень прямо, на самом краешке стула. Движения ее были выверенны и ритмичны и состояли из трех фаз: правая рука продергивала нить, левая, с помощью рычага, равномерно сдвигала ее вниз, а вытянутая нога нажимала на педаль: щелк-щелк. Потом левая рука продергивала нить, правая тянула рычаг, и двоекратно щелкала педаль.

Ткань была белой, с оттенком слоновой кости; платье Наттаны — зелено-рыжим. Голова ее

едва заметно двигалась в такт рукам, словно кивала, одобряя работу станка, и блики света играли в волосах.

В перерывах между щелканьем педали можно было говорить. Скоро мы поймали ритм, умолкая, когда Наттана нажимала на педаль, и затем вновь возвращаясь к прерванному разговору.

— Я закончил ис — щелк-щелк — торию Соединенных Штатов, Наттана. Ее собираются опубликовать — щелк-щелк — ковать.

Мир и покой царили в комнате. Дождь то затихал, то вновь барабанил по крыше; по краям красных черепиц собиралась прозрачная бахрома капель, которые вдруг, разом, стекали вниз длинными струйками.

Свет скупо сочился из-под полуприкрытого солнечного окна, и в комнате залегли тени. Я позабыл о Наттане. На мгновение вспыхнувшая надежда почти заставила поверить, что Дорна любит меня, и я встречаю любящий взгляд ее глаз, и я, Джон Ланг, вместе с ней проникаю в тайны истинной любви. Мне виделось некое темно светящееся чудо, которое мне было дано испытать, — нечто очень неподходящее и бесконечно более прекрасное, чем те, зачастую предосудительные, связи, о которых я когда-то мечтал.

Быть может, то было смутное чувство вины, быть может, голос рассудка, внушавшего, что, независимо от чувств Дорны, моя бедность и мое инородство всегда будут непреодолимой преградой между нами, — но огонь в душе внезапно погас, и я почувствовал себя как никогда несчастным...

— Почти ничего не вижу.

Смысл произнесенных Наттаной слов дошел до меня лишь спустя несколько мгновений. Будто эхо откликнулось на другие, так и не прозвучавшие слова.

Не без труда вернулся я в тот сумрачный мир, где и в самом деле пребывал. Наттана сидела на стуле, поджав ноги, — темный силуэт на фоне темного окна.

— Что вы сказали, Наттана?

— Да нет, так. Слишком темно — ничего не видно. Отец все переживает из-за моста через реку, но это он всегда так.

— Вода вчера поднялась, — заметил я, помолчав.

— Отец боится паводка. Сегодня слишком тепло.

Какое-то время мы сидели молча.

— Джон? — неуверенно начала девушка.

— Да, Наттана.

— Что-то тревожит вас, мой друг.

Сердце мое затрепетало: меня почти разоблачили, хотя я никому ничего не собирался говорить о Дорне.

— Да, — тихо ответил я.

Наттана отвернулась к окну.

— Если не хотите, можете ничего мне не говорить, Джон.

Голос ее прозвучал ровно, почти безразлично.

— Наттана?

— Да, Джон.

— Я все-таки скажу вам. Я еще никому не говорил.

— Если не хотите... — быстро сказала она. — Но если вам действительно хочется сказать мне...

— Да.

— Я буду рада, и может быть...

Казалось, она в замешательстве. Я начал, осторожно подбирая слова, избегая островитянских обозначений «любви».

— Я хочу жениться на Дорне.

— Вы уже сказали ей это, Джон?

И снова голос Наттаны звучал ровно, почти безразлично.

— Она не дает мне сказать.

Я тяжело вздохнул.

— Не дает вам сказать? — мягко переспросила Нат-тана.

— Нет... мне кажется, она догадывается.

— А она... — начала Наттана и вдруг умолкла.

— Нет, она ни с кем не помолвлена, — ответил я, угадывая смысл ее неоконченного вопроса, — но она...

Я тоже запнулся.

— Это — *ания*? — в голосе ее прозвучала неожиданная боль. Потом, повернувшись и прямо глядя на меня, сказала с чувством: — Ах, Джон, простите! Ну конечно, да!

За что я должен был ее прощать?

— Да, Наттана, — ответил я, чувствуя, как кровь горячо приливает к лицу.

— И она не разрешила вам в этом признаться?

— Да!

Своим ответом я как бы признавал обратное.

В тишине стало слышно, как падают за окном редкие капли. Я не видел лица Наттаны, только темное пятно на фоне сумрачного окна, окруженное мягко светящимся нимбом волос.

— Как хорошо, что вы приехали, Джон.

Я догадался, что она вздохнула, по тому, как поднялись и опустились ее плечи.

— Не знаю, чем вам и помочь.

— Вы и так очень много сделали для меня.

Она улыбнулась — или это показалось мне?

— Нет, — сказала Наттана, — я ничего не сделала, хотя мне очень хотелось бы вам помочь.

Она помолчала.

— Сказать вам, что я думаю, Джон?

— Да.

Я затаил дыхание; что-то пугающее было в ее голосе.

— Я мало знаю Дорну, — начала она нерешительно, — но, мне кажется, вам не добиться ее.

Я и сам знал это, но мнение Наттаны прозвучало как приговор.

— Мне кажется, я нравлюсь ей.

Я употребил слово *амия*, означающее дружескую привязанность.

— Конечно, нравитесь! — воскликнула Наттана так уверенно, что надежда во мне воспряла.

— Почему вы так думаете?

— Разве можете вы не нравиться!

Надежда угасла.

— Не принимайте слишком всерьез то, что я сказала, что вам не добиться ее, — строго продолжала Наттана. — Я действительно не знаю. Но она — единственная женщина в роду Дорнов, даже если у нее нет оснований наследовать титул... Ах, не следовало ничего этого вам говорить. Я слишком мало разбираюсь... Я надеюсь, что вы в конце концов добьетесь ее. Вы и вправду можете. Почему бы и нет?

— Так много «против»! — воскликнул я и, чтобы облегчить душу, с горечью поведал Наттане о неприязни Дорны к иностранцам, о том, что я беден и перспектив у меня мало, о своих конфликтах с министерством, — словом, обо всем...

Наттана слушала, время от времени вставляя сочувственные замечания. Я по-прежнему не видел ее лица, хотя угадывал его дружески соболезнующее, озабоченное выражение.

Когда я, наконец, высказался, Наттана решительно заявила, что работать она больше не может и нам надо пойти прогуляться. Она сама принесет мой плащ и сапоги и тоже переоденется.

— Если кто-нибудь увидит вас сейчас, он тут же обо все догадается.

Порывами налетал западный ветер, развевая полы наших плащей, но дождь почти кончился. Мы шли прямо против ветра, нагнувшись, наклонив головы. Воздух был теплый, землю размыло, так что продвижение вперед давалось с трудом. Я чувствовал, что совершенно без сил, выжат до конца, но рядом был верный друг, Наттана, впрочем державшаяся довольно ровно, стараясь и голосом и всем поведением показать, что она — на моей стороне, показать свою симпатию — *амию*.

Мы дошли до Хиса, стекавшего с перевала Темплина, но спускаться дальше не стали. Река неслась внизу ревушим грязно-желтым потоком.

Простояв какое-то время, торжественно и молча глядя на реку, мы повернули обратно к усадьбе. До ужина было еще далеко, и я поднялся в свою комнату.

Зачем рассказал я Наттане про Дорну? Минутами я укорял себя, чувствовал, что моя любовь теперь отчасти обесценена, и в то же время мне было приятно сознавать, что и Наттана теперь тоже знает, что наша дружба стала прочнее. Она владела моей тайной. Она и никто больше. Она никому ее не откроет. Она сама так сказала, и я верил ей и знал, что она единственная поможет мне, если это будет в ее силах.

Двенадцатого октября я отправился обратно в Город, где меня ждали все те же пароходы, письмо из дому, нотации из Вашингтона, мои консульские обязанности и мое одиночество. Вновь три месяца, как прежде, в ожидании весны и Дорны, только теперь мне будет еще тяжелее. И в те три месяца я любил ее, но то была мальчишеская любовь.

Снова день выдался погожий. Наттана выехала со мной. Мы договорились позавтракать вместе в полдень, где бы он нас ни застал, после чего она должна была вернуться домой. Утреннее солнце только что поднялось в дымке над восточным концом долины. Снежные вершины гор еще розовели на темно-голубом небе. Широкая долина наполнилась приглушенным розовым светом. Лицо Наттаны, прояснившееся, омытое сном, с влажно блестящими зелеными глазами под еще слегка припухшими веками, было и вправду очаровательно; когда же солнце, снопами золотых лучей просеиваясь сквозь отливающую сталью хвою, падало на ее волосы, они вспыхивали ярко, как медь.

Мне, горожанину, казалось, что не может быть лучше судьбы, чем вырасти на таких прекрасных просторах, не тронутых человеком.

За все это утро любовь к Дорне ни разу не заставила больно сжаться сердце, ни разу не внесла беспорядка в мысли. Образ ее был далеким, и я не стремился оживить, приблизить его, зная, что чувство мое лишь притаилось, не утратив своей силы. Наттана, чутко угадывая мое настроение, вела себя раскованно и непринужденно.

Было еще сравнительно рано, когда мы преодолели лесную полосу и въехали в царство сияющего разреженного воздуха, обманчиво скрадывающего расстояния. Острыми, грубыми углами лежали кругом тени скал, между которыми росли альпийские цветы и травы. Снежные языки спускались по склонам. Надменные белые вершины, по-прежнему далекие, казались ближе.

Дорога петляла по крутому склону широкой лощины. Хис неся, раздавшись бурным потоком.

Появилась возможность перемолвиться парой слов с Наттаной. Лошадь под ней, более крупная, сейчас шла медленнее Фэка, который слегка опустил голову и быстро продвигался вперед. Мне приходилось сдерживать его, так как несколько раз, оглядываясь, я замечал, что моя спутница отстает. Она ехала не только за мной, но и ниже меня, и я видел ее румяное лицо и ярко-рыжие волосы на фоне зеленым ковром раскинувшейся долины.

Мы достигли верхней точки перевала меньше чем за три часа. Солнце стояло уже высоко.

Здесь можно было ненадолго спешиться. Вершина горы есть нечто само по себе законченное, но, достигнув ее, приходилось начинать спуск, в то время как перевал — не конечная точка, а лишь миг, начало нового пути. Поэтому преодолевать перевалы интереснее, чем покорять вершины.

Свои смутные мысли на этот счет я попытался изложить Наттане.

— Может быть, но не для меня, — ответила она. — Я — возвращаюсь.

— Как бы я хотел, чтобы мы и дальше ехали вместе!

— Я тоже! Я даже подумывала, уже не доехать ли мне с вами до Андалов...

— Так почему бы и нет?

— Нет, — усмехнулась Наттана. — Я не могу. Но насчет перевала я согласна... в общем.

— Вы были так добры, что проводили меня, — сказал я, внезапно поняв, какой чести удостоился. Наттана тратила на меня целый день.

Девушка взглянула на меня с искренним удивлением.

— Рано еще меня благодарить. Я собираюсь ехать с вами, пока не наступит время обеда...

И вообще благодарить меня не за что, — добавила она, садясь на лошадь.

Мы спустились в долину, неглубокую, однако скрывающую из виду все, кроме верхушек скал. Ручей, постепенно расширяясь, бежал по дну.

Я крикнул Наттане, что, пожалуй, интересно было бы увидеть долину, по которой не протекал бы ручей. Как я и рассчитывал, шутка пришлась ей по вкусу, она рассмеялась.

Похожий на молодые, неокрепшие ивы кустарник, еще без листвы, стал показываться во впадинах и по склонам. Холодный, резкий воздух потеплел. Часа через два, когда мы подъехали к видневшейся вдаль роцце, настало время ленча.

Хисы так часто ездили этой дорогой, что у них было свое, уже много лет назад выбранное место стоянки. Недалеко от дороги плоский выступ скалы спускался от низкорослых старых сосен к ручью. Корни деревьев образовывали как бы естественные сиденья. Солнце мягко пригревало камень, а сзади, среди сосен, где не было ветра, можно было поставить лошадей.

Мы уселись поудобнее и достали завтрак, который захватила с собой Наттана. Еды было достаточно, и разной, но всего было в меру. Мы оба проголодались. Мясной рулет, печенье с орехами, простой ржаной хлеб. Сыр и сушеные фрукты показали особенно вкусными, а красное вино, несколько крепче обычного, согрело меня — я немного замерз.

Было бы невежливо, подумал я, не сказать Наттане, что она была более чем добра ко мне в этот мой визит, и особенно, что решила проводить меня сегодня. Облокотившись о корни и чуть откинувшись назад, девушка слушала мои излияния, изредка на меня поглядывая. Когда я закончил свою речь, она улыбнулась.

— Я сделала все, чему вы учили нас, когда приезжали в марте. Как вы говорили? «За успехи»?

Я присоединился к ней и выпил за ее успехи тоже.

— Вино вас взбодрит, — сказала Наттана. — И еще я взяла вам книжку. Она у меня там, в сумке. Напомните, а то я забуду.

И она рассмеялась.

Мы встали рано, путь был неблизкий, и теперь, после еды и горного воздуха — а подниматься в гору, пусть даже верхом, дело нелегкое, — я почувствовал, что меня клонит в сон, и сказал об этом Наттане. Она согласилась, что тоже не прочь бы вздремнуть.

— Но времени у нас мало, — продолжала она. — Вам еще ехать и ехать, так что скоро снова в дорогу.

Потом зевнула, прикрыв рот рукой.

— Пора вам собираться.

Голос ее звучал ровно, а глаза, полусонные, блестящие, улыбались.

Мы вернулись к лошадям. Наттана сложила остатки завтрака и фляжку в мою суму. Мне не хотелось прощаться.

И сам того не ожидая, я признался ей в этом.

— Но я хоть чем-то помогла вам, правда? — спросила Наттана.

— О да, конечно!

Она на минуту задумалась.

— Что же, если вам не удастся то, чего вам так хочется, не забывайте Хисов.

— В любом случае я помню о вас.

Наттана рассмеялась.

— Я чуть не забыла про книгу, — добавила она, стоя рядом со своей чалой лошадкой, в пестряди солнечных пятен и тени, а ее рыжие волосы сверкали, падая на зеленый воротник. Достав небольшой томик, она вложила его в мою суму.

— Спасибо, Наттана, — сказал я, подходя и помогая ей сесть в седло.

— Если у вас не будет настроения написать мне сразу, — не спешите, — сказала она, уже сидя верхом.

— Я напишу, — быстро ответил я.

— Пишите хотя бы время от времени. Я буду рада. — С этими словами она развернула лошадь. — До свидания, Джон.

— До свидания, Наттана.

Садясь на Фэка, я следил за тем, как Наттана едет вдоль выступа скалы. Путь ей предстоял далекий. Она была дорога мне, она была настоящим другом, а я так и не сумел ей об этом сказать.

Когда тем же вечером, добравшись до усадьбы Андалов, близ Темплина, я распаковал свою суму, книжка Наттаны выпала обложкой вниз. Я поднял книгу, она была заложена листком бумаги. Не знаю, была ли это специальная закладка и вообще была ли она вложена Наттаной.

Книга оказалась сборником притч Годдинга, жившего в начале восемнадцатого века. Открыв ее на заложенном месте, я прочел: «Жил некогда *тана* по имени Алан, который полагал, что умрет, если не добьется некой женщины...» Совершенно не настроенный на подобное чтение, я быстро захлопнул Годдингову книгу. Наттана проявила себя не слишком тактичной, однако теперь это мало что значило. Мысли мои были полны Дорной, и я сгорал от нетерпения поскорее добраться до дому. Ничто теперь не остановит меня! Это была моя последняя надежда. Должность консула приносила небольшой доход, и средства у меня были скудные. Каково бы ни было отношение Дорны к иностранцам в целом, я должен был по крайней мере стать преуспевающим иностранцем. Она сожалела об упущенных мною возможностях. Что ж, теперь я не упущу ни одной и смогу хотя бы стать для нее опорой.

Наутро следующего дня я продолжил свой одинокий путь, и чувство какого-то нового счастья переполняло меня при мысли о Дорне и принятом решении. Фэка приходилось уже временами понукать, и, когда после ночевки в Ривсе мы выехали на последний отрезок нашего

пути, я был доволен не меньше него, что наконец возвращаюсь домой, где смогу начать работать ради Дорны.

По словам Джорджа, ничего особенного за три недели моего отсутствия в консульстве не произошло. Нарушение министерских предписаний никого не беспокоило, да и вряд ли могло беспокоить в будущем, поскольку, не очень-то задумываясь, правильно я поступаю или нет, я ничего и никому не собирался рассказывать. К тому же и пароходы шестнадцатого и восемнадцатого не доставили никаких новых укоряющих или критических депеш из Вашингтона. Единственно, меня информировали о том, что в конце месяца новая группа американцев прибывает на яхте мистера Лэтхема, и просили, чтобы им были созданы самые благоприятные условия. Пришло длинное письмо от Дженнингса, где он сообщал о сборе образчиков для «Плавучей выставки». По тону чувствовалось, что Дженнингс доволен ходом дела; он писал, что мечтает поскорее вернуться. На пароходе прибыли также двое моих соотечественников в качестве коммерческих наблюдателей и несколько любителей экзотики. Так что вернулся я вовремя. Предстояло много дел, дававших возможность приступить к осуществлению планов, намеченных у Андалов.

И вот американский подданный Джон Ланг принялся увеселять и развлекать своих компатриотов общим числом семь человек. Он посетил их всех в гостинице и предложил каждому свои услуги. Группой любителей экзотики предводительствовал некий весьма состоятельный человек из Чикаго, взявший с собою дочь, ее компаньонку и секретаря. С ними все было просто; к тому же их опекало агентство Кука. Двум наблюдателям был оказан еще более радушный прием. Они занимались автомобилями, и прежде всего их интересовало состояние островитянских дорог.

Все это заняло немало времени. Хотя приезд Дженнингса ожидался не раньше чем через два месяца, имело смысл как можно скорее начать переговоры по фрахту судна для выставки, по подбору экипажа, разработке маршрута и развернуть самую широкую рекламу, что отнимало у меня еще больше времени. Часть сил уходила на то, чтобы уладить въездные проблемы группы Родрика Лэтхема. Здесь главным образом пришлось позаботиться о медицинском освидетельствовании. Я постарался устроить так, чтобы медицинскую комиссию возглавлял человек с большим достоинством и не меньшим чувством юмора.

В связи с этими делами я почти перестал бывать в консульстве, проводя долгие часы в агентстве. Новый круг знакомств несомненно мог пригодиться мне, стань я когда-нибудь сам агентом одной из компаний. Кроме того, следовало заботиться и о Фэке, который требовал регулярной разминки. Я не собирался повторять зимние ошибки. Оба мы должны быть теперь в форме.

Дни текли неспешно, но с какой-то неотвратимостью, дававшей ощущение покоя; неотвратимо приближался тот далекий день, которого я так боялся. Через неделю после возвращения я написал Дорне. Было трудно удержаться и не дать ей понять, прямо или косвенно, что я люблю ее. Перечитывая некоторые страницы, я видел, что нахожусь на грани, и рвал написанное. В конце концов письмо получилось даже гораздо прохладнее, чем я намеревался. Отсылая его, я прекрасно понимал, что это всего лишь набор бесцветных слов. Я подробно отчитался о своем визите к Хисам, о своих занятиях там, о времени, проведенном с Наттаной. Дорна должна была знать обо всем, кроме того, что я доверил Наттане свою тайну. Я писал также о красоте Острова, старался показать, как глубоко мои чувства, моя любовь к этому месту созвучны чувствам Дорны. Под конец я сообщил о решительном намерении как можно активнее заняться своей карьерой. Только тут речь действительно шла «от первого лица»:

«Не знаю, простите ли Вы меня, но мне не остается ничего иного, что могло бы помочь мне добиться того положения, которое я должен занимать, чтобы получить то, о чем мечтаю больше всего на свете. Вы сказали, что жалеете об упущенных мной возможностях. Это придало мне сил заняться тем, чем я занимаюсь сейчас. Я хочу сказать только, что надеюсь на Ваше понимание. Если бы даже Вы сказали, что рады, смею думать, Вы поймете, что я ни в каком случае не предпринимаю никаких действий, которые могли бы повредить Вам. Конечно, лучше, если бы у меня была иная возможность, но я не вижу другого пути».

Письмо ушло. То, что после стольких усилий оно было наконец написано, походило на новое расставание, ведь пока я его сочинял, между нами как бы шел внутренний разговор; но то, что оно было сейчас на пути к Дорне и я знал, она прочтет его и ответит, делало ее гораздо ближе, чем зимой.

Конечно, следовало написать и Наттане; это было легче. Я рассказал, как добрался, как живу сейчас, и еще раз благодарил за все.

«Дафна», яхта Родрика Лэтхема, должна была прибыть в конце октября. Мы готовились принять ее как можно лучше. И только яхта бросила якорь, я был немедленно оповещен и отправился на лодке вместе с врачами, которые должны были освидетельствовать пассажиров и команду. Моя задача, разумеется, сводилась к тому, чтобы быть «буфером» между американцами и островитянами и по возможности смягчить шок, ожидающий новоприбывших.

Утро выдалось не из приятных. Все мои усилия облегчить процедуру совершенно не были оценены, ведь я даже не попытался, подумайте только, вовсе отменить ее. И я абсолютно напрасно доказывал, что отменить освидетельствование не властен никто. Ведь я даже не пробовал, откуда мне было знать? Надо было хотя бы попытаться.

Попытка, разумеется, не дала бы результата, и все же попробовать, видимо, стоило. И теперь я винил себя в том, что не предпринял этой бессмысленной попытки.

Освидетельствование шло своим чередом. Унижение, претерпеваемое моими соотечественниками, нуждалось в компенсации, и они вымещали свое негодование, проклиная меня на все лады. Да и я не испытывал особого удовлетворения, когда по окончании процедуры Лэтхем пригласил меня на ленч и, дабы показать свое великодушие, сказал, что, раз уж все обошлось, не стоит и вспоминать о былом.

Большую часть следующей недели я обхаживал Лэтхема и его спутников. Занятие это было неблагоприятное: я никак не мог отделаться от чувства, что мнение обо мне уже заранее сложилось нелестное, а я слишком поздно изменил манеру поведения.

Несколько недель яхта стояла на якоре в гавани, вызывая косые взгляды местных жителей, и числа двадцатого ноября отплыла в Феррин.

Мой фактический провал, естественно, не добавил мне энтузиазма. Почта из Вашингтона, прибывшая с пароходами второго и четвертого ноября, лишь усугубляла мое подавленное настроение: все мои грехи как консула были расписаны самыми черными красками и меня снова и снова упрекали за то, что я слишком поздно принялся обвораживать нужных людей, могущих помочь мне делать карьеру бизнесмена.

Переход от весны к лету, первый для меня в Островитянии, был прекрасен, и тем досаднее, что я не мог в полной мере почувствовать эту красоту. Почти каждый день я совершал верховые прогулки по дельте. Воды залива сверкали летней синевой. Мне особенно нравилась одна дорога, ведущая на запад к маленькой красивой бухте и песчаному мысу. Ездил я и по северной дороге, в направлении усадьбы Кэлвинов. Листва деревьев и трава в полях делались все гуще и

зеленее. Но, совершая все эти прогулки, я глядел вокруг глазами обреченного человека. Вашингтонские чиновники были вне себя от негодования. Да, судьба могла сыграть со мной злую шутку, и в день, когда Дорна будет наконец согласна, я могу лишиться всех прав пребывать далее в ее стране!

Через две недели после того, как я отправил Дорне письмо, пришел ответ. Лучшего я не мог и ожидать. Она писала, что довольна, что я решил продвинуться на дипломатическом поприще и по возможности завести приятельские отношения со всеми прибывающими коммерсантами. Ни о каком «прощении» не стоило заводить и речи. Она ни в коем случае не собиралась осуждать меня за то, что я в случае, если Договор лорда Моры будет утвержден, постараюсь укрепить свое положение в Островитянии. Мысль об утверждении Договора была ей столь же ненавистна, как и то, что я могу отказаться от исполнения своего долга как истинного американца. Затем, покончив с этими вопросами, она с неожиданной легкостью перешла к подробному описанию своего сада, наших посадок, того, как на болотах наступает лето, и я до боли ясно представил себе уже такой знакомый Остров.

Я сразу же сочинил ответ, постаравшись с юмором описать визит мистера Лэтхема и хотя бы отчасти — ту красоту, которой, увы, я не мог вполне насладиться во время моих прогулок по дельте.

Девятого декабря вновь собирался Совет. Как я уже говорил, декабрьское заседание считалось более значительным, чем июньское, собирало большее число участников, и на нем обсуждались вопросы внешней политики. Островитянская весна подходила к концу.

Завершался годовой цикл моей жизни в Островитянии. Цветы, распустившиеся к моему приезду, теперь были в бутонах. Мой сад должен был вот-вот зацвести, а те, что были видны мне через западную стену, уже пестрели желтым и синим, а кое-где красным.

Вечером восьмого, без предупреждения, появился Дорн. Я не сомневался, что он приедет, но совсем не ожидал, какую новость он привезет. Он сообщил мне ее почти сразу. Когда человек ждет оправдания или смертного приговора, а вместо этого ему сообщают об отсрочке, он испытывает одновременно облегчение и разочарование.

Я провел Дорна в его комнату, и, умываясь перед ужином, он рассказал мне о новостях. Его двоюродный дед уже был в Городе. Сам Дорн добирался через Темплин вместе с лордом Хисой, Айрдой, Хис Эком и Эттерой. В Ривсе они встретили лорда Файна. Наттана велела передать, что любит меня (речь шла об *амии*), и к ней присоединились Некка и Неттера. Неожиданно голос Дорна посерьезнел.

— Сестра хочет, чтобы ты приехал к нам, когда закончится Совет, — сказал он.

— Значит, сама она не приедет в Город?

— В этот раз нет. Она говорит, что у нее много работы по саду. И еще сказала, чтобы я обязательно взял тебя с собой.

Я был в совершенной растерянности. Что она имела в виду? Может быть, «вопрос» решился в мою пользу и она считает, что Остров — именно то место, где лучше всего сообщить мне об этом? Но Совет будет заседать по меньшей мере десять дней, а пароходы, которые я никак не должен был пропустить, прибывали второго и четвертого января. Таким образом, я не мог покинуть Город до четвертого числа, то есть примерно еще четыре недели.

— Больше она ничего не просила передать?

— Нет, — коротко ответил Дорн.

— А как она вообще?

— Прекрасно. Выглядит вполне счастливой. Ей очень хочется тебя увидеть, не сомневаюсь. Если ты поедешь вместе со мной, я смогу уделить тебе какое-то время. Думаю, у меня будет свободна примерно неделя, но после первого мне придется уехать.

Я сказал Дорну о пароходах. Он только улыбнулся.

— Сестра просила, чтобы ты приезжал как можно скорее.

Чувство облегчения было сильнее, чем разочарование. Приглашение Дорны обнадеживало. Я не мог поверить, что она просила меня совершить столь долгое путешествие только ради того, чтобы сказать, что «вопрос» решился не в мою пользу. Вдохновленный этими мыслями, сбросив груз недобрых предчувствий, я испытывал прилив сил, необходимых для предстоящей мне в ближайшие недели работы.

Сами по себе ожидавшие меня дела были волнующи и интересны. Прием во дворце, на следующий вечер, был не менее блестящим, чем полгода назад. Юный монарх играл свою роль все с тем же почти вызывающим мальчишеским озорством. Но не было Дорны, с которой я мог бы поделиться своими наблюдениями. Тем не менее знакомых и друзей оказалось множество. Островитяне чередой проходили мимо наших лож, и я был рад вновь видеть лорда Файна, который настойчиво приглашал меня приехать и погостить у него подольше; всю семью Стеллинов — и почувствовать, как предательски забилося мое сердце при воспоминании о том, как эта стройная, ясноглазая молодая женщина поцеловала меня; лорда Бейла, упрекавшего меня за то, что я так и не выбрался его навестить; увидеть знакомые лица Хисов; лорда Дорна, Сомсов; лорда Мору, и его жену, и мою принцессу, и многих, многих других.

На следующий день после открытия Совета появилась моя книга. Это была маленькая, тоненькая, дилетантского вида книжечка, и, едва раскрыв ее, я заметил на ее белых страницах печатки; и все же это было мое дитя, и я гордился им, гордился двадцатью авторскими экземплярами, доставленными мне на дом, и весь вечер провел за упоительным занятием, подписывая и отправляя книги тем, кому собирался их подарить. Четыре экземпляра уехали в Америку: в Гарвардскую библиотеку, домой, дядюшке Джозефу и Глэдис Хантер.

Семнадцатого Совет не собирался, и мы смогли посмотреть спортивные состязания на Ярмарочной площади.

Впервые я получил возможность взглянуть на островитянскую толпу. Возле овальной формы поля, расположенного в северной части Города, неподалеку от резиденции Моров, возвышалась только одна трибуна. Зрители размещались на трибуне, просто стояли вдоль береговой дорожки либо наблюдали за происходящим из окон или садилов на крышах близлежащих домов. Публика вела себя тихо. Раздавался лишь приглушенный шум разговоров между забегами и приветственные выкрики, не сопровождаемые аплодисментами, после их окончания. Причем приветствовали участников только после того, как последний пересекал линию финиша. Тогда над полем раздавался низкий доброжелательный и довольный гул, так непохожий на наши визгливые, истеричные крики. Женщин среди зрителей было не меньше, чем мужчин. Соревновались победители подобных же состязаний в провинциях, то есть лучшие из лучших. В предыдущие дни проводились забеги на короткие и средние дистанции, бег с препятствиями, соревнования по прыжками и бои фехтовальщиков. Мы стали свидетелями стайерского забега на дистанцию пять миль и толкания ядра. Женщины в состязаниях не участвовали, хотя мне рассказывали об одной девушке, которая, правда, хоть ни разу и не становилась победительницей, была очень сильна в спринте. В забеге, который мы видели, принимало участие около сорока спортсменов, собравшихся со всей Островитянии. Они были в сандалиях и коротких штанах цвета соответствующей провинции, но без рубашек. Загорелые и поджарые, они бежали тесной толпой. Мне трудно было судить о темпе забега, но один из моих спутников сказал, что он очень высок.

Толкание ядра происходило в центре большого овала. Спортсмены тоже были в коротких штанах, но босиком. Смотрелись они великолепно. Ядра весили до двадцати пяти фунтов. Иногда два вполонину меньшего веса ядра соединялись железным стержнем, и их бросали, а не

толкали, как в Америке или в Европе.

Глядя на состязающихся, я заметил знакомую черную бороду и гладко расчесанные, с идеально прямым пробором посередине волосы. Это был Дон из Верхнего Доринга, которого я видел на перевале Лор. Остальные казались еще мощнее и больше, хотя и Дон был мужчина не из мелких. Но хотя Дон и выглядел не таким крупным, прекрасное сложение и идеальные пропорции в дополнение к поразительной ловкости и мастерству уже седьмой год подряд доставляли ему чемпионский титул. Я испытывал невольную гордость оттого, что знаком с таким обаятельным и выдающимся атлетом.

Шестнадцатого декабря из Биакры на «Св. Антонии» прибыл Дженнингс с грузом для «Плавучей выставки». Корабль, предназначенный для нее, стоял в доках Виндера, полностью укомплектованный провиантом, с капитаном и командой.

Сам Дженнингс был полон сил, энергии и выглядел еще элегантнее, чем полгода назад. Вместе с ним приехал его помощник, Гарри Даунс, и оба так и рвались осмотреть корабль, называвшийся «Туз». Таможенный досмотр еще не успел подойти к концу, а они уже были на борту судна, а я, оставив их, поспешил наверх: начиналось очередное заседание Совета.

Весь этот вечер я посвятил компаньонам. Они пришли ко мне на ужин, но разговаривать с Дженнингсом не было никакой возможности.

— Джон, ты — чудо! Мы все чудо! Все чудесно! — не уставал повторять он, заверяя, что все в полной готовности, лучше и быть не может, и его круглое лицо плутоватого херувима не переставало лучиться улыбкой.

Сразу же после ужина он ушел, оставив меня с Даунсом, обговаривать детали. Он улыбался, подмигивая и не скрывал, что собирался навестить свою даму.

— Полгода я ждал этого момента, — говорил он, — и ничто теперь меня не остановит. Решайте все побыстрее. А я — лечу на крыльях любви.

Он ушел, и надо сказать, что видеть его нескрываемое нетерпение человеку влюбленному было не очень-то приятно.

Даунс сразу сказал, что он до такого рода дел не охотник.

Главное для нас было сделать все, чтобы островитяне поняли назначение выставленных образцов. Мне вряд ли удалось бы часто присутствовать на корабле; Дженнингс знал островитянский неважно, а Даунс не знал вовсе. Целыми часами я составлял параллельные — на английском и островитянском — описания сельскохозяйственной техники, сепараторов и маслобоек. Даунс размещал экспонаты на судне, среди них — немалую часть тиража моей «Истории». Мы детально обсуждали, как будем вести переговоры о продаже. В промежутках я посещал заседание Совета и званые обеды. Это были самые занятые дни из всех, проведенных в Островитянии, и отнюдь не самые несчастливые, хотя работы было слишком много даже для небольшой передышки. Деятельность, воздвигавшая преграды между Дорной и мной, была мне противна.

Через десять дней, двадцать шестого декабря, «Выставка» открылась для первых посетителей. Ими стали торговые агенты, члены Совета и представители дипломатической колонии. Островитян было немного, поскольку двадцать третьего Совет закрылся: но все консульства и миссии прислали свои делегации, и от агентов не было отбоя. Я на первых порах играл роль гида. От Даунса пользы было мало, а Дженнингс просто разочаровал меня. Он никак не мог смириться с мыслью, что ему придется покинуть Город вместе с «Выставкой».

Через пять дней судно отправилось вверх по Ривсу. Я остался. Безусловно, почин можно было считать успешным. Посетителей было много, и все проявляли интерес. При желании Дженнингс мог объясняться с публикой даже несмотря на свое далеко не совершенное владение языком.

В первое время я чувствовал себя значительной фигурой. Практически все иностранцы и островитяне слышали о моей книге. Иногда до меня даже доходили читательские отзывы: так, например, в день спортивного праздника некий фермер из Дина неожиданно обратился ко мне, сказав, что читал «Историю». Плавание «Туза» тоже снискало мне известность, хотя подозреваю, что некоторые из моих коллег-дипломатов втайне завидовали мне; вряд ли иначе они стали бы так подчеркнуто расхваливать нашу расторопность.

Несколько дней после отплытия «Туза» прошли сравнительно спокойно; потом меня ждал удар. Ровно через год после моего появления в Островитянии «Св. Антоний» доставил письмо из Вашингтона, положившее конец всем моим надеждам. И случилось это накануне того дня, когда я собирался отправиться на Запад.

Господин из министерства, распоряжавшийся моей судьбой, обозревая мою деятельность в качестве консула, изложил ее по пунктам, напоминая обвинительный приговор. Я не имел права пожаловаться, что не был информирован о прибытии тех американцев, которых не смог опекать должным образом. То, что я не сумел помочь больному джентльмену, не прошедшему освидетельствование; то, что я не сумел оказать необходимую поддержку представителям некоторых американских фирм (конкретные имена не назывались, но явно имелись в виду Мюллер, Эндрюс и Боди); то, что я в недопустимой степени позволил себе сблизиться с лицами и партиями, враждебными американским интересам; наконец, то, что я позволял себе часто отлучаться из Города, — все это вновь обернулось против меня. Совесть моя была чиста, и те же факты в ином освещении могли бы представить иную картину, но это было слабое утешение. В Вашингтоне явно действовали враждебные мне силы, и никакие мои объяснения, никакие оправдательные доводы ни к чему бы не привели. В конце письма недвусмысленно заявлялось, что ввиду важных политических перемен, происходящих сейчас в Островитянии, желательно было видеть в роли консула более искушенного в дипломатических делах человека. Не менее ясно мне давали понять, что мое прошение об отставке будет немедленно принято. Пока же, разумеется, мне предписывалось оставаться на занимаемом посту. И нигде даже намека не было на то, что, измени я свое поведение, мне удастся сохранить место.

В какой-то момент мне даже захотелось навсегда потерять Дорну — тогда мой провал не был бы столь болезненным. Уязвленное чувство, однако, если не принимать в расчет Дорну, имело и оборотную сторону. Ведь если меня сместят с поста консула, у меня останется еще, пусть небольшой, шанс стать торговым представителем. Письма от дядюшки Джозефа, которое могло бы объяснить ситуацию и смягчить удар, не было. Во мгновение ока все воздушные замки, которые я с таким старанием возводил в последние месяцы, растаяли как дым. Я опоздал. Вся моя нерешительная, с оглядкой, консульская карьера рухнула.

Но я все равно увижу Дорну. И тут уже ничто не помешает мне!

Путешествия в одиночку стали для меня теперь привычны. Проще простого было мне упаковать свою суму и уехать из Города, что я и сделал 15 января 1908 года, верхом на верном Фэке, вновь влекомый на Запад, по дороге, по которой мне приходилось проезжать уже трижды, и всегда — с неотступными мыслями и воспоминаниями о Дорне.

Стояло уже настоящее лето, и груз облитой солнцем пышной листвы, густо зеленеющих полей и долгих и теплых дней его был ощутим, когда я проезжал по холмистым равнинам Бостии и Лории. Незавидность моего положения угнетала меня, и перенесенный шок вспоминался больно и часто. Легкое облачко желтоватой пыли мерно поднималось из-под копыт Фэка, их стук размерял замкнутый круг моих мыслей: я потерпел крах, надо смириться, я потерял место, Островитяния не для меня.

В конце первого, казавшегося нескончаемым дня моего пути Город с его трезвыми, практическими заботами канул за горизонт. Я ехал вперед, в мир любви, бодрящей и освежающей душу и чувства.

На четвертый день, когда мы с Фэком двигались вдоль узкого русла Кэннана, чей клокочущий поток ревел и эхо этого рева отзывалось в окрестных холмах, я внезапно ощутил такое полное и до сих пор неведомое чувство свободы, что мне показалось, будто я перенесся в некое новое жизненное измерение. Скоро я сойду со сцены, и мне уже не придется притворяться.

На девятый день мы переехали через перевал Доан, и на спуске навстречу нам задул юго-западный ветер. Дуновение его было столь глубоким и мощным, что, казалось, холмы невесомо парят в воздухе, а краски вокруг стали глубже и насыщенные.

Нетерпеливая мысль, что я скоро увижу Дорну, словно некая огромная рука отогнала все прочие мысли и тревоги, оставив лишь сознание того, что я еду к моей любимой.

Ближе к вечеру я вновь пересек знакомую равнину, усеянную фермерскими участками, и увидел низкие серые стены Эрна. И снова, как прежде, я страстно мечтал, что Дорна встретит меня, и снова так упорно гнал от себя эту надежду, что, увидев «Болотную Утку» стоящей на якоре в маленькой гавани, не мог поверить своим глазам.

Да, Дорна сидела на палубе, расслабленно облокотившись на фальшборт, — взлелеянное моей мечтой виденье — и ждала, ждала меня. Мелкие голубые волны отбрасывали блики, разбиваясь о причал. Река вдали была испещрена белыми бурунами, и, начинаясь от другого берега, расстилалась низменная темно-зеленая пустыня болот.

Я первый увидел Дорну. Голова ее склонилась на грудь; какая-то ее и только ее, ей, Дорне, принадлежащая мысль (я знал это) поглотила ее, и невозможно было представить себе более неподвижной, застывшей позы.

— Дорна, это я, Джон Ланг! — позвал я ее, стоя наверху, у края причала.

Она взглянула вверх, сонно улыбнулась и неохотно, как человек, которого разбудили, не дав ему досмотреть увлекательный сон, встала и подошла к стене пристани. Стена доходила ей до пояса, но не успел я протянуть ей руку, как она легко оттолкнулась и оперлась одним коленом о край. Потом поднялась на ноги, немного неуклюже, но все с той же произвольной слаженностью.

Мир вокруг медленно вращался. Три месяца разлуки несколько исказили образ Дорны. Если она и не была так красива, как рисовалось мне в воспоминании, то теперь, реальная, осязаемая, она поразила мою душу и чувства щемящим ощущением совершенства и полной

естественности.

— Вы уже видели брата? — спросила она своим — ее, Дорны — голосом, звонким, юным, не похожим ни на что на свете.

Выяснилось, что Дорн выехал из Доринга, чтобы провести завтрашний день со мной. Дорна должна была на своей лодке отвезти нас обоих на Остров. Фэка днем позже привезет один из слуг.

Мы отвели лошадь в конюшню на палубе, поджидая Дорна. Я приехал — это было ясно, — чтобы узнать, как решился «вопрос»; однако мне не хотелось спрашивать об этом прямо сейчас, равно как Дорна явно не желала заводить об этом разговор. Она вновь приняла ту же позу, откинувшись на фальшборт, упершись вытянутыми руками в леер.

Без околичностей она попросила меня рассказать о моих впечатлениях от Совета. Дед и брат были слишком заняты, чтобы дать ей подробный отчет. Судя по некоторому недовольному оттенку в ее голосе, я подумал, уж не оставили ли ее мужчины дома намеренно. Теперь и я разделял ее негодование. Рассказ о Совете дался мне легко, и я мог внимательно разглядеть нынешнюю Дорну.

Она словно еще помолодела, выглядела почти девочкой и — в некоем смутном, подсознательном ощущении — чуть больше моей. Взгляд ее глаз казался более искренним и открытым. Ее босые ноги — кожа по-прежнему оставалась тонкой, гладкой, чуть тронутой загаром — уже не казались такими безупречными, и это меня радовало. На голени, у колена, я заметил царапину, явно недавнюю: по краям еще виднелись крапинки засохшей крови. На лодыжке мне удалось рассмотреть несколько синяков и грязное пятно.

Я от души смеялся, совершенно позабыв о предмете своего рассказа. Передо мной была настоящая, живая Дорна — Дорна из плоти и крови, женщина, которую я любил, такая же обыденная и реальная, как я сам.

Время, как всегда, когда мы были вместе, шло незаметно, то быстрее, то вдруг замедляясь. Рядом с Дорной все мои чувства обретали почву — безмятежность и покой.

Наконец появился Дорн, и мы втроем поставили парус. В присутствии брата Дорна неожиданно приумолкла. Разговор теперь поддерживали в основном мы с Дорном, и хотя лодка принадлежала сестре, она уступила ее брату: он был теперь капитаном, а мы с Дорной матросами. Сначала мы, на веслах, вывели «Болотную Утку» из гавани, потому что ветер был противный. Еще немного — и вот мы уже плыли по реке. Большой парус туго напрягся, а мелкая, но упрямая зыбь разбилась о нос лодки, осыпая нас дождем мелких брызг.

Все вместе было так замечательно и я был так счастлив, что совсем не хотелось вторгаться в этот упоительный миг со своими заботами и тревогами и смущать покой Дорны. Только увидев ее вновь, я понял, что моя любовь намного глубже и намного богаче оттенками, чем я предполагал.

В тот же вечер, перед сном, мне удалось наедине перемолвиться с Дорной.

— Нам с вами нужно поговорить, Джон, — сказала она, — но пусть сначала уедет брат.

Дурное предчувствие охватило меня.

Следующий день я провел с Дорном, не выказывая недовольства, поскольку знал, что в оставшееся время ничто не помешает мне быть с Дорной.

Воздух еще больше прогрелся, ветер стих, а небо было по-прежнему ясно. Мы с Дорном отплыли сразу же после завтрака и вернулись только к вечеру, да и то потому лишь, что ветер упал. Мы вошли в гавань чуть ли не с последним его порывом. Я рассказал Дорну обо всех своих официальных неприятностях, даже о том, что мне почти открыто предлагали подать в отставку и я собирался это сделать. Разумеется, это произойдет за несколько месяцев до

появления моего преемника, и даже тогда мне придется задержаться на какое-то время, чтобы ознакомить его с местными условиями. Дорн отчасти винил в происшедшем себя; я же попытался описать ему то чувство свободы и раскрепощенности, которое наконец испытал. Было нелегко убедить его в том, что я не пытаюсь приуменьшить долю его воображаемой вины, но, как бы там ни было, я чувствовал, что с плеч моих снято тяжелое бремя, ведь теперь официальное положение не обязывало меня вынужденно занимать ту или иную позицию по отношению к Договору об открытии страны для торговли с заграницей. Естественно, речь зашла и о моих последующих шагах. Даже если я оставлю занимаемый пост, сказал Дорн, я все равно, в согласии с Сотым Законом, смогу оставаться в Островитянии как гость еще год. Оба согласились, что будет жаль, если мне придется покинуть страну до того, как окончательно решится проблема с Договором. Этого, по крайней мере, мне следовало дожидаться. Дорн уговорил меня составить отчет о моих впечатлениях от Островитянии, беспристрастно описать всю историю борьбы вокруг Договора и предложил свой дом как место, где я смогу спокойно посвятить себя этому труду. Он также весьма мудро заметил, что когда я лишусь официального жалования, то смогу жить практически не тратясь, исключительно нанося визиты моим островитянским друзьям. К примеру, гостя у Хисов или у Файнов. В любом из этих мест я смогу оставаться сколь угодно долго, если сам буду не против и соглашусь принять посильное участие в хозяйстве. На Острове, разумеется, об этом и вовсе не стоило думать.

Вернулись мы во второй половине дня. Разговор с Дорном приободрил меня. С ним я всегда чувствовал себя уверенно во всем, что касалось практических вопросов, каждый раз находя новое подтверждение связывающей нас дружбы. Торжественность новых ощущений, однако, почти не шла в ущерб полному моему счастью.

Впереди было еще полдня.

Дорна тоже уже покончила с делами. Все утро и часть второй половины дня она проработала на солнцепеке в своем саду. Мы нашли ее в большой круглой зале, самом прохладном месте дома. Она лежала на ковре, на полу, раскинув руки, и лицо ее пылало. Увидев нас, она медленно приподнялась.

Мы сидели в полутемной прохладе большой тихой комнаты, не зная, чем заняться, и обмениваясь отрывочными впечатлениями о моей «Истории», которую брат с сестрой сейчас читали. Вряд ли Дорн мог найти в моей книжке какие-либо новые для себя сведения об Америке, но зато в ней было много нового для Дорны. Она сказала несколько сочувственных слов о моем стиле и добавила, что теперь гораздо лучше понимает нашу американскую жизнь.

— У вас тоже бывает жарко? — спросила она.

— Бывает и жарче, — ответил я. — У вас еще терпимо.

Дорн предложил мне пойти искупаться. Вода в дельте еще, должно быть, холодная, но все равно от купания полегчает.

— Можно и мне с вами? — спросила Дорна.

После мгновенного колебания Дорн согласился. Она встала и вышла.

— Пойду достану полотенца, — сказал Дорн. — Встретимся внизу.

Купались обычно на протоке, напротив острова Дорна XV; в отличие от других мест, где берега круто обрывались над водой, здесь протянулась полоска песчаного берега.

Вышла Дорна с полотенцем, накинутым на плечи, как шаль. Коса была закручена в узел на макушке. Я не заметил никаких купальных принадлежностей ни у нее, ни у Дорна, и решил, что будем купаться по отдельности.

Мы прошли среднюю часть усадьбы, пересекли поле, беспощадно палимое солнцем, а потом свернули на западную дорогу, которая вела сначала через пастбище и дальше — через сосновый лес.

— Да, хорошо бы сейчас выкупаться, — сказала Дорна радостным, предвкушающим удовольствием голосом. Жара была не такой уж сильной и довольно сухой, накаляла и высушивала кожу, так что все мы невольно мечтали о блаженном соприкосновении с водной прохладой. Распаленная солнцем, пыльная дорога представлялась чем-то вроде чистилища, вслед за которым нас ожидала райская благодать.

Мы лишь изредка обменивались короткими замечаниями. Дорн что-то тихо напевал. Дорна шла своим широким, свободным шагом, слегка улыбаясь. На ней была бледно-голубая льняная юбка и белая блузка. Пыль оседала на ее гладких белых икрах.

Солнце стояло еще довольно высоко, и тени были короткие. Приземистые, с тугими пучками хвои сосны, и без того почти всегда неподвижные, сейчас совсем застыли, и только темно-зеленые остроконечные иглы дрожали и переливались. В присутствии Дорны моя любовь к ней придавала обыкновенным вещам какое-то новое качество, так что мне казалось, будто я вижу их сокровенную суть, скрыто бьющую в них жизнь.

Неожиданно сосны кончились. Мы стояли перед протоком. На берегу был низкий причал, к которому могло пристать небольшое судно. Напротив полого возвышался остров Дорна XV, где мы бродили с Дорной и она рассказывала мне о бегстве лорда, о его попытке спасти младенца. Слева, изгибаясь примерно на сотню ярдов, тянулся берег, довольно крутой, покрытый крупным желтым песком.

Дорна отошла в сторону, обернув полотенце вокруг шеи. Дорн стал раздеваться. Я никак не мог решиться и наблюдал за Дорной, которая разматала полотенце и бросила его на песок. Вода перед ней отражала голубое, выцветшее от жары небо.

Дорн снял уже куртку и брюки. Чувствуя, что задыхаюсь и кровь сумасшедше стучит в висках, я отвернулся от Дорны и тоже начал медленно раздеваться.

Для брата с сестрой все это явно было совершенно естественно, иначе они никогда бы не повели себя так, и, видимо, они считали, что я уже достаточно свой человек и тоже воспринимаю это естественно.

Я быстро разделся донага. До сих пор я ни разу не видел обнаженной женщины и, насколько знаю, никто из них тоже не видел меня без одежды. Голое женское тело в моих мыслях всегда связывалось с плотской любовью. Для них это было очевидно, не так? Мог ли я подняться до их уровня?

Дорна вся была открыта моему взгляду, но было так же неприлично постоянно отводить глаза, как и назойливо ее разглядывать.

Мы с Дорном, он чуть сзади, подошли к воде. Я хорошо знал его тело, высокое, мускулистое, коричневое от загара, поросшую темными волосами грудь. Он попробовал ногой воду. Потом раздался голос Дорны:

— Холодная!

Обернуться в ее сторону — то, что в другом случае было бы легко и просто, — сейчас было мучительно неловко. Она стояла, недалеко зайдя в воду, глядя на нас без тени скованности или смущения. Без одежды она казалась совсем тоненькой. От кожи ее словно исходило ровное сияние, ложившееся на голубую воду, оранжевый песок, матово-зеленую болотную траву и темную зелень сосен. Не было ни одного уголка ее тела, который был бы мне не виден, оно все раскрылось мне в своей простой наготе.

Дорна входила в воду большими шагами, высоко поднимая ноги и брызгаясь, как ребенок. Вода пенилась вокруг нее. Потом она быстро окунулась, толчок — и она уже плыла, размашисто скидывая руки, сначала к Острову, потом, развернувшись, к брату. Я поднялся, зная, что она видит меня. Но теперь это уже не имело значения.

И вот плавали уже все трое. В воде я чувствовал себя уверенней: подолгу смотрел в глаза

Дорне и улыбался, видя совсем рядом ее влажно блестящие плечи и на мгновение мелькнувшие полные, правильно очерченные груди.

Вода была холодной, поэтому купанье длилось недолго. Переплыв реку, мы подплыли к островку, а затем — обратно. Дорна вышла из воды первая и пошла вдоль берега, у меня на виду, к тому месту, где оставила одежду. Тело ее влажно блестело на солнце.

Тяжелый груз навалился на меня, сковал судорогой, и мне стоило немалого труда одеться, досуха растеревшись полотенцем. Для островитян все это, наверное, было легко и естественно, однако для моих привычек и для уровня моей тренированности все вместе было чересчур. Дорна оказалась прекрасней, чем то когда-либо рисовалось мне в мечтах. Она принадлежала к женщинам, фигуру которых одежда лишь отяжеляет. Нагое тело ее обретало природную легкость, изящество и гармоничность. Я изо всех сил старался держаться естественно, но потрясение было слишком глубоким.

Одевшись, все трое растянулись на песке. Теперь я робел глядеть на Дорну и вообще чувствовал себя ужасно усталым и подавленным. Со стороны Дорны было жестоко проделать подобное с американцем. После всего она стала мне еще дороже. Да и Дорн тоже еще глубже вошел в мое сердце. Со мной рядом были двое, ближе которых для меня не существовало на свете.

Мы немного поболтали. Остров за рекой лежал темный и округлый, как щит. Когда солнце уже совсем склонилось к горизонту, мы пошли обратно, не спеша, чтобы не растратить заряда бодрости, полученного от купания.

Рано утром следующего дня, когда в моей комнате забрезжили рассветные сумерки, вошел Дорн — попрощаться. Хотя ночь и показалась долгой, я спал глубоко и хорошо выспался.

Дорн повторил, что в ближайшие полгода его ожидает напряженнейшая работа.

— Я снова говорю это, хотя ты уже и так знаешь, затем, чтобы ты действительно понял, что я имею в виду. Я от души желал бы провести с тобой больше времени, как бывало раньше, пока на нас не обрушились все эти политические заботы. У меня большие планы. Чтобы по-настоящему узнать жизнь фермера, стоит пожить ею подольше. Тебе она понравится, Джон, во всяком случае такая, какую мы ведем здесь. И еще мне хотелось бы снова поездить с тобою... Словом, давай не терять надежды.

Он замолчал, явно собираясь еще что-то сказать.

— Если будет нужно, — неожиданно сказал он, — пошли за мной. Я всегда смогу выкроить время повидаться. И не ищи в моих словах скрытого смысла. Понимаешь?

Он нагнулся ко мне.

— Да, — ответил я.

Дорн рассмеялся.

— И позабудь про свою новоанглийскую щепетильность, хотя бы когда будешь решать, нужна ли тебе моя помощь, — добавил он. — Речь не обязательно должна идти о какой-то материальной нужде. Совсем не обязательно. Решено?

— Да.

Дорн ушел, сказав напоследок, что смотритель дворца Дорнов в городе всегда подскажет, как и где я смогу его в кратчайшие сроки найти.

Какое-то время я думал о его глубоко тронувших меня словах, пока все мое существо вновь не обратилось к Дорне. Я надеялся, что сегодня, именно сегодня она скажет мне то, чего я так долго ждал. Сердце мое — трепещущий на ветру воздушный шар — рвалось из груди.

День выдался пасмурный, но довольно теплый. Влажно пахнувший солью ветер порывами налетал с моря, и тонкие нити недолгих дождей тянулись за облаками, то и дело скрывавшими

солнце.

Дорна появилась поздно, когда все остальные почти уже успели позавтракать. Странно, однако сегодня одежда сидела на ней не так легко, как обычно. Все в ней, казалось, существовало отдельно друг от друга: желто-коричневая юбка и жилет, светло-зеленая блуза с отложным широким воротником, подчеркивавшая теплый, но приглушенно смуглый загар на лице, руках и шее. Черты ее лица как бы стерлись и были лишены всякого выражения.

Она зевнула, глаза ее увлажнились. «Плохо спала», — сказала она. И это было странно — лицо ее выглядело вполне отдохнувшим, очень спокойным. Я задумался, отчего и объяснит ли она мне причину. Воздушным шариком вновь заметалось сердце, кусок не лез в горло.

— Чем займемся? — ровным голосом спросила Дорна. — Я думала, может быть, прокатиться на лодке, но какая-то лень напала. Вряд ли прогулка выйдет веселая. И ветер все время меняется. А мне бы не хотелось кружиться на одном месте.

Слова ее ранили меня. Когда-то она была не прочь «кружиться» со мной целых два дня.

— У вас ведь, наверное, есть дела? Какое-нибудь незаконченное письмо? — продолжала Дорна. — Мне тоже нужно переделать несколько дел. Торопиться некуда. А потом можем пойти прогуляться.

На том и порешили, и я провел два поистине бесконечных часа в ожидании.

Около одиннадцати мы встретились снова. На Дорне был тот же наряд, и в придачу — длинный и широкий синий плащ. Накрапывал дождь, но, судя по легким светящимся белым облачкам, погода обещала разгуляться. Было почти жарко, и поэтому мы шли медленно. Налетавший порывами ветер раздувал на Дорне плащ.

— Я не боюсь промокнуть, — сказала девушка, — но эта юбка так легко пачкается... А как вы, Джон?

Голос ее звучал по-дружески, но в нем слышался скрытый вызов. Настало время сказать ей все, что я собирался сказать. Я полагал, ей лучше будет знать о моих распрях с Вашингтоном. Я начал издалека.

Дорна шла рядом, серьезная, внимательно слушая, но ни разу не взглянув на меня. Я подробно рассказал ей всю историю с самого начала. Кое в чем пришлось повториться, но я хотел, чтобы она была посвящена во все подробности. Дорна слушала, не переспрашивая, не возражая. Только однажды она прервала меня. Это было, когда мы подошли к воротам северной крепостной стены, окружавшей усадьбу.

— Пойдемте на мельницу, Джон, — сказала она. — На таком ветру не поговоришь. А нам есть что сказать друг другу.

Мы прошли через ворота. Примерно на четверть мили перед нами ровным ковром расстилалось пастбище. В дальнем, нижнем конце его виднелась плотина и очертания мельницы, то быстрее, то медленнее взмахивающей своими четырьмя большими крыльями на фоне белесого, обложенного облаками, но вот-вот готового брызнуть синевой неба.

— Пойду-ка я босиком, — сказала Дорна. — А вы не хотите? Трава, конечно, мокрая, но почему вы все время ходите в башмаках, Джон?

Она оперлась на меня, и я поддержал ее за руку, тонкую, но упругую и сильную, у самого локтя; с перекрещенными, как в четвертой позиции, ногами — одна в воздухе, — она с необычным изяществом скинула сначала одну сандалию, потом другую. Повинуясь ее воле, я тоже снял сандалии и чулки. Мы шли по пышной, влажно блестящей траве. Сандалии засунули в карманы плащей, и у меня было такое чувство, что я, как когда-то, направляюсь в танцкласс, хотя тогда я, конечно, шел не босиком и спутницы у меня не было. Сердце мое билось так сильно, что я не сразу смог продолжить прерванный рассказ. Босые ноги Дорны казались розовыми на фоне темно-зеленой травы. В отличие от меня, ступавшего осторожно, едва ли не

на цыпочках, она шагала уверенно и широко. Я заметил, как оттянуты были ее носки, как пружинисто напрягались икры при каждом шаге. Мои же ступни, столько лет стесненные обувью, выглядели нелепо и жалко.

Больно было мне смотреть на это безупречное воплощение юности. Рядом с Дорной я чувствовал себя как никогда ущербным. Я продолжал говорить, но речь моя путалась, становилась все бессвязнее. Словно огромная рука накрыла меня, как пойманного мотылька; мысли затуманились, все вокруг потемнело, а Дорна — центр моего мироздания — вдруг стала далекой и призрачной. Дождь перестал, и, сняв плащ, она несла его на руке. В этой девушке, такой хрупкой, юной, крылось то единственное, что могло дать мне опору в жизни, и я вспомнил, как во время купания увидел совсем близко ее неожиданно полные и округлые груди — зрелище непривычное для меня и все же бывшее частью, средоточием Дорны, существа иного пола. Каким откровением было тогда для меня увидеть ее всю — и золотистые волосы внизу живота, — все.

Дорна заговорила первая.

— Значит, Джон, вы действительно почувствовали себя свободным, когда узнали, что вам не придется больше работать против нас? — спросила она. — Правда, что вы ощутили это всем сердцем?

— Истинная правда! — воскликнул я. — Это буквально снизошло на меня, когда я ехал вдоль Кэннана три дня назад.

— А может быть, вы просто хотите сделать нам приятное?

— Ах нет, Дорна! Я и не думал об этом. И вовсе это не ради вас!

Я даже попытался улыбнуться.

— А может, это потому, что вы, наконец, согласились с нами?

— Не знаю, — ответил я, изо всех сил стараясь быть предельно искренним. — Я сам пока еще не до конца разобрался. То есть я хочу сказать, что, учитывая все, сам еще пока не знаю, какую судьбу предпочел бы для Островитянии. Лорд Мора в очень многом прав.

Я слышал, как влажно шуршит трава у нас под ногами. Направо в дренажной канаве блеснула вода, отражая перламутр неба.

— Конечно, — сказал я, — мне понятно, что я потерял ту, столь желанную возможность, о которой писал вам в первом письме. Она мелькнула и скрылась. Не думаю, чтобы кто-нибудь захотел взять на службу такого неудачника. Я расстался с надеждой, что смогу стать вам опорой, Дорна, и все же это не мешает мне радоваться своей свободе.

Только замолчав, я осознал весь смысл своих слов. Странная слабость напала на меня; я тяжело дышал, но на душе стало легче. Я сделал Дорне предложение, сам того не заметив. Она была по-прежнему спокойна. Я чувствовал это, даже не глядя на нее. Я знал, что она здесь, рядом, слышал ее размеренные шаги.

Воздух потемнел. На западе, над островом Ронанов, сгустился серый туман. Одним движением Дорна вновь накинула плащ, обвивший ее шелестящими складками. Косые серебристые струи дождя протянулись с неба, несколько холодных капель стекло по моей щеке. Возвышаясь на плотине, мельница смутно и грозно нависла над нами, скрипя в туманном сумраке своими огромными крыльями. Дорна перешла по дощатому мостику через канаву, обойдя плотину.

— Давайте зайдем внутрь, — сказала она, когда я подошел.

Мы вошли. Два маленьких боковых оконца освещали шестиугольное помещение. В центре вращался отвесный металлический вал, а у пола — сложное сцепление тяжелых зубчатых колес. Два других вала, дрожая от напряжения и словно с неохотой, попеременно поднимались и опускались с ритмичным клацающим звуком. Под нами в своем стремительном беге журчала и

всплескивала вода. Прислоненные к стене, стояли запасные крылья и прочие механические части, а напротив двери — медная печка со сложенными перед ней поленьями. Помимо них обстановку мельницы составляли кушетка, кресло и низкий квадратный сундук.

Было сумрачно, и пахло пылью. Посередине, высоко над нашими головами, виднелось небольшое отверстие, проходя сквозь которое, главный вал соединялся с лопастями крыльев и в которое виднелось небо. Место, где уединялась Дорна, было отнюдь не таким тихим и спокойным, как «уголок» Мораны. Скрипучий шум мельничных крыльев, лязг валов и шестерен и журчанье воды не смолкали здесь никогда.

Сняв плащ и вся светясь, как статуэтка из слоновой кости, в тусклом рассеянном свете, Дорна села на кушетку, поджав босые ноги, так, что осталось место и для меня, но, повинувшись некоему смутному подозрению, я предпочел кресло. Дождь выстукивал по крыше. Я чувствовал на себе взгляд Дорны, но не осмеливался поднять головы. Настал момент приговора, и я в страхе ждал его.

Просветлело, и я знал, что стоит мне поднять глаза, и я увижу Дорну, но мне не хотелось глядеть ей в глаза. Я остановил взгляд на губах. Чуть ниже, по подбородку, протянулась царапина, напоминая запекшиеся, в ниточку сжатые губы. Красота Дорны больно ранила меня, и я знал, что так будет всегда. Я сидел, застыв, и это было похоже на неподвижность спящего. Слов не хотелось, ведь в них скорей всего крылся приговор — окончательный. И все же я принудил себя нарушить молчание.

— Дорна, я ничего не могу предложить вам теперь, даже крыши над головой...

Бессмысленный крик о помощи.

— Не говорите этого! Не говорите так, Джон!

Для меня это были пустые слова. Я старался выразить то, что лежало на сердце, на островитянском, но мысль слабела, бессильная, как пальцы, старающиеся развязать слишком туго затянутый узел. Ничего не оставалось, как перейти на английский.

— Дорна, я люблю вас. Люблю. Я хочу, чтобы стали моей женой.

Я стоял, глядя на нее сверху, а она сжалась, еще больше подобрала под себя ноги. Глаза ее были широко открыты и блестели, но я ничего не мог прочитать в них.

Может быть, сесть рядом?

Я опустил на кушетку рядом с Дорной. Она по-прежнему пристально глядела на меня.

— Дорна, — сказал я, коротко рассмеявшись, — мне приходится говорить по-английски. На вашем языке это значило бы...

Дорна резко отодвинулась. Губы ее болезненно искривились, брови нахмурились. Она казалась испуганной. Мир вокруг словно исчез, только одно существовало для меня сейчас: ее глаза — темные, настороженные, непостижимые... Под шерстяной тканью плаща я угадывал ее руки, гладкие, округлые, крепкие. И они не давались мне. Упругие и сильные, они вырывались, но, только держа ее за руки, я мог бы говорить. Неужели я так дрожу? Грудь Дорны часто вздымалась, губы были по-прежнему крепко сжаты. Я никак не мог удержать ее руки, от которых исходило умиротворяющее тепло. Даже в этом мне было отказано.

— Дайте мне ваши руки, Дорна!

Ей стоило лишь уступить, и мучительная борьба наконец кончилась бы.

Вдруг, одним резким движением, как змейки, пальцы ее выскользнули из моих, обжегши мою кожу там, где коснулись ее.

— Не надо! Не надо, Джон! Дайте мне сказать.

Мягко, устало опустилась она на мое место, в кресло. Теперь, не чувствуя ее, мои руки тонули в пустоте. Бессильная скорбь наполнила все мое существо...

Дождь стучал по крыше.

— Не бойтесь, — сказал я.

— Не заставляйте меня снова бороться с вами, Джон.

Я ждал. Мне было уже все равно.

— Не бойтесь, Дорна.

— Я не боюсь.

Руки мои горели там, где прикосновение Дорны ожгло их. Сквозь пыльный квадрат оконца виднелось пасмурное, дождливое небо. Я словно только теперь понял, в какой стране и в каком месте нахожусь. Было странно и неловко видеть свои босые ноги.

— Я поняла вас, — донесся ровный, усталый, ласковый голос. — Я достаточно знаю английский.

Все замерло, даже сердце у меня в груди. Я знал, что она скажет, но мне не хотелось, чтобы она говорила.

— Я не могу быть вашей женой, Джон.

Голос Дорны звучал как никогда ласково. Я любил ее даже за то, что она отказала мне. Я любил ее за ее голос. Она сидела, опустив голову, не глядя на меня. Я видел ее ясно и отчетливо, но вдруг все словно затуманилось, заискрилось.

— И вот почему.

Я встрепенулся. Да, ведь у Дорны был «вопрос», и она ждала, когда он разрешится. Я совсем забыл про это. Знать, как он решился, — вот почему я здесь.

— Стало быть, это... ваш «вопрос»?

— Да.

Стало ужасно тихо. И вновь раздался голос Дорны.

— Мой «вопрос» решился. Решился уже почти месяц назад.

Она говорила отрывисто, резко.

— Я ни за кого не хочу выходить замуж. Я уже говорила вам осенью. Ни за вас, ни за кого-нибудь еще. Я хочу быть одна, и все же я выхожу замуж, Джон. В мае. За молодого короля Тора. Он просил моей руки. Я согласилась... Об этом никто пока не знает... Мы оба так решили...

Единственное, что мне запомнилось, был ее почти выкрик, заглушивший все остальное: «Я не хочу замуж!» Значит, она не должна делать этого! Явную несправедливость, почти порочность ее шага я воспринял гораздо живее, чем собственную утрату. Ее молодость, нежность, красота не должны были принадлежать нелюбимому человеку.

— Так и останьтесь одна, Дорна! Не делайте этого!

— Я должна! — крикнула Дорна. — Должна! Именно должна!

— Нет, нет... я не из-за себя.

— Я знаю.

— Не из-за себя, — повторил я. — Но вы не должны, Дорна!

Как было мне выразить свои чувства на чужом языке? Объяснить, какой судьбы я ей желаю? И что чувствовала она? Была ли то *ания* — чувственное влечение, или *ания* — желание семейной жизни со своим избранником?

— Почему я не должна? — спросила Дорна сердито, как ребенок, которому что-то запрещают.

— Жизнь ваша будет полной и счастливой, только если вы выйдете замуж по любви, Дорна... если это будет, как говорят у вас, *ания*...

Наши взгляды встретились. Глаза Дорны горели темным огнем.

— Конечно, Джон. Именно это я и чувствую.

Мысли мои были в мучительном смятении. Ведь она сама сказала, что не хочет замуж, что хочет быть одна.

— Вы хотите стать его женой?

Дорна полуприкрыла глаза, лицо ее искажилось от боли.

— Нет! — выкрикнула она. — Хотя и не стоило бы говорить вам об этом. Но *ания* — это то, что я действительно чувствую!

— По отношению к нему?

— Конечно! К нему одному.

Надежда, пробудившаяся было после слов Дорны о том, что она не хочет замужества, вновь обратилась в прах. Я ничего не понимал. Дорна противоречила себе. Мне хотелось спросить, будет ли она счастлива, но островитянское слово «счастье» значило слишком мало по сравнению с английским.

— И вы надеетесь жить в согласии? Думаете, что будете рады такой жизни?

Она гордо вздернула голову.

— Да! У меня сильная воля.

— И вам придется принуждать себя быть счастливой?

— Конечно, Джон. Все так делают.

— Это ужасно, Дорна, — крикнул я. — И поймите — я забочусь не о себе.

Мне ясно представилась ожидающая Дорну страшная участь. Невыносимо было думать, что за радость жизни ей придется бороться, что она перестанет быть для Дорны естественной и легкой, как дуновение ветра.

Она протянула ко мне руку, потом отдернула ее.

— Не кричите, Джон, — сказала она резко, — вы тоже делаете мне больно. Конечно, мне понадобится воля. Я не должна жалеть себя и вообще думать о себе. И вы — не жалеете меня и не думайте, что жизнь моя будет безрадостной. Мое дело теперь — забыть о том, что было... и о нас.

Она обвела все кругом неожиданно погрузневшим, почти скорбным взглядом. Голос ее зазвучал тише, спокойнее.

— Я не должна больше думать ни о вас, ни о башне, ни об этой мельнице. Я не должна мечтать о том, что никогда не станет моим. И вы не должны! Я должна все отдать своей новой жизни, Джон.

Она крепко сжала руки. Мне хотелось, чтобы она наконец не выдержала, заплакала.

— И я могу! — крикнула она. — Я могу отдать все. Я чувствую *анию*, поймите, Джон. Мне пришлось долго ждать, но теперь я уверена в этом. Теперь я смогу так много сделать, увидеть, пережить. Да, жизнь моя будет богатой, Джон. И если я откажусь от себя, перестану заботиться о себе, о том, как я и что я, а буду просто слушать, и глядеть вокруг, и говорить то, что действительно думаю, растить своих детей, и стану частью своей новой жизни, и отдам всю-всю себя...

Она разрыдалась. Я видел, я чувствовал, что она цепляется за мнимые преимущества своего брака, чтобы не впасть в отчаяние. Ее темные глаза горели диким, безумным огнем.

— Дорна! Вы не хотите этого. Скажите мне, чего вы хотите. Что для вас дороже всего?

Она пристально взглянула на меня.

— Дороже всего мне — мы.

«Мы» означало «наш род», «наша семья».

Я покачал головой.

— Вы хотите сказать, Дорна, ваш брат, дедушка, ваша юная кузина?

— Не только. Все Дорны, и вот это вот место, которое для нас — все. Все Дорны, которые были и будут, — здесь. Все это — одно, и оно-то для меня дороже всего.

— Теперь мне ясно, почему вам так тяжело покидать эти места, выйдя замуж, хотя вы и

чувствуете *анию*.

Наступило молчание.

— Я все думаю, действительно ли вы понимаете... — начала наконец Дорна, медленно, с трудом подбирая слова. — Моя любовь к своему роду, к Дорнам (*ания*), и к этим местам требует, чтобы я, женщина, из рук в руки передала свою любовь какому-то далекому человеку, к которому чувствую *анию*, и внести в жизнь тех, к кому принадлежит он, частичку жизни Дорнов. Наши женщины должны поступать так, Джон. Наша любовь к дому, к его интересам так же сильна, как и у мужчин, но мы выходим замуж и уносим свою любовь с собой в чужие края. И я буду виновна перед своей любовью, если не сделаю все так, как полагается, — с легким сердцем. А я могу! Поверьте, Джон, я могу! Именно это от меня требуется... я должна поступить так.

Дорна резко замолкла.

— Вы не знаете меня! — крикнула она. — Не знаете!

— А вы, Дорна, вы знаете себя? Или просто пытаетесь убедить себя в том, что способны совершить невозможное?

— Нет! — Голос ее зазвенел. — Я знаю себя. Знаю, на что способна. Конечно, я буду вспоминать, и это будет больно... больнее, чем другим женщинам. Но в новой жизни меня ждет так много всего. Я забуду о себе с ними, с тем, что будет меня окружать. Поначалу это, конечно, тяжело...

Я со страхом заметил, что она вся дрожит.

— Дорна!

— Послушайте! — Она вскинула руку, повелевая мне молчать. — Послушайте! Наступит утро, когда я вдруг пойму, что давно позабыла о себе. Я привыкну отказываться от себя и вновь стану свободной. Повторяю, наступит утро, и я пойму, что мне больше ничего не надо, что я не хочу никаких перемен.

Она рассмеялась. Дорна — рассмеялась. Наши взгляды встретились; широко раскрытые глаза девушки горели.

— Может быть, иногда я буду жалеть, — уже успокаиваясь, сказала она.

Мы пристально глядели друг на друга. Дорна снова подобрала под себя босые ноги, сидя прямо, как ребенок. Грудь ее вздымалась. Я взглянул на ее ноги: икры выпукло обозначились, стала видна царапина на голени. Все вокруг меня кружилось, слова ничего не значили. Важно было лишь то, что она совершает непоправимую ошибку, причем из упрямства. Единственно реальным было пьянящее притяжение ее красоты, которое я воспринимал каждой клеткой тела, и это делало ее моей — я должен был спасти ее от чудовищного безрассудства. Я нагнулся к ней, она не отстранилась.

— Дорна! — крикнул я. — Вы не должны этого делать! Еще весной мои советы были вам безразличны.

Неожиданно выражение ее лица изменилось.

— Нет, нет! — воскликнула она. — Не прикасайтесь ко мне, Джон!

Казалось, она опять готова рассмеяться.

— Со мной все в порядке! Да, да. Я думала о нас с вами, но нам не быть вместе. Наша жизнь была бы несчастной и жалкой.

Мгновение, когда я чувствовал себя всемогущим, миновало. Дорна оказалась сильнее, увереннее меня. Силы уходили, оставалось только желание, навеки бесплодное...

— Джон, — ласково заговорила Дорна, — неужели я была не права, когда попросила вас прийти сюда и сказала вам всю правду? Мне казалось, это лучше, чем в письме, ведь сейчас вы можете спрашивать меня о чем угодно. И все же я заставила вас проделать такой долгий путь

зря.

Я попытался улыбнуться. Она не понимала моих чувств.

— Лучше было услышать все от вас самой.

— Я не смогла бы написать, — продолжала Дорна. — Во-первых, никто ничего не знает, даже брат и дедушка. Только Тор, вы и я.

Теперь мне стало ясно, чего она хочет.

— Можете на меня положиться, — ответил я.

Дорна вздохнула.

— Как тяжело вам должно быть из-за меня!

Она протянула ко мне руку. Да, она знала, что может не бояться меня, знала свою власть надо мной. Но я не хотел такой подачи.

— Спасибо, Дорна, — сказал я, отводя голову, — пусть это будет невежливо, грубо, какая разница. — Обо мне не беспокойтесь.

Вдруг она всхлипнула, и мой гнев моментально прошел. Я слышал, как ее босые ноги мягко ступили на пол, и закрыл глаза, чтобы не видеть их.

— Если вы не против, я сейчас же вернусь в Город, — сказал я. — Мне действительно нужно там быть. С «Плавучей выставкой» много хлопот. Дженнингс оказался не вполне надежным человеком.

— Пожалуй, и вправду вам лучше уехать, — раздался надо мной голос Дорны. Я не думал, что она стоит совсем рядом. — И не будем больше видеться, — добавила она.

— Да.

— А теперь пойду домой и постараюсь, чтобы вы могли уехать незаметно. Насчет переправ тоже все улажу.

— Спасибо, Дорна.

Быстрый, мягкий звук шагов смолк; стало тихо, и только дождь стучал по крыше, скрежетали мельничные колеса, и негромко, ритмично всплескивала текущая внизу вода.

Словно ничего другого я никогда в жизни не знал. Словно всю жизнь ехал верхом на Фэке, бегущем медленной трусцой, и дорога, скользя навстречу, оставалась позади. Я превратился в автомат, управляемый маленьким, размером с часы, механизмом, тикавшим у меня в висках. Он не давал мне забыть о том, что я — консул, направляющийся в свое консульство, чтобы исполнять положенные обязанности. Только этот крошечный механизм спасал меня от безумия.

Но сегодняшний день был еще не худшим; худший настанет завтра, и послезавтра, и так — год за годом — будет течь моя жизнь, может быть втрое длиннее, чем тот отрезок, что я уже прожил. Сегодняшний день был огненно-прекрасным. Всего несколько часов назад я видел Дорну, живую, светящуюся, слышал ее голос, нежным музыкальным вьюнком еще цепляющийся за мое сердце; но когда все это поблекнет в забвении, когда чувства мои остынут, Дорна станет ускользающим призраком, смутным образом, а время будет идти своим чередом: минуты, часы, дни, годы — Боже, как я выдержу это!

Слезы капали на гриву Фэка. Но биение спасительного механизма было по-прежнему ощутимо. Приятно было сознавать, что в здравом уме выбираешь дорогу, радушной улыбкой заставляешь себя приветствовать встречных.

День был теплый. Воздух становился все более влажным и неподвижным, по мере того как я удалялся от моря. Соленый запах болот стал почти неощутим.

Я постарался вызвать в памяти голос Дорны, но не смог. Этот ни на что не похожий голос перестал отныне звучать для меня.

Мы заночевали на постоялом дворе у подножия перевала, где дорога из Уинли соединяется с Главной дорогой, ведущей от Доринга. Я боялся уснуть, боялся, что кончится день, когда я в последний раз видел Дорну, и страшно было, что уже завтра между нами встанут горы. Грядущее пробуждение открывало череду одиноких дней, которым суждено длиться вечно.

И вот забрезжил рассвет. Я чувствовал его, даже не открывая глаз, и мне хотелось умереть.

Все, что я хотел сказать, осталось несказанным. Дорна так и не узнала о моих чувствах. И я начал свою молчаливую исповедь.

Я то ехал верхом, то шел. Фэк тяжелой, но упрямой поступью подвигался вперед. Лесная дорога, неторопливо петляя, вела вверх. Часто нам попадались такие же путники, казавшиеся смутными, призрачными фигурами. В какой-то момент, когда я совсем было остановился, Фэк, шедший вплотную сзади, изо всех сил подтолкнул меня мордой. Временами я переставал понимать, где я. Река с грохотом неслась по дну глубокого ущелья, а справа и слева высокие, поросшие лесом склоны почти закрывали небо. Я говорил вслух, обращаясь к Дорне, высказывая все, что не было сказано, тщательно, любовно подбирая слова.

А сколько было вопросов, на которые я хотел получить ответ! «Дорна! — повторял я в который раз. — Я действительно не понимаю тебя. Ты говоришь, что хочешь быть одна, не хочешь замуж, и в то же время испытываешь то, что вы называете *ания*. Но разве так может быть, Дорна? Объясни мне, пожалуйста. Ты боишься лечь вместе с этим человеком? Но тогда ты не должна выходить за него замуж. Ты не должна выходить замуж, пока ты не захочешь какого-то мужчину и не будешь нуждаться в его любви. Глупо говорить об *ании*, если тебе противна даже мысль о том, чтобы... Дорна, у человека только одна жизнь, и у тебя — тоже! Если дело не в том, что тебе противно спать с ним, а просто ты хочешь быть одна потому, что тебе так хорошо и привольно на Острове, скажи мне об этом. Это очень важно для меня, ведь я люблю тебя и желаю тебе счастья».

Станным был этот разговор с Дорной — на пределе сил, на грани изнеможения. Иногда я садился на Фэка и ехал, покачиваясь в седле, полуприкрыв глаза. И все же я старался беречь силы моей лошадки, потому что хотел поднажать и добраться до Города не за пять, как обычно, а за четыре с половиной дня. Мне хотелось как можно скорее оказаться в стенах моего дома.

— Фэк, — сказал я, — хорошо еще, дорога не такая тяжелая, иначе бы я пропал.

Рассудок мой вполне мог не выдержать. Главное было добраться до постоялого двора на перевале, накормить Фэка, дать ему передохнуть и запасти для него корма на вечер и утро. Главное было не забыть обо всем этом.

Наконец мы подошли к узкому каменному проходу. Вверху была седловина — высшая точка перевала. Кое-как мы добрались до нее. Фэк знал, что постой близко, и галопом промчал последний отрезок дороги. Сквозь расселину виднелись в голубой дали равнины Иннерии.

— Прощай, Дорна! — вымолвил я.

Это было безумие — позволить себе так расчувствоваться. Согнувшись в седле, я вздрагивал от рыданий.

И все же маленький тикающий механизм благоразумия направлял меня. Фэка накормили на постоялом дворе. Я нашел тихое, уединенное место в темной конюшне и принялся за письмо Дорне.

Назавтра мы отправились дальше. Горы, вздымаясь все выше и выше бесчувственной массой, воздвигали преграду между мной и Дорной. Она ушла из моей жизни. Я не мог почувствовать это раньше, когда весь был сосредоточен на ее мимике, движениях, звуках ее голоса. Теперь сознанию не за что было уцепиться, и в душе воцарилась ужасающая пустота. Стены одиночества все теснее смыкались вокруг.

Неминуемо близящиеся сумерки страшили, как смерть. Ночь пугала, потому что я знал, что

мне не уснуть. И все же я был рад, что у меня есть план действий, которому надо следовать; думать я практически не мог. Стемнело. Мы подъехали к текущему по узкому ущелью Кэннану и свернули с дороги, чтобы найти место, где можно было бы подойти к воде. Было уже позже, чем я думал, и едва видно в темноте. Я подвел Фэка к воде. Он хотел пить! Но он не пил: это была просто уловка. Принюхиваясь к воде, конь мотал головой. Я попытался оттащить его назад, но он сопротивлялся и чуть не сбросил меня в реку. Пришлось ждать. Да, у него была своя жизнь, он был упрямым, и что-то его не устраивало.

В узком ущелье быстро темнело. Высоко надо мной черные верхушки деревьев застыли в небе. Тянувшийся по ту сторону реки склон был пугающе темным и безжизненным. Сколько всего интересного сулила ночь под открытым небом, если бы не мысль об утрате; теперь все вокруг казалось призрачным и мертвым.

Я завернулся в плащ, постаравшись устроиться как можно удобней на жесткой земле, и закрыл глаза, чего, впрочем, можно было и не делать — такая темнота стояла кругом. Фэк переминался и пофыркивал. Из лесу доносились неясные звуки.

Время текло — медленное, упрямое, неуловимое, чудовищное. Вот, значит, что мне предстояло вынести — медленное погружение в этот вязкий, еле движущийся поток. Минуты тянулись бесконечно, ночь казалась вечностью. Их будут тысячи, тысячи и тысячи таких тягуче-медленных, страшных часов — без Дорны.

И все-таки я ненадолго задремал, соскользнул в тихое, безмятежное, бездонное забвение. Когда я проснулся, забрезжил серый рассвет, и какое-то время я лежал спокойно, ни о чем не думая. Фэк спал стоя, как-то странно наклонив голову, застыв, будто неживой. Я ни о чем не думал, и любовь снова коснулась меня свежим и сладким прикосновением. Лишь мысль причиняла боль. Нерассуждающая любовь не ведает поражений.

Может быть, Дорна поймет, что совершает ошибку, когда будет еще не поздно. Может быть, все мои страдания бессмысленны...

Но в глубине души я знал, что она из тех, кто не меняет принятых решений. Она решилась, и ничто не могло поколебать ее волю. Я скорчился, как от боли. О, если бы только это принесло ей счастье!..

Мы снова тронулись в путь, еще до того, как солнце озарило склоны гор. Седой туман окутывал нас. Шкура Фэка была влажной.

Ночь на берегу Кэннана была еще не самой тяжелой. Горе так же многолико, как и счастье. Спасительный здравомыслящий механизм делал свое дело.

Следующую ночь мы провели на постоялом дворе в Хелби, потом двинулись в сторону города Сомса и Бостии, а четвертую ночь ночевали в поле между этими городами. На следующий день, пятнадцатого января, к вечеру мы прибыли в столицу.

С 1598 по 1854 год доступ в Японию иностранцам был запрещен. Япония считалась «закрытой» страной, пока в 1854 году решительные действия американского морского офицера М. К. Перри не привели к установлению дипломатических и торговых связей страны с остальным миром. *(Прим. перев.)*

Виктория — легкий двухместный экипаж.

Согласно древнегреческому мифу, юноша Актеон, охотясь, увидел купающуюся богиню Диану. Разгневанная богиня превратила Актеона в оленя, и его растерзали собственные собаки.

Берджих Сметана (1824–1884) — чешский композитор, чье творчество в основном вдохновлялось мелодиями славянского фольклора.

Томас Чиппендейл — английский краснодеревщик, создатель распространенного во второй половине XVIII века стиля мебели.

Карл Бедекер — немецкий издатель популярных во всем мире в XIX веке туристских путеводителей.